

ХОВАРД ФИЛЛИПС



ЛАВКРАФТ



НЕКРОНОМИКОН



ÆNIGMA

Annotation

«В начале был ужас» — так, наверное, начиналось бы Священное Писание по Ховарду Филлипсу Лавкрафту (1890–1937). «Страх — самое древнее и сильное из человеческих чувств, а самый древний и самый сильный страх — страх неведомого», — констатировал в эссе «Сверхъестественный ужас в литературе» один из самых странных писателей XX в., всеми своими произведениями подтверждая эту тезу.

В состав сборника вошли признанные шедевры зловещих фантазмагорий Лавкрафта, в которых столь отчетливо и систематично прослеживаются некоторые доктринальные положения Золотой Зари, что у многих авторитетных комментаторов невольно возникала мысль о некой магической трансконтинентальной инспирации американского писателя тайным орденомским знанием. Думается, «Некрономикон» станет реальным прорывом в понимании сложного и противоречивого творческого наследия мэтра «черной фантастики» и первой серьезной попыткой передать на русском языке всю первозданную мощь этого ни на кого не похожего автора, сквозящую и в его тяжелом, кажущемся подчас таким неуклюжим синтаксисе, и в причудливо-архаичной лексике.

Вообще, следует отметить крайнюю энигматичность полных «тревожащей странности» текстов Лавкрафта, инкорпорирующего в свой авторский миф весьма темные аспекты эзотерического знания, демонологических ритуалов и оккультных практик, не следует забывать и о мистификационных коннотациях, отсылающих к редким и зачастую фантастическим источникам. Тем не менее некоторые литературные критики пытались причислить чуждое всякой этической дидактики творчество американского писателя к научной фантастике и готическому роману. «В настоящей истории о сверхъестественном есть нечто большее, чем таинственное убийство, полуистлевшие кости и саван с бряцающими цепями. В ней должна быть ощутима атмосфера беспредельного иррационального ужаса перед потусторонними силами, — отвечал мэтр, демонстрируя полный индифферентизм к позитивистской науке и судьбам человечества. — Литература ужаса — это отдельная, но важная ветвь человеческого самовыражения и потому будет востребована лишь очень небольшой аудиторией. И все же кто сказал, что черная фантастика столь уж беспросветна? Сияющая великолепием чаша Птолемея была выточена из черного оникса».

-
- [Н. Бавина](#)
- [Ю. Стефанов](#)
- [Поиски Кадата](#)
- [Ховард Филлипс Лавкрафт](#)
 - [Другие боги](#)
 - [Празднество](#)
 - [Музыка Эриха Занна](#)
 - [Натурщик Пикмэна](#)
 - [Сторонний](#)
 - [Наваждающий тьму](#)
 - [Кромешные сны](#)
 - [Серебряный ключ](#)
 - [Серебряный ключ отмыкает пути](#)
 - [Сон о неведомом Кадате](#)
 - [Тень тьмы времен](#)
- [Ж. Менегальдо](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)

- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)





Н. Бавина

Лицом к лицу пред пропастью темной

Став на космическую точку зрения, можно сказать, что существует бесконечное множество миров, бесконечное множество рядов как телесного, так и духовного приспособления, бесконечное множество субъективных миров, т. е. представлений мира, бесконечное множество рядов опыта и реагирования.

Карл Дю Прель. «Философия мистики»

...испуг души его перед всем чудесным и катастрофическим...

Н. Бердяев

Ховард Филлипс Лавкрафт родился 20 августа 1890 г. в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд. Не по летам развитой мальчик освоил азбуку, когда ему было два года, и в четыре уже бегло читал. В нем рано пробудился интерес к наукам, и в возрасте всего лишь шестнадцати лет он начал постоянно печататься в «Провиденс Трибьюн» со статьями по астрономии. Из-за некрепкого здоровья, послужившего причиной его ранней смерти в 1937 г., болезненной застенчивости и нелюдимости он редко отлучался из родного города, к которому испытывал сильнейшую привязанность и где прожил всю жизнь.

Его литературная карьера началась в 1923 г. с появлением новеллы «Дагон» в одном широко известном журнале. В оставшиеся ему четырнадцать лет жизни его рассказы о таинственном и ужасном шли непрерывной чередой; среди них ставшие классикой жанра «Крысы в стенах», «Сторонний», «Натурщик Пикмэна», «Краски из космоса», «Зов Ктулху», «Кошмар Данвича», «Нашептывающий во мраке», «Наваждающий тьму» и другие. Несмотря на довольно удачное течение литературной карьеры, Лавкрафт нередко терзался сомнениями в подлинной ценности многих своих новелл, в их способности оказывать воздействие на читателя, и ему настолько удавалось заражать своими

сомнениями других, что некоторые его вещи, причем из лучших (например, «Хребты безумия»), были напечатаны только после его смерти. Причина этого таилась, по преимуществу, в особенностях его натуры визионера и затворника, ощущавшего себя мучительно изолированным от людей, в общении предпочитавшего живому слову переписку. Множество мотивов, встречающихся в его творчестве, восходит к исключительно ярким сновидениям — очевидно, не будет натяжкой назвать их визиями, — которые посещали его всю жизнь. Этим объясняется особенность его стиля, с одной стороны, и ощущение подлинности некой реальности, которую он описывает, с другой. Реальность эта, не постижимая обычным набором чувств, «незримое простому глазу задальнее», и диктует ту особую манеру письма, скорее косвенно намекающую, чем прямо показывающую, стремящуюся, по словам другого духовидца, дать почувствовать «сквозь необычные сочетания слов, сквозь эти образы, почти лишенные очертаний, наличие такой реальности».

«Это внутреннее пространство, — по определению Джеймса Болларда, американского фантаста, также исследующего человеческую природу через символ и миф, — та территория, где внешний мир действительности и внутренний мир души сходятся и сливаются», или, по словам К. Г. Юнга, «те пограничные области *psyche*, которые разворачиваются в таинственную космическую материю». Интерес к пограничным состояниям сознания является, очевидно, признанием того, что «неизжитые и неизведанные космические энергии со всех сторон наступают на человека и требуют с его стороны зрячей, мудрой активности». Для обыденного же научного и философского сознания этот космический план жизни остается закрыт. К слову, Кингсли Эмис в своей книге «Новые карты ада» (1960) — путеводителе по «несусветному» миру научной фантастики — упоминая о Лавкрафте, находит нужным сказать лишь то, что он более чем созрел для курса психоанализа. Можно попытаться взглянуть на произведения Лавкрафта и с точки зрения глубинной психологии, предлагающей весьма конструктивный подход при анализе творчества, обращенного к бессознательному и часто напрямую оперирующему его символами.

Трансперсональный опыт, обретаемый в ходе глубинного исследования психики, свидетельствует, что границы между человеком и остальной вселенной не неизменны; при глубокой саморазведке индивидуального бессознательного происходит нечто, по своему эффекту напоминающее лист Мёбиуса. Индивидуальное разворачивание психики оборачивается процессом событий, происходящих в масштабах целого космоса, раскрываются связи между космосом и индивидуальностью. Для

персонажей Лавкрафта лист Мёбиуса разворачивается, если можно так сказать, в обратную сторону: обращение к космосу, попытки овладения его тайнами и мудростью ввергают их в глубины собственного бессознательного. В этом смысле образ звездных небес, некоей области космической мудрости, и является у Лавкрафта визуализацией особой природы бессознательного. Эту его природу, практически в тех же образах, схватывает интроспективная интуиция, сознание, направленное на самое себя, например, в психомифе Урсулы К. Ле Гуин «Звезды внизу»: «Звезды, отраженные в глубокой воде... золотой песок россыпью в черноте земли». Хотя и психомифы Ле Гуин не представляются уже собственно литературой, поскольку призваны решать не чисто эстетическую задачу, все же в данном случае речь еще идет об интуиции художественной. Но вот то, что здесь является метафорой, дается как актуальная реальность в опыте-переживании другого порядка: «...в глубине своего существа мальчик знал, что уже обладает той свободой, которую ищет. Это открылось однажды ночью, когда ему едва минуло девять лет. В ту ночь небо со всеми своими звездами вошло в него, повергнув его заперто наземь», — читаем в жизнеописании одного из современных индийских Учителей. Высоты оборачиваются глубинами, и герои Лавкрафта завязают в «тине глубин» («Я погряз в глубоком болоте» — Пс. 68: 3), в порождаемой умом грязной жиге греховных мыслей, во тьме своего бессознательного. И стремятся они, как правило, во все большую тьму и глубь, не в состоянии, очевидно, противиться соблазну зияющих высот, парадоксов психики. Одного за другим начинают их влечь назад, в прошлое, в лоно предков, к первоначальной нераскрытости, «по ту сторону». По воле обстоятельств или по собственной воле, они оказываются в том единственном месте, где может решиться их судьба: или в городке у моря, как в рассказе «Празднество» и «Тень над Инсмутом», или под сенью вековых лесов, как в «Кошмаре Данвича», в повести «Затаившийся у порога» и в рассказе «Серебряный ключ». Море у Лавкрафта, как бы постоянно присутствующее на периферии зрения, — это *mare nostrum* с его «тиной глубин», стихия хаоса и разрушения — пучина бессознательного. Подземельными коридорами в бездны моря уходит, следуя вековому завету предков, герой «Празднества» и, став свидетелем ужасных чудес, не постигаемых телесным зрением, столкнувшись с сознанием, не стесненным костяком головы, и встретив червя гложущего, едва не теряет рассудка, потому что дневному, более косному, заполненному предметностями уму нету хода в те «нехоженные, непроходимые места».

Рэндольф Картер («Серебряный ключ»), отличающийся от других

персонажей Лавкрафта своей большей внутренней целостностью (он представляет собой не только «сознательное я», в нем как будто интегрированы и другие компоненты психики) и могущий быть названным, с некоторым основанием, *alter ego* автора, а не только одной из его масок, — этот Картер, разуверившись в культуре и рациональном мышлении, «излагающем действительность в точных терминах», вполне обдуманно обращается вспять, «к первоначальной нераскрытости, невыявленности, простоте и элементарности духовной жизни». Оставив городскую механизированную цивилизацию, где внутренняя жизнь природы «закрыта на ключ», он углубляется в мистический ландшафт своего детства, нисходя к общему истоку. И здесь — «плата за вход: ваш рассудок». Нужно нарушить знакомую перспективу восприятия «сознательным я», должна произойти дезориентация мира: «все забыть, все потерять, чтобы все стороны смешались, утратив свой абсолютный характер, сделались относительными, чтобы направление... движения было единственной координатой мира, и то все время колеблющейся». В поисках «внутреннего пространства» так же поступает один из персонажей Дж. Болларда: повернув несколько раз наобум, он просто теряется среди расположенных правильными рядами огромных бетонных «кубиков». Опыт, в сущности, не новый — чтобы себя найти, надо себя потерять. Когда Рэндольф Картер в лесу, «сбившись, забрел чересчур далеко», он и вернулся в дом своего детства и к себе самому — мальчику, который на десятом своем году через глубокий подземельный грот (со знаменательным названием «Аспидова нора», относящим его к области хтонического и поддерживающим мотив дерева — мировой оси, в чьих корнях таится хтонический змей) сумел уйти, опять-таки увязая в жидкой грязи «тины глубин», покрывающей дно грота, — уйти туда, где дракон бессознательного, «облюбовывающий пещеры и темные места», еще не принесен в жертву.

Замечание П. Флоренского о том, что «символы не укладываются на плоскости рассудка, структура их насквозь антиномична», как нельзя лучше описывает противостояние «этого» и «иного» мира, выстроенное по вертикали Лавкрафтом. То закрытое, без окон, пространство на колокольнице, где Роберт Блейк находит Сияющий Трапецоэдр («Наваждающий тьму»), уводит его не только в глубины космоса, но и в пучины собственной психики; ту же функцию выполняет и другое замкнутое пространство в рассказе «Кромешные сны», где герой одержим желанием попасть на чердак с крысами, расположенный прямо над его головой. На внутреннюю соотнесенность этих замкнутых, тесных

пространств, дающих, однако, выход в безграничность космоса, с тесной черепной коробкой и зияющей в ней бездной духа, намекают две метафоры, вольно или невольно реализованные в тексте. Это *rats in the attic* (крысы на чердаке) и *bats in the belfry* (летучие мыши на колокольне), аналогичные русскому «чердак не в порядке». В рассказе «Наваждающий тьму» образ колокольницы-головы дополнительно усиливается образом «громадного туловища» церкви. И в том и в другом рассказе герой с интересами и наклонностями странного свойства и, главное, постоянно мыслящий в одном направлении и тем как бы настраивающий в резонанс разные порядки бытия, проникнув в это замкнутое пространство, переживает парадоксальное состояние их сингармоничности — взаимосвязанности и взаимозависимости, — отдельно-слитое существование «этого» и «иного» миров. О том, в какие именно области духа проникает герой Лавкрафта, о том, что речь идет опять-таки о «тине глубин», дают понятие миазмы, неизменно сопутствующие подобным прорывам, ядовитое дыхание преисподней. В замечательной своей поэтической выразительностью новелле «Музыка Эриха Занна», где скрипач своей игрой порождает вибрации, стабильно поддерживающие резонанс двух порядков бытия (своего рода черный вариант одержимости музами — ведь «художник остается открытым духу, с какой бы стороны тот ни влиял на него»), злосмрадием проникнута вся улочка, на которой происходит действие.

Другим способом вхождения в иное бытие для многих персонажей Лавкрафта являются сон и сны («По ту сторону сна»). С мистическим опытом древнеиндийских Учителей, говоривших, что в глубоком сне человек равен Вселенной, перекликается современный трансперсональный опыт, свидетельствующий, что «в определенных условиях оказывается возможной пространственная идентификация с любым объектом универсума, включая весь космос». Визионеры Лавкрафта рано или поздно сталкиваются с трансперсональными размерностями психики и, хотя бы они того или нет, отправляются в «путешествие за пределами мозга». Опыт переживания двойной реальности для них мучителен: дневной, оперирующий предметностями ум отвергает ночные откровения, даже когда будто бы находятся доказательства — ожоги нездешнего солнца на лице и руках, необъяснимое зловоние, исходящее одеждой и волосами; но само это психическое напряжение порождает стресс, действующий как спусковой механизм. Принять же рассудком эти визиции как реальные не равнозначно ли признанию того, что «кошмары — это щели ада? И страшные сны переносят нас в ад в буквальном смысле слова?» Когда

ведется речь о снах, посещающих героев Лавкрафта, подразумевается, что они «крошечные»; когда речь о прорывах в иное бытие, подразумевается, что это не божественный космос, а inferнальный хаос (божественный свет, подвергшись инверсии, превращается в скверно пахнущий адский пламень). Что же делает переживание иной реальности однозначно ночным кошмаром, вплоть до присутствия демона, вызывающего кошмар? Освоение иной реальности идет на уровне всего универсума, о чем сигнализируют геометрические символы, «класс мифопоэтических знаков, воплощающих модель мира». Удивительные криволинейные иероглифы, раз захватив, не отпускают внимания профессора Писли, отправляющегося во тьму времен («Тень тьмы времен»). Еще больший геометризм присущ видениям Джилмана: «...иногда Джилман уподоблял неорганическую материю призмам, лабиринтам, скоплениям кубов и плоскостей»; при каждом погружении в «сумеречные бездны» вокруг него «кишели геометрические тела» (как специфические, часто встречающиеся при трансформации сознания визуальные галлюцинации, «цветные геометрические тела», они были названы в 1928 г. Хайнрихом Клювером «констант-формами»), пока наконец геометрический апогей не достигается в видении «бесбрежных джунглей диковинных, невероятных шпилей, уравнивающих друг друга плоскостей, куполов, минаретов, дисков, горизонтально балансирующих на остриях вершин, и бесчисленных объектов еще более дикой конфигурации <...> которые сияли богатством красок в смешанном, почти обжигающем зареве многоцветного неба» (наверное, того самого «неба в алмазах», которое показывала «Люси»: *Luce in the Sky with Diamonds*, LSD) и вспышке «невиданного, неземного света, в котором умопомрачительно и нераздельно смешались охра, кармин и индиго». Интенсивное переживание цвета — это также один из компонентов трансперсонального опыта: «калейдоскопическое кружение красок», «сложные узоры павлиньего оперения», или *cauda pavonis*. Флюоресцирующие, радужные отливы камня, из которого возведен весь город во тьме прошлого, отмечает и профессор Писли. Джилман же переживает еще не только изощрение слуха «до невыносимой противоестественной степени», но и «заметные изменения перспективы»: «...о собственном своем виде судить он не мог, поскольку руки, ноги и торс не попадали в его поле зрения из-за странного нарушения перспективы; но он ощущал, что его физическое строение и способности были как-то удивительно претворены в смещенной проекции, однако не без некоей гротескной связи с его нормальным сложением и свойствами», то есть при путешествии за пределами мозга он не испытывает «ни замешательства, ни

дезориентации в отношении идентификации личности». Еще один компонент трансперсонального опыта, получивший название *presque vu* (почти увиденное; термин, запущенный в оборот также Х. Клувером), содержательно связан с мифологемой, на основе которой Лавкрафт выстраивает свой мир. Это компонент, характеризующий познавательную сторону трансперсонального опыта: чувство пребывания на грани великого прозрения, апокалиптического откровения или неопровержимой истины. Это чувство по отношению к своим математическим выкладкам испытывает Джилман; но на более глубоком уровне это ощущение возможности всеведения и притягивает Джилмана и других персонажей Лавкрафта, включая самых низменных полувыродков, расплачивающихся за служение темным богам предков, к сомну этих Предвечных богов. В центре мироздания оказывается своего рода гностическое божество, не имеющее атрибутов, *res simplex* («простая вещь» алхимии), «несознающее»: «То, от чего твари обретают свою тварность, есть невидимый и недвижимый Бог, по воле которого рождается понимание».

У Лавкрафта это мифологема Абсолютного Хаоса, «в сердце которого раскинулся незрящий несмысленный бог Азафот, Владыка Всех Тварей, окруженный шаркающим роем своих бездумных и бесформенных плясунов, усыпляемый пронзительным однотонным свистом демонской флейты в безымянных лапах»^[1]. Сложная фонетика имени Азафот, по-видимому, не просто призвана способствовать созданию образа, «почти лишённого очертаний», функционируя как «фонетика непонятных слов, которая свободна от навязанных извне понятий — она ведет к образованию самых неожиданных зрительных представлений». Его имя как вседержителя знания можно, кажется, возвести к термину *Azoth*, которым в «*Aurelia occulta*» назван Меркурий и который объясняется там следующим образом: «Ибо он есть А и Ω, сущие везде. Философами он украшен именем *Azoth*, которое составлено из А и Z латинян, альфы и омеги греков, алефа и тау евреев». В отрывке речь идет о Меркурии, Гермесе Трисмегисте, представляющем собой хтоническую триаду («ибо в камне суть тело, душа и дух, и все же сие есть единый камень»), соотносимую с Троицей, «систему высших сил в низшем»; хоть он и представляет темную половину, он не является злом как таковым, его называют «благим и злом». Из имени Азафот можно вычленить имя египетского бога Тота (*Toth*), посланника богов, герменевта (истолкователя), указующего путь в мистическом странствии: «Он соделает тебя свидетелем таинств божества и тайн природы». У Лавкрафта этот аспект верховного божества становится отдельной ипостасью: «предстатель, или посланец темных и страшных сил

«Черный человек» ведовства и Ньярлафотепа Некрономикона. Встречи именно с ним, с посланцем несмысленного демона-султана Азафота, так панически боится Джилман, начитанный в Некрономиконе, книге ужасающих тайн безумного араба Абдуль Альхазреда. Семантику этого названия уточняет соотнесение ее со сферой *necronomīs* явления телепатии, или события-знамения будущего; в одном из старинных лексиконов определяется как «знаки, упдающие с небес на землю». Сам же безумный араб-чернокнижник, пророчествующий о безднах космоса и духа, представляется как бы темной ипостасью писателя, с дрожью отшатывающегося от края этих бездн.

Прочитанное Джилманом наяву материализуется в его снах, он из последних сил бьется над тем, чтобы отличить реальность яви от реальности сна: «...что, если бегство со снящегося во сне чердака приведет его попросту в снящийся во сне дом — искаженную проекцию того места, куда он стремился?» Страх, знакомый сновидцам, например, у Борхеса — пробудиться «не к бдению, а к предыдущему сну. А этот сон, в свою очередь, заключен в другом». Страшно же потому, что в этом коренится предугадывание:

Мы созданы из вещества
Того же, что наши сны.
И сном окружена
Вся наша маленькая жизнь

А значит, стены, которые городит «эго», защищая «я-концепцию» от «распыляющих космических ветров» — «ибо опасно знать некоторые космические силы и тайны», «опасно слишком много видеть и слышать, чтобы не быть ослепленным и оглушенным», — не фиксированы и не абсолютны. «Сознание... может выйти из привычных границ и включить в себя те элементы глубокого бессознательного, о которых никто при обычных обстоятельствах и не подозревает». Страх наводит вечно маячащая за спиной «сознательного я» Тень, грозящая «сознательному я» одержанием. В тщетной попытке избавиться, «эго» отторгает Тень в виде проекции — Черного человека, посланца черного престола Абсолютного Хаоса, истолкователя и поводыря в мистическом странствии. Антиномичный по своей структуре, он оживает в подсознании Джилмана, выполняя свою функцию поводыря: «...он почувствовал, что в подсознании есть те углы (геометрические. — Н. Б.), которые его наставят, впервые

одного и без чьей-либо помощи, на дорогу в нормальный мир». О том же, видно, говорит Гамлет:

...нас безрассудство
иной раз выручает там,
где гибнет глубокий замысел;
то божество намерения наши
довершает, хотя бы ум
наметил и не так...

Но слишком наработан у Джилмана навык ума, чтобы его отношения с Тенью могли быть чем-то иным, кроме одержания. Заполнение сферы сознательного бессознательными содержаниями приводит к переживанию «смерти эго» — безжалостному разрушению всех связей в жизни человека.

Но даже если бы сознание могло, до некоторой степени, интегрировать «психическую» часть проекции, вместе с ней интегрировалась бы и «космическая» часть, поскольку то, что стоит между светом и тьмой, объединяя противоположные полюса, причастно каждой из сторон. А поскольку космос бесконечно огромней нас, то, скорее, мы будем поглощены его «безличным, нечеловеческим духом, единым». «В этих проекциях мы встречаемся с проявлениями “объективного” духа, истинным источником и началом (*matrix*) психического опыта-переживания, самым подходящим символом для которого служит материя... этот объективный дух, который сегодня мы называем “бессознательным”: неподатливый, как материя, таинственный и ускользающий, он подчиняется законам, столь нечеловеческим или сверх-человеческим, что для нас они кажутся тягчайшим преступлением против человека» (К. Г. Юнг). Именно таким оказывается опыт «космического поглощения» для героев Лавкрафта: Рэндольф Картер, уйдя за Врата Серебряного Ключа, испытывает тотальную аннигиляцию «попадания на космическое дно», когда, миновав миры богов, входит в пустотный Абсолют. Движение его к запредельному («за Вратами») Первоначально было попятным, возвратным — архаизацией, стремлением «к первоначальной нераскрытости и... простоте», к дезориентации мира; оно шло как разрушение его высокоорганизованной человеческой личности, концом такого пути только и может быть полная аннигиляция, распыление космическими вихрями.

В произведениях Лавкрафта, о которых в основном велась речь, этапы «мистического странствия» обозначены, может быть, наиболее полно.

Однако и в других его вещах, и в «малых формах», и даже в незаконченных отрывках отражаются те или иные перипетии глубокой саморазведки (*self-discovery*). В блестящей новелле «Сторонний» можно выделить как бы два сообщения — мифологическое, о отдельно-слитом существовании «этого» и «иного» миров; и психологическое, о прорыве в сознание бессознательных содержаний. Герой, живущий в абсолютном уединении некоего замка и не в силах более выносить одиночества, решается взойти на башню, которая возносится выше самых высоких деревьев, окружающих замок, в надежде сверху увидеть выход из леса. Добравшись до верхней площадки башни, он выходит из-под земли... на поверхность. Соответственно тому, что мир героя оказывается преисподним миром, он и сам — к вящему своему ужасу — оказывается выходцем с того света. Ощущение головокружительного ужаса и достигается в первую очередь этим неожиданным переключением позиций «верха» и «низа», вызывающим чувство, что земля уходит из-под ног. Кроме того, в свойственной Лавкрафту манере, повествование обрывается в самый момент катастрофы — герой, пораженный ужасом, оставлен лицом к лицу со своей темной половиной.

В рассказе «Краски из космоса» по-своему реализуется средневековое представление о нисходящем с неба и, следовательно, способствующем «возгонке» (сублимации, очищению) зелье. Это «луч или излучение некоей звезды, или ее отбросы, избытки, сбрасываемые на землю» (их также называют «звездный студень» и «ведьмино масло»; это студенистые водоросли, появляющиеся после затяжных дождей). С ним соседствует другое очистительное снадобье — медвяная роса, содержащая алкалоиды спорыньи и действующая, в том числе как психоделик. Соединяя в себе студенистость и способность порождать радужную игру красок, субстанция, занесенная из космоса, производит, однако, действие, прямо обратное очистительному.

Культ «Предвечных» и «Иных Богов» (культ Ктулху), положенный Лавкрафтом в основу его космогонии, оказался в качестве мифологемы настолько конструктивным, что не только сгруппировал вокруг себя целую «школу» авторов (среди которых, правда, ни один не выбился из «учеников» в мэтры), но вошел компонентом в современную мифологию, создаваемую такими, например, писателями, как Фриц Лейбер или Колин Уилсон, также исследующими «внутреннее пространство» — пограничные области психики. По отношению к произведениям Лавкрафта их тексты представляются как бы металитературой. В фантастике «основного русла» (*mainstream*) приблизительно тем же образом имплицитно действуют

«три закона роботехники», сформулированные Азимовым — «робот не может причинить вред человеку...», остальная «робопсихология» вытекает уже из этого. Знаменитый роман английского писателя и философа К. Уилсона «Паразиты сознания» интертекстуально связан с повестью Лавкрафта «Тень тьмы времен». Прежде всего прототипом «паразитов сознания» служат «быстроумцы» (Раса Великих) Лавкрафта, которые, путешествуя во времени в поисках знания, внедряются в человеческое сознание и замещают «эго»; добыв же желанное знание, устраняются, поставив психологические блоки, закрывающие доступ к информационным банкам коллективной памяти. Но они отказывают людям в преждевременном знании не из враждебности, а во избежание катастрофы; тогда как «паразиты сознания» лишают людей высшего знания злонамеренно. Несмотря на различие их функций, и тех и других можно назвать актуализацией бессознательных содержаний. Персонаж романа К. Уилсона д-р Оустин исследует те же самые базальтовые руины, на которые натолкнулся в другой, правда, пустыне профессор Писли, занимаясь разведкой и саморазведкой. К. Уилсон, словно в духе постмодерна, «отыгрывает прием», строя свой роман как полудокументальное произведение, отчет о научных розысканиях д-р Оустина, где ключом к предмету исследований служит «культ Ктулху» (извлекает на свет он, кстати сказать, и египетские источники имени «Азафот»; сам он дает это имя в несколько измененном виде — Абхот). Доклад о Лавкрафте, прочитанный д-ром Оустином в 1999 (NB!) г., порождает мощное общественное движение (в три миллиона приверженцев), ратующее за то, чтобы базальтовые руины, а вместе с ними и Предвечные, были оставлены в покое, ибо предостережению Лавкрафта следует внять; «Здоровый дух в будущем, о прошлом и думать забыть», — написано на знаменах подвижников «против-Кадата». Обывательский здравый смысл, не желающий признавать расового бессознательного, а вместе с тем и огромных латентных возможностей человеческой психики, — постоянный оппонент К. Уилсона, писателя и философа: «Человек — это целый континент, но его самосознание не больше чем садовая полоска при доме... Так называемый “средний человек” слишком робок, чтобы сделать попытку себя проявить. Он предпочитает уют садовой полоски при доме».

У Лавкрафта, надо сказать, «средний человек», тот, кто лишь случайно оказывается затянутым в «смерчеобразное бурление» объективного духа, более чем счастлив бывает вернуться в уют садовой полоски, но отныне и впредь тревожат его сны — эти щели ада. В аду к тому же Лавкрафт не

только открывает новые, после него ставшие частопосещаемыми, сайты, он вызывает на дневной свет и некоторых до него неизвестных обитателей преисподних земель — на банкете по поводу Последней битвы добра и зла в канун нового тысячелетия (не обязательно третьего), когда д-р Оустин прочитал свой доклад о Лавкрафте, — Безымянный Ужас, благоухая мускусом чревоземных, прохаживается об руку с натурщиком Пикмэна, в окружении Асмодея, Маски Красной Смерти, Гекаты и других канонических фигур. («Принеси мне голову Прекрасного принца» (1991), роман написан каноническими в свою очередь фигурами: Р. Железны, *new wave*, и Робертом Шекли, *mainstream*).

Сопричастным опыту Роберта Блейка («Наваждающий тьму») становится герой повести Ф. Лейбера «Мадонна тьмы» Франц Уэстен; и его завораживает холм, из окна виднеющийся вдали, в городском наволоке. Писатель и сам, да еще автор макабрических рассказов о сверхъестественном, он быстро схватывает литературные аллюзии, вплетающиеся в переживание им другой реальности. Следя в бинокль за таинственной фигурой, то появляющейся, то исчезающей на вершине холма, он называет ее «Затаившийся на верхушке», произведя бессознательную инверсию лавкрафтовского названия «затаившийся у порога» («верх» и «низ» во «внутреннем пространстве» легко меняются местами). Бессознательную — потому, что сознательную параллель проводит с рассказом «Наваждающий тьму».

Можно и дальше множить примеры того, что за самыми экстравагантными фантазиями Лавкрафта стоит «отдельная реальность»; можно говорить об архаичности его слога (даже в письмах он отдает предпочтение старинным грамматическим формам), который своим строем иногда напоминает строй библейских текстов, требующий известной повторяемости (если и считать его стиль данью лорду Дансейни, которым Лавкрафт восхищался, все же надо сказать, что писать «фантазии в манере Дансейни» он начал до того, как открыл для себя творчество ирландского мэтра). Но рассуждениями не дойти ни до какого места, указуя на которое, можно сказать — вот от чего объемлет душу испуг. Тут нужен опыт другого порядка.

Без ссылок в тексте упоминаются Д. Андреев, А. Ремизов, Н. Бердяев, Д. Жуковский, Ф. Сологуб, Тимоти Лири, Ст. Гроф, Х. Кортасар, К. Кастанеда, У. Шекспир.

Нина Бавина

Ю. Стефанов

Автопортрет на фоне инфернального пейзажа

Многим любителям *тайнописи* Иеронимуса Босха — даже и тем, кому не посчастливилось побывать в музее Прадо, — знаком огромный трехстворчатый складень мастера из Хертогенбоса, ныне известный под названием «Сады наслаждений», а в XVI веке именовавшийся «*Variedad del mundo*», «Превратности мира». На правой его створке — странное существо, чьи ступни — две лодки, вмерзшие в темный лед преисподней, ноги (они же и руки) — оголенные и мертвые древесные стволы, продолжающие, однако, свою призрачную жизнь и после смерти: их отростки непомерно долгими искривленными шипами пронзают тело адского монстра — огромное выеденное яйцо. Из-под мельничного жернова, почти касающегося спины чудища, выглядывает его удлиненное лицо, бледное от инфернальной стужи или скуки. Узкие губы растянуты то ли гримасой страдания, то ли саркастической ухмылкой. На жернове-шляпе торчит символ похоти, раздутая малиновая волынка; вокруг нее ведут хоровод демоны и люди, кто одетые, кто нагишом. Пейзаж вокруг кишит многими десятками или даже сотнями фигур: это грешники, терзаемые бесами.

Символика всех этих диковинных с первого взгляда образов достаточно проста. Уже на исходе Средневековья Космос казался художнику обезбоженным и демонизированным. Оба райских дерева Книги Бытия превратились в бесплодные колючие подпорки для выеденного Мирового Яйца. А жернов на человеческой голове — напоминание известного стиха из Евангелия: «...кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской».

Лицо странного существа наводит на мысль о портретном сходстве; такие лица не часты на досках Босха. Схожее обличье у *блудного сына* с небольшого тондо из Роттердамского музея Бойманс ван Бёнинген. Современники великого нидерландского мастера догадывались о том, кого именно он изобразил на правой створке «Превратностей мира». Всего короче и ярче сказал об этом столетием позже испанский поэт Франсиско Кеведо: «Босх поместил в сердцевину своего ада себя самого. Почему? Да

потому, что он всегда отказывался верить в существование дьявола».

Отказывался верить — и продолжал живописать Князя Тьмы, его присных и толпы мучимых ими душ, угодивших в преисподнюю. Что же тогда побуждало австрийских и испанских Габсбургов — в их числе был и сам Филипп II — наперегонки коллекционировать его работы? Ведь по нашим понятиям, пусть не сегодняшним, а вчерашним или позавчерашним, им бы следовало спалить этого еретика на костре, сложенном из его собственных работ, благо записанное маслом дерево хорошо горит.

Но католичнейшие владыки Испании, Австрии, Португалии считали фантазии Босха противоядием от козней лукавого, а вот анабаптисты-перекрещенцы и прочие сектанты XVI века громили церкви, где благоговейно хранились и его картины, словно бы далекие от всякой ортодоксальности. Одна из таких трагических сцен воссоздана в «Тиле Уленшпигеле» Шарля де Костера. Иконоборцы потрудились на славу: во всем мире осталось всего десятка полтора подлинных, подписных работ Босха. И можно представить себе, что случилось бы с европейской живописью и словесностью, если бы костры из икон и рукописей горели веками без перерыва, а не вспыхивали раз-другой в столетие. В них погибла бы, разумеется, «Божественная комедия», ведь целая треть ее — сплошное описание inferнальных областей. Такая же участь постигла бы видения Сведенборга и Даниила Андреева (сколько там всякой ереси и чертовщины!). Из «Евгения Онегина» была бы вырезана пятая глава, та самая, где «...мельница вприсядку пляшет и крыльями трещит и машет...», то есть знаменитый «Сон Татьяны». Не поздоровилось бы холстам Врубеля и роману Булгакова...

И уж конечно же, мы никогда не прочли бы творений Ховарда Филлипса Лавкрафта: ведь это тоже исполинский автопортрет на фоне inferнального пейзажа, по сравнению с которым, как пишут некоторые критики, «рассказы Эдгара По кажутся камерной музыкой». Кстати сказать, те фотографии провидца из Провиденса, что помещаются на обложках его книг в карманных изданиях, странным образом напоминают «адский» автопортрет мастера из Хертогенбоса. Я не очень-то верю в уготованное всем и каждому «переселение душ», но впечатляющее подобие обоих лиц о чем-то да говорит... Есть и общие образы, появляющиеся как на досках Босха, так и на страницах Лавкрафта. Оскверненный, заброшенный храм, где завелась нечистая сила. Люди, пляшущие под дудку выходцев из ада. Демонические птицеподобные твари с триптиха «Искушение святого Антония», они же «костоглодные чернички» из повести «Сон о неведомом Кадате». Монстры и мертвецы с того же триптиха, хором читающие некий

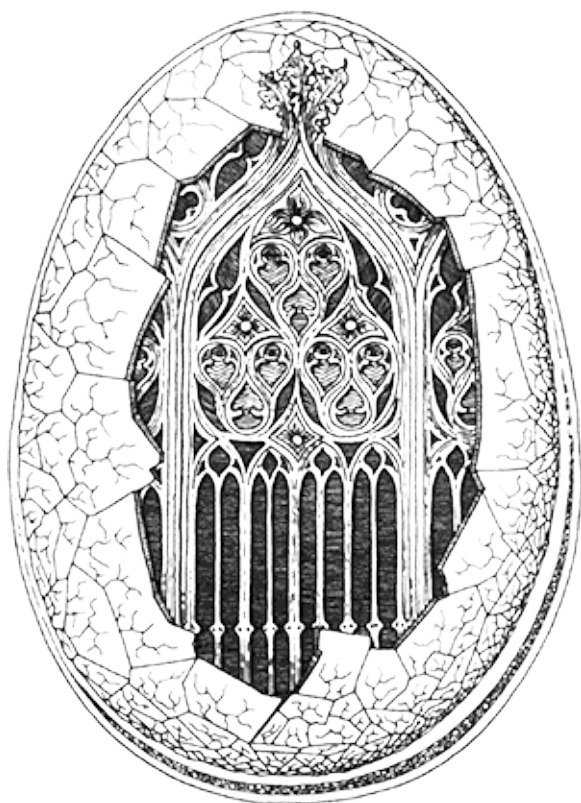
колдовской требник — уж не тот ли зловещий «Некрономикон», что упомянут во многих рассказах и повестях Лавкрафта?

Его мир еще сильнее расчеловечен и обезбожен, чем вселенная Босха. Закон этого мира — алхимический процесс наизнанку, превращающий живого человека в упыря, столь же страшного, сколь и комического. А топография этого «нового света» — замысловатая система пещер, склепов и отнорков, где происходит аннигиляция духа.

Но главное сходство между двумя мастерами не в этих совпадениях, хотя и они далеко не случайны. Их роднит примерно одинаковый взгляд на силы Зла, тождественные приемы в их обрисовке. Дело в том, что в Средние века, да и в эпоху раннего Возрождения никто из живописцев и поэтов не идеализировал эти силы. Понимая всю их злокозненную суть, они в то же время подчеркивали их гротескность, нелепость, а в конечном счете и нереальность. Они не забывали, что сатана — это карикатура на Бога, обезьяна Бога. Само выражение «вера в дьявола» двусмысленно, оно отдает *прелестью*. Верить можно «во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым». В демонов не веруют, памятуя о том, что они всего лишь «бесовские духи, творящие знамения» и что негоже «поклоняться бесам». Лишь начиная с XVII века люди, особенно люди так называемого «творческого» склада, стали не только *блзниться* бесовскими знамениями, но и всячески возвеличивать, идеализировать «творцов» этих знамений, воспевать и прославлять их якобы светоносную природу. Не буду называть имен — они и так всем известны. Босх и Лавкрафт не принадлежали к числу тех, кто видел в духах тьмы прежде всего ангелов, пусть даже и падших. Но если мы остерегаемся называть «сатанистами» иных легковых, умилявшихся страданиями «изгнанников рая», то нет никакого резона причислять к этому малопочтенному разряду и художников традиционного толка — они-то не дали себя заморочить никакими иллюзиями и знамениями.

Беда Лавкрафта и его героев лишь в том, что они, обитатели «протестантского, прибранного рая» Америки, чувствовали свою богооставленность и мучились от этого. Но их отношение к инфернальному миру было столь же трагично и саркастично, как и их средневековых предшественников.

Юрий Стефанов



Поиски Кадата

Нине Бавиной

*Отвратительный сорняк, этот выюнок.
Самый гадкий из сорняков...
Душит, цепляется, и не ухватишь его
толком —
и у него очень длинные корни.*

Агата Кристи

У Лавкрафта почти что в каждой вещи
проскальзывает призрачный намек
на сущность трансмутации зловещей,
которой человек себя обрек.

Ведь все его могилы, склепы, норы,
куда загнал себя Адамов род,
по сути дела, те же атаноры,
но с правильностью до наоборот.

Жил-был, допустим, живописец Пикмэн,
чего-то там высокое творя,
но в царстве мертвых человеческий лик он
утратил, превратившись в упыря.

Сидит его резинистое тело
на краешке кладбищенской плиты,
и лязгает зубами оголтело,
и с Лавкрафтом беседует на ты.

Вползает в ночь свинцовым взглядом склизким,
выюнок терзает, вьет себе венок,
на самом приблизительном английском
про кровь долдонит и клянет чеснок.

Вот так и мы — жена моя и сам я,
Свинцовый полукарлик-полукрот.
Нигредо, ночь и Лавкрафтова яма —
Отнорок алхимических пустот.

Юрий Стефанов

Июнь 1995 — август 1996

Ховард Филлипс Лавкрафт

НЕКРОНОМИКОН

Перевод осуществлен по изданиям:

*Lovecraft H. P. Best Supernatural Stories of
H. P. Lovecraft. 1945*

*Lovecraft H. P. The Dunwich Horror and
Other Weird Tales. 1945*

*Lovecraft H. P. The Dream-Quest of
Unknown Kadath. 1970*

*Lovecraft H. P. The Shuttered Room and
Other Tales of Horror. 1971*

*Lovecraft H. P. The Watchers Out of Time
and Others. 1974*

ХОВАРД ФИЛЛИПС
ЛАВКРАФТ



НЕКРОНОМИКОН

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО НИНЫ БАВИНОЙ

Другие боги



На высотах величайшей земной вершины обитают земные боги и не попускают никому из смертных сказать, что они лицезрели их. Когда-то они обитали на меньших высотах, но люди равнины все поднимались на утесистые и заснеженные склоны, изгоняя богов все выше и выше, пока ныне не осталось самой последней горы. Уходя со старых высот, боги не оставляли никакой приметы своего образа и подобия, за исключением, говорят, одного раза, когда они оставили свой изваянный образ на плоском склоне горы, которую они называют Нгранек.

Но теперь они удалились в неведомый Кадат в холодном пустолюдьи, где не ступала нога человека, и облеклись суровостью, поскольку нет больших вершин, куда отступить перед нашествием человека. Благо, что человеку неведом Кадат в холодном пустолюдьи, иначе он стремился бы нерассудительно подняться на него.

Иногда земные боги испытывают тоску по дому и в тихие ночи наведываются на те вершины, где обитали когда-то, и тихо плачут, пытаясь затеять игры по старинному чину на достопамятных склонах. На одетой белой шапкой вершине Турай люди чувствовали слезы богов, однако думали, что это дождь, и слышали вздохи богов в стенаниях предрассветного ветра в Лерионе. На кораблях-облаках имеют боги обыкновение путешествовать, и умудренные селяне знают легенды, которые велят им держаться подальше от некоторых вершин в те ночи, когда небо заволакивают облака, ибо боги уже не снисходительны, как бывало.

В Ултаре, за рекой Скай, жил однажды старик, жаждавший увидеть богов земли, глубоко познавший семь книг тайной земной премудрости и знакомый с Пнакотскими рукописями далекого и стылого Ломара. Его звали мудрый Барзай, и селяне рассказывают о том, как он взошел на гору в ночь странного затмения.

Барзай знал о богах так много, что ведал самое их житие-бытие, и разгадал столько их тайн, что его самого почитали за полубога. Это он был мудрым советчиком жителей Ултара, когда они приняли свой удивительный

закон, запрещающий убивать кошек, и он сказал юному кумирслужителю Аталу, куда уходят черные кошки в полночь в канун Св. Иоанна. Барзай глубоко проник в премудрое знание земных богов и возымел желание взглянуть на их лики. Он полагал, что великие тайные познания богов защитят его от их гнева, и поэтому решился взойти на вершину высокой и утесистой горы Хатег-Кла в ту ночь, когда там будут боги.

Хатег-Кла стоит в каменистой пустыне далеко за Хатегом, в чью честь она названа, и вздымается, как каменная фигура в молчаливом храме. Над вершиной ее всегда дышат скорбью туманы, ибо туманы суть воспоминания богов, а боги любили гору Хатег-Кла, когда в стародавние времена обитали на ней. Земные боги часто навещаются на Хатег-Кла на своих кораблях-облаках и насылают бледную дымку на склоны горы, пока, предаваясь воспоминаниям, пляшут на высотах при ясной луне. Селяне Хатега поговаривают, худо-де подниматься на Хатег-Кла, но подниматься ночью, когда бледной дымкой кутаются луна и высоты, — это верная смерть; однако Барзай не внял им, когда пришел из сопредельного Ултара с учеником, юным кумирслужителем Аталом. Атал, всего лишь сын трактирщика, иногда испытывал страх, но отцом Барзая был владыка, обитавший в старинном замке, поэтому народные суеверия не вошли ему в кровь. И он только смеялся над пугливыми поселянами.

Барзай и Атал вышли из Хатега и отправились в каменистую пустыню, вопреки молитвам крестьян, и беседовали о земных богах у своих походных костров по ночам. Много дней были они в пути и в далекой дали видели неприступную высоту Хатег-Кла с ее ореолом скорбных туманов. На тринадцатый день подошли они к одинокому подножию горы, и Атал обмолвился о своих страхах. Но Барзай был стар и учен и страха не ведал, так что смело прокладывал путь вверх по склону, по которому не взбирался ни один человек со времен Сансу, поминаемого со страхом в тронутых тленом Пнакотских рукописях.

Путь шел по утесам и грозил пропастями, кручами и камнепадами. Потом похолодало и пошел снег, и Барзай с Аталом часто скользили и падали, прокладывая и вырубая дорогу крепкими палками и колунами. Под конец воздух потерял свою плотность, и небо изменило свой цвет, и путникам сделалось трудно дышать, но они брели все вверх и вверх, дивясь на причудливость картины и потрясаясь при мысли о том, что произойдет на вершине, когда выйдет луна и все окутает бледная дымка. Три дня взбирались они все выше и выше, стремясь к крыше мира, потом раскинули лагерь, чтобы дожидаться, когда луна затянется дымкой.

Четыре ночи было безоблачно, и луна проливала холодный свет сквозь

тонкие скорбные туманы вокруг молчаливой вершины. Потом, на пятую ночь, которая пришлась на ночь полнолуния, Барзай разглядел далеко на севере несколько густых облаков и остался бодрствовать вместе с Аталом, чтобы следить за их приближением. Пышные и величественные, плыли они лениво и неспешно вперед, располагаясь вокруг вершины высоко над соглядатаями и укрывая луну и вершину от глаз. Долгий час они соглядатайствовали, а дымка все наволакивалась, и заслон облаков делался все плотнее и беспокойнее. Барзай был умудрен премудростью земных богов и в оба уха прислушивался, когда раздадутся известные звуки, но Атала пробрало холодом дымки и восторгом и жутью ночи, и он весьма устранился. И когда Барзай начал взбираться выше и манить его с нетерпением, Атал долго мешкал, прежде чем последовать за ним.

Столь густой оказалась дымка, что идти было трудно, и хотя Атал наконец последовал за Барзаем, он едва различал его зыбкую фигуру в мутном лунном свете. Барзай опережал все больше и как будто, несмотря на свой возраст, поднимался намного легче Атала, не страшась крутизны, которая лишь сильному и безоглядному человеку не показалась бы слишком отвесной, и не препинаясь у широких черных расселин, которые Атал едва мог перепрыгнуть. И так они исступленно взбирались через утесы и пропасти, оскальзываясь и спотыкаясь, и по временам их обуревал почтительный ужас перед неоглядностью и грозным молчанием суровых ледяных вершин и немых гранитных круч.

Внезапно Барзай, одолевая ужасный утес, который как будто выпячивался вперед и преграждал путь любому скалолазу, не получившему наития от земных богов, куда-то пропал, Атал оставался далеко внизу, прикидывая, что ему делать, когда он достигнет этого места, как вдруг с удивлением заметил, что стало светлее, словно надоблачные высоты и залитое лунным светом сходбище богов были очень близки. И пока карабкался к выпяченному утесу и светлеющему небу, он испытал страхи более убийственные, чем те, которые когда-либо знал. Потом сквозь туман на высотах он услышал голос Барзая, кричавшего в исступленном восторге:

— Я слышал богов. Я слышал, как боги поют, предаваясь разгулу на Хатег-Кла! Голоса земных богов известны Барзаю-Пророку! Туман сквозистый, и луна яркая, и я увижу, как боги неистово пляшут на Хатег-Кла, которую любили, когда были молоды. Мудрость Барзая сделала его более великим, чем земные боги, и перед его волей их чары и препоны ничто, Барзай уличезрит богов, гордых богов, скрытных богов, богов земли, которым претит вид человека!

Атал не слышал голосов, которые слышал Барзай, но теперь он был

близко к выпяченному утесу и высматривал в нем уступы для ног. Теперь голос Барзая сделался пронзительнее и громче:

— Туман совсем сквозной, и луна отбрасывает тени на склон; голоса земных богов высокие и неистовые, они боятся пришествия Мудрого Барзая, который более велик, чем они... Свет луны то пропадает, то появляется, когда земные боги в пляске застыт луну, и я увижу пляшущие силуэты богов, которые скачут и истошно вопят при луне... Свет меркнет, и боги боятся...

При этих словах Атал вдруг ощутил призрачную перемену в воздухе, словно законы земли преклонились перед законами более величественными, ибо, хотя путь шел в кручу, подниматься сделалось пугающе легко и выпяченный утес почти не создал преграды, когда он его достиг и рискованно пополз по горбатому боку. Свет луны странно угас, и когда Атал ринулся вверх сквозь туманы, он услышал, как Мудрый Барзай вопит в гущении теней:

— Луна не светит, и боги пляшут в ночи; ужас царит на небе, ибо луну постигло затмение, не предреченное ни в каких книгах — ни людей, ни земных богов... Волшба без названия творится на Хатег-Кла, ибо вопль напуганных богов обратился в смех, и ледяные склоны бесконечно возносятся в черноту небес, куда я погружаюсь... Хей! Хей! Наконец-то! В полумгле я лицезрею богов земли!

И тогда Атал, головокружительно взлетая вверх по невообразимым кручам, услышал в темноте гнусный смех, перемешанный с криком, какого не слышал ни один человек никогда и нигде, если только не во Флегетоне несказанных кошмаров; с криком, в котором отдавались ужас и мука целой наваждаемой призраками жизни, сплавленные в один жесткий миг:

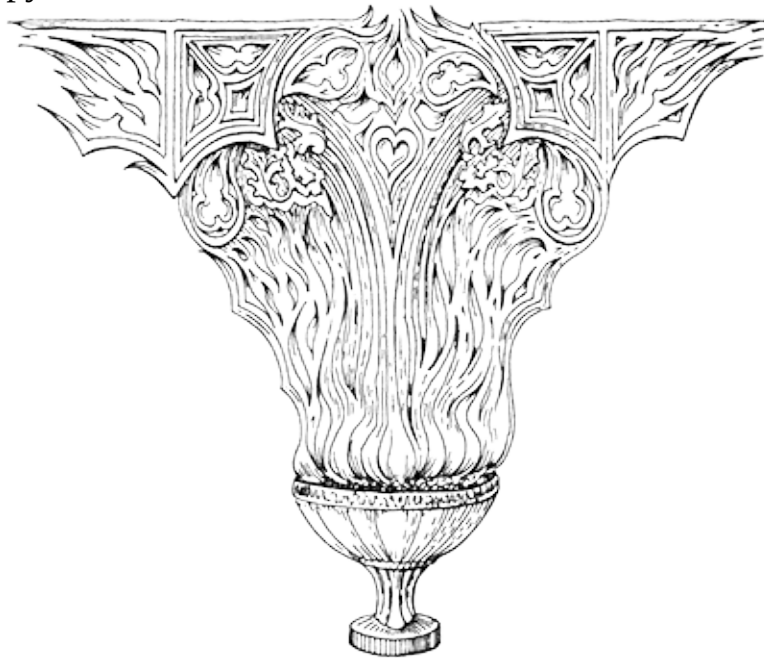
— Другие боги! Другие боги! Боги наружной кромешной тьмы, охраняющие немощных земных богов!.. Отвернись... Возвращайся. Не смотри! Не смотри! Отмщение пропастной бесконечности... Окаянная, проклятая бездна... Милосердные боги земли, я падаю в небо!

И когда Атал зажмурил глаза и заткнул уши и прятнул вниз, вспять той пугающей тяги неведомых высот, на Хатег-Кла грянул тот ужасный раскат грома, что перебудил добрых поселян на равнине и честных горожан Хатега, Нира и Ултара и по чьей вине они увидели сквозь облака то странное затмение, не предреченное ни в одной книге. И когда луна наконец вышла, Атал был в безопасности у нижнего края снегов, вдали от глаз земных или других богов.

А в тронутых тленом Пнакотских рукописях говорится, что Сансу не нашел ничего, кроме бессловесного льда и гранита, поднявшись на Хатег-

Кла, когда мир был молод. Однако мужчины Ултара, Нира и Хатега, сокрушившие свои страхи и в поисках Мудрого Барзая взобравшиеся днем на ту наваждаемую призраками кручу, обнаружили удивительный и великанский символ в пятьдесят локтей шириной, словно выбитый в голом камне резцом какого-то исполина. И символ был подобием того, который ученые книжники разобрали из той пугающей части Пнакотских рукописей, недоступной прочтению из-за своей древности. Вот что они обнаружили.

Мудрого Барзая они не нашли и так и не смогли убедить святого кумиропослужителя Атала помолиться за упокой его души. Более того, по сей день жители Ултара, Нира и Хатега боятся затмений и молятся по ночам, когда горная вершина и луна затягиваются бледной дымкой. И поверх туманов на Хатег-Кла земные боги иногда пляшут, предаваясь воспоминаниям, ибо знают, что они в безопасности; они любят являться с неведомого Кадата в кораблях-облаках и затевать игры по старинному чину, как игравали, когда земля была новой, а люди не пытались штурмовать недоступные кручи.



Празднество



Вдали от дома я был под властью чары восточного моря. В сумерках я слышал, как оно билось о скалы, и знал, что оно расстилается как раз за холмом, где криворослые ивы извиваются ветвями на фоне разволакивающегося неба и первых вечерних звезд. И я брел по неглубокому снежному новопаду, вдоль по дороге, одиноко взбирающейся вверх, где среди деревьев мерцал альдебаран, потому что праотцы призывали меня в старый город за холмом — в тот стародавний город, которого я никогда не видел, но о котором часто грезил.

Наступила пора зимнего солнцеворота, который люди зовут Рождеством, хотя знают в тайная тайных души, что он старше, чем Вифлеем и Вавилон, старше, чем Мемфис и человечество. Наступила пора зимнего солнцеворота, и я пришел наконец в древний город у моря, где жили мои родичи, которые справляли празднество в те стародавние времена, когда праздновать его было заказано, и где они и детям своим заповедали справлять празднество раз в сто лет, чтобы не забывалась память об изначальных тайнах. Мои родичи — древний род, и древним мой род был уже тогда, когда три сотни лет назад эта земля заселялась. И были они чужаки, потому что темнокожими беглецами пришли они с полуденной стороны с ее садами дурманно пахнущих орхидей и говорили на другом языке, прежде чем выучились наречию голубоглазых рыбаков. И теперь их, рассеянных по свету, связывали лишь обряды таинств, не внятных никому из живущих. Я был единственным, кто в эту ночь возвращался в древний рыбацкий город, как повелевало предание, ибо только одинокие и бедные наделены даром памяти.

Потом за вершиной холма я увидел Кингспорт, простирающийся в студеных сумерках; заснеженный Кингспорт с его старинными флюгерами и шпилями, гребнями крыш и дымовыми вытяжками печных труб, причалами и мостками, ивами и погостами; беспредельными лабиринтами крутых, узких, кривых улиц и головокружительной, увенчанной церковью крутизной в центре, которую не посмело тронуть и время; бесконечной путаницей домов в колониальном стиле, нагроможденных и раскиданных

так и саяк, то выше, то ниже, словно в беспорядке разбросанные детские кубики; с его выбеленными зимой двускатными кровлями и фронтонами, над которыми реяла седая древность; с его окнами веером и мелкими оконницами, загорающимися одно за другим в холодной полумгле, чтобы присоединиться к Ориону и вековечным звездам. И об утлые причалы билось море; берегущее свои тайны, испоконное море, из которого в стародавние времена вышел род людской.

У дороги на перевале поднималась еще более высокая круча, голая и открытая всем ветрам, и я увидел, что это могильник, где черные надгробия отвратительно торчали из снега, словно сгнившие ногти великанского трупа. Дорога, не отмеченная отпечатком ничьей ноги, была очень одинокой, и временами мне чудилось далекое жуткое поскрипывание, словно от виселицы на ветру. В 1692 году повесили четверых моих родичей за колдовство, но где именно, я не знал.

Когда дорога, петляя, стала опускаться по склону со стороны моря, я прислушался, не слышно ли веселого вечернего шума в деревне, но ничего не услышал. Тогда я вспомнил о празднике и ощутил, что этот издавна пуританский народ вполне мог придерживаться рождественских обычаев, незнакомых мне и обильных молчаливой молитвой, у домашнего очага. После того я не старался ловить звуки веселья или найти попутчиков и продолжал свой путь мимо безмолвных, освещенных изнутри деревенских домов и сумрачных каменных стен туда, где вывески старинных лавок и приморских таверн скрипели на соленом ветру и уродливые дверные молотки в порталах с колоннами поблескивали вдоль обезлюдевших немощеных переулков при свете, теплившемся в задернутых шторами окошках.

Я смотрел карты города и знал, где найду дом и очаг моих родичей. Было сказано, что я буду узнан и привечен, ибо в народе предание живет долго. Итак, я поспешил через Бэк-стрит и Сёркн-кёрт и, перейдя по свежему снегу единственную в городе целиком вымощенную брусчаткой улицу, вышел туда, где позади городских торговых рядов начинался Грин-лэйн. Старинные карты все еще оставались в силе, и я не испытывал никаких затруднений; хотя в Аркхэме мне, должно быть, солгали, сказав, что туда подходит трамвай, поскольку я не видел проводов над головой. Рельсы бы все равно скрыло снегом. Я порадовался, что надумал идти пешком, так красиво белела деревня с холма; а теперь мне не терпелось постучаться у нашего родного порога, седьмой дом налево по Грин-лэйн, старинная островерхая крыша и выступающий над улицей второй этаж, вся постройка до 1650 года.

Когда я подошел к дому, он был освещен изнутри, и по ромбовым клеткам оконниц я понял, что он почти не изменился — такой же, как был исстари. Верхняя часть нависала над узкой, с проросшей травой улицей, едва не касаясь нависающей части дома напротив, так что я оказался почти в туннеле, и совсем не нападало снега на низкий каменный порог. Тротуара не было, но двери многих домов располагались так высоко, что к ним вели двойные пролеты лестниц с чугунными перилами. Это был странный пейзаж, и поскольку я вовсе не знал Новой Англии, то никогда не видал ничего подобного. Хотя вид мне и нравился, я бы наслаждался им больше, будь на снегу отпечатки ног, и люди на улицах, и одно или два окна, не задернутых шторами.

Когда я постучал дверным чугунным молотком, мне сделалось почти страшно. Некоторый страх, возможно, копился во мне на почве странности моего наследия, и суровости холодного вечера, и необычности тишины в этом древнем городе с удивительными обычаями. И когда на мой стук ответили, мне сделалось совсем страшно, поскольку я не слышал шагов до того, как дверь, скрипя, отворилась. Но в страхе я пребывал недолго: покойное лицо стоявшего в дверях старика в шлафроке и шлепанцах меня успокоило; показав знаками, что нем, он начертил затейливое и древнее приветствие стилем по навощенной дощечке.

Он поманил меня за собой в низкую, освещенную свечами комнату с массивными стропилами и темной, чопорной, скудной мебелью семнадцатого столетия. Прошлое представало здесь вживе, поскольку ни одна из его примет не отсутствовала. Был объемистый камин и прялка, за которой ко мне спиной сидела согбенная старуха в просторной шали и глубоком чепце и, невзирая на праздничную пору, молчаливо пряла. Дом был как будто проникнут неопределенной сыростью, и я подивился, что в камине не пылает огня. Скамья-ларь с высокой спинкой стояла против ряда задернутых шторами окон по левую сторону и, казалось, не пустовала, но наверное я не знал. Что-то не понравилось мне в том, что я увидел, и я снова ощутил былой страх. Страх этот возрастал от того, чем прежде умался, ибо, чем больше я вглядывался в покойное лицо старика, тем больше сама эта покойность ужасала меня. Глаза все так и смотрели в одну точку, и кожа слишком уж отзывалась воском. Наконец я уж не сомневался, что это и не лицо вовсе, а дьявольски хитроизготовленная личина. Но дряблые руки в странных перчатках писали радужные слова по навощенной дощечке, говорившие, что мне предстоит подождать, пока меня не поведут на празднество.

Указав мне на стул и стол с грудой книг, старик удалился из комнаты; и

когда я засел за чтение, то обнаружил, что книги тронуты пылью и тленом веков и что в их числе фантастические «Чудеса науки» старого Морристера, ужасные «Sadnscismus Triumphatus» Джозефа Глэнвила, отпечатанные в 1681 году, убийственная «Daemolatria» Ремигиуса, набранная в Лионе в 1595 году, и, что хуже всего, непоминаемый «Некрономикон» безумного араба Абдуль Альхазреда в запрещенном латинском переводе Олауса Вормиуса — книга, которую я никогда не видел, но чудовищные слухи о которой знал.

Никто не заговаривал со мной, но я слышал поскрипывание уличных вывесок на ветру и жужжание прялки, колесо которой молчаливая старуха в чепце все вращала и вращала. И сама комната, и люди, и книги отдавали чем-то очень болезненным и вызывали во мне дурные предчувствия, но старое предание праотцов призывало меня на странные пиршества, и я настроился ожидать необычных вещей.

Итак, я попытался читать и вскоре, трепеща, весь ушел в то, что обнаружил в окаянном «Некрономиконе», некую мысль и некое сказание, слишком тошнотворные, чтобы их принимал здравый смысл и рассудок; однако окончательно мне сделалось не по себе, когда почудилось, будто одно из окон против скамьи с высокой спинкой, словно украдкой, закрылось. Закрылось оно как бы вслед некоторому жужжанию, которое не было жужжанием старухиной прялки. Однако то ли это было, то ли нет, ведь старуха вертела прялку изо всех сил, и раздавался бой древних часов.

Вскоре я потерял ощущение, что в комнате присутствуют люди; и читал напряженно и с содроганием, когда старик вернулся обутый в сапоги и одетый в свободное старинное платье и уселся на той самой скамье, где я не мог его видеть. Это было поистине нервное ожидание, и святотатственная книга у меня в руках делала его вдвойне таковым.

Когда же пробило одиннадцать, старик поднялся, бесшумно проскользнул в угол к громоздкому резному комоду и достал два плаща с капюшонами; один из которых накинул сам, другим окутал старуху, оборвавшую свое равномерное прядение. Потом они оба двинулись ко входной двери; старуха, вихляя всем телом, едва ползла; старик же, после того как забрал ту самую книгу, которую я читал, поманил меня за собой, низко надвинул капюшон на свою неподвижную личину.

Мы вышли на улицу в безлунные и кривые хитросплетения этого неимоверно древнего города; вышли, когда огни в задернутых шторами окнах начали гаснуть один за другим, и Сириус, называемый также Собачьей звездой, ощерился на сонм укутанных в плащи с капюшонами фигур, молчаливо хлынувших из каждой двери и собиравшихся в

чудовищные шествия по той и по этой улице, мимо поскрипывающих вывесок и допотопных фронтонов, крытых соломой крыш и окон с ромбовыми клетками оконниц; процессии извивались почти отвесными улочками, где ветхие дома наседали друг на друга и оседали друг с другом заодно; процессии ползли открытыми церковными дворами и погостами, и ныряющие фонари светили там жуткими кривыми созвездиями.

Среди этих затаивших молчание сонмищ я следовал за своими безгласными провожатыми — задеваемый локтями, которые казались противоестественно мягкими, теснимый грудями и животами, которые казались ненормально податливыми, но так и не увидев ни одного лица и не услышав ни одного слова. Все выше и выше вползали наводящие нездешнюю жуть вереницы, и я понял, что потоки сходятся вместе, стекаясь к чему-то вроде сердцевины кривых улочек на вершине крутого холма в центре города, где громоздилась огромная белая церковь. Я видел ее с перевала дороги, когда смотрел на Кингспорт в только что спустившихся сумерках, и она заставила меня вздрогнуть, потому что Альдебаран в течение мига, казалось, сидел на ее призрачном шпиле, не двигаясь ни туда, ни сюда.

Вокруг церкви было открытое место: с одной стороны погост с призрачными деревьями, а с другой — наполовину мощенная площадь, которую ветер почти оголил, сметая снег, и которую обступали зловеще ветхие дома с островерхими крышами и нависающими фронтонами. Огоньки надгробных свечей плясали над могилами, вырывая из тьмы отвратительные картины, но странным образом не отбрасывая теней. За кладбищем, там, где не было домов, я мог заглянуть за вершину холма и наблюдать мерцание звезд в гавани, хотя город лежал невидимым в темноте. Только изредка жутковато нырял фонарь, ползущий по извилистым улочкам вдогонку всему сонму, теперь безмолвно вливающемуся в церковь. Я дожидался, пока вся толпа не просочится в черный дверной проем. Старик тянул меня за рукав, но я твердо вознамерился войти последним. Переступая порог в неведомое темное кишение храма, я обернулся, чтобы бросить взгляд на мир за порогом, где кладбищенское свечение отбрасывало блеклый отсвет на мощеную вершину холма. При этом я содрогнулся. Ибо, как ни сметало ветром снег, несколько белых клочков у самой двери все же осталось; и мне на миг померещилось, что снег лежал нетронутым, на нем не было отпечатков ног, в том числе и моих!..

Церковь едва освещалась всеми внесенными в нее фонарями, ибо сонмище почти уже все исчезло. Оно текло по проходу между высокими

скамьями к откинутым крышкам лазов в подвалы, которые мерзко разинулись под самой кафедрой проповедника, и беззвучно в них уползало. Безмолвно я последовал по истертым ступеням в темную душную погребальницу. Хвост этой плавно выгибающейся вереницы ночного шествия казался весьма ужасным, и когда я увидел, как он, извиваясь, уползает в древнюю гробницу, он показался и того ужаснее.

Потом я заметил в полу погребальницы отверстие, куда и ускользало все сонмище; через минуту мы спускались по грубо тесаным камням узкой винтовой лестницы, сырой и духовитой странным духом, которая бесконечным извоём уходила во чрево холма мимо одноликих стен из потеющих сыростью каменных плит и поветшавшей извести. Это было молчаливое и зловещее нисхождение; не знаю, сколько прошло времени, когда я начал замечать, что ступени и стены изменяются по своей природе, делаясь словно бы вырубленными в толще скалы. Что меня тревожило больше всего, так это то, что мириады шагов не производили шума и не вызывали эха. Спустя века нисхождения я заметил ответвления коридоров или нор, из неведомых укромов темноты выходящих в этот шахтный ствол мрачных тайн. Вскоре они сделались излишне многочисленными, словно нечестивые погребальни, безмянно опасные; их тлетворный дух разложения стал вовсе невыносим. Я понимал, что мы, должно быть, прошли холм насквозь и опустились под самый Кингспорт, и содрогнулся от того, что город может так застареть и очерветь подземным злом.

Потом я увидел мертвенно-бледное мерцание мутного света и услышал скрытный плеск тусклых вод. И снова содрогнулся, ибо мне приходилось не по нраву то, что несла с собой эта ночь, и с горечью пожалел, что праотцы призвали меня на этот древний обряд. Ступени и шахта раздались в ширину, и я услышал другой звук, жидкое, подвывающее пересмешение звука бессильной флейты; и внезапно предо мной распростерлось необъятное пространство некоего нутряного мира — обширный губчатый берег, освещенный изрыгами зеленовато-белесого огненного столпа и омываемый широкой маслянистой рекой, истекающей из бездн неведанных и негаданных, чтобы слиться с вековечным океаном в его чернейших глубинах.

Почти сомлевший и задохнувшийся, взирал я на тот безблагодатный Эреб великанских поганок, зеленовато-белесого пламени и мрачного водоворота и видел, как сонм капюшонов собирается полукругом у огненного столпа. Это был обряд солнцеворота, более древний, чем человек, и предназначенный его пережить; первобытный обряд обетования весны за снегами; обряд огня и вечнозеленого древа, света и музыки. И в

этом стигийском вертепе я видел, как они поклоняются мерзейшему огненному столпу и, загребая пригоршнями клейкую поросль, фосфоресцирующую какой-то хлорированной зеленью, бросают ее в воду. Я видел нечто бесформенно скорчившееся подальше от света, шумно насвистывающее на флейте; и под насвистывание этой твари мне почудилось не по добру приглушенное трепетание в злосмрадной темноте, куда не проникал мой взгляд. Но тот полыхающий столп — вулканически извергающий из бездн неизвестных и неохватных; не отбрасывающий теней, как полагалось бы чистому пламени; покрывающий селитристый камень тошнотворно-зеленой ядовитостью меди, — он устрашал меня больше всего. Ибо во всем этом бурлящем горении не было теплоты, но лишь сырой холод смерти и тления.

Мой проводник, извиваясь, протиснулся прямо к мерзкому пламени и стал совершать по строго заведенному чину обряд перед обращенной к нему полукругом толпой. В определенных местах они кланялись, пресмыкаясь во прахе, особенно когда он воздевал над головой гнусный Некрономикон; и я пресмыкался вместе со всеми, ведь на это празднество меня призвало праотеческое писание. Потом старик подал знак в темноту почти невидимому игроку на флейте, и тот игрок перевел слабое однозвучие своей флейты в более громкий звук в другом ключе, чем и поспешествовал ужасу недуманному и негаданному. Вот тогда-то я и осел почти до подернутой лишайниками земли, пронзенный страхом не от мира сего, вообще не от мира, но лишь от безумных провалов меж звездами.

Из невообразимых чернот позади тлетворного свечения холодного пламени, из подземельных пространств, сквозь которые катит свои маслянистые воды та река, сверхъестественно жуткая, неслыханная и негаданная, появилась с размеренным хлопаньем стая прирученных и вышколенных крылатых тварей, многоличье которых ни здоровый глаз не ухватывал целиком, ни здравый рассудок не удерживал. Они были не совсем враны и не совсем кроты, не сарычи-стервятники, не муравьи, не кровососы-нетопыри и не разобранные по частям люди, но нечто такое, что мне невозможно и не пристало помнить. Они неуклюже хлопали в воздухе перепонками на ногах и крыльях; и как только они подлетали к праздничному сонму, капуцины хватали их, усаживались на них верхом и один за другим отправлялись вдоль погруженных в вечную тень берегов в провалы и галереи безотчетного и безымянного страха, где ядовитые источники питают страшные и прикровенные потоки.

Старуха, расставшаяся со своей прялкой, отправилась со всем сонмом, старик же оставался лишь потому, что я отказался по данному им знаку

поймать одну из тварей и оседлать ее, подобно всем прочим. Когда я нетвердо встал на ноги, то увидел, что бесформенный игрок на флейте убрался из виду, но два зверя терпеливо дожидались рядом. Я все не решался, и старик извлек стило и дощечку и начертал, что он истинно заступил место моих праотцев, которые завели обычай справлять солнцеворот в этом древнем месте; что возвращение мое было предопределено и что самые сокровенные таинства еще впереди. Он начертал это очень старинным письмом и, видя, что я все еще колеблюсь, вытащил из складок своей хламиды именной перстень и часы, и то и другое с моим семейным гербом, в доказательство того, что он есть тот, за кого себя выдает. Но это было страшное доказательство, ибо из старинных документов я знал, что часы эти были погребены вместе с моим дедом в четвертом колене в 1698 году.

Тут же старик поднял со лба капюшон, указывая мне на черты семейного сходства в своем лице, но я лишь содрогнулся, потому что был уверен, что это просто бесовская личина. Неуклюжие летуны начинали от нетерпения царапать лишайник, и я видел, что и старик впадает почти в такое же нетерпение. Когда одна из тварей заковыляла было, отступая боком, он быстро повернулся, чтобы ее удержать, но сделал это так резко, что сбил свою восковую личину. И тут, поскольку этот дурной кошмар заслонял мне путь к каменной лестнице, по которой мы сошли вниз, я бросился в маслянистую подземную реку, которая, кипя бурунами, неслась куда-то к морским пещерам; бросился в этот гнилостный сок ужасов земляного нутра, пока неистовость моих воплей не обрушила на меня все могильные легионы тех, кого могут скрывать эти чумные бездны...

В больнице мне сказали, что меня окоченелого нашли на заре в Кингспортской гавани, вцепившимся в плавучую перекладину, которую случай послал мне во спасение. Мне сказали, что вечером на холме я пошел не по той развилке и свалился со скал в Орандж-Пойнт, вот что они вычислили по обнаруженным на снегу следам. Мне было нечего сказать, потому что неправильно было все: и когда в широкие окна виднелось море крыш, где примерно только одна из пяти была древней, и когда с улиц доносился шум трамваев и авто. Меня уверяли, что это и есть Кингспорт, и я не мог отрицать.

Когда я пришел в исступление, услышав, что больница стоит неподалеку от кладбища на Централ-Хилл, меня отправили в больницу Св. Марии в Аркхэме, где мне был обеспечен лучший уход. Там мне все пришлось по душе, потому что доктора исповедовали широту взглядов и

даже употребили свое влияние на то, чтобы добыть ревностно оберегаемую копию предосудительного Альхазредовского Некрономикона из библиотеки Мискатоникского университета. Они говорили что-то такое о «психозе» и соглашались с тем, что мне полезно освободиться от навязчивых мыслей.

Итак, я прочитал ту ужасающую главу и содрогнулся вдвойне оттого, что поистине она оказалась для меня не новой. Я видел ее раньше, и пусть следы свидетельствуют о чем угодно, а где я видел ее раньше, об этом было бы лучше забыть. В яви нет никого, кто бы мог мне об этом напомнить, но мои дремы исполнены дурного кошмара из-за фраз, которые не решусь цитировать. Приведу только один абзац, изложенный по-английски так, как я сумел передать с неуклюжей вульгарной латыни.

«Пустоты преисподние, — пишет безумный араб, — не предназначены для глаз, которые зрят, ибо дивные их дела суть страшные и ужасные. Проклята та земля, где мертвые мысли живут в новой и необычной плоти; и скверна тот разум, чье седалище не голова. Мудро сказал Ибн Счакабао, что радостна та погребальня, в которую не полагали кудесника, и радостна ночь того города, в котором все кудесники развеяны пеплом. Ибо старая молва говорит, что душа спознавшегося с дьяволом не спешит оставить свой скудельный сосуд, но утучняет и наставляет самого червя сосущего, пока из праха разложения не родится мерзкая жизнь; и тупые земляные могильщики умудряются лукаво на то, чтобы земле досаждать, и раздуваются уродливо, чтобы ее терзать. Огромные язвины протачиваются там, где пор земли должно быть достаточно, и научается ходить тварь, которая должна пресмыкаться».



Музыка Эриха Занна



С пребольшим старанием разбирался я в картах города, но рю д'Осей так больше и не нашел. И это были не только самые последние карты, ибо названия меняются, и я это знаю. Нет, я рылся в глубокой городской старине и самолично перепробовал все места, как бы они ни назывались, которые могли соответствовать улице, известной мне как рю д'Осей. Но, что бы ни делал, я не могу найти — и это унижительный факт — ни дома, ни улицы, ни даже окрестностей, где в последние месяцы моего скудного существования университетского любителя метафизики услышал я музыку Эриха Занна.

Что у меня отшибло память, это меня не удивляет: самочувствие мое — и физическое, и душевное — было серьезно расстроено в течение всего моего жительствова на рю д'Осей, и я припоминаю, что не важивал туда никого из немногих своих знакомых. Но чтобы я не мог найти того места снова, одновременно и необычно, и смущает; ведь оно было в получасе ходьбы от университета и отличалось такими странностями, которые едва ли забудешь, стоит там побывать. Я ни разу не встречал человека, который видел бы рю д'Осей.

Эта самая рю д'Осей лежала за мрачной рекой, зажатой двумя рядами высоких кирпичных амбаров с мутными стеклами, и пересекалась тяжеловесным мостом из темного камня. Над рекой всегда висел полумрак, словно чад от соседних фабрик вечно затмевал солнце. К тому же река издавала зловоние, какого я больше нигде не слыхал и которое вдруг да поможет однажды ее найти, поскольку я должен узнать этот смрад моментально. За мостом шли узкие, мощенные булыжником улочки с поручнями; потом начинался подъем, сперва плавный, а на подступах к рю д'Осей неимоверно крутой.

Другой такой узкой и крутой улицы, как рю д'Осей, я не видывал. Эта почти отвесная круча заказана была для всякого транспорта, в нескольких местах поднимаясь лестничными маршами и заканчиваясь на самом верху высокой, повитой плющом стеной. Тротуар был неровным — то булыжники, то брусчатка, то голая земля с пробивающейся иссера-зеленой

растительностью. Высокие дома с островерхими кровлями, невероятно старые, клонились как попало вправо и влево, вперед и назад. Случалось, супротивная пара, клонясь друг другу навстречу, почти сходилась над улицей, словно арка, застилая прохожим весь свет. Через мостовую от дома к дому перекидывалось над головой несколько мостиков.

Обитатели рю д'Осей оказывали на меня странное впечатление. Сперва я думал, это оттого, что все они были нелюдимы и молчаливы, но потом решил, это оттого, что все они очень стары. Не знаю, как меня угораздило поселиться на такой улице, но я был сам не свой, когда переехал туда. Я жила по разным убогим углам, постоянно выдворяемый за неимением денег, пока наконец не попал на ту развалюху, готовую того и гляди рухнуть, содержащуюся параличным Бландо. Это был третий дом по улице сверху и порядком выше всех остальных.

Моя комната была на пятом этаже; и единственная на весь этаж с постояльцем, поскольку дом почти пустовал. В вечер своего приезда я услышал странную музыку с мансарды под островерхой крышей и на другой день спросил об этом Бландо. Он стал рассказывать, что это старый немец, скрипач-альтист, немой со странностями, подписывающийся именем Эриха Занна; по вечерам он играл в оркестре какого-то дрянного театра, что и послужило причиной его выбора — он жил в высокой на отшибе мансарде, узкое окно которой являлось той единственной на всю улицу точкой, откуда можно было посмотреть поверх замыкающей стены на склон и панораму вдаль.

С того времени я слышал Занна каждую ночь, и хотя он не давал мне спать, не мог отделаться от причудливого обаяния его музыки. Не являясь большим знатоком в этом искусстве я тем не менее был уверен, что ни одна из его композиций не имела ничего общего с музыкой, слышанной мною раньше; и заключал, что как композитор он одарен чрезвычайно оригинальным талантом. Чем дольше я слушал, тем сильнее очаровывался, пока неделю спустя не решился свести знакомство со стариком.

Как-то вечером, когда он шел из театра, я перехватил Занна на лестничной площадке, говоря, что хотел бы с ним познакомиться и побыть у него, когда он играет. Он был маленьким, щуплым, сгорбленным человечком, уродливым, как сатир, с голубыми глазами, почти без волос и в обносках; он будто разом был напуган и рассержен первыми же моими словами. Явное мое дружелюбие, однако, в конце концов смягчило его; он нехотя сделал мне знак подниматься за ним под крышу по темной скрипучей лестнице с расшатанными ступеньками. Его комната, одна из двух в мансарде, была на западной стороне и смотрела на высокую стену,

замыкающую верхний край улицы. Огромная по размеру, она казалась еще больше из-за невероятной пустоты и запущенности. Из обстановки была лишь узкая железная лежанка, умывальник в грязных пятнах, столик, объемистый книжный шкаф, железный пюпитр для нот и три старомодных стула. Нотные листы беспорядочно грудились на полу. Стены из голых досок, похоже, не знавали штукатурки; обилие паутины и пыли придавало всему вид заброшенный и отнюдь не жилой. Красота для Эриха Занна явно жила в космических далях воображения.

Усадив меня жестом, немой старик затворил дверь, замкнул массивный деревянный засов и зажег свечу в придачу той, что принес с собой. Потом он извлек скрипку из потраченного футляра и уселся с ней на менее неудобный из стульев. Он не стал устанавливать нот на пюпитре, а, не предлагая мне выбора и играя по памяти, заморозил меня на целый час созвучиями, никогда мною прежде не слыханными, — наверное, его собственного сочинения. Описать в точности их природу невозможно для несведущего в музыке человека. Это была своего рода fuga с повторяющимися пассажами самого чарующего свойства, но для меня более примечательная полным отсутствием нездешних звуковых вибраций, подслушанных мною из моей комнаты.

Те созвучия неотвязно сидели у меня в памяти, и я часто их напевал про себя или неверно насвистывал, так что, когда музыкант наконец опустил смычок, я попросил его исполнить какие-нибудь из них. Стоило мне приступить к нему с такой просьбой, как с его сморщенного лица сатира слетели скука и безмятежность, написанные на нем во время игры, и опять показалась та удивительная смесь гнева и страха, которую я заметил, когда заговорил со стариком в первый раз. Снисходя к старческим капризам, я готов был взяться его убеждать и даже попытался пробудить в моем хозяине более прихотливый настрой, насвистав некоторые созвучия из слышанных вечером накануне. Но это продолжалось не дольше минуты, ибо как только немой музыкант узнал насвистываемую мелодию, лицо его передернулось выражением, не поддающимся никакому разбору, и худая старческая рука потянулась зажать мне рот. При этом он выказал и дальнейшую свою эксцентричность, боязливо оглядываясь на единственное зашторенное окно, словно страхась некой интрузии — оглядка, вдвойне нелепая, поскольку высокая и недостижимая мансарда вздымалась надо всеми примыкавшими крышами, превращая окно в ту одну точку на всей крутой улице, откуда было возможно, как сказал мне консьерж, увидеть через стену верхний ее край.

Брошенный стариком взгляд привел меня на ум фразу Бландо, и я

решил окинуть взглядом головокружительную и пространную панораму залитых луной крыш и городских огней за вершиной холма, которая — из всех обитателей рю д'Осей — открывалась лишь этому вздорчивому музыканту. Я двинулся к окну и отвел было в сторону невзрачные шторы, когда с яростью испуга, еще больше прежнего, немой жилец мансарды снова набросился на меня; на сей раз кивая головой на дверь и нервически сисясь обеими руками меня к ней подтащить. Я попросил меня отпустить и сказал этому опротивевшему мне человеку, что тотчас уйду. При виде моего отвращения и обиды собственный его гнев, кажется, поутих и хватка его ослабела, когда он вдруг снова за меня ухватился, на сей раз дружеским образом, и усадил на стул; потом, пройдя с тоскливым видом по комнате к захламленному столику, пустился многословно писать карандашом на том вымученном французском, по которому сразу был виден иностранец.

Записка, наконец мне врученная, призывала к терпимости и прощению. Занн писал, что он стар, одинок и страдает странными страхами и нервным расстройством, связанным с музыкой и другими вещами. Он порадовался, что я услышал его игру, и хотел бы, чтобы я снова пришел и не обижался на его эксцентричность. Но свои фантастические созвучия он не может играть ни при ком и не выносит их слышать ни от кого; как не выносит, чтобы кто-то касался чего бы то ни было в его комнате. До нашего разговора в коридоре он не знал, что в моей комнате слышна его игра, и теперь он просит, не уговорюсь ли я с Бландо и не сниму ли комнату ниже, где я не слышал его по ночам. Издержки платы, писал Занн, он бы взял на себя.

Пока я сидел, разгадывая его отвратительный французский, мои чувства к старику несколько смягчились. Он был жертвой физических и нервных страданий, как и я сам, а занятия метафизикой преподали мне душевную доброту. В тишине от окна долетел легкий звук — наверное, ночной ветер стукнул ставнем, — но по неизвестной причине я содрогнулся почти так же мучительно, как и Эрих Занн. Итак, дочитав, я простился с хозяином за руку и отбыл как друг.

На другой день Бландо сдал мне комнату подороже на третьем этаже, между апартаментами престарелого ростовщика и комнатой почтенного обойщика мебели. На четвертом этаже постояльцев не было.

Вскоре я обнаружил, что Занн совсем не такой охотник до моего общества, как мне показалось, пока он убеждал меня переехать с пятого этажа. Он не приглашал меня заходить, а если я и навещался, выглядел беспокойно и играл вяло. Это происходило всегда по ночам — днем он спал и никого не впускал. Нравиться больше он мне не стал, но мансарда и

нездешняя музыка наводили на меня некое странное обаяние. Я испытывал удивительное желание посмотреть из его окна на переливчатый блеск шпилей и крыш, раскинувшихся, наверное, по незримому склону; однажды я взошел на мансарду в часы спектакля, когда Занн отсутствовал, но дверь была на запоре.

В чем я преуспел, так это в подслушивании, когда немой старик играл по ночам; поначалу я прокрадывался на цыпочках на свой прежний пятый этаж, потом осмелел до того, что по последним ступеням взобрался на самую островерхую крышу. Там, на узкой площадке под запертой дверью, часто слышал я звуковые вибрации, исполнявшие меня неизъяснимого страха и трепета — трепета смутного восхищения и лелеющей себя тайны; страшное было не то чтобы в звуках, не в них самих — страшное было в том, что они производили вибрации, дававшие знать о том, чего не бывает на этом земляном шаре, и в том, что с известными промежутками они принимали свойство многоголосия, которое, по моему разумению, едва ли могло быть достигнуто игрой в одиночку. Без сомнения, в Эрике Занне жил гений неистовой силы. Неделя шла за неделей, игра становилась все необузданней, а старый скрипач впадал все больше в изнеможение и скрытность, так что жалость брала смотреть на него. Теперь он отказывался впускать меня в любое время и сторонился, если нам случалось встречаться на лестнице.

Потом как-то ночью, когда я слушал под дверью, визжащая скрипка разразилась разноголосым хаосом звуков; эта кромешная свистопляска ввела бы меня в сомнение насчет собственного пошатнувшегося рассудка, если бы из-за забранной на засов двери не пришло плачевного подтверждения, что этот кошмар реален — ужасный, нечленораздельный крик, который может издать только немой, выпускаемый лишь в минуты самого жуткого страха или тоски. Я стучал снова и снова в дверь, не получая ответа. Потом ждал во мраке площадки, исходя дрожью от холода и страха, пока не расслышал слабых попыток несчастного музыканта подняться при помощи стула. Считая, что он только что пришел в сознание после обморока, я опять застучал, ободряюще называя свое имя. Я слышал, как Занн проковылял к окну, закрыл и ставни и шторы, потом доковылял до двери, мешкаясь, отворил и впустил меня. На сей раз мое присутствие пришлось ему действительно в радость; его искаженное лицо просветлело от облегчения, когда он хватался за мою куртку, как дитя хватается за материнские юбки.

Жалко дрожа, старик принудил меня сесть на стул, сам повалился на другой, возле которого на полу были брошены как попало его скрипка и

смычок; некоторое время он бездейтельно сидел, странно покачивая головой, но всем своим видом парадоксально напоминая человека, напряженно и в полном испуге прислушивающегося. В результате как будто удовлетворенный, он пересел на стул у столика, коротко черкнув, передал мне записку, вернулся к столу, где и принялся быстро и безостановочно писать. Записка взывала, во имя сострадания и ради собственного моего любопытства, дожидаться, не сходя с места, пока он не даст на родном немецком полного отчета обо всех чудесах и страхах, которые обстоили его. Я ждал; перо немного так и летало.

Должно быть, час спустя, когда я все еще ждал, а лихорадочные писания старого музыканта все еще продолжали страница за страницей ложиться на бумагу, я увидел, как Занн привскочил, словно дало о себе знать некое ужасающее потрясение. Вперившись в занавешенное окно, он с содроганием слушал, и в этом не могло быть ошибки. Потом то ли сам я расслышал, то ли мне почудился звук; звук был, однако, не страшный — скорее, неразлично тонкая и бесконечно далекая музыкальная вибрация, заставлявшая думать, что играют в одном из соседних домов или где-то по ту сторону высокой стены, за которую мне так и не удалось заглянуть. Действие, оказанное им на Занна, было ужасным, ибо, роняя перо, он внезапно поднялся, схватился за скрипку и разодрал ночь самыми неистовыми каденциями, какие когда-либо исходили из-под смычка.

Бесполезно было бы описывать игру Эриха Занна в ту страшную ночь. Ничего более ужасного я никогда не слышал, кроме того, теперь я мог видеть выражение его лица и понимал, что движет им чистый страх. Он старался наделать шума, от чего-то отгородиться, что-то от себя отвести, заглушить, но что именно, я не имел представления, хоть и чувствовал — оно внушало бы ужас и трепет. Игра становилась все затейливей, исступленней, истеричней, тем не менее до последнего сохраняя то высокое качество гениальности, которым, безусловно, обладал удивительный старик. Я узнал мелодию — это была необузданная венгерка, пользующаяся у публики популярностью, и мне пришло в голову в эту минуту, что я первый раз слышу, чтобы Занн играл сочинение другого композитора.

Выше и выше, неистовей и неистовей слезный вой отчаянной скрипки. Музыкант исходил противоестественным потом и кривлялся, как обезьяна, все так же с безумным выражением лица уставясь на зашторенное окно. В бешеном напряжении всех его жил я почти видел тень сатиров и вакханок, пляшущих и вьющихся бездумно сквозь kloкочущие пучины хмары, дыма и огненных сполохов. А потом мне послышалась мелодия более

пронзительная и ровная, которая исходила как будто не от скрипки — спокойная, мерная, глумливая мелодия из далекой дали на западе.

Тут, на завывающем ночном ветру, который разгулялся снаружи, словно в ответ неистовой музыке в доме, загрохотал ставень. Истошно кричащая скрипка Занна превзошла самое себя, издавая звуки, какие, думается, она не способна издать. Ставень застучал громче, открылся и стал колотиться об окно. Потом от настойчивых ударов стекло разлетелось вдребезги, и в комнату ворвался ледяной ветер, от которого затрепетало свечное пламя и разлетелись листки со стола, исписанные Занном, пытавшимся выдать свой страшный секрет. Глядя на Занна, я понял, что он за гранью здравого разума. Голубые глаза выпучились из орбит, остекленелые и невидящие, и неистовая игра превратилась в бессмысленное, механическое, кошмарное беснование, на которое перо не даст и намека.

Внезапный порыв, сильнее остальных, подхватил рукопись и полетел с ней к окну. В отчаянии я поспешил за листками, но их сдунуло прежде, чем я подоспел к разбитым оконным переплетам.

Тут я вспомнил о своем старом желании посмотреть из окна, единственного на рю д'Осей, откуда можно увидеть склон по ту сторону и простиравшийся внизу город. Было очень темно, но должны были, как всегда, гореть городские огни, и я ожидал их увидеть в дожде и урагане. Однако, когда я посмотрел сквозь это высокое узкое окно, посмотрел при потрескивающем свечном пламени и безумно завывающей в лад с ночным ветром скрипке, я не увидел распростертого внизу города и дружелюбно поблескивающих огней на знакомых улицах, но лишь черноты безграничных пространств, неисповедимый универсум, полный движения и музыки и не знающий подобия на земле. И пока я стоял так, в ужасе глядя в окно, ветер задул обе свечи в древней каморке под крутым кровельным скатом, оставив меня в лютой и непроницаемой тьме, где предо мной были хаос и свистопляска, а позади — дьявольское беснование исходившей ночным воем скрипки.

Нетвердо ступая во мраке, не имея возможности запалить свет, я налетел на стол, опрокинул стул и наконец добрался ощупью до того места, где тьма надрывалась убийственной музыкой. Попытки спастись самому и спасти Эриха Занна я не мог не сделать, какие бы силы мне ни противостояли. Раз мне почудилось какое-то леденящее прикосновение, и я завопил, но мой вопль не смог перекрыть чудовищной скрипки. Внезапно из темноты нанес мне удар обезумело снующий смычок, и я понял, что скрипач где-то рядом. Я на ощупь подался вперед, нашарил спинку Заннова

стула, потом взял его за плечо и потряс, силясь вернуть его в чувство.

Он не отозвался, и скрипка все визжала, не утихая. Я передвинул руку к его голове, сумев остановить ее механическое покачивание, и прокричал ему в ухо, что мы оба должны бежать от неизвестной ночной нежити. Но он не ответил мне и не умерил неистовства своей неслыханной музыки; по всей же мансарде, в сумятице тьмы и звука, казалось, плясали странные струи ветра. Когда я коснулся рукой его уха, меня передернуло, отчего, я не знал — не знал, пока не задел неподвижного лица, как лед, холодного, застывшего, бездыханного лица, с бесполезно выпученными во мрак остекленелыми глазами. И тогда, каким-то чудом найдя дверь и громадный деревянный засов, я отчаянно ринулся прочь от истукана со стекляшками глаз и мерзопакостного воя окаянной скрипки, явившейся все больше уже в самое время моего бегства.

Скачками летя по бесконечным лестницам темного дома; опрометью на узкие крутые ступени улицы с покосившимися домами; с грохотом вниз по ступеням и булыжнику к более пологим улицам и смрадной теснине реки; не переводя духа по громадному темному мосту к более широким и здравоносным улицам и бульварам, знакомым нам, — вот те жуткие впечатления, так и не оставляющие меня. И припоминаю, что ветра не было и не было луны и что город мерцал всеми своими огнями.

Вопреки моим престарательным поискам и расспросам, я с тех пор так и не сумел отыскать рю д'Осей. Но я не особенно сожалею об этом и о пропавших убористо исписанных листках, которые одни только и могут пролить свет на музыку Эриха Занна.



Натурщик Пикмэна



Не думай, что я помешан, Элиот, — полным-полно людей с предрассудками куда страннее. Почему ты не смеешься над дедом Оливера, который ни за что не сядет в авто? Если мне не по нраву эта проклятая подземка, это мое личное дело, и в любом случае мы быстрее доберемся на такси. Нам бы пришлось идти в гору от Парк-стрит, воспользуйся мы подземкой. Я знаю, нервы у меня больше расстроены, чем когда мы виделись в прошлом году, но делать из меня клинический экспонат вовсе не обязательно. Видит бог, причин на это хватает, и мне, я так думаю, еще повезло, что я вообще не лишился рассудка. Ну что за допрос третьей степени? Такая въедливость вроде бы не в твоём духе.

Ну что ж, если тебе просто необходимо все это выслушать, не вижу, почему бы тебя этого лишать. Может быть, тебе и следует знать, ведь ты все писал и писал мне, как сокрушенный родитель, когда прослышал, что я перестал бывать в Клубе художников и начал избегать Пикмэна. Теперь, когда он пропал, я в клуб похаживаю, но нервы у меня уже не те...

Нет, я не знаю, что стряслось с Пикмэном, да и гадать что-то не хочется. Тебе, наверное, приходила мысль, что я был осведомлен в чем-то, чего другие не знали, когда я порвал с ним, — поэтому-то я и не хочу задумываться, куда он подевался. Пускай полиция обнаружит, что сможет, — а может она немного, судя по тому, что они до сих пор не проведали о старой конуре в Норт-Энде, которую он нанимал под именем Питерса. Не уверен, что сам я смог бы снова ее найти, — да и пробовать бы не стал, даже среди белого дня! Да, я знаю или боюсь, что знаю, зачем он ее держал. Я к этому и веду. И, я полагаю, ты поймешь еще прежде, чем я доберусь до конца, почему я не заявляю в полицию. Они попросят меня проводить их туда, но я бы не смог туда вернуться, даже если бы знал дорогу. Там было нечто — и теперь я не могу пользоваться ни подземкой, ни — если хочешь, можешь и над этим посмеяться — спускаться больше в подвалы.

Сдается мне, ты должен был знать, что я порвал с Пикмэном не по тем же дурацким причинам, по каким порвали с ним эти суматошные старые

бабы вроде доктора Рида, Джо Миноу и Розуорта. Болезненная мрачность в искусстве не шокирует меня, и когда человек обладает таким талантом, как Пикмэн, я почитаю за честь водить с ним знакомство, невзирая на то, в каком направлении он работает. В Бостоне не бывало художника более великого, чем Ричард Эптон Пикмэн. Я говорил это с самого начала, говорю и теперь и ни на йоту не свернул со своего, когда он выставил ту работу «Упыри угощаются». Как ты помнишь, тогда Миноу и перестал у него бывать.

Понимаешь ли, нужно великое мастерство и великое прозрение Природы, чтобы выдавать такие вещи, как Пикмэн. Любой пачкун, который гонит товар, может как попало наляпать краску и назвать свою мазню «Ночным кошмаром», или «Шабашем ведьм», или «Портретом Сатаны», но только великий художник может добиться, чтобы такая вещь наводила ужас или внушала чувство, что это правда. И все потому, что только настоящий мастер знает подлинную анатомию ужасного или физиологию страха — точные линии и пропорции того рода, которые связываются с дремлющими инстинктами или унаследованными страхами; и правильное соположение цветов в контрастных гармониях и сгущение теней, способное разбередить уснувшее чувство странного. Мне не нужно тебе объяснять, почему от какой-нибудь работы Фюсли берет настоящая дрожь, а дешевая заставка к рассказу о привидениях не вызывает ничего, кроме смеха. Что-то эти ребята уловили — что-то зыбкое, ускользающее от определения, — и это они могут на миг дать почувствовать нам. У Доре это было. У Сайма это есть. И у Пикмэна это было, как не бывало ни у кого прежде и — дай-то бог! — не будет ни у кого впредь.

Не спрашивай меня, что же это они видели. В обычной живописи, знаешь ли, есть огромнейшая разница между живыми, дышащими вещами, написанными с натуры, и теми вымученными поделками, которые коммерческая мелкая сошка гонит по накатанному в мастерских с голыми стенами. Я бы сказал, что настоящий мастер сверхъестественного и потустороннего обладает такого рода воображением, которое создает натурность, то есть из того мира призраков, в котором живет сам, он называет картины, не уступающие картинам реальной жизни. Во всяком случае, он умудряется производить вещи, которые примерно так же отличаются от фантазий со сладкой начинкой имитатора, как работы художника, пишущего с натуры, отличаются от стряпни какого-нибудь плакатиста с заочным образованием. Не дай бог, чтобы я когда-нибудь увидал то, что видел Пикмэн! Ну-ка, давай выпьем, прежде чем углубляться в подробности. Да, меня бы давно уж не было в живых, если

бы я хоть раз увидел то, что видел этот человек — если только он был человеком!

Как ты помнишь, сильной стороной Пикмэна были лица. Не думаю, чтобы после Гойи кто-то мог вложить столько сущей дьявольщины в сочетание черт или выверт выражения. А до Гойи, возьми ты этих средневековых ребят, которые делали химеры и горгульи на Нотр-Дам и Мон-Сен-Мишель. Они верили в разные разности — а может, и видели разные разности, ведь в Средние века были свои странные периоды. Я помню, как однажды ты сам спросил у Пикмэна за год до того, как уехал, откуда он, черт подери, набрался таких идей и фантазий. Разве не засмеялся он тебе в ответ, да еще так мерзостно? Отчасти из-за этого смеха Рид и разорвал с ним. Рид, знаешь ли, тогда как раз занялся сравнительной патологией, и его распирало от всей этой высокопарной, «только для посвященных» болтовни о биологическом или эволюционном значении тех или иных психических или физических симптомов. Он говорил, что Пикмэн день ото дня внушал ему все большее отвращение, под конец же просто начал его пугать, якобы черты и выражение лица нашего приятеля начали трансформироваться в таком духе, который ему не по нутру, в духе нечеловеческом. Он много распространялся насчет питания, и, по его словам, Пикмэн должен был быть противоестествен и причудлив в этом до крайности. Ты, полагаю, увещевал Рида, коснись вы этого в переписке, не давать волю нервам и не попускать живописи Пикмэна болезненно влиять на свое воображение. Я это сам ему говорил тогда.

Но имей в виду, что с Пикмэном я порвал не из-за чего-либо подобного. Напротив, мое восхищение им все росло; ведь та его работа «Упыри угощаются» была огромным достижением. Как ты знаешь, в Клубе отказались ее выставить, и Музей изящных искусств не пожелал принять ее в дар; могу добавить, что и покупать ее никто не соглашался, так что Пикмэн продержал ее у себя дома до тех пор, пока не исчез. Теперь она находится у его отца в Сэлеме — Пикмэн, знаешь ли, выходец из старинного сэлемского рода, и в семье не обошлось без колдуньи, повешенной в 1692 году.

Я завел себе привычку навещать Пикмэна частенько, особенно после того, как начал делать наброски к монографии о потустороннем в живописи. Возможно, именно его творчество заронило мне в голову эту мысль, во всяком случае, я нашел в нем неиссякаемый источник материала и всевозможных надумок, когда приступил к писанию. Он показал мне все имевшиеся у него живописные работы и рисунки, включая некоторые эскизы пером и тушью, за которые, я истово верю, его бы вышвырнули из

Клуба, если бы члены одного их увидели. Очень скоро я сделался чуть ли не ревностным его поборником и часами, бывало, слушал, как школьник, теоретизирования об искусстве и философские рассуждения, настолько безумные, что, судя по ним, его вполне можно было бы определить в Дэнверскую лечебницу для умалишенных. Мое поклонение вкупе с тем обстоятельством, что люди начинали все больше и больше его сторониться, сделало его со мной весьма доверительным; и как-то вечером он дал мне понять, что, если я человек не слишком болтливый и в меру тонкокожий, он мог бы показать мне кое-что весьма необычное — кое-что посильнее, чем все, вместе взятое, у него дома.

— Вы знаете, — сказал он, — есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит, — вещи, которые здесь не у места и которых здесь себе не помыслить. Улавливать обертоны души — это мое занятие, и этого не найдешь среди вульгарных, разбитых по плану улиц на искусственно насыпанной земле. Бэк-Бэй — это не Бостон, это пока еще пустое место, потому что у него еще не было времени, чтобы набраться воспоминаний и привлечь местных духов. Если здесь и есть привидения, то это кроткие привидения соляного болота и мелкой бухточки; а мне нужны человеческие призраки — призраки существ, достаточно высоко организованных, чтобы увидеть ад и понять смысл того, что они видели.

Норт-Энд — вот то место, где художнику надо жить. Если бы кто-нибудь эстетствовал неложно, он бы примирился с трущобами ради отложившихся преданий. Черт побери, приятель! Неужто вам невдомек, что места вроде этого не просто строились, а на самом деле росли? Поколение за поколением жило, чувствовало и умирало там в те времена, когда люди не боялись ни жить, ни чувствовать, ни умирать. Разве вы не знаете, что на Копс-Хилл в 1632 году стояла мельница, а к 1650 году была проложена половина из нынешних улиц? Я могу показать вам дома, которые простояли два века с половиной и больше; дома, которые были свидетелями тому, от чего любой современный дом рассыпался бы в прах. Что современные люди знают о жизни и о силах, стоящих за ней? Сэлемское колдовство вы называете фокусами — готов поспорить, моя прабабка в четвертом колене порассказала бы вам кое-что. Ее повесили на Гэллоуз-Хилл, и Коттон Мэйтер с видом святого взирает на это. Мэйтер, будь он проклят, боялся, что кто-нибудь сумеет вырваться на свободу из этой окаянной клетки однообразия — вот бы кто-нибудь наслал на него тогда чары или попил бы у него кровь по ночам!

Я могу показать вам дом, где он жил, и могу показать другой, куда он боялся входить, не смотря, что красно говорил. Он знал кое-что, о чем не

решился писать в своей дурацкой «Magnalia» или в по-детски наивных «Чудесах невидимого мира». Послушайте, вы знаете, что весь Норт-Энд был когда-то изрыт туннелями, по которым определенные люди сообщались с домами друг друга, с погостом и морем? Пусть себе расследуют и преследуют сверху на земле — а под ней изо дня в день творились дела, до которых их руки не доставали, и в ночи смеялись голоса, непонятно откуда!

Да ведь я готов поспорить, приятель, что из десяти домов, построенных до 1700 года и с тех пор не перестраивавшихся, в восьми я смогу вам показать кое-что странное в подвале. Месяца не проходит, чтобы не прочесть, что рабочие обнаружили замурованные кирпичами колодцы или арки, ведущие в никуда, то в одном, то в другом старом полуразрушенном доме, — в прошлом году один такой можно было увидеть с надземки неподалеку от Хэнчмэн-стрит. Были колдуньи — и то, что они вызывали своими чарами; пираты — и то, что они привозили с моря; контрабандисты, каперы, и, скажу я вам, люди умели жить и умели раздвинуть границы жизни, в старое-то время! Мужественный и мудрый знал не единственный этот мир — тьфу! И для сравнения подумать о настоящем — с такими бледно-розовыми мозгами, что даже клуб так называемых художников начинает дрожать и корчиться, если картина превосходит понимание участников какого-нибудь чайного застолья на Бикон-стрит!

Единственная все искупающая сторона настоящего — это то, что оно слишком тупо, чтобы уж очень пристально вглядываться в прошлое. Что на самом деле говорится в путеводителях, и записях, и в картах о Норт-Энде? Ба! Я могу наугад отвести вас в тридцать ли, сорок таких улочек, в целые лабиринты закоулков к северу от Принс-стрит, о которых не подозревает и десяток человек, не считая чернокожих, которые там кишат. Но что эти даго знают об их значении? Нет, Тёрбер, эти ветхозаветные места роскошно грезят, они преисполнены жути и свободны от пошлости, тем не менее нет такого человека, чтобы это понять или употребить на пользу. Или, скорее, есть только один человек — ибо я копался в прошлом не понапрасну!

Послушайте, вас же интересуют такие вещи, ну а если бы я вам сказал, что у меня есть другая мастерская, там, где я могу уловить темного духа древней жути и рисовать такие вещи, о которых даже помыслить не мог на Ньюбери-стрит? Естественно, я ничего не рассказываю этим чертовым старым девам в Клубе — ведь этот Рид, черт бы его побрал, и так уж втихомолку толкует, что я прямо чудовище и несусь с крутой горы

обратной эволюции. Да, Тёрбер, я давно решил, что ужасное, так же как и прекрасное, должно писать с натуры, вот я и провел некую разведку в местах, где, как не без причины догадывался, обитает ужас.

Я нанял дом, который, полагаю, не видели, кроме меня и трех человек из ныне здравствующих и принадлежащих к нордической расе. От подземки это не так уж далеко, что касается пространственного измерения, но далеко в глубь веков, что касается пространства души. Я нанял его из-за необычного старого кирпичного колодца в подвале — одного из тех, о которых уже говорил. Хибара того гляди рухнет, так что никто другой не стал бы там жить, и у меня язык не повернется сказать, как мало я за нее плачу. Окна заколочены досками, но мне это только на руку, поскольку для того, что я делаю, дневной свет не нужен. Пишу я в подвале, где инспирация гуще всего, но обставил на нижнем этаже и другую комнату. Владеет домом некий сицилиец, я же нанял его под именем Питерса.

Итак, если вы не против такого дела, я отвезу вас туда сегодня вечером. Думаю, вы получите от картин удовольствие, поскольку, как уже говорил, я дал себе там несколько воли. Это недалекое путешествие — иногда я проделываю его пешком, поскольку не хочется обращать на себя внимание, появляясь в таком месте в такси. Мы можем доехать надземкой от Южного вокзала до Бэттери-стрит, а оттуда рукой подать.

Что ж, Элиот, после таких речей мне только и оставалось, что сдерживать себя и не пуститься бегом, вместо того чтобы пойти шагом к первому свободному такси, попавшемуся нам на глаза. На Южном вокзале мы пересели в надземку и часов в двенадцать сошли с лестницы эстакады на Бэттери-стрит и повернули вдоль старого порта мимо набережной Конституции. Я не следил за перекрестками и не могу сказать, где мы свернули, но знаю, что это был не Гринау-лэйн.

Когда мы свернули-таки, то стали подниматься в полном безлюдье по самой старой и самой грязной улочке, какую мне приходилось видеть в своей жизни, с обветшавшими фронтонами, разбитыми мелкими переплетами окон и древними трубами, чьи полуразрушенные силуэты выступали на фоне лунного неба. Не думаю, чтобы на виду было три дома, которые бы не стояли со времен Коттона Мэйтера — я точно мельком видел по крайней мере два со свесом крыши, и однажды мне почудился островерхий абрис крыши, почти забытой предшественницы мансардных кровель, хотя знатоки древностей уверяют, что в Бостоне их не осталось.

С той улочки, освещенной мутным светом, мы свернули в улочку столь же молчаливую и еще более узкую и совсем безо всякого света и через минуту сделали, как мне в темноте показалось, поворот под тупым углом

вправо. Вскоре Пикмэн достал фонарик, и перед нами обнаружилась допотопная дверь о десяти филенках, на вид чертовски изъеденная древоточцем. Отперев ее, он ввел меня в голую переднюю, обшитую тем, что осталось от великолепных панелей мореного дуба — конечно, простых, но волновавших написанием о временах Эндроса, Фиппса и колдовства. Потом он провел меня в дверь налево, зажег керосиновую лампу и пригласил располагаться как дома.

Так вот, Элиот, я из тех, о ком обычно говорят «не робкого десятка», но то, что я увидел на стенах этой комнаты, должен признаться, сослужило мне плохую услугу. Знаешь ли, это были его картины — те, что он не может ни писать, ни даже вывешивать на Ньюбери-стрит, — и он был прав, когда сказал, что «дал себе волю». Вот, налей-ка себе еще — я, во всяком случае, себе налью!

Бесполезно пытаться пересказывать, на что они были похожи, потому что страшный святотатственный ужас, невероятная мерзость и нравственное злосрадие рождались из простых мазков, которых никакими словами не описать. Никаких необычных технических приемов, которые мы видим в работах Сиднея Сайма, никаких запредельных сатурнианских пейзажей и лунной плесени, которыми леденит кровь Кларк Эштон Смит. Дальний план в основном составляли погосты, дремучие чащи, скалы у моря, выложенные кирпичом туннели, обшитые панелями старинные комнаты или просто каменные своды подвалов. Кладбище на Коппс-Хилл, которое должно было быть за несколько кварталов от этого самого дома, стало излюбленным местом действия.

Безумие и чудовищность заключали в себе фигуры переднего плана — ведь нездоровая живопись Пикмэна была по преимуществу живописью портретной. Эти фигуры редко изображались полностью по человеческому образу и подобию, но часто в различной степени приближались к человеческому обличью. Большинство их хоть и казалось возможным с грубой прикидкой назвать двуногими, но они как-то заваливались вперед, и в складе их тел просматривалось что-то неотчетливо пёсье. Наверное, на ощупь в них ощущалась какая-то противная резиновая податливость. Брр, как сейчас их вижу! Чем они занимались — ну, не проси меня входить в такие подробности. Обыкновенно они кормились — не буду говорить чем. Иногда их группа была представлена на кладбище или в подземных коридорах, и часто казалось, что они дерутся за свою поживу — или, вернее, добычу, найденную в земле. И какую окающую выразительность Пикмэн порой придавал незрячим лицам этих кладбищенских трофеев! Иной раз живописалось, как подобная тварь прыгает ночью в открытое

окно или припавши сидит на груди у спящего и терзает ему горло. Одно полотно изображало их тесный кружок, сбившийся с лаем вокруг ведьмы, повешенной на Гэллоуз-Хилл, в мертвом лице которой читается близкое с ними родство.

Но не воображай, что отвратительность темы и антуража вызвала у меня дурноту. Я не трехлетний ребенок, видел много подобного и прежде. Это все лица, Элиот, проклятущие лица, плотоядно и слюняво щерящиеся с полотна, как живые! Черт побери, приятель, я думаю, что они и впрямь были живые! Этот мерзкий кудесник оживил краски гееннским огнем, а его кисть оказалась волшебным жезлом, порождающим кошмары! Подай-ка мне графинчик, Элиот!

Одна вещь называлась «Урок» — Господи, прости меня за то, что я ее видел! Послушай, ты можешь себе представить усевшихся кружком на погосте тварей, которым нет названия, горбятящихся и псообразных и научающих малое дитя кормиться, как кормятся они сами? Цена за подмышка — полагаю, ты ведь знаешь это старое предание, как спознавшиеся с нечистой силой подкладывают свое отродье в колыбели в обмен на украденных человеческих младенцев? Пикмэн показывал, что происходит с этими украденными детьми, как они подрастают, — и потом я начал усматривать мерзостное сходство между лицами людей и нелюдей. Со всей болезненностью степеней различия между откровенной нелюдью и выморочным человеком он устанавливал издевательскую преемственность и эволюцию. Эти псообразные развивались из простых смертных!

И лишь я успел задаться вопросом, как он представляет их собственных щенков, подмышкой, оставленных людям, как мой глаз наткнулся на полотно, воплощавшее эту самую мысль. Картина изображала интерьер в старинном пуританском духе: комната с тяжелыми стропилами, решетчатые окна, скамья-ларь — одним словом, неуклюжая обстановка семнадцатого века — и семья, рассеявшаяся по комнате, чтобы внимать отцу семейства, читающему из Писания. Все лица, кроме одного, отмечены благородством и благоговением, но на этом одном разлито глумление преисподней. Лицо это принадлежит молодому человеку, тому, кого, без сомнения, считают сыном этого благочестивого отца, но кто по сути является отродьем тех нечистых тварей. Это был их подмышка... И Пикмэн с иронией, перешедшей свои узаконенные границы, придал его чертам весьма уловимое сходство со своими собственными.

К этому времени Пикмэн зажег лампу в примыкающей комнате и, учтиво придерживая для меня дверь, спросил, не желаю ли я взглянуть на его «этюды современной жизни». Я был не в состоянии во всех

подробностях высказать свое мнение — от омерзения и страха не находил слов, — но, сдается мне, он вполне это понимал и чувствовал себя в высшей степени польщенным. И послушай, Элиот, клянусь тебе, я не баба, чтобы поднимать вопль из-за того, что мало-мальски отходит от обыденности. Я взрослый человек, в каких только переделках не побывал, а ты достаточно повидал меня во Франции и знаешь, что меня не так-то просто вогнать в дрожь. К тому же я по привычке к этим страшным картинам, которые превращали колониальную Новую Англию в нечто вроде продолжения ада. Так вот, невзирая на все это, следующая комната исторгла у меня настоящий вопль, и мне пришлось ухватиться за дверной косяк, чтобы не рухнуть на пол. В той комнате стоя упырей и ведьм рыскала в мире наших предков, а в этой ужас проникал в нашу собственную каждодневную жизнь!

Черт возьми, как же этот человек рисовал! Там был один этюд под названием «Случай в подземке», на котором орда гнусных тварей, выкарабкавшись через щель в полу подземки на Бойлстон-стрит из каких-то неведомых катакомб, нападала на людей, сгрудившихся на платформе. Другой изображал пляску среди могил на Коппс-Хилл, а фоном для нее служил современный городской пейзаж. Было сколько угодно видов с подвалами, где сквозь дыры и расщелины между камнями выползали чудища и слабились, скорчившись за бочками или печами, ожидая, когда их первая жертва спустится с лестницы.

На одном отвратительном полотне был представлен, скорее всего, обширный поперечный разрез Бикон-Хилла, где муравьиными полчищами злосмрадная напользуха протискивалась по узким норам, которые язвинами изрывали всю землю. Часто изображались пляски на современных кладбищах; но больше всех прочих меня сразила сцена в некоем неведомом склепе, где десятки тварей столпились вокруг того, кто держал известный путеводитель по Бостону и явно читал вслух. Все показывали на один определенный абзац, и каждое из лиц так кривилось в припадочном и раскатистом хохоте, что мне казалось, будто я слышу его дьявольские отголоски. Картина называлась «Холмс, Лоуэл и Лонгфелло погребены в Маунт-Обёрн».

Постепенно вернув себе присутствие духа и заново притерпевшись к дьявольщине и извращенности в этой второй комнате, я начал по пунктам разбираться в причинах своего тошнотворного отвращения. В первую очередь, сказал я себе, эти вещи отталкивают той полной бесчеловечностью и грубой жестокостью, которая свойственна и самому Пикмэну. Этот субъект должен быть непримиримым врагом всего

человечества, чтобы так упиваться терзаниями рассудка и плоти и распадом тленной оболочки. Во-вторых, они так ужасны как раз потому, что велики. В них то мастерство, которое убеждает, что мы смотрим на живописное полотно и воочию видим наводящих ужас демонов. Самое странное заключалось в том, что сила его совершенно не в стилизованности или прихотливости манеры. У него нет ни размытости, ни искажений, ни условности — все жизнеподобно и очерчено резкими линиями, детали прописаны с почти мучительной ясностью. Чего стоят одни лица!

То, что мы видим, это не просто художественная трактовка — это сам ад крошечный, изображенный кристально ясно в голой своей объективности. В этом и дело, черт его побери! Этот тип не фантазер и не романтик — он даже и не пытается передавать многоцветное кипение бесплотных мечтаний, но холодно и язвительно отображает некий устойчивый, механистический и прочно укорененный мир ужасного, который непосредственно и бесстрашно наблюдает во всей его кошмарной полноте и яркости. Бог знает что это мог быть за мир или где он углядел тех кощунственных тварей, скоком, шажком или ползком перемещавшихся в нем; но как бы ни сбивало с толку то, откуда почерпнуты его образы, одно было ясно: Пикмэн во всех смыслах слова — и по замыслам, и по исполнению — был последовательным, дотошным и недалеким от научного подхода реалистом.

И вот мой хозяин повел меня вниз, в подвал, где располагалась сама мастерская, и я загодя собрался с духом в ожидании каких-нибудь адских полотен. Когда мы добрались до низа сырой лестницы, он направил луч своего фонаря в угол большого незанятого пространства сразу под ней, обнаружив круглую кирпичную кромку того, что явно было огромным колодцем в земляном полу. Мы подошли поближе, и я увидел, что он был, наверное, футов пяти в ширину, со стенками в добрый фут толщиной и дюймов на шесть выступающими из земли, — старый добрый семнадцатый век, или я очень ошибался. «Вот это, — сказал Пикмэн, — и есть вход в систему туннелей, которыми когда-то был изрыт весь холм». Я обратил внимание, что он не замурован и что крышкой ему служит тяжелое деревянное колесо. Прикидывая, с чем же этот колодец должен быть связан, если фантастические намеки Пикмэна не были чистой риторикой, я поежился; потом повернулся, чтобы подняться вслед за ним на одну ступеньку и через узкую дверь пройти в приличных размеров комнату с деревянным полом, обставленную на манер мастерской. Рабочее освещение давала карбидная лампа.

Недописанные холсты на мольбертах или вприслонку у стен были

столь же ужасны, как и дописанные, по ним было видно, с какой дотошностью художник работал. Наброски делались с крайней тщательностью, и карандашные направляющие линии говорили о той миллиметровой точности, с которой Пикмэн выстраивал перспективу и пропорции. Он был великим человеком — я говорю это даже сейчас, зная все то, что знаю. Большая камера на столе возбудила мое внимание, и Пикмэн объяснил, что пользуется ею, снимая сцены для дальнего плана, и потом пишет по фотографиям в мастерской вместо того, чтобы ради того или другого вида таскать за собой свое снаряжение по всему городу. По его мнению, для продолжительной работы фотография ничуть не хуже, чем настоящая натура, и он пользуется ею постоянно.

Что-то во всех этих тошнотворных эскизах и полузаконченных чудовищах, которые осклабились вокруг, не давало мне покоя, и когда Пикмэн неожиданно откинул покрывало с громадного холста, стоявшего у неосвещенной стены, я не смог бы даже ценой собственной жизни удержаться от вопля — второй раз у меня вырвавшегося в ту ночь. Его отголоски все перекатывались под мглистыми сводами этого древнего и пахнущего селитрой подвала, и я с трудом подавил захлестнувшее меня смещение, чтобы не разразиться истерическим хохотом. Боже милосердный! Да ведь я не знаю, Элиот, что там было реальным, а что плодом горячего воображения. Сдается мне, земля не вынесла бы такой фантазии!

Это был колоссальный и безымянный святотатец с рдеющими красными глазами; в костлявых крючьях лап он держал нечто, бывшее когда-то человеком, и глодал костяк головы, как ребенок грызет леденец. Он как бы полуприсел, и пока я на это смотрел, мне казалось, что в любую минуту он может бросить свою поживу и кинуться на более лакомый кусок. Но даже не дьявольский сюжет, будь он проклят, делал картину нетленным истоком вселенского страха, не он и не эта псообразная остроухая морда с налитыми кровью глазами, приплюснутым носом и мокрыми брылами. И не чешуя на лапах, не тело с налипшей землей, не полукопыта на ногах — ничто из этого, хотя чего угодно на выбор хватило бы, чтобы человек со слабыми нервами сошел с ума.

Исполнение, Элиот, — окаянное, нечестивое, противоестественное исполнение! Как сам я есть живое существо, никогда и нигде я не видел, чтобы полотно было настолько проникнуто самым дыханием жизни. Чудище там сопresentствовало — испепеляющее глазами и гложащее, гложащее и испепеляющее, — и я понял, что только отмена законов Природы могла позволить человеку написать такую тварь не с натуры, не

заглянув в ту преисподнюю, куда не заглядывал ни один смертный, не продавшийся дьяволу.

На записанном куске полотна кнопкой удерживался бумажный листок, совсем скрутившийся в трубочку; наверное, фотография, подумал я, по которой Пикмэн собирался писать дальний план, столь же омерзительный, как и тот кошмар, который ему надлежало усиливать. Я потянулся было, чтобы расправить листок и взглянуть, как вдруг увидел, что Пикмэн вздрогнул, словно задетый выстрелом. С того самого момента, как мой потрясенный вопль пробудил непривычные раскаты эха в темном подвале, он прислушивался с особенной напряженностью, и теперь, казалось, его обуял тот страх, хотя и не сравнимый с моим, в котором было больше физического, чем психического. Он вытащил револьвер и, сделав мне знак молчать, вышел и закрыл за собой дверь.

Мне кажется, на миг у меня все отнялось. Я в свой черед прислушивался, и мне почудился слабый шорох частых шагов или стуки откуда-то со стороны, хотя я не смог определить, откуда именно. Мне представились громадные крысы, и я содрогнулся. Потом донеслось какое-то приглушенное гроыхание, от которого у меня по всему телу побежали мурашки, — что-то вроде вороватого, копошащегося стука, хотя нечего и пытаться передать в словах то, что я имею в виду. Похоже, что-то тяжелое и деревянное билось о камень или кирпич. Деревянное о кирпич — на что это меня наводило?

Звуки донеслись снова и стали громче. Почувствовалось сотрясение, словно стук деревянного приблизился. После чего последовал резкий и громкий скрип, исторгнутый Пикмэном невнятный набор звуков и оглушительная пальба из шестизарядного револьвера, разряженного театрально, — так укротитель львов палит в воздух ради эффекта. Приглушенный визг или вой и шум падения. Потом снова скрип деревянного о кирпич, пауза, и медленно открывающаяся дверь, при виде которой, признаюсь, я содрогнулся. Появился Пикмэн с дымящимся револьвером, осыпая проклятиями жирных крыс, наводнивших древний колодец.

— Черт их знает, что они жрут, Тёрбер, — ухмыльнулся он, — эти ветхозаветные туннели соприкасаются с кладбищем, и логовом ведьм, и взморьем. Но что бы там ни было, должно быть, они вконец оголодали и всем скопом устремились наружу. Похоже, ваши крики расшевелили их. Лучше держаться поосторожнее в этих старых домах: наши друзья-грызуны — это бич здешних мест, хотя иногда я думаю, что они несомненное благо с точки зрения атмосферы и колорита.

Ну вот, на этом ночное приключение закончилось. Пикмэн обещал показать мне свой дом, и, черт побери, он это сделал. Из путаницы улочек он, кажется, вывел меня в другую сторону, поскольку, увидев первый уличный фонарь, мы обнаружили, что оказались на полужнакомой улице с однообразными рядами идущих вперемежку с многоквартирными коробками старых домов Чартер-стрит, как потом оказалось, но я был слишком взбудоражен, чтобы заметить, что именно на нее мы вышли. Мы опоздали к последней надземке и отправились в центр пешком через Хэновер-стрит. Я запомнил эту дорогу. Мы свернули с Тремонт вверх на Бикон, и Пикмэн расстался со мной на углу Джой, где я опять свернул. Больше мы с ним не виделись.

Почему я порвал с ним? Наберись терпения. Подожди, позвоню, чтобы принесли кофе. Мы изрядно хвятили спиртного, но мне все чего-то не хватает. Нет, не из-за тех кошмарных картин, которые мне показал Пикмэн, — впрочем, и их, могу поклясться, было бы достаточно, чтобы сделать его изгоем в девяти из десяти салонов и клубов Бостона, и теперь ты, думаю, не удивишься, почему я держусь подальше от подземки и подвалов. Это из-за одной штуки, которую я обнаружил у себя в пальто на другое утро. Свернувшаяся в трубочку бумага, приколотая к страшному холсту в подвале, — думаю, это был снимок какой-то сцены, которую он собирался использовать в качестве дальнего плана для того чудища. Паника разразилась, как только я дотянулся, чтобы расправить фотографию, а потом, сдается, бездумно сунул ее себе в карман. Но вот и кофе — пей без молока, Элиот, так будет лучше.

Да, в этом снимке причина того, почему я порвал с Пикмэном; Ричардом Эптоном Пикмэном, величайшим художником, которого я знал, — и непотребнейшей тварью, перешедшей узаконенные жизненные пределы, чтобы броситься в бездны баснословного бреда и безумия. Элиот, старина Рид был прав, он не был человеком в буквальном смысле слова — он или родился под странной сенью ноги, или нашел способ отмыкать заповеданные пути. Теперь уже все равно, ибо он сгинул — сгинул в той легендарной тьме, где так любил бродить. Давай-ка зажжем люстру поярче.

Не спрашивай у меня объяснений или хотя бы предположений насчет того, что я предал огню. Не спрашивай меня и о том, что таилось за той как бы кротовьей возней, которую Пикмэн так хотел приписать крысам. Есть, знаешь ли, тайны, которые, возможно, восходят ко временам старого Сэлама, и Коттон Мэйтер рассказывает о делах не менее удивительных. Ты знаешь, до чего окаянски жизнеспособны картины Пикмэна — помнишь, как мы все удивлялись, откуда ему взбредают такие лица.

Ну вот та фотография была вовсе не фоном, не заготовкой, предназначенной для заднего плана. На ней было попросту снято чудовище, которое он писал на том ужасном холсте. С этой фотографии он и писал, а на заднем плане была отчетливо видна стена его подвальной мастерской во всех ее мельчайших деталях. И, клянусь богом, Элиот, фотография была с натуры...



Сторонний



Несчастен тот, кому воспоминания детства доносят лишь страх и печаль. Злосчастен тот, кто, оглядываясь назад, созерцает лишь часы одиночества в пространных и безрадостных хоромах с темными занавесями и приводящими в исступление рядами стародавних книг или трепет и жуть бдений в сумрачных куцах причудливых, великанских. Оплетенных повойными травами деревьев, безгласно качающих искривленное ветвие далеко в вышине. Такая участь ниспослана мне богами — мне, обмороченному, обманувшемуся; мне, плачевному пустоцвету. И все же со странной отрадой я отчаянно льну к этим безуханным воспоминаниям, когда мой ум поминутно грозит простереться перед теми другими...

Не ведаю, уроженец каких я мест, знаю только, что замок был бесконечно старым и бесконечно жутким, полным темных ходов и переходов и с высокими потолками, где глаз находил паучьи тенета и призрачные тени. Камень обветшалых коридоров вечно источал мерзкую сырость, и повсюду стояло злосмрадие, словно несло мертвечиной вымороченных поколений. Там никогда не бывало светло, поэтому иногда я затеплял свечи и облегчения ради неотрывно смотрел на них; за стенами замка тоже никогда не бывало солнца, ведь высоковетвенные деревья уходили выше самой выпренной из всех доступных башен. Одна черная башня досягала поверх деревьев в неведомое нездешнее небо, но она была местами разрушена, и взойти на нее можно было не иначе, как совершив почти невозможный подъем по голой стене, с камня на камень.

Должно быть, в замке я прожил годы, но меру времени я не знаю. Должно быть, некто пекся о моих нуждах, однако не могу припомнить никого другого, кроме себя, и ничего живого, кроме бесшумных крыс, нетопырей и пауков. Кто бы ни был выпестовавший меня, думаю, он должен был быть невыносимо дряхл, поскольку первым моим представлением о живом образе было некое пересмеяние моего собственного, но скривленного, сморщенного и ветхого, как сам замок. Я не видел ничего безобразно отталкивающего в костях и скелетах, которыми

были устланы некоторые из каменных крипт глубоко в недрах замка. Я сумасбродно связывал подобные вещи с житейской обыденностью и считал их более естественными, нежели живых существ с цветных картинок, которые находил во многих обметанных плесенью книгах. По этим книгам я научился всему, что знаю, в отсутствие учителя, без понуждения и наставления, и не припомню, чтобы за все эти годы я слышал человеческий голос — даже свой собственный, поскольку, хотя и читал в книгах о даре речи, мне ни разу не вздумалось заговорить вслух. Облик мой также был делом, до которого мои мысли не доходили, поскольку зеркал в замке не было, и простым чутьем я полагал себя сродни тем молодым героям, нарисованным карандашом или красками, которых видел на страницах книг. Я сознавал свою молодость, поскольку помнил так мало.

За стенами замка, по ту сторону гнилого рва и под мрачной сенью немейших деревьев, бывало, я часто лежал в думах о том, что прочитывал в книгах, и со страстным томлением представлял себя среди веселой толпы в залитом солнцем мире, простиравшемся там, за бескрайними лесами. Однажды я попытался бежать из леса, но чем дальше уходил от замка, тем плотнее прессовался сумрак и тем гуще насыщался воздух чернотуманными страхами; и тогда в исступлении отчаяния я кинулся обратно, пока не потерялся в лабиринте ночной безгласности.

Там я проводил бесконечные сумерки в дремах и ожидании, сам не зная, чего жду. И тогда в мраке одиночества тоска моя по свету перешла в такое исступление, что я больше не находил покоя и с мольбой воздевал руки к черной развалине стоящей особняком башни, которая досягала до неведомого нездешнего неба. Наконец я решился взобраться на башню: пусть даже упаду, но лучше хоть раз взглянуть на небо и погибнуть, чем жить, так и не видав дня.

В промозглых сумерках я карабкался по истертому камню древних ступеней, пока не добрался до той высоты, на которой они обрывались, и вслед за тем стал рискованно цепляться за маленькие приступки для ног. Кошмарным и грозным был тот мертвый каменный колодец без лестницы — мрачная запустелая развалина, и черные думы навевали крылья испуганных нетопырей, беззвучно бьющие воздух. Но еще кошмарней и грозней была та медлительность, с которой я продвигался: сколько бы я ни взбирался, тьма над моей головой не редела, и меня пробирало ознобом, словно от древних могил, наваждаемых призраками. Я содрогался, задаваясь вопросом, почему никак не выберусь к свету, и глянул бы вниз, если бы посмел. Я строил фантазии, что тут меня неожиданно застигло ночью, и тщетно шарил свободной рукой в поисках

амбразуры, чтобы, выглянув, посмотреть вверх и попытаться определить высоту, на которую поднялся.

Неожиданно, после целой вечности страшного слепого движения вверх по-пластунски по той вогнутой и отчаянной круче, я почувствовал, что уперся головой во что-то твердое, и понял, что добрался, наверное, до крыши, по крайней мере до какого-то перекрытия. Я поднял в темноте свободную руку и, испробовав преграду, нашел, что это камень, сдвинуть который с места было невозможно. Тогда я пустился в смертельно опасный круговой обход башни, цепляясь за малейшие опоры на осклизлой стене, пока моя испытующая рука не обнаружила, что преграда поддается, и я снова направил свое движение вверх, упершись в плиту или дверь головой, поскольку обеими руками цеплялся за стену. Сверху не проливалось ни лучика света, и по мере того, как руки ползли все выше, я понял, что на сей раз мой подъем завершен; эта плита оказалась люком, ведущим на ровную каменную плоскость большей окружности, чем нижняя часть башни, — без сомнения, это был пол некой высокой и поместительной наблюдательной вышки. Я осторожно пробрался лазом и усиливался не дать тяжелой плите люка упасть на прежнее место, но потерпел неудачу... В изнеможении простершись на каменном полу, я слышал леденящие кровь отзвуки ее падения, но надеялся заново ее поддеть, когда придет нужда.

Полагая себя на чудовищной высоте, превыше окаянного лесного ветвия, я с трудом поднялся, слепо тыкаясь в поисках окон, чтобы взглянуть на небо, луну и звезды, о которых столько читал. Но меня ожидало разочарование: я не находил ничего, кроме просторных мраморных полок, несущих на себе отвратительные прямоугольные ящики. Все больше и больше впадал я в раздумье, даваясь диву, какие же тайны, покрытые прахом, хранит этот высокий покой, на столько веков отрезанный от замка. Неожиданно мои руки уперлись в каменную створку дверного проема, шероховатую от странной резьбы. Испробовав дверь, я обнаружил, что она заперта, но, собравшись с силами, одолел запоры и отворил ее, рванув на себя. Вот тогда-то я изведаль чистейшее блаженство, какое когда-либо знал: лия ровный свет сквозь витые узоры чугунной решетки и на каменные ступени короткой лестницы, идущей вверх от новообретенной двери, стояла ясная полная луна, никогда прежде мною не виденная, кроме как лишь в дремах и в смутных видениях, которые я не осмеливался называть воспоминанием.

Воображая теперь себя достигшим самой вершины замка, я было бросился вверх по немногим ступеням за дверью, но внезапно затмившее луну облако заставило меня оступиться, и в темноте я с трудом находил

дорогу. Было все еще очень темно, когда я достиг решетки, которую осторожно испробовал и обнаружил незапертой, но которую не стал открывать из страха упасть с головокружительной высоты. И тогда вышла луна...

Самый сатанинский из всех ударов — это удар от полнейшей неожиданности и уродливой невероятности. Ничто из пережитого мной прежде по ужасу не сравнится с тем, что я увидел теперь — с фантазмагорией чудес, которые это зрелище подразумевало. Зрелище само по себе было столь же простым, сколь и ошеломительным: вместо головокружительного вида вдаль на верхушки деревьев, открывающегося с величавой возвышенности, вокруг меня вровень по одну и другую стороны решетки простиралось не что иное, как твердая земля с нарушавшими ее однообразие украшениями из мраморных плит и колонн, прятавшихся в тени древней каменной церкви, чей обветшалый шпиль призрачно мерцал в лунном свете.

Безотчетно я отворил решетку и, спотыкаясь, набрел на белую песчаную дорожку, тянущуюся в обе стороны. Пошатнувшийся и смятенный, мой рассудок все еще удерживал исступленную жажду света — и отклонить меня с моего пути не могла даже невероятная диковинность происходящего. Я не знал, не хотел знать, было ли пережитое безумием, сном или волшебством, но исполнился решимости взглянуть на блеск и веселье любой ценой. Я не знал, кто я и что я, не знал, где оказался, однако по мере того как, запинаясь, брел все дальше, озарялся чем-то вроде робкого дремлющего воспоминания, благодаря которому мой путь лежал не совсем наугад. Пройдя под аркой, я оставил позади то место с плитами и колоннами и побрел чистым полем, придерживаясь хоженной дороги, но иногда с нее сходя, чтобы пойти по лугу, где лишь случайные обломки выдавали вековое присутствие забытой дороги. Раз я пустился вплавь через быструю реку, где выветренные замшелые камни напоминали о давно пропавшем мосте.

Прошло, наверное, более двух часов, прежде чем я достиг того, что было вроде бы моей целью, — седой и древний, повитый плющами замок в тесноте заглохшего парка, знакомый до исступления и тем не менее совершенно чужой мне. Я видел, что ров засыпан и что некоторые до боли знакомые башни снесены, в то же время новые флигели приводили в замешательство своим присутствием. Но главным предметом моего интереса и восторга были открытые окна — залитые роскошным светом и выплескивающие во мглу бьющее ключом веселье. Подойдя к одному из них, я заглянул внутрь и увидел поистине причудливо одетое общество,

предававшееся забавам и веселой болтовне. Похоже, я никогда не слыхивал человеческой речи и лишь смутно мог догадываться, о чем говорилось. Некоторые лица, казалось, пробуждали неимоверно далекие воспоминания, в других вовсе не было ничего узнаваемого.

И вот я прошел через низкое окно в ослепительно светлую комнату — перейдя тем самым от единственного в моей жизни светлого мига надежды к чернейшему приступу отчаяния и осознания. Кошмар нагрянул, не заставив себя ждать, ибо стоило мне войти, как немедленно разразилось одно из ужаснейших проявлений чувств, какое я только мог себе представить. Едва я перешагнул подоконник, как все общество обуял внезапный, ничем не объяснимый страх, исказивший лица и исторгший ужаснейшие вопли чуть ли не из каждой гортани. Началось всеобщее бегство, и среди шума и паники некоторые, обмерев, валились без чувств, и бегущие в исступлении их сотоварищи волокли их волоком за собой. Многие закрывали глаза руками и неуклюже, вслепую, метались, опрокидывая на бегу мебель и натываясь на стены, пока не умудрялись добраться до одной из многих дверей.

Крики звучали убийственно, и, стоя, одинокий и помраченный, в ослепительно светлом покое и прислушиваясь к их затухающим отголоскам, я трепетал при мысли о том, что незримо могло затаиться рядом со мной. При беглом осмотре комната казалась пустынной, но когда я направился к одной из ниш, мне почудилось там некое призрачное присутствие — намек на движение по ту сторону золоченой арки, ведущей в другую и чем-то похожую комнату. Приближаясь к арке, я начал различать призрак отчетливее, и тогда с первым и последним когда-либо изданным мной звуком — гнусным завыванием, забравшим меня отвращением почти столь же пронзительным, как вызвавшая его омерзительная причина, — я узрел с кошмарной ясностью невообразимое, неопишное и не нарекаемое никаким словом уродище, которое простым своим появлением обратило веселое общество в безумное стадо беглецов.

Не могу и обиняками описать, на что оно было похоже, ибо это была смесь всего, что только есть пакостного, сверхъестественно жуткого, сквернящего, противуприродного и омерзительного. Это был смрадный призрак тления, ветхости и разложения, гнилое и осклизлое видение открывшейся скверны, страшное обнажение того, что должно вечно скрываться милосердной землей. Видит бог, оно не принадлежало миру сему — уже не принадлежало! — однако, к своему ужасу, я угадывал в его выеденных, оголяющих костяк контурах злое, отвратительное перекривление человеческой фигуры, и в его полуистлевшем, обметанном

гнилью платье какое-то не поддающееся словам свойство, проявившее меня еще большим холодом.

На меня напал столбняк, но все же не настолько, чтобы я не сделал слабой попытки к бегству — неловко отшатнулся назад, чем не сумел нарушить чар, которыми меня сковало безымянное безгласное чудище. Под наваждением омерзительного взгляда его пустых белым, которыми монстр впился в меня, мои глаза отказывались закрываться, хотя и милосердно туманились и после первого потрясения если и видели ужасный предмет, то размытым. Я попытался поднять руку, чтобы заслониться от этого взгляда, но такой удар пришелся по моим нервам, что рука не вполне повиновалась воле. Этой попытки, однако, оказалось достаточно, чтобы пошатнуть меня, так что я на несколько неверных шагов подался вперед, чтобы не упасть. Подавшись же вперед, я неожиданно и болезненно осознал близость этой падали, чье тошнотворное дыхание почти звучало у меня в ушах. Почти теряя рассудок, я все же нашел в себе силы выставить вперед руку, чтобы загородиться от зловещего призрака, который на меня наступал, и тогда в один разрушительный миг вселенского кошмара и самым адом подстроенного случая мои пальцы тронули живой прах протянутой лапы чудища под золоченой аркой.

Я не завыл, но все бесовские ведьмаки, носимые полуночным ветром, взвыли за меня, когда в ту же секунду на мой рассудок обрушилась стремительная лавина сокрушающей душу памяти. В ту секунду я понял все, что было раньше; я простерся воспоминанием за пределы страшного замка и леса и узнал измененный облик здания, в котором находился, узнал — и это ужаснее всего! — ту нечестивую скверну, которая стояла, злобно косясь на меня, когда я отнял от нее мои замаранные пальцы.

Однако во вселенной есть не только отравы, но и бальзамы, и этот бальзам — *nepenthe*, напиток, дающий забвение. В запредельности ужаса той секунды я забыл, что же ужаснуло меня, и взрыв черных воспоминаний рассеялся в сумятице вторящих друг другу образов. Как во сне, скрылся я из наваждаемой призраками окаянной громады и во весь дух припустил под луной.

Вернувшись за кладбищенскую ограду к мрамору плит и колонн и сойдя по ступеням вниз, я обнаружил, что каменную крышку люка приподнять невозможно, но не опечалился, ибо ненавидел вековечный замок и деревья. Теперь вместе с глумливыми и прителествующими со мной ведьмаками я ношусь на полуночном ветре, а днем веселюсь среди катакомб Нефрен-Ка в неведомой долине Хадот на Ниле. Я знаю, что свет не про меня, если только это не свет луны над скальными гробницами

Ниба, и радость не про меня, если только не безымянное веселье, посвященное Нитокрис под Великой пирамидой; однако мне, заново шалому и свободному, почти желанна горечь отчуждения.

Ибо, хотя *perenthe* и умиротворил меня, я навсегда понял, что я сторонний, чужой в этом веке и среди тех, кто еще считает себя людьми. Это я знаю с тех самых пор, как моя рука протянулась к тому монстру в громадной золоченой раме — пальцы мои коснулись холодной и гладкой поверхности неподатливого стекла...

Наваждающий тьму



Неопрометчивый исследователь поколеблется оспаривать расхожее мнение, будто Роберта Блейка убило ударом молнии или каким-то глубоким нервным потрясением, вызванным электрическим разрядом. Окно, лицом к которому он сидел, действительно уцелело, но природа являла себя способной и на такие странные фокусы. Выражение его лица могло попросту придать какое-то скрытое движение мышц, вне всякой связи с тем, что представилось его глазам; записи же его в дневнике суть явные плоды изоощренного воображения, возбужденного местными суевериями и некоторыми стародавними делами, извлеченными им на свет. Что же до аномального состояния пустующей церкви на Федерал-Хилл — тонкий аналитик не замедлит его приписать некоей мистификации, неумышленной или умышленной, к которой Блейк хоть как-то да причастен.

Ведь, в конце концов, пострадавший был писателем и художником, целиком поглощенным миром мифов и снов, страхов и суеверия, ненасытным в своей погоне за пейзажем и впечатлениями причудливого и нездешнего свойства. Предыдущий визит его в город — посещение странного старца, предавшегося столь же глубоко, как и он, сокровенной и заповедной премудрости, — завершился в смерти и пламени, и некая нездоровая склонность, должно быть, тянула его обратно из-под домашнего крова в Мильвоки. Возможно, он и знал о старых преданиях, вопреки тому, что дневник утверждает обратное, и возможно, его смерть и погубила в самой завязи некий фантастический розыгрыш, которому судилось иметь литературное отражение.

Однако среди тех, кто разбирал и сопоставлял все свидетельства, остается некоторое меньшинство, не придерживающееся столь рациональных и банальных теорий.

Дневник Блейка они склонны во многом принимать за чистую монету, указуя на такие знаменательные факты, как неоспоримая подлинность старых церковных анналов; удостоверенное существование вплоть до 1877 года непопулярной, отходящей от ортодоксии секты Звездоносной

Мудрости; зарегистрированное в 1893 году исчезновение не в меру любопытного репортера по имени Эдвин М. Лиллибридж и — превыше всего — выражение чудовищного, искажающего черты страха на лице молодого писателя в смертный час. Один из сторонников этого взгляда, доведенный в фанатизме до крайностей, и выбросил в воды залива камень странной огранки вместе с причудливой фигурной шкатулкой, которые обнаружили на колокольнице старой церкви — в ее темном шпиле без окон, а не в самой башне, где, как сказано в дневнике Блейка, эти вещи изначально находились. Хотя и порицаемый обеими, и официальной, и неофициальной, сторонами, этот человек — врач с добрым именем и склонностью к странным народным поверьям — утверждал, что избавил землю от напасти слишком ужасной, чтобы земля ее носила.

Кто из приверженцев этих двух мнений прав, читатель пусть сам рассудит. Факты подавались в газетах под скептическим углом зрения, и рисовать картину такой, какой ее видел — или думал, что видит, или притворялся, что видит, — Роберт Блейк, предоставлялось другим. Теперь, изучив дневник пристально, беспристрастно и без спешки, восстановим мрачную цепь событий такую, какой она виделась главному действующему лицу.

Зимой 1934/35 года молодой Блейк вернулся в Провиденс и нанял верхний этаж почтенного особняка посреди зеленой лужайки неподалеку от Колледж-стрит — на вершине большого, обращенного к востоку холма, рядом с кампусом Брауновского университета и за мраморной библиотекой Джона Хэя. Это был уютный чарующий уголок в небольшом оазисе, словно сельские кущи былого, где на удобных приступках нежатся в солнечных лучах огромные дружелюбные кошки.

Простой георгианский дом с крышей-фонарем, классическим порталом с веерной резьбой и мелкими переплетами окон обладал и всеми прочими приметами зодчества начала XIX века. В нем были двери о шести филенках, изогнутая колониальная лестница, белые каминные в стиле Адама и ряд задних комнат тремя ступенями ниже общего уровня.

Кабинет Блейка, просторная комната, выходящая на юго-запад, одной стороной смотрела в сад перед домом; западные ж окна — сидя под одним из которых он работал — открывали роскошный вид на расстилающиеся в низине городские крыши и мистические закаты, полыхавшие над ними. Вдали на горизонте лилово покоились склоны городских окрестностей. На их фоне, милях в двух, призрачным горбом вздымался Федерал-Хилл, щетинясь нагромождением шпилей и крыш, чьи отдаленные очертания таинственно колыхались, принимая фантастический вид, когда городской

наволоки взвизгивали и смазывали их. У Блейка возникало странное чувство, будто он взирает на некий неведомый марный мир, который может разлететься, как сон, вздумай он однажды его отыскать и вступить в него.

Выписав из дому большинство своих книг, Блейк обзавелся антикварной обстановкой под стать хоромам и взялся за свои рукописи и холсты — в одиночестве, самолично занимаясь нехитрым хозяйством. Мастерскую он устроил в светелке под северной частью кровли, где крыша-фонарь давала удивительное освещение. В ту первую зиму он выпустил пять самых известных своих новелл — «Наползень снизу», «Ступеньки склепа», «Шаггай», «В долине Пнат», «Гурман со звезд» — и написал семь полотен; этюды с безымянными чудовищами-нелюдями и глубоко нездешние, неземные пейзажи.

На закате он садился за письменный стол и из-под полуприкрытых век созерцал распахнувшийся запад — темные бастионы Мемориал-Холла сразу под ним, башню георгианского здания суда, надменные пики городского центра и тот зыбким маревом вздымающий свои шпиль курган в отдалении, лабиринт незнакомых улиц и проулков которого столь сильно искушал его фантазию. От немногих своих здешних знакомых он знал, что тот дальний склон занимает обширный итальянский квартал, хотя большая часть домов держится со старинных времен, когда там проживали ирландцы и янки. Иногда он наводил полевой бинокль на этот призрачный, недостижимый мир за курящейся дымкой, выхватывая по отдельности крышу, трубу или шпиль, помышляя о причудливых и удивительных тайнах, которые могли там гнездиться. Даже через посредство зрительного прибора Федерал-Хилл казался как бы нездешним, полумифическим, сопредельным неосязаемым чудесам иной реальности в сочинениях и картинах самого Блейка. Ощущение это сохранялось подолгу и после того, когда холм таял в фиолетовом, со звездной россыпью фонарей, сумраке, и на здании суда зажигались прожекторы, и вспыхивал красный маяк Индустриального треста, и ночь превращалась в абсурд.

Из всех далеких силуэтов на Федерал-Хилл одна громадная мрачная церковь притягивала Блейка больше всего. Она вырисовывалась с особой отчетливостью в определенные часы дня, а на закате величественная колокольница с островерхим шпилем массивно чернела на фоне пылающего неба. Она как будто покоилась еще на особой возвышенности — закоптелый фасад и видимая под углом северная стена со скатом кровли и наверхьями огромных готических окон мощно вздымались над окружающей путаницей антенн и печных труб с дымоволоками. Сверх обычного сумрачная и суровая, она казалась

возведенной из камня, изъеденного и источенного туманом и непогодой лет за сто или больше. Архитектурный ее стиль, насколько позволял судить бинокль, восходил к тому раннему экспериментаторскому этапу возрождения готики, предвосхищению напыщенного Анджонского стиля, который сохранил в очертаниях и пропорциях кое-что от георгианской эпохи. Возможно, постройка относилась в 1810 или 1815 году.

Проходили месяцы, и Блейк созерцал далекое, заповедное сооружение со странным, все возрастающим интересом. Судя по окнам, в которых никогда не было света, здание пустовало. Чем дольше он наблюдал, тем живее работало воображение, пока наконец ему не начали мниться странные вещи. Ему казалось, что неясный, особенный дух запустения витает над этим зданием, так что даже голуби и ласточки чурались его закопченных карнизов. В свой бинокль он обнаружил огромные птичьи стаи вокруг прочих башен и колокольниц, но на церковный шпиль они никогда не садились. По крайней мере, он так думал и так записывал в своем дневнике. Он показывал это место некоторым друзьям, но никто из них не бывал на Федерал-Хилл и не имел ни малейшего представления, что это за церковь.

Весной Блейк впал в глубокий непокой. Он начал было свой давно задуманный роман — опирающийся на догадки о неизжитом ведовстве в Мэне, — но оказался странным образом не в состоянии сдвинуть работу с места. Он все чаще и чаще присаживался к выходящему на запад окну и взирал на далекий холм и насупленный черный шпиль, которого чурались птицы. Нежные листочки пробились на ветках в саду, и мир преисполнился новой красоты, но непокой Блейка лишь возрастал. Тогда-то он впервые и задумал пересечь город и подняться по сказочному склону в повитый дымкой мир дрем.

На исходе апреля, под вековой сенью Вальпургиевой ночи, Блейк совершил первый поход в неведомое. Он брел по нескончаемым центральным улицам, уныло обветшалым кварталам за ними и вышел наконец на взбирающуюся вверх улицу со стертыми за столетия ступенями, покосившимися дорическими портиками и мутными стеклами куполов, которая, чувствовал он, должна вести в давно знакомый недостижимый мир по ту сторону марева. Заляпанные, синие с белым уличные знаки ни о чем ему не говорили, и вскоре он заметил непривычные смуглые лица наводнявших улицы толп и иностранные вывески чудных лавчонок в бурых, облупившихся от времени зданиях. Нигде не находил он ни одного из тех силуэтов, что видел издалека, и опять почти уже воображал, что привидевшийся вдали Федерал-Хилл — это мир дрем, куда заказана дорога

живым.

Время от времени глаз натыкался на ободранный церковный фасад или ветхий шпиль, но только не на почернелую громаду, которую он искал. Когда он спросил у лавочника о большой каменной церкви, тот улыбнулся и покачал головой, хотя бегло говорил по-английски. По мере того как Блейк взбирался все выше, место казалось все более и более чужим, с головоломным хитросплетением темных, молча вынашивающих свой гнет улочек, вечно и неизменно ведущих на юг. Он пересек два или три широких проспекта, и раз ему показалось, что он мельком заметил знакомую колокольницу. Снова он спросил у торговца об огромной церкви из камня, и на сей раз мог бы поклясться, что незнание было притворным. На смуглом лице отразился страх, который торговец попытался скрыть, и Блейк заметил странное охранительное знамение, сделанное им правой рукой.

Потом слева на фоне хмурого неба, над ярусами бурых крыш, отчеркивающих запутанно уводящие на юг улочки, вдруг выдвинулся черный шпиль. Блейк узнал его с первого взгляда и ринулся к нему убогими немощными проулками, идущими вверх от проспекта. Дважды он сбивался с пути, но как-то не осмеливался обратиться с расспросами к кому-нибудь из матрон или старцев, восседавших на ступеньках своих домов, или к кому-нибудь из детей, шумно игравших в грязи мрачных проулков.

Наконец с юго-запада ему открылся вид прямо на колокольницу, где в конце улицы угрюмо вздымалась огромная каменная громада. Скоро он уже был на открыто продуваемой ветром, затейливо вымощенной булыжником площади с высокой насыпью на противоположной стороне. Его поискам пришел конец: на широкой, обнесенной железной оградой насыпи, которую поддерживала стена — обособленный малый мир, футов на шесть приподнятый над улицами окрест, — высилась колоссальная мрачная громада, не узнать которую, несмотря на новый угол зрения, было невозможно.

Пустующая церковь пребывала в великом упадке. Высокие каменные контрфорсы частично обрушились, и некоторые хрупкие крестоцветы с оконных наверший валялись, полускрытые бурьянами в неухоженной траве. Закопченные готические окна почти все были целы, хотя многих каменных средников не доставало. Блейк подивился, как могли так хорошо сохраниться темные витражи, зная известные всем мальчишечьи повадки. Массивные двери были наглухо заперты. По верху насыпи, целиком опоясывая площадку, шла ржавая железная ограда, на воротах которой —

вверху лестницы, поднимавшейся с площади, — висел массивный замок. Дорожка от ворот к зданию совершенно заросла. Запустение и упадок невидимой пеленой царили надо всем; и голые карнизы без птиц, и черные стены без плюща показались Блейку в смутном зловещем наволоке, не поддающемся определению.

На площади почти никого не было, но на северной ее стороне Блейк заметил полицейского и обратился с расспросами касательно церкви. Это был высокий здоровенный ирландец, но, как ни странно, он отделался тем, что перекрестился да пробурчал, дескать, люди про этот храм помалкивают. Блейк не оставил расспросов, тогда полицейский скороговоркой сказал, что итальянские патеры остерегали всех против этой церкви, свято уверяя, что однажды там завелась страшная скверна и отметила ее своей меткой. До него самого черные слухи дошли от его отца, помнившего с детства пересуды о каких-то будто бы звуках.

В давние времена здесь обреталась секта дурного толка — беззаконная секта, вызывавшая жуткую нечисть из какой-то неведомой ямины ночи. Хороший понадобился священник, чтобы изгнать это порождение ночи, хотя нашлись и такие, кто говорил, простой, дескать, свет сделал бы то же самое. Будь преподобный О'Мэйли жив, много бы чего порассказал, а теперь делать нечего, как только оставить проклятую церковь в покое. Теперь от нее вреда нет, а из хозяев ее кто помер, а кто далеко — разбежались, как крысы, после беспорядков в 77-м, когда люди начали замечать, что в округе то один пропадет, то другой. Рано или поздно городские власти, раз нету наследников, захотят прибрать ее к рукам, но если ее тронут, добра не жди. Дали бы ей обвалиться от старости, только бы не разворошить то, чему лучше навек упокоиться в той черной ямине.

Полицейский ушел, а Блейк стоял, впившись глазами в угрюмую громаду с островерхой колокольницей. Его будоражило открытие, что не только ему здание мнится столь зловещим, и он задавался загадкой, что за крупница истины может лежать в подоплеке старых баек, пересказанных ему «синей тужуркой». Они попросту могли быть сказочными отголосками, разбуженными зловещим видом сооружения, но даже и так казалось, будто одна из его собственных историй оборачивалась жизнью.

Из-за разволакивающихся облаков выглянуло слепополуденное солнце, но и оно не смогло высветлить испятнанные, закоптелые стены старого капища, возносящегося на своей высокой площадке. Странно, но весенним цветением не тронуло сохлого бурьяна на дворе за железной оградой. Блейк поймал себя на том, что все ближе подступает к возвышению, разглядывая насыпь и ржавую ограду в поисках возможных подходов.

Жутким соблазном прельщало почернелое требище, против которого было не устоять. В ограде возле лестницы не оказалось проломов, но с противоположной, северной, стороны не хватало нескольких прутьев. Он бы мог взойти по ступенькам и обойти ограду кругом снаружи по узкому парапету до самой дыры. Если здесь так панически боятся этого места, он не встретит никакого противодействия.

Он поднялся на насыпь и почти проник за ограду, прежде чем был замечен. Потом, глядя вниз, он увидел, как те немногие, кто был на площади, украдкой расходятся, творя правой рукой то же знамение, которое делал и лавочник. Захлопнулось несколько окон, а одна толстуха выскочила на улицу и утащила детишек в шаткий некрашенный дом. Через пролом в ограде оказалось очень просто пройти, и скоро Блейк уже пробирался среди дебрей гнилого бурьяна на пустынном дворе. Тут и там обветшалые плиты надгробий говорили, что когда-то здесь был погост, но это было давно, как он понимал, очень давно. Теперь, когда он был рядом, церковь давила всей своей машиной, но он не поддавался этому чувству и подошел к фасаду, чтобы попробовать три массивные двери. Они оказались накрепко заперты, тогда он пустился в обход циклопического здания в поисках более скромного и более доступного входа. Даже теперь он не был уверен, что хочет войти в это обиталище запустения и теней, но притяжение необычности влекло его, как заведенного, вперед.

Зияющее и ничем не защищенное подвальное окно с тыльной стороны предоставило необходимое отверстие. Заглянув в него, Блейк увидел подземельный провал паутины и пыли, тускло освещенный рассеянными лучами закатного солнца. Его взгляд натыкался на каменный сор, старые бочки, разбитые ящики и мебель всевозможного вида, хотя все было окутано саваном пыли, сглаживавшим резкие очертания. Проржавевшие останки нагревателя воздуха указывали, что здание служило и содержалось в порядке еще до середины викторианской эпохи.

Действуя почти бессознательно, Блейк прополз в окно и опустился на укрытый ковром пыли и усеянный мусором цементный пол. Сводчатый подвал оказался обширным помещением без перегородок; в правом дальнем углу, в густом сумраке, он увидел черный провал арки, явно ведущей наверх. Он ощущал характерное чувство подавленности, но, противясь ему, осторожно бродил, осматриваясь, — обнаружив еще целую бочку, подкатил ее под окно, обеспечив себе возможность ретироваться. Потом, собравшись с мужеством, пересек широкое, завешанное сетями паутины пространство вплоть до арки. Полузадохшийся от вездесущей пыли и покрытый незримыми паутинными нитями, он подался вперед и

стал подниматься по истертому камню ступеней, уводящих во тьму. С ним не было огня, и он осторожно нащупывал дорогу руками. За крутым изгибом почувствовал закрытую дверь и, немного пошарив, обнаружил дверную задвижку. Дверь открывалась вовнутрь, и за ней он увидел тускло освещенный коридор, обшитый побитыми древоточцем панелями.

Попав на нижний этаж, Блейк наспех обследовал его. Все внутренние двери оказались не заперты, так что он беспрепятственно проходил из помещения в помещение. Колоссальный неф с его сквозняками и холмиками пыли на спинках сидений, на алтаре, на кафедре с песочными часами и фисгармонией, с гигантскими тенетами паутины, раскинутыми меж островерхими арками галереи и окутывавшими скученные готические колонны, поражал жутью почти сверхъестественной. Надо всем этим безмолвным запустением бликовал жуткий мертвящий свет, когда закатывающееся вечернее солнце бросало лучи сквозь странные закопченные витражи в огромных арочных окнах.

Витражи эти настолько потускнели от копоти, что Блейк мог едва разобратить, что на них было изображено, но то небольшое, что он сумел разглядеть, ему совсем не понравилось. Рисунок был больше канонический, и его знание прикровенной символики немало ему подсказывало относительно некоторых древних образов. Лики немногих изображенных святых были тронуты выражением, явно не выдерживающим критики; один же из витражей, казалось, просто изображал завитки удивительного свечения, рассыпанные во мраке. Отвернувшись от окон, Блейк заметил, что заросший паутиной крест над алтарем напоминает первосушный анкх, или *cruix ansata* черной земли Египта.

В ризнице возле арки Блейк обнаружил трухлявую конторку и полки под самый потолок с обметанными гнилью, полуистлевшими книгами. Здесь его в первый раз потрясло: названия этих книг были весьма красноречивы. Темные заповеданные писания, о которых мало кто из здравомыслящих людей слыхивал, а кто и слышал, то боязливymi, уклончивыми обиняками; богомерзкие и пугающие сосуды многосмысленных тайн и предначальных доктрин, по капле притекающих с рекою времени от дней, когда человек был юн, и зыбких и баснословных дней, когда человека не было. Блейк же оказался начитан во многих из них: гнусный «Некрономикон» в переводе на латынь, зловещая *Liber Ivonis*, нечестивые *Cultes des Goules* графа д'Эрлетта, *Unaussprechlichen Kulten* фон Юнтца и дьявольский *De Vermis Mysteriis* старого Людвиг Принна — он читал сам. Но были там и другие, которые он знал лишь понаслышке

или вовсе не знал — Пнакотские рукописи, Книга Дзиан и ветхий фолиант совершенно не поддающихся опознанию иероглифов, но с некоторыми символами и диаграммами, до дрожи внятными книжнику-окультисту. Упорные местные слухи определенно не лгут. Когда-то это место оказалось седалищем зла, более древнего, чем человек, и более пространным, чем умопостигаемый космос.

На трухлявой конторке была маленькая книжица в кожаном переплете, заполненная странной тайнописью. Рукописный текст состоял из общепринятых ныне в астрономии, а некогда в алхимии и астрологии и других небесспорных квазинауках символов; традиционных эмблем Солнца, Луны, планет и планетарных домов, и зодиакальных созвездий — убористо заполняющих целые страницы, с делением на синтаксические единицы и с красной строкой, и наводящих на мысль, что каждый знак отвечает определенной букве алфавита.

В надежде расшифровать криптограмму позднее, Блейк положил томик в карман. Многие из огромных фолиантов на полках несказанно возбуждали его интерес, и он испытывал искушение когда-нибудь их позаимствовать. Он задавался загадкой, как могли они так долго пролежать нетронутыми. Или он первый, кто сумел преодолеть цепкий, до костей пробирающий страх, чуть не шестьдесят лет защищавший брошенное это место от вторжения?

Досконально обследовав нижний этаж, Блейк снова пробрался, утопая в пыли призрачного нефа, в преддверие, где заметил лестницу, видимо ведущую наверх, на почернелую колокольницу со шпилем, так давно ему знакомую на расстоянии. Поднимаясь по ступеням, приходилось бороться с удушьем, ибо кругом толстым слоем лежала пыль и слои паутины висели по стенам. Лестница с деревянными узкими и крутыми ступенями поднималась винтом, и раз за разом Блейк проходил мимо мутных окон, с головокружительной высоты взиравших на город. Хотя он не видел никаких веревок, но ожидал, что найдет колокол или подбор колоколов на башне, чьи узкие стрельчатые окна со ставнями он так долго изучал в полевой бинокль. В этом ему суждено было разочарование, ибо, добравшись до верха, он обнаружил, что колоколов в камере на башне нет и предназначена она явно для совершенно других целей.

Комната, примерно в пятнадцать квадратных футов, была тускло освещена четырьмя стрельчатыми окнами, по одному с каждой стороны, застекленными и забранными трухлявыми ставнями. Эти последние были, в свою очередь, снабжены плотно подогнанными непрозрачными экранами, почти полностью ныне истлевшими. В центре погребенного под толщею

пыли пола возвышался удивительной формы каменный столп, фута четыре в высоту и в среднем два в диаметре, с каждой из сторон покрытый грубо высеченными, причудливыми до полной неузнаваемости иероглифами. На столпе покоилась металлическая шкатулка причудливой асимметричной формы; крышка на петлях была откинута, внутренность же ее содержала нечто напоминавшее под слоем десятилетиями оседавшей пыли яйцо или неправильную сферу, около четырех дюймов в диаметре. Более-менее правильным кругом столп обстояли семь готических стульев с высокими спинками, еще вполне крепкие; за ними же, выстроившись вдоль скрытых темными панелями стен, было семь гигантских скульптур из крошащегося, выкрашенного в черный цвет гипса, более, чем что-либо другое, напоминавших загадочные исполинские изваяния с таинственного острова Пасхи. В один из углов повитой паутиной каморы была встроена лестница, ведущая к закрытому люку в шпиль без окон.

Притерпевшись к слабому свету, Блейк заметил непонятные барельефы на странной открытой шкатулке желтоватого металла. Подойдя, он попытался рукой и платком стереть пыль и увидел фигурки отвратительного и совершенно нездешнего вида, изображавшие тварей, которые хоть и казались одушевленными, но не походили ни на что живое, порожденное этой планетой. Мнимая сфера оказалась почти черным с кровавыми прожилками многогранником со множеством неправильных плоскостей — или на редкость замечательный кристалл-самогранка, или искусственно обработанный и до блеска отшлифованный минерал. Он не касался дна шкатулки, но удерживался посредством металлического ободка по окружности и семи диковинного вида растяжек, расходящихся горизонтально к внутренним верхним углам шкатулки. Камень этот, едва представившись взору, обрел для Блейка почти пугающее обаяние. Он не мог свести с него глаз и, созерцая его блистающие грани, уже воображал его прозрачным, с полуюявленными чудесными мирами в глубине. В сознание хлынули картины чужих небесных сфер с громадами каменных башен, неведомых небесных твердей с мертвыми горами-исполинами и картины еще более глубокого пространства, где лишь возмущения зыбких чернот выдавали присутствие сознания и воли.

Когда он все же оторвался от камня, его взгляд привлек чем-то примечательный холмик пыли в дальнем углу возле лестницы, ведущей на шпиль. Почему он задерживал взгляд, Блейк не смог бы сказать, но его контуры вызвали некий бессознательный отклик. Пробираясь к нему, смахивая по пути свисающую паутину, Блейк начинал улавливать в нем что-то зловещее. Рука и платок скоро открыли истину, и Блейк задохнулся

от смеси противоречивых эмоций. Это был человеческий скелет, пролежавший здесь изрядное время. От одежды остались лохмотья. Но несколько пуговиц и клочья ткани выдавали свою принадлежность серому мужскому костюму. Были и другие вещественные доказательства — ботинки, металлические пряжки, огромные запонки от манжет, давно устаревшего фасона булавки для галстука, репортерский значок с названием старой «Провиденс телеграмм» и ветхая кожаная записная книжка. Ее Блейк осторожно перелистал, обнаружив несколько уже не имевших хождение банкнот, целлулоидный рекламный календарик на 1893 год, две-три визитные карточки на имя «Эдвин М. Лиллибридж» и листок бумаги, покрытый карандашными заметками.

В этих заметках было немало головоломного, и Блейк внимательно их читал, стоя под мутным окном на запад. Бессвязный текст состоял из фраз, которые нижеследуют.

«Проф. Энох Боуэн вернулся из Египта в мае 1844. В июле покупает старую церковь Фривиллеров. Его археологические труды и оккультные исследования хорошо известны.

Д-р Дроун от баптистов остерегает против Звездоносной Мудрости в проповеди 29 дек. '94.

Конгрегация 97-ми к концу '45.

1846 — три исчезновения — первые упоминания о Сияющем Трапецоэдре.

1848 — семь исчезновений. Пошли слухи о кровавой требе.

1853 — расследование. Впустую. Разговоры о звуках.

Преп. О'Мэйли рассказывает о дьявольской мессе с коробкой, найденной в великих египетских развалинах, — говорит, они вызывают что-то такое, что не может существовать при свете. Слабый свет отпугивает, сильный изгоняет. Тогда должны вызывать снова. Сведения из предсмертной исповеди Фрэнсиса К. Финея, связанного со Звездоносной Мудростью с '49. Они говорят, что Сияющий Трапецоэдр показывает им рай и другие миры и что Наваждающий Тьму каким-то образом раскрывает им тайны.

1875 — история Оррина В. Эдди. Они призывают эту штуку, вглядываясь в кристалл; у них есть собственный тайный язык.

В 1863 в конг. двести или больше чел., не считая верхушки.

Ирландские ребята вламываются в церковь, когда в 1869 исчезает Патрик Рейган.

Завуалированная заметка в «Джорнал» от 14 марта '72, но о ней не говорят.

1876 — шесть исчезновений. Тайный комитет обращается к мэру Дойлу.

Февр. 1877 — обещание принять меры. Церковь закрывают в апреле.

Парни с Федерал-Хилл — шайка — угрожают д-ру и сутанникам в мае.

Конец '77 — сто восемьдесят один человек покинул город. Имен не называть.

Где-то в 1880 — слухи о привидениях. Постараться проверить факт, что ни одна живая душа в церковь не заходила с 1877.

Спросить у Лэнигана фотографию здания, снятую в 1851...»

Вернув листок в записную книжку, Блейк сунул ее в карман и повернулся, чтобы взглянуть на скелет. Смысл этих записок был очевиден, и сомневаться не приходилось, что сорок два года назад в заброшенное здание пришел человек в поисках газетной сенсации — на что рискнуть другого смельчака не нашлось. Возможно, больше никто не знал о его затее — кто это может сказать? Но в редакцию он уже не вернулся. Неужели мужественно подавляемый страх внезапно одолел его и вызвал разрыв сердца?

Блейк склонился над белеющими костями и заметил их странный вид. Часть их была беспорядочно разъята, и некоторые казались странно оплывшими на концах. Другие неестественно пожелтели, смутно наводя на мысль об обугливании, которое местами захватило и остатки ткани. В очень странном состоянии был череп — с желтыми пятнами и прожженным отверстием на темени, словно кость проело насквозь какой-то сильной кислотой. Что случилось со скелетом за четыре десятка лет безмолвного упокоения здесь, Блейк представить не мог.

Прежде чем это доосозналось, он уже снова смотрел на камень, подпадая под его странное влияние, вызывающее марево фантазмов. Он видел вереницы фигур в хламидах с капюшонами, нелюдь по абрису силуэтов; взирая на бесконечность пустыни с рядами вздымающихся в небо резных истуканов, он угадывал стены и башни в бездонной ночи морей и коловерти пространства, где пряди черного тумана реяли на фоне рассеянного мерцания холодной багровой дымки. А за пределами всего он заглянул в бесконечное зияние тьмы, где плотностгущенные и плотноразрезанные формы выдавали себя лишь текучевающими колыханием; и зыбкие узоры энергий привносили, казалось, упорядоченность в хаос, предлагая ключи ко всем парадоксам и тайнам умопостигаемых миров.

Потом наваждение вдруг разом разрушилось приступом томительного,

неопределенного, иррационального страха. Задохнувшись, Блейк оторвался от камня, сознавая где-то совсем рядом некое безликое нездешнее присутствие и с жуткой пристальностью сосредоточенное на себя внимание. Он чувствовал, как его уловляет нечто, что было не в камне, но сквозь камень глянуло на него, — нечто, что будет беспрестанно за ним следить, и для этого оно не нуждается в зрении. Местечко явно стало действовать ему на нервы — еще бы, после такой кошмарной находки! К тому же и свет начинал убывать, а поскольку фонаря при нем не было, он понимал, что скоро придется уйти.

Тогда-то в густеющих сумерках ему и почудился в разнобоком камне слабый проблеск свечения. Он попытался не смотреть, но какая-то темная сила понуждала его взгляд вернуться. Не светился ли камень едва приметным радиоактивным свечением? Что там говорилось в записках покойного о Сияющем Трапецоэдре? И вообще, что такое это брошенное гнездилище космического зла? Что здесь творилось, что могло и по сю пору таиться в сумраке, пугающем птиц? Вдруг показалось, что неуловимый намек на злосмрадие возник где-то рядом, но источника его не было видно. Блейк схватил долго зиявшую откинутой крышкой шкатулку и защелкнул ее. Крышка плавно скользнула на своих немыслимых петлях, полностью скрыв рдеющий камень.

В ответ на резкий щелчок захлопнутой крышки сверху, с той стороны люка, из вековой глухой темноты шпиля донесся звук как будто мягкого шевеления. Крысы, что же еще?.. Единственные живые твари, дававшие о себе знать в проклятой каменной громаде с того самого момента, как он вошел. И все же это шевеление в шпиле ужасающим образом его испугало, так что в исступлении он ринулся по винтовой лестнице вниз, через мерзостный неф и сводчатый подвал, вон на опустевшую площадь, прочь от кишаших людьми и наваждаемых страхом улочек и закоулков Федерал-Хилла, прямо к здравомысленным улицам в центре и уютно-домашним тротуарам университетского городка.

Дни следовали один за другим; Блейк так и не рассказывал никому о своей вылазке. Он вчитывался в книги, разбирался в многолетних подшивках газет и лихорадочно бился над тайнописью переплетенного в кожу томика, который обнаружили в затянутой паутиной ризнице. Загадка, как вскоре обнаружилось, были не из легких; и после долгих трудов он убедился, что это были ни латынь, ни греческий, ни английский, ни французский, ни испанский, ни итальянский, ни немецкий языки. Ему, очевидно, предстояло черпать из самых глубинных кладезей своей

диковинной эрудиции.

Каждый вечер возвращалось прежнее желание смотреть на закат, и среди островерхих крыш полуреального далека ему, как из времени она, представал черный шпиль, но теперь это зрелище отзывалось в нем новым оттенком страха. Блейк знал то зломудрое предание, что скрывалось под этой личиной; знание же давало волю новым причудливым играм воображения. Возвращались весенние стаи, и он следил за их полетом на закате и за тем, как они стороной облетают торчащий особняком мрачный шпиль. Если стая приближалась к нему, то разворачивалась и рассыпалась в страшном смятении — он мог представить себе неистовый щебет, не достигавший его ушей из-за разделявших их миль.

Стоял июнь, когда Блейк справился с тайнописью, сообщал дневник. Текст был, как он обнаружил, на тайном языке акло, которым пользовались иные толки зловредной древности и который был небезупречно ему известен по прежним его разысканиям. Дневник странно недоговаривает, что же именно расшифровал Блейк, но явны его трепет и замешательство. Упоминается Наваждающий Тьму, которого пробуждают, пристально вглядываясь в Сияющий Трапецоэдр; то и дело встречаются безумные догадки о тех черных безднах хаоса, откуда его вызывают. Это существо, о котором говорится как о вседержителе знания, жаждет чудовищных треб. Некоторые из дневниковых записей сквозят страхом, как бы эта тварь, по мнению Блейка, ответившая на зов, не вырвалась наружу; хотя он добавляет, что уличные фонари образуют неприступный кордон.

Он нередко заговаривает о Сияющем Трапецоэдре, называя его прозорным окном во все времена и пространства и прослеживая его путь с тех дней, когда на мрачном Юугготе, еще до того как Предвечные взяли его на Землю, получил он свои грани и гребни. Иголокожие твари Антарктики, дорожа им, уместили его в причудливую шкатулку, из-под обломков их бывшего континента его спасли змеелюди Валузии; и по прошествии целых эонов в Лемурии вперялись в него первые люди. Он попадал за тридевять земель и за тридесять морей и вместе с Атлантидой ушел на дно, пока не поймал его в сети минойский рыбак и не продал темноликим купцам из черной земли Кеми. Фараон Нефрен-Ка возвел над ним храм с беззаконной криптой и соделал то, что стерло его имя из всех анналов. Потом он покоился в развалинах злостного капища, разрушенного жрецами и новым фараоном, пока кирка археолога не извлекла его вновь человеку на погибель.

В начале июля газеты составляли странные дополнения к дневниковым записям Блейка, но такие обрывочные и мимоходные, что

дневник лишь привлек всеобщее внимание. Похоже, новый страх нагнетался на Федерал-Хилл после того, как чужак побывал в страшной церкви. Итальянцы переговаривались о непривычном шарканье, стуках и скрипах в темном шпиле без окон и призывали священников изгнать нечисть, наваждающую их во сне. Оно постоянно караулит под дверью, шептались они, и только ждет, когда стемнеет настолько, чтобы двинуться дальше. В колонках новостей поминали о стойкости местных суеверий, но не могли пролить достаточно света на предысторию ужаса. Ясно, что нынешние молодые репортеры отнюдь не любители древностей. Обращаясь к предмету в своем дневнике, Блейк выражает странного свойства раскаяние, говорит о долге схоронить Сияющий Трапецоэдр, изгнать то, что он вызвал, дав доступ дневному свету в мерзкий шпиль. Вместе с тем, однако, он обнаруживает, как опасно далеко зашел он в своем соблазне и признается в болезненном желании — проникающем собою даже его сны — побывать на окаянной колокольнице и погрузиться взором в тайный космос рдеющего камня.

Утром 17 июля что-то в выпуске «Джорнал» ввергло автора дневника в настоящий ужас. Всего лишь вариант других полушутливых заметок о царящем на Федерал-Хилл беспокойстве — для Блейка же он содержал действительно нечто ужасное. Ночной ураган на целый час вывел из строя городскую электросеть, и в наступившей темноте итальянцы едва не посходили с ума от страха. Живущие возле жуткой церкви божились, что тварь на колокольнице воспользовалась отсутствием уличных фонарей и спустилась в само туло церкви, шлепая там и плюхая жутким ползучим слизнем. Под конец глухое шлепанье затихло в колокольнице, откуда послышался звон бьющегося стекла. Темнота открывала дорогу, а свет всегда обращал ее вспять.

Когда электричество вспыхнуло снова, на колокольнице возникла отвратительная суматоха, ибо даже слабого света, просачивавшегося в закопченные, забранные ставнями окна, хватило для твари с лихвой. Пришлепывая, она уползла в непроглядную темень шпиля буквально в последний миг — большая порция света отправила бы ее обратно в те бездны, откуда сумасшедший чужак ее вызвал. В час темноты толпа, распевая молитвы, сгрудилась под дождем вокруг церкви с зажженными свечами и лампами, кое-как прикрытыми свернутой бумагой и зонтиками — сторожевой форпост света, спасающий город от кошмара, который бродит во тьме. Однажды, по словам тех, кто стоял ближе у церкви, наружная дверь заходила ходуном.

Но хуже всего было даже не это. Вечером Блейк прочитал в

«Бюллетене», что обнаружили репортеры. Оценив наконец причудливую сенсационность переполоха, двое из них, бросая вызов обезумевшей толпе итальянцев, забрались в церковь через подвальное окно, потерпев неудачу с дверями. Они обнаружили, что в преддверии и призрачном нефе в пыли тянутся своеобразные борозды и повсюду разбросаны каркасы истлевших подушек и атласная обивка сидений. Везде стоял скверный дух, кое-где попадались желтые пятна и проплешины, выглядевшие как обугленные. Открыв дверь на колокольницу и задержавшись на минуту, поскольку сверху им почудился скребущий звук, они увидели, что с узкой винтовой лестницы почти начисто сметена пыль.

Камору на колокольне тоже как будто вымели. Репортеры сообщали о семигранном каменном столпе, опрокинутых готических стульях и причудливых гипсовых изваяниях; однако, странно, не упоминая ни о металлической шкатулке, ни об изувеченном старом остоле. Что встревожило Блейка больше всего — не считая намеков на пятна, обугленные проплешины и смрад, — это последняя деталь, объясняющая звук бьющегося стекла. Стрельчатые окна на башне были выбиты все до единого, и два из них поспешно и как попало затемнены забитыми в щели между наружными наклонными ставнями атласными покрышками и конским волосом из подушек. Обрывки атласа и комья конского волоса валялись по всему недавно подметенному полу, как будто кому-то помешали в процессе восстановления абсолютной тьмы.

Желтоватые пятна и обугленные проплешины попадались и на лестнице, ведущей в шпиль без окон, но, когда репортер сдвинул крышку люка и направил слабый луч карманного фонаря в черное, странно зловонное пространство, он ничего не обнаружил, кроме темноты и беспорядочной груды мусора у самого отверстия люка. Приговор был, конечно, один: надувательство. Кто-то разыгрывал суеверных обитателей холма, или какой-нибудь фанатик силился для их же собственного, по идее, блага подогреть их страхи. Или, может быть, кто-нибудь из жителей помоложе и побойчее подстроил всю эту продуманную мистификацию. События возымели забавный отголосок, когда отряжали полицейский чин для проверки сообщений. Трое блюстителей порядка один за другим нашли способ уклониться от задания, четвертый же пошел с явной неохотой и очень скоро вернулся, ничего не прибавив к репортерским отчетам.

Начиная с этого момента дневник свидетельствует о нарастающем приливе безотчетного ужаса и тревожных дурных предчувствий. Блейк корит себя тем, что не сделал чего-то, и отчаянно прикидывает последствия следующего перебоя в электроснабжении. Достоверно известны три случая

во время гроз, когда он звонил на электростанцию вне себя от страха и просил принять любые, самые крайние меры, чтобы не падало напряжение. Снова и снова его записи обнаруживают беспокойство, что репортеры не сумели найти ни металлической шкатулки с камнем, ни странно поврежденных старых костей, когда обследовали сумрак колокольной каморы. Он делал вывод, что их удалили — куда, кто или что, он мог только гадать. Но злейшие страхи касались самого Блейка и той дьявольской связи, которая, как он чувствовал, существовала между его сознанием и тем таящимся на далекой островерхой колокольнице ужасом — тем чудовищным творением тьмы, которое он опрометчиво вызвал из черных пределов пространства. Казалось, он чувствовал непрестанное посягательство на свою волю. И навещавшие его в те времена вспоминали, как, рассеянно присаживаясь за письменный стол, он неотрывно глядел в западное окно на тот дальний, ошетилившийся шпилями курган в курящемся городском наволоке. Его записи неотступно возвращаются к неким страшным снам, к тому, что дьявольская связь укрепляется, когда он спит. Упоминается об одной ночи, когда, проснувшись, он нашел себя полностью одетым на улице и в полной прострации идущим вниз с Колледж-Хилл на запад. Снова и снова возвращается он к тому, что тварь в колокольнице знает, как до него добраться.

30 июля пошла неделя, ознаменовавшаяся частичным нервным срывом Блейка. Он больше не выходил и все необходимое заказывал по телефону. Приходившие проведать его замечали возле кровати веревку; он говорил, что привычка ходить во сне вынуждает его связывать себе ноги — это либо удержит его в постели, либо заставит проснуться от усилия развязать путы.

В дневнике он описывает чудовищное испытание, повлекшее окончательный срыв. Улегшись спать в ночь на тридцатое, он вдруг обнаружил, что почти в полном мраке водит руками вокруг себя. Единственное, что он видел, — это слабые горизонтальные штрихи голубоватого света, но обонял всепроникающее злосмрадие и слышал странную смесь приглушенных украдчивых звуков над головой. Стоило ему двинуться, как он на что-нибудь натыкался, и любой шум как будто в ответ вызывал звук сверху — невнятное шевеление вперемежку с осторожным шорохом дерева, трущегося о дерево.

Однажды он обнаружил себя идущим на ощупь — рукам попался каменный столп с пустующей верхней поверхностью, потом он как будто цеплялся за ступеньки лестницы, вделанной в стену, неловко карабкаясь вверх, туда, где усиливалось злосмрадие и откуда его обдувал горячий,

обжигающий поток воздуха. Перед его глазами разворачивался калейдоскоп призрачных образов, постепенно тающих, растворяющихся в видении беспредельной ночной бездны, где вихрились светила и миры еще более густой черноты. Он вспомнил предание древних об Абсолютном Хаосе, в сердце которого раскинулся незряшный несмысленный бог Азафот, Владыка Всех Тварей, взятый в круг шаркающим роем своих бездушных и бесформенных плясунов, усыпляемый пронзительным однотонным свистом демонской флейты в безымянных лапах.

Тут внешний мир резким звуком пробил брешь в его помертвлении и открыл ему глаза на невыразимый ужас его положения. Что это было — он так и не узнал, возможно, запоздавшая хлопушка фейерверка, которые жители Федерал-Хилл все лето устраивают в честь разнообразных святых-покровителей или святых-патронов их родных деревушек в Италии. Во всяком случае, закричав в голос, обезумело он рухнул с лестницы и слепо заковылял по загроможденному полу в почти полной темноте окружающих стен.

Он мгновенно осознал, где находится, и отчаянно ринулся вниз по узкой винтовой лестнице, спотыкаясь и ушибаясь на каждом ее изгибе. Потом, как кошмарный сон, бегство через огромный испаутиненный неф, подымавший призрачные своды к сферам кривляющихся теней; не видя, не разбирая дороги, через захламленный подвал наружу, к воздуху и свету уличных фонарей; и наконец, неистовое бегство с фантасмагорического холма тарабарских крыш, через угрюмый безмолвный город вздыбленных черных башен и вверх по крутому восточному склону до собственного его древнего порога.

Наутро придя в себя, он обнаружил себя полностью одетым на полу своего кабинета. Паутина и грязь покрывали его с головы до ног, и во всем теле не было места, которое бы не ныло и не болело. Подойдя к зеркалу, он увидел, что волосы сильно опалены, а к верхним частям одежды пристал какой-то причудливый смрадный запах. Именно тогда его нервы не выдержали. Впредь, облаченный в халат, изнеможенно откинувшись в кресле, он только и делал, что смотрел в западное окно, содрогался при одном намеке на гром и вел безумные записи в дневнике.

Сильнейшая гроза разразилась 8 августа, как раз перед самой полночью. Электрические разряды раз за разом ударили в разных концах города, впоследствии сообщалось о двух поразительных шаровых молниях. Дождь падал сплошной стеной, а постоянная канонада громовых разрядов лишила сна тысячи людей. Блейк дошел до полнейшего отчаяния в своем страхе за электросеть и около часу ночи пытался связаться с

электрокомпанией по телефону, но связь была временно прервана по соображениям безопасности. Он все записывал в дневнике — крупное, нервное и часто неразборчивое письмо, ведущее свое собственное повествование о нарастающем смятении и отчаянии, о записях, вслепую нацарапанных в темноте.

Он должен был погрузить дом во тьму, чтобы смотреть в окно, и было похоже, что большую часть времени он провел за письменным столом, тревожно вперяясь взглядом сквозь завесу дождя, поверх мокролознящегося крышами центра в далекую россыпь огней, намечающих Федерал-Хилл. Время от времени он неловко царапал в дневнике; «свет должен гореть», «оно знает, где я», «обязан его уничтожить», «оно призывает меня, но на сей раз как будто не собирается мне вредить» — отрывочными фразами вкривь и вкось разбросано на двух страницах.

Затем свет погас во всем городе. Это случилось в 2 часа 12 минут, согласно отчетам электростанции, но в дневнике Блейка нет указания времени. Запись звучит просто: «Света нет — Господи помоги». Караульщики на Федерал-Хилл тревожились не меньше его, и промокшие кучки людей, укрыв под зонтами свечи, карманные фонари, керосиновые лампы, распятия и темного происхождения амулеты, каковые повсеместно в ходу в Южной Италии, обходили дозором площадь и улочки вокруг церкви дурного толка. Благословляющие каждую вспышку молнии, они в страхе творили загадочное знамение правой рукой, когда электрические разряды стали ослабевать и наконец прекратились совсем. Поднявшийся ветер задул большинство свечей, так что место действия пугающе потемнело. Кто-то разбудил преподобного отца Мерлуццо из церкви Святого Духа, и он поспешил на площадь гнетущей тьмы, чтобы произнести изгоняющие нечисть молитвы. Что до беспокойных, диковинных звуков в почернелой колокольнице, то сомневаться больше не приходилось.

Тому, что произошло в 2 часа 25 минут, мы имеем несколько свидетельств: священника, молодого, разумного просвещенного человека, Уильяма Дж. Монохэна, полицейского офицера, в высшей степени внушающего доверие, который задержался в этом секторе своего участка, чтобы присмотреть за толпой, и группы из семидесяти восьми человек, которые собрались вокруг насыпной стены, — прежде всего тех, кому с площади виден был восточный фасад. Конечно, того, что могло быть доказательно названо нарушением закона природы, не было. Возможных причин у подобного происшествия множество. Никто не возьмется с

уверенностью говорить о неочевидных химических процессах, которые могут возникнуть в огромном, древнем, долго пустовавшем здании с разнородным содержимым. Вредные испарения, самопроизвольное возгорание, давление газов, возникающих при длительном разложении, любое из бесчисленных природных явлений могло произвести нечто подобное. И конечно, ни в коем случае нельзя исключать возможности умышленного надувательства. Сам по себе феномен продолжался не более трех минут реального времени. Преподобный Мерлуццо, неизменно точный во всем, то и дело посматривал на часы.

Все началось заметным нарастанием звуков глухого копошения на темной колокольнице. Одно время из церкви исходили странные зловонные запахи, теперь они сделались донельзя явными и поражающими обоняние. Наконец грянул деревянный треск, и большой тяжелый предмет рухнул во двор к основанию насупленного восточного фасада. Теперь, когда не горели свечи, колокольница казалась невидимой, но, когда предмет оказался у самой земли, в нем узнали покрытый копотью ставень с восточного окна.

Потом совершенно невыносимое злосрадие хлынуло с незримых вершин, вызвав удушье и тошноту у содрогнувшихся зрителей и едва не свалив их с ног. Одновременно воздух всколыхнуло как бы биение крыльев, и внезапным порывом ветра к востоку — порывом такой яростной силы, как ни один из прежних, — унесло шляпы и вывернуло наизнанку промокшие зонтики стоявших в толпе. В ночи без свечей было ни зги не видно, но тем, кто смотрел вверх, показалось, что на фоне непроглядно черного неба они мельком увидели огромное расплывающееся пятно еще более густой черноты — нечто вроде бесформенного клуба дыма, со скоростью метеора пронесшегося на восток.

Все было кончено. Зрители, полумертвые от ужаса, трепета и неловкости своих поз, едва соображали, что делать и делать ли вообще. Не ведая, что произошло, они оставались все в том же бдительном напряжении; мгновение спустя у них вырвалась молитва, когда запоздавшая резкая вспышка молнии и грохот, от которого лопались барабанные перепонки, разверзли хляби небесные. Через полчаса дождь перестал, а спустя еще пятнадцать минут снова вспыхнули уличные фонари, давая измученным, исхлестанным грязью караульщикам с облегчением разойтись по домам.

На следующий день газеты среди всех прочих сообщений об урагане кратко извещали об этих событиях. Складывалось впечатление, что сильнейшая вспышка молнии и оглушительный раскат, последовавшие за

происшествием на Федерал-Хилл, были еще страшнее на востоке города, где также обратили внимание на внезапный прилив специфического зловония. Явление было особенно явным над Колледж-Хилл, где грохот поднял всех спавших жителей и повлек за собой недоуменные перетолки. Из тех, кто был уже на ногах, лишь немногие видели неестественную вспышку света над самой вершиной холма или заметили необъяснимое резкое движение воздуха кверху, которым сорвало чуть не все листья с деревьев и поломало цветы в садах. Все сходилось к тому, что где-то по соседству, наверное, ударило одинокой внезапной молнией, хотя никаких следов удара впоследствии обнаружено не было. Из корпуса студенческого братства «Тау Омега» какому-то юноше привиделся в небе фантастический и ужасный клуб дыма, как раз когда, предваряя удар, полыхнула молния, но его наблюдения не подтвердились. Между тем все немногие наблюдавшие сходятся в том, что касается свирепого порыва, налетевшего с запада и затопившего все невыносимого смрада, за которым последовал с некоторым запозданием удар; столь же всеобщим является свидетельство о возникшем на мгновение после удара запахе гари.

Эти подробности весьма тщательно обсуждались по причине возможной их связи со смертью Роберта Блейка. Из верхних окон корпуса братства «Пси Дельта», выходящего тыльной стороной на западные окна кабинета Блейка, студенты утром девятого заметили размытое пятно лица за стеклом и подумали, что его выражение какое-то странное. Вечером, увидев то же лицо на том же месте, они забеспокоились и стали ждать, когда в квартире зажжется свет. Потом они звонили в темную квартиру и, наконец, вызвали полицейского взломать дверь.

Застывшее тело сидело навтыжку у письменного стола рядом с окном; при виде выкатившихся из орбит остекленелых глаз и ничем не прикрытого судорожного страха в искаженных чертах вошедшие отвернулись в смятении, смешанном с дурнотой. Вскоре врач при коронере произвел обследование и, несмотря на неразбитое стекло, констатировал смерть от поражения электричеством или нервного шока, вызванного электрическим разрядом. Чудовищную гримасу он обошел полным молчанием, оценив ее как результат глубокого потрясения, пережитого человеком столь болезненного воображения и эмоционально неуравновешенного. Об этих последних качествах он заключил по книгам, картинам и рукописям, найденным в квартире, и нацарапанным вслепую записям в дневнике. Блейк в отчаянии делал обрывочные заметки до самого конца, и в его сведенной судорогой правой руке был зажат карандаш со сломанным острием.

Когда свет погас, записи становятся весьма бессвязными. Кое-кто извлек из них выводы, сильно разнящиеся с официальным, в материалистическом духе, заключением, но у подобных умопостроений мало надежд на признание консервативно мыслящими. Не на руку этим теоретикам-фантазерам сыграл и поступок суеверного доктора Декстера, который выбросил странную шкатулку с ограненным камнем, — несомненно испускавшим собственный свет, что было видно в темноте шпиля без окон, где он нашелся, — в самом глубоком месте бухты Наррагансетт. Чрезмерное воображение и невротическое расстройство, усугубленное изучением канувшего нечестивого культа, поразительные осколки которого Блейк обнаружил, — таково преимущественное толкование последних судорожных набросков в его дневнике. Вот эти записи — или то, что можно было в них разобрать.

«...Света все нет — наверняка уже пять минут. Все зависит от молний. Дай Яаддит, чтобы они продолжались!.. Пробивается какое-то влияние... Оглушает дождь, гром и ветер... Оно завладевает моим сознанием...

Нелады с памятью. Вижу то, чего никогда не видел. Другие миры и другие галактики... Тьма... Молния кажется темной, а тьма — светом...

Это не настоящие холм и церковь, я не могу их видеть в полной тьме. Это след на сетчатке, оставленный молнией. Дай бог, итальянцы выйдут со свечами, если молнии прекратятся.

Чего я боюсь? Не аватар ли это Ньярлафотепа, вочеловечившийся в древнем и черном Кми? Помню Юуггот, и дальний Шаггай, и черные сферы в запредельной пустоте...

Долгий полет на крыльях сквозь пустоту... не может пересечь вселенную света... вновь сотворенный мыслью, уловленной в Сияющий Трапецоэдр... перенес его за ужасные пропасти света...

Меня зовут Блейк, Роберт Харрисон Блейк, Ист-Нэпп-стрит, 620, Милуоки, Висконсин... я здесь на этой планете.

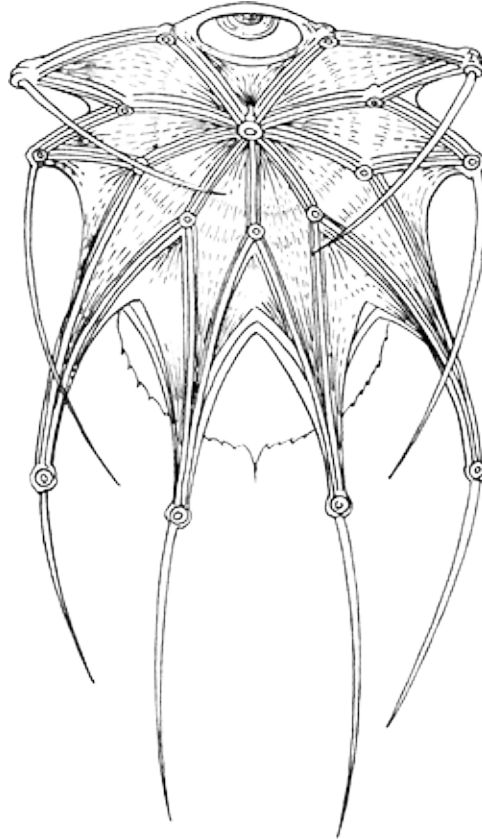
Помилуй Азафот!.. Больше не сверкает молния... О ужас!.. Я могу видеть, но это чудовищное чувство не зрение... Свет — это тьма, а тьма — это свет... Те люди на холме... караулят... свечи и амулеты... Их священники...

Исчезло ощущение расстояния: что близко, то далеко, а далеко — близко. Нет света, нет бинокля, вижу шпиль... башню, окно... Слышно — Родерик Ашер... Сошел или схожу с ума... Оно шевелится и копается в башне. Я — это оно, оно — это я... Прочь, я хочу выйти прочь и слить силы. ...Оно знает, где я...

Я Роберт Блейк, но я вижу башню во тьме... Чудовищный запах...

Чувства перерождаются... Там, на башне, в окне трещит ставень и поддается... Йа... нгай...угг...

Вижу его — летит сюда... Ветер ада... Иссиня-черный... Черные крылья... Йог-Софот спаси меня... Пылающий глаз из трех долей...»



Кромешные сны



Сны ли вызвали мозговую горячку, горячка ли вызвала сны, Уолтер Джилман не знал. За всеми этими кошмарами таился другой — кошмар древнего города с его тлетворным гнетом наваждения безблагодатной, в плесенном обмете мансарды под островерхой крышей, где он занимался, писал и сражался с числами и формулами, не находя себе покоя на убогой железной кровати. Слух его изощрился до невыносимой, противоестественной степени, и он давно уже остановил дешевые каминные часы, ход которых стал напоминать ему орудийный грохот. По ночам было довольно еле внятного движения черного города за окном, зловещей возни крыс за изъеденными древоточцем перегородками и поскрипывания скрытых балок столетнего дома, чтобы доставить ему ощущение адского скрежета зубовного. Темнота вечно полнилась сумятицей необъяснимых звуков — и все-таки порою он в страхе трепетал, как бы они не затихли, открыв ему присутствие других, не столь явственных звуков, которые, как он подозревал, таились за ними.

Джилмана обступал город, который, не ведая перемен, наваждался старым преданием, — город Аркхэм с его крышами о двух скатах, которые, лепясь одна к другой, вкривь и вкось кренятся над чердаками, где в мрачное время оно Провиданса ведьмы прятались от людей короля. И не было в этом городе уголка, гуще проникнутого зловещей памятью старобытного, чем та каморка под самой кровлей, что давала ему приют, ибо эта каморка и этот дом когда-то служили приютом старой Кизайе Мэйсон, чей побег из темницы Сэлема так в конце концов и не смог никто объяснить. Это было в 1692 году — тюремщик спятил с ума и все бормотал что-то о мелкой косматой твари с белыми клыками, которая выюркнула из Кизайиной камеры, и даже Коттом Мэйер не смог взять в толк, что за кривые линии и углы намазаны на серых каменных стенах чем-то красным и липким.

Джилману, возможно, не стоило так усиленно заниматься. Хватит и неевклидовой геометрии с квантовой механикой, чтобы заворотить любые мозги, а если это смешивать еще и с фольклором и пытаться отслеживать

многомерную реальность, странной подмалевкой просвечивающую за тошнотворными обвиняками готических легенд и фантастических пересудов у камелька, то что проку жаловаться на умственное переутомление? Джилман был родом из Хэвер-Хилла, но сопрягать математику с причудливыми преданиями о древней волшбе он начал не раньше, чем поступил в университет Аркхэма. Что-то в самом воздухе города седой древности подспудно действовало на его воображение. Университетские преподаватели убеждали его дать себе роздых и по собственному побуждению сократили ему курс. Кроме того, ему запретили обращаться за сведениями к старым книгам заповедных тайн, хранившимся под замком в подвале университетской библиотеки. Но с предостережениями этими опоздали — из пугающего «Некрономикона» Абдуля Альхазреда, отрывочной Книги Эйбона и запрещенных книг фон Мятца Джилман почерпнул некие ужасные иносказания, согласующиеся с его абстрактным математическим описанием свойств пространства и взаимосвязи измерений, известных и неизвестных.

Джилман знал, что снимает комнату в старом ведьмином доме, — как раз поэтому он ее и снимал. В анналах графства Эссекс немалое место занимал процесс Кизайи Мэйсон; и то, в чем она призналась под давлением на суде, взбудоражило Джилмана сверх всякой меры. Судье Готорну она говорила о прямых и кривых, которые могут показать направление, как через стену одного места уйти в другое место за ним, и намекала, что те, мол, прямые и кривые в большом ходу на неких полуночных сборищах в темной долине у Белого камня за Мидоу-Хилл и на безлюдном речном острове. Еще она говорила о Черном Человеке, своем обете и новом тайном имени Нахаб. Потом она провела те черты на стене своей камеры — и сгнула...

Джилман полагал странные вещи насчет Кизайи и, узнав, что жилище ее все еще существует спустя две сотни и тридцать пять лет, испытал необычный трепет. Когда он услышал в Аркхэме шепот молвы о вечном присутствии Кизайи в старом доме и в узких улочках; о неровных следах, оставленных человеческими зубами на коже тех, кому доводилось ночевать не только в этом, но и в других домах; о детских криках, которые слышатся в канун Вальпургиевой ночи и Дня Всех Святых; о злосмрадии, доносящемся с чердака старого дома сразу после этих пугающих праздников, и о мелкой косматой твари с острыми зубами, что является в обветшалом здании и в глухой предрассветный час бесцеремонно притыкается к людям, то решил здесь поселиться, чего бы это ни стоило. Получить комнату оказалось просто; дом не пользовался доброй славой,

нелегко сдавался внаем и давно уже был превращен в дешевые номера. Джилман не смог бы сказать, что он надеялся там найти, но знал, что хочет пожить в здании, где некое обстоятельство более или менее неожиданно сподобило заурядную старуху из XVII века прозрения таких математических глубин, которые были, возможно, недоступны самым современным исследователям вроде Планка, Гейзенберга, Эйнштейна и де Ситтера.

В поисках загадочных чертежей он обследовал деревянные оштукатуренные перегородки в тех местах, где отходили обои, и за неделю сумел получить обращенную на восток мансарду, в которой, как утверждала молва, Кизайя занималась своей волшбой. Она пустовала, ни у кого не возникало желания надолго туда вселяться, так что домовладелец-поляк со временем стал опасаться ее сдавать. Однако с Джилманом ровно ничего не случилось, покуда у него не началась мозговая горячка. Призрачная Кизайя не мелькала в мрачных холлах и комнатах, мелкая косматая тварь не прокрадывалась на его унылую голубятню, чтобы приткаться к нему, и ничем наводящим на след магических формул не увенчались его беспрерывные поиски.

Иногда он отправлялся бродить по темным, отдающим затхлостью лабиринтам немощеных улочек, где зловещие бурые дома, неведь когда построенные, запрокидывались в разные стороны, угрожая рухнуть, и злобно косились узкими, в мелких переплетах оконцами. Когда-то, он знал, здесь творились странные вещи, и сквозь внешнюю оболочку смутно брезжило, что кошмар прошлого не мог окончательно сгинуть — по крайней мере, в самых темных, самых узких, самых хитроумных изломанных закоулках. Однажды он съездил на лодке на пользующийся дурной славой остров и перечертил странные углы, образованные замшелыми рядами серых, торчком стоящих камней, происхождение которых темно и незапамятно.

Комната Джилмана была приличных размеров, но причудливо неправильной формы; северная стена ощутимо клонилась внутрь, низкий же потолок плавным уклоном шел ей навстречу. Помимо зияющей крысиной норы и следов других нор, уже заткнутых, не имелось никакого доступа в зазор, существовавший между наклонной стеной мансарды и вертикальной наружной стеной дома с северной стороны; хотя, если посмотреть с улицы, было видно место, где в весьма отдаленные времена заложили окно. Когда по приставной лестнице Джилман вскарабкался на окутанный паутиной чердак с горизонтальным полом, настанным надо всей остальной площадью верхнего этажа, то обнаружил следы уже не существующего

дверного проема, наглухо забранного тяжелыми древними досками и заколоченного для надежности крепкими деревянными гвоздями, обычными в колониальных деревянных постройках. Однако убедить флегматичного хозяина дома позволить ему исследовать то или другое из закрытых пространств оказалось невозможно, сколько доводов он ни приводил.

По мере того как уходили дни, его поглощенность необычными стенами и потолком все усиливалась — в их не прямые углы он начинал вкладывать математическое значение, которое как будто таило в себе ключ, наводящий на разгадку их смысла. Старуха Кизайя, размышлял он, должно быть, неспроста поселилась в комнате с особенными углами; разве не посредством неких углов она вышла, как утверждала, за пространственные пределы того мира, который мы знаем? Постепенно его интерес к немереной пустоте за покатыми плоскостями переключился на другое, поскольку теперь начинало казаться, что умысел, в них заложенный, касается той самой стороны, по какую находился и он.

Слабые признаки мозговой горячки и тревожные сновидения начались в первых числах февраля. Должно быть, уже какое-то время удивительные углы комнаты оказывали странное, почти гипнотическое воздействие на Джилмана; с нагрянувшими зимними холодами он стал ловить себя на том, что все более напряженно вглядывается в тот угол, где покатым потолком сходится с наклонной стеной. К этому времени его стала тревожить неспособность сосредоточиться на своих основных университетских курсах, поскольку его грызли дурные предчувствия насчет экзаменов за полугодие. Но и чрезмерная чувствительность слуха мешала ничуть не меньше. Жизнь превратилась в назойливую, почти невыносимую какофонию, то было постоянное жуткое предощущение других звуков — возможно, из сфер, запредельных жизни, — витающих на пороге восприятия. Что же касательно конкретного шума, то здесь крысы были хуже всего. Иногда они скреблись как будто не просто украдкой, а с обдуманной осторожностью. Когда их царапанье доносилось из-за наклонной перегородки с северной стороны, оно сопровождалось чем-то вроде глухого постукивания, если же раздавалось с запертого уже целый век чердака, Джилман напрягался так, словно предугадывал нечто ужасное, что лишь выжидает благоприятного случая нагрянуть и поглотить его безвозвратно.

Эти звуки бросали вызов здравому рассудку, и Джилман чувствовал, что они не что иное, как результат математических штудий вкупе с занятиями фольклором. Он слишком погряз в тех неясных сферах, которые,

как говорили его вычисления, должны быть внеположны известным нам трем измерениям; похоже, старая карга Кизайя, ведомая некой силой, превосходящей любые догадки, и в самом деле обнаружила врата в эти сферы. Пожелтевшие летописи графства, содержащие ее показания и свидетельства, с такой окающей силой наталкивали на вещи, находящиеся за пределами человеческого опыта, а описания снующей мелкой косматой твари, бывшей ее фамулусом, оказывались столь мучительно правдоподобными, что можно было пренебречь невероятностью деталей.

Тварь эта — размером всего лишь с крупную крысу и причудливо прозванная горожанами Темная Дженкин — была, скорее всего, порождением поразительного случая массового гипноза, ибо в 1692 году не менее одиннадцати человек засвидетельствовали, что видели ее. Ходили и недавние слухи, настолько согласные между собой, что это озадачивало и смущало. Как утверждали очевидцы, тварь была с длинной шерстью и туловищем крысы, но физиономия ее с острыми зубами и бородкой была гнусной пародией на человеческую, а лапы напоминали кисти маленьких человеческих рук. Она сновала с посланиями между старухой Кизайей и Сатаной, а питала ее ведьма собственной кровью, которую та сосала, как вампир. Ее голос звучал мерзостным верещанием, а говорила она на многих языках. Из всех причудливых уродств в его снах ничто не вызывало в Джилмане такого тошнотворного страха, как этот окаанный крохотный ублюдок, чья личина мелькала в его видениях в тысячу крат более мерзкой, чем все, что могло бы представиться ему наяву по старым летописям и современным слухам.

Сны Джилмана в основном складывались из погружений в беспредельные пропастные пространства неизъяснимо окрашенного мрака и головокружительно расстроенного звука; пространства, к объяснению физических и гравитационных свойств которого, как и их отношению с его собственным организмом, он не мог даже и подступиться. Он не шел и не карабкался, не летел и не плыл, не влачился всем телом и не полз, извиваясь, но постоянно пребывал в своего рода движении, полувольном и полуневольном. О собственном своем виде судить он не мог, поскольку руки, ноги и торс не попадали в его поле зрения из-за странного нарушения перспективы; однако он ощущал, что его физическое строение и способности были как-то удивительно претворены в смещенной проекции, однако не без некоей гротескной связи с его нормальным сложением и свойствами.

Бездна при том не была пустотою пустот, в ней теснились неопикуемых конфигураций сгустки веществ нездешних оттенков, одни

производили впечатление органических, другие неорганических. Некоторые из органических форм будили смутные воспоминания на задворках сознания, но что именно они глумливо напоминают или вызывают по ассоциации, разумом постичь он не мог. В более поздних по времени снах он стал различать отдельные категории, на которые органические формы как будто делились и каждая из которых подразумевала свою собственную модель поведения и базовую мотивацию. Одна из этих категорий заключала в себе, как ему показалось, формы, в своих пертурбациях не столь выходящие за пределы всякой логики и смысла, как те, что составляли другие группы.

Все эти виды — и органические, и неорганические — абсолютно не поддавались описанию или хотя бы уразумению. Иногда Джилман уподоблял неорганическую материю призмам, лабиринтам, скоплениям кубов и плоскостей, титаническим зданиям; органические формы представлялись Джилману гроздьями пузырей, спрутами, многоножками, ожившими индуистскими идолами и изощренными кружевными сплетениями, оживленными к своего рода змеиному пресмыканию. Все, что он видел, было неописуемо грозным и ужасным; едва какое-либо из органических существ являло своим поведением, что он замечен, Джилман испытывал неистовый, животный страх, который обычно и заставлял его проснуться. О том, как органические существа передвигались, он знал не больше того, как передвигался сам. Со временем он сделал наблюдение еще более загадочное — некоторые из организмов имели склонность неожиданно возникать из пустого пространства или бесследно пропадать с той же внезапностью. Сумятица режущих, воющих звуков, которыми полнилась бездна, исключала любую попытку разложения их по высоте, тембру или частоте, но как будто согласовывалась во времени со смутными, видимыми глазу изменениями всей бесконечности форм, как органических, так и неорганических. Джилмана не оставляло чувство страха, что в одну из этих темных, неумолимо неминуемых флуктуаций звук наберет невыносимую силу.

Но не в этой круговерти абсолютно нездешнего видел он Темную Дженкин. Гадкое маленькое страшилище поджидало его в определенных, более поверхностных и отчетливых сновидениях, во власти которых он оказывался до того, как проваливался в самый глубокий сон. Борясь с дремотой, он лежал в темноте, когда в комнате, ведущей счет столетиям, как будто возникало слабое мерцающее сияние, в фиолетовой дымке которого виднелись сходящиеся в одной точке плоскости, столь коварно заполнившие его сознание. Страшилище, казалось, выскакивало из

крысиной норы в углу и, топоча, подступало к нему по широким проседающим половицам со зловещим ожиданием на крошечном бородатом личике; однако, даря избавление, сновидение всегда расплывалось раньше, чем тварь подбиралась достаточно близко, чтобы приткнуться к нему. У нее были дьявольски острые и длинные волчьи зубы. Джилман каждый день пытался заткнуть крысью нору, но каждую ночь настоящие обитатели подполья прогрызали препятствие, каким бы оно ни было. Однажды он попросил домовладельца забить дыру жестью, но на следующую ночь крысы прогрызли новую, вытолкнув при этом в комнату странный осколок кости.

Джилман не стал обращаться со своей горячкой к врачу, поскольку знал, что не выдержит экзамена, если отправится в лазарет, когда требовалось, не теряя ни минуты, зубрить. Вышло так, что он провалился на дифференциальном исчислении и основном курсе общей психологии, однако не без надежды наверстать упущенное до конца семестра.

В марте в его видениях предсонья появился новый элемент: кошмарный образ Темной Дженкин стал сопровождаться расплывчатым пятном, в котором все больше и больше проявлялось сходство со сгорбленной старухой. Эта дополнительная деталь тревожила его больше, чем он мог себе объяснить, но в конце концов он решил, что она напоминает ему древнюю каргу, которую действительно дважды встречал в темном лабиринте переулков у заброшенных причалов. В тех двух случаях злобный, издевательский и неведом чем вызванный взгляд старой чертовки бросил его едва ли не в дрожь — особенно в первый раз, когда огромная крыса, метнувшись наперерез в самом начале ближайшего сумрачного переулка, заставила его вне всякой логики подумать о Темной Дженкин. Теперь же эти невротические страхи, размышлял он, находили свое зеркальное отражение в его сумбурных снах.

То, что старый дом оказывает на него нездоровое влияние, отрицать он не мог, но остаток прежнего болезненного интереса все еще удерживал его. Он твердил себе, что в его еженощных фантазмах повинна одна мозговая горячка, и когда приступ пройдет, он избавится от чудовищных видений. Видения между тем захватывали своей яркостью и убедительностью, и всякий раз, просыпаясь, он сохранял смутное чувство, что претерпел гораздо больше того, чем оставалось в памяти. В нем жила жуткая уверенность, что в позабытых снах он беседовал и с Темной Дженкин, и со старухой, что они подстрекали его отправиться с ними куда-то и предстать перед третьим, более могущественным существом.

К концу марта он начал подтягивать свою математику, хотя другие

дисциплины доставляли ему все большее беспокойство. Он интуитивно нащупал подход к решению уравнений Римана^[2], а своим пониманием четырехмерных и других пространственных объектов, ставивших остальных студентов в тупик, вызывал изумление профессора Апхейма. Однажды возник спор о возможности странных искривлений пространства и о том, какова вероятность сближения или даже контакта нашей части космоса с другими его областями, не менее удаленными, чем самые далекие звезды или бездны за пределами галактики, даже столь баснословно далекими, как гипотетически постигаемые космические единицы за пределами эйнштейновского пространственно-временного континуума. Трактовка Джилманом этой темы преисполнила всех восхищения, хотя некоторые примеры, приведенные им в пояснение своих гипотез, усугубили толки — в чем и так не было недостатка — о его нервической и бегущей людей эксцентричности. Покачать головой их заставила и его холодно-рассудочная теория о том, что человек, обладая он математическим знанием, возможность обретения которого для среднего обывателя весьма маловероятна, мог бы преспокойно шагнуть с Земли на любое другое небесное тело, находящееся в одной из бесконечного множества конкретных точек в космическом узоре.

Подобный шаг, сказал он, уложился бы всего в две фазы: фазу выхода из трехмерной сферы, известной нам, и фазу входа в трехмерную сферу в другой, бесконечно удаленной точке. Осуществить подобное, не лишившись при этом жизни, казалось, однако, делом вполне мыслимым. Любое существо из любой точки трехмерного пространства могло бы, очевидно, выжить в четвертом измерении; а жизнь его во второй фазе будет зависеть от того, какой окажется инаковость той части трехмерного пространства, которую он изберет для своего вхождения. Обитатели некоторых планет могли бы выжить на некоторых других — даже принадлежащих к иным галактикам или иному пространственно-временному континууму, — хотя, конечно, должно существовать огромное количество обоюдно необитаемых, пусть математически и сопологаемых, небесных тел и космических зон.

Возможно также, что обитатели данной трехмерной сферы могут выдержать переход во многие неведомые и непостижимые сферы с одним добавочным или бесконечно множимыми измерениями — в данном пространственно-временном континууме или вне его — и, более того, переход в обратном направлении. Это было делом умозрения, хотя и можно быть уверенным, что мутация, которую повлечет за собой переход с любого данного плана в пространстве на следующий, более высокий, не скажется

губительно на биологической целостности, как мы ее понимаем. Джилман не сумел сколько-нибудь внятно обосновать это свое последнее утверждение, но отсутствие ясности в этом предмете с лихвой искупала его четкость в других сложных вопросах. Профессору Апхейму особенно понравилось его доказательство родства высшей математики с некоторыми областями тайноведения, которое пошло в веках от невиданной и неслыханной древности, человека или прачеловека, познавшего космос с его законами полнее, чем мы.

К первому апреля Джилман забеспокоился всерьез, поскольку вяло текущая горячка не отпускала. Тревожило его и то, что некоторые соседи по дому говорили о его хождениях во сне. Его как будто часто не оказывалось в постели, а поскрипывание в его комнате половиц в определенные ночные часы заметил человек, живший под ним. Парню слышались по ночам и шаги явно обутых ног; Джилман был, однако, уверен, что в этом он ошибается, раз и ботинки, и всё прочее утром оказывались на том же месте. В этой хилой развалине возможен любой обман слуха — разве сам Джилман, даже при свете дня, не был теперь уверен, что звук, отличный от крысиной возни, доносится из черных пустот за наклонной стеной и с покатога потолка? Своим болезненно чутким слухом он начинал улавливать смутный шорох шагов на с незапамятных пор запертом чердаке, и порой их иллюзия бывала мучительно похожа на правду.

Он узнал между тем, что действительно стал лунатиком; его комната дважды оказывалась пустой по ночам, хотя вся одежда висела на месте. В этом уверял его Фрэнк Элвуд, единственный сотоварищ-школяр, которого нищета заставляла квартировать в этом убогом, на дурном счету доме. Засидевшись за полночь за учебниками, Элвуд поднялся к Джилману попросить помочь с дифференциальным уравнением, но обнаружил, что тот отсутствует. Открыть незапертую дверь, когда на стук не последовало никакого ответа, было бы довольно бесцеремонно с его стороны, но помощь нужна была до зарезу, он и подумал, что, если хозяина комнаты растолкать, ничего страшного не случится. Но ни в тот, ни в другой раз приятеля в комнате не оказалось; узнав об этом, Джилман поразился, где бы это он мог пробродить всю ночь босиком и в ночном белье. Решив разобраться во всем этом деле, если разговоры о его сомнамбулизме не прекратятся, он надумал посыпать пол в коридоре мукой и посмотреть, куда поведут следы. Дверь была единственным мыслимым входом, не посыпать же мукой подоконник за узким окном.

Наступил апрель, и лихорадочно изощренный слух Джилмана стали

терзать молитвенные подвывания Джо Мазуревича, суеверного наладчика ткацких станков, снимавшего комнату на нижнем этаже. Мазуревич вел длинные бессвязные рассказы о призраке старой Кизайи и о косматой, с острыми клыками твари-«притыкомке», говоря, что по временам его так блазнит, что худо бы ему пришлось без серебряного распятия — на сей случай даденного ему преподобным отцом Иваники из церкви Св. Станислава. Джо беспрестанно молился, потому что подходил срок шабаша ведьм. В канун первого мая, в Вальпургиеву ночь, самые черные силы зла разгуливают по земле и присные сатаны собираются справлять свои обряды, которым нет названия. В Аркхэме это всегда очень скверное время, хотя благородные господа с Мискатоник-авеню, Хай- и Солтонстрит и прикидываются, что ни о чем понятия не имеют. Но мерзостное действие будет твориться, и одного-двух младенцев недосчитаются наверняка. Джо знал про такие вещи, его бабушка слышала у себя на родине рассказы от своей бабушки. Благоразумие велит в эту пору молиться да четки перебирать. Три месяца ни Кизайя, ни Темная Дженкин близко не приближались ни к комнате Джо, ни к каморке Пола Чойски, а раз эти исчадья держатся подальше, значит, добра не жди. Наверняка затевают что-то.

Шестнадцатого числа Джилман зашел к врачу и был удивлен, что температура у него не такая высокая, какой он боялся. С пристальным вниманием его расспросив, доктор посоветовал обратиться к невропатологу. Джилман порадовался, что не пошел к еще более дотошному университетскому врачу. Старик Уолдрон, который и прежде советовал ему не перенапрягаться, заставил бы его сделать передышку, что было совершенно невозможно теперь, когда он так близок к решающим результатам своих вычислений. Без сомнения, он стоял у черты, отделяющей познанный универсум от четвертого измерения, и кто знает, куда дальше могут завести его поиски...

Но, только еще наталкиваясь на эти мысли, он задумывался о том, откуда берется его странная уверенность. Все ли это чувство грозной неизбежности исходило из тех формул, которыми он изо дня в день покрывал страницы? Тихие, вороватые призывы шагов на заколоченном чердаке лишали его присутствия духа. А теперь еще нарастало чувство, будто кто-то неотступно убеждает его совершить нечто ужасное, чего он совершить не может. А лунатизм? Куда он порой отправляется по ночам? И что это за смутный намек на звук, который нет-нет да и пробьется сквозь сумятицу узнаваемых звуков даже среди бела дня, наяву? Его пульсация не соответствовала ничему земному, разве что ритму одной или двух

полузабытых шабашных песен, и порой он в страхе чувствовал, что по неким своим свойствам она сродни неясному визгу и реву в абсолютно нездешних пучинах сна.

Между тем сны делались все более отвратительными. В неглубоком предсонье зловещая старуха выглядела сущей демоницей, и Джилман понимал, что она-то и напугала его в трущобах. Скрюченная спина, длинный нос и сморщенный подбородок не дали бы ошибиться, а бесформенное темное рубище он именно таким и запомнил. Лицо ее выражало отвратительную злокозненность и торжество, и, проснувшись, он вспоминал каркающий голос, который то улещивал, то грозил. Он должен повстречаться с Черным Человеком и со всеми вместе предстать пред престолом Азафота, в сердце абсолютного Хаоса, — вот что она говорила. Он должен расписаться своей кровью в книге Азафота и принять новое тайное имя — теперь, когда он самостоятельно проник так далеко. Пойти вместе с ней и Темной Дженкин и предстать пред престолом Хаоса, где полоумно визжат пронзительные флейты, не давало ему то, что имя Азафот он встречал в «Некрономиконе» и знал, что это имя предначального зла, слишком страшного, чтобы описать его словами.

Старуха всегда возникала прямо из воздуха возле того угла, где сходились покатый книзу потолок и наклоненная внутрь стена. Она как будто сгущалась в точке дальше от пола, чем от потолка, и каждую ночь оказывалась все ближе и виделась все отчетливее, прежде чем успевал сместиться сон. Темная Дженкин тоже подбиралась ближе и ближе, и ее изжелта-белые клыки отвратительно блестели в нездешнем фиолетовом свечении. Ее резкое омерзительное верещание все больше и больше врезалось Джилману в слух, и утром в памяти оставалось, как она выговаривала имена Азафот и Ньярлафотем.

В видениях глубокого сна все становилось тоже более отчетливым, и Джилман интуитивно сознавал, что сумеречные пропастные пространства вокруг него — это пространства четвертого измерения. Те органические существа, чьи пертурбации казались не столь вопиюще несообразными и немотивированными, возможно, были проекциями органических форм с собственной нашей планеты, включая людей. Чем были остальные в своем измерении или измерениях, он не смел и помыслить. Две из более сообразных в своих движениях форм — довольно большая купа радужных, вытянутых наподобие сфероида пузырей и куда меньших размеров и невиданных цветов многогранник с быстро меняющимися плоскостными углами, — казалось, обнаружили его присутствие и следовали за ним или предшествовали ему по мере того, как он менял местоположение среди

гигантских призм, лабиринтов скоплений кубов и плоскостей и незнаний; и все это время неясные визг и рев наливались с новой силой, словно приближались к какой-то наивысшей точке абсолютно невыносимой интенсивности.

В ночь на двадцатое апреля произошло новое событие. Джилман полунепроизвольно перемещался в сумеречных безднах, предшествуемый купой пузырей и маленьким многогранником, когда вдруг заметил специфическую правильность углов, образованных ребрами гигантских соседствующих скоплений призм. В следующую секунду бездна исчезла, он же, дрожа, очутился на скалистом склоне, залитом сильным рассеянным светом. Он был бос и в ночном белье и, попытавшись пойти, обнаружил, что с трудом отрывает подошвы от склона. Курящаяся дымка скрывала от глаз все, кроме самой избегающей поверхности, и он содрогался при мысли о звуках, какие могут возникнуть из этой дымки.

Потом он увидел две фигуры, с мучительным трудом ползущие к нему, — старуху и мелкую косматую тварь. С трудом привстав на колени, карга сумела скрестить руки особенным образом, тогда как Темная Дженкин жуткой антропоидной лапкой, которую она подняла с видимым трудом, указывала в определенном направлении. Подстегнутый импульсом, порожденным вне его, Джилман повлачился вперед по пути, определенному углом скрещенных старухиных рук и вытянутой лапкой маленького страшилища, и, не сделав и трех шаркающих шагов, снова оказался в сумеречной бездне. Вокруг него кишели геометрические тела, и он падал в эту бездну, падал головокружительно и бесконечно. Проснулся он в конце концов в своей постели под крышей с безумным углом зловещего старого дома.

В то утро Джилман был ни на что не годен и пропустил все занятия. Неведомо что притягивало его взгляд в несообразном, казалось бы, направлении — он не мог смотреть в определенную точку на пустом полу. По мере того как наступал день, фокус его невидящего взгляда менял положение, и к полудню он превозмог желание смотреть в пустоту. Около двух Джилман вышел перекусить и, пробираясь по узким улочкам города, обнаружил, что все время сворачивает к юго-востоку. Лишь с усилием он задержался в кафе на Черч-стрит, а после завтрака ощутил неведомую тягу с еще большей силой.

Ему в конце концов придется провести невропатолога — возможно, все это связано с его лунатизмом, — но пока, по крайней мере, он может попытаться сам разрушить болезненное наваждение. Он, конечно же, сумеет выйти из-под этого влияния — и вот, с великой решимостью пустясь

в противоположную сторону, Джилман умышленно заставил себя двигаться на север по Гаррисон-стрит. К тому времени, как он добрался до моста через Мискатоник, он обливался холодным потом и, схватясь за железные перила, стал смотреть вверх по течению на пользующийся дурной славой остров, где правильные ряды древних камней в угрюмом раздумье стояли при свете вечернего солнца.

Тут он вздрогнул. На этом пустынном острове ясно виднелся человеческий силуэт, и чуть ли не с первого взгляда он понял, что это та самая странная старуха, чей зловеющий облик столь губительно внедрился в его сны. Высокая трава подле нее колыхалась, словно что-то еще живое копошилось у самой земли. Когда старуха начала оборачиваться в его сторону, он, не разбирая дороги, бросился прочь с моста, под защиту лабиринта прибрежных улочек. Как ни далек был остров, он чувствовал, что охульный взгляд этой скрюченной, дряхлой фигуры в темном навлечет на него необоримое, чудовищное зло.

Его все еще тянуло на юго-восток, и, лишь собрав всю решимость, Джилман сумел дотащиться до старого дома и подняться по шатким ступеням. Несколько часов кряду просидел он безмолвно и бесцельно, взгляд его постепенно обращался к западу. Около шести, поймав обостренным слухом молитвенные подвывания Джо Мазуревича двумя этажами ниже, он в отчаянии схватил шляпу и вышел на позлащенные закатным солнцем улицы, отдавшись теперь направленному прямо на юг тяготению, — пусть оно ведет его, куда вздумается. Темнота застигла его час спустя в полях за Ручьем Палача, где над головой мерцали тусклые весенние звезды. Позыв, понуждавший его идти, постепенно переходил в позыв к непостижимо-мистическим прыжкам в небо, и внезапно Джилман осознал, где именно находится источник притяжения.

Он был на небе. На Джилмана посягали из некоей точки среди гущи звезд и призывали его. Точка эта, очевидно, покоилась где-то между Гидрой и Кораблем Арго, и он понял, что она его притягивала с того самого момента, как он проснулся рано на рассвете. Утром она располагалась внизу, а теперь была приблизительно на юге, неумолимо перемещаясь к западу. Что обозначало это новое явление? Или он теряет рассудок? Как долго будет это все продолжаться? Вновь призвав всю свою силу воли, Джилман развернулся и потащился обратно к зловещему старому дому.

У дверей его ждал Мазуревич, которого и подмывало, и что-то удерживало выдать свежую порцию суеверного вздора. Штука была в ведьминском огне. Накануне Джо загулял — это был День Патриота в Массачусетсе — и пришел домой за полночь. Посмотрев на дом с улицы,

он сначала подумал, что окно у Джилмана темное, но увидел потом слабый фиолетовый свет. Он хотел остеречь соседа насчет этого света, ведь в Аркхэме все знают: это ведьминский Кизайин огонь, который пляшет вокруг Темной Дженкин и призрака самой старой карги. Раньше он об этом не поминал, но теперь должен сказать, потому что это значит, что Кизайя и ее долгозубый фамулус преследуют молодого господина. Им с Полом Чойнски и хозяином Домбровски померещилось раз, как огонь этот просачивается в щели забитого чердака над комнатой молодого господина, но они сошлись на том, что об этом нечего говорить. Будет, однако же, лучше, если молодой господин переедет в другую комнату и добудет распятие у какого-нибудь священника, вроде отца Иваники.

Слушая эту бессвязную болтовню, Джилман почувствовал, как горло ему сдавливает безымянный страх. Он знал, что Джо был вчера полупьяным, но поминание о фиолетовом свечении на мансарде несло в себе ужасающий смысл. Именно такие неверные отсветы неизменно играли вокруг старухи и мелкой косматой твари в тех предсонных, более отчетливых видениях, которые предшествовали его погружению в неведомые бездны, а сама мысль о том, что другой мог видеть наяву свечение из его окна, не могла угнездиться в здравом рассудке. Откуда, однако, мог Джо почерпнуть такую странную идею?! Неужели он во сне не только бродит по дому, но и разговаривает? Нет, Джо сказал, не разговаривает; придется ему это проверить. Возможно, Фрэнк Элвуд мог бы что-нибудь рассказать, хоть и неловко было спрашивать.

Горячка, дикие сны, лунатизм, слуховые галлюцинации, тяготение к какой-то небесной точке, а теперь подозрение на сумасшедшие разговоры во сне! Ему придется бросить занятия, навеститься к невропатологу и взять себя в руки. Поднявшись на второй этаж, он было приостановился у двери Элвуда, но увидел, что юноши нет. Неохотно он пошел к себе в мансарду, где и уселся в потемках. Взгляд его по-прежнему притягивало к югу, к тому же он ловил себя на том, что напрягает слух, не долетят ли с заколоченного чердака какие-нибудь звуки, и почти уже видит зловещий фиолетовый свет, сочащийся в щели в волосок толщиной на низком покатом потолке.

В эту ночь, когда Джилман уснул, фиолетовый свет обрушился на него во всей своей возросшей яркости, а старая ведьма и мелкая косматая тварь, подступая как никогда близко, глумились над ним с нечеловеческим улюлюканьем и сатанинскими телодвижениями. Он с радостью погрузился в смутно рокошущую сумеречную бездну, хотя преследование его той радужной купой пузырей и маленьким переливчатым многоугольником было угрожающим и назойливым. Затем громадные сходящиеся плоскости,

скользкие на вид, вздыбились под ним и над ним, и произошло смещение — смещение, завершившееся мгновением бреда и вспышкой невиданного, неземного света, в котором умопомрачительно и нераздельно смешались охра, кармин и индиго.

Он полулежал на высокой, с фантастической балюстрадой террасе над безбрежными джунглями диковинных, невероятных шпилей, уравнивающих друг друга плоскостей, куполов, минаретов, дисков, горизонтально балансирующих на остриях вершин и бесчисленных объектов еще более дикой конфигурации — иных из металла, иных из камня, — которые сияли богатством красок в смешанном, почти обжигающем зареве многоцветного неба. Взглянув вверх, он увидел три громадных пламенных диска, каждый другого цвета и на иной высоте от бесконечно далекой гряды низких гор на выгнутом дугой горизонте. Позади него террасы ярусами вздымались на высоту, которую только достигал глаз. Город внизу простирался, уходя за пределы зрения, и он надеялся, что ни звука не взиграет оттуда.

Мощный пол, с которого он с легкостью поднялся, был из полированного камня с прожилками, не поддававшегося определению, а плитам его была придана странная угловатая форма, показавшаяся Джилману не столько асимметричной, сколько основанной на некоей неземной симметрии, чьи законы он не мог постичь. Балюстрада, высотой по грудь, была изящной и фантастической отделки, на ней с небольшим промежутком располагались статуэтки абсурдных очертаний и мастерской работы. Они, как и вся балюстрада, казались сделанными из какого-то сверкающего металла, цвет которого невозможно было угадать в хаотической мешанине блистаний, смысл же их был выше всякого понимания. Они изображали некие рубчатые круглобокие предметы с горизонтальными ответвлениями, расходящимися наподобие колесных спиц; у вершины и основания круглобоких столбиков выдавались утолщения в форме луковицы или шара. Каждое из этих утолщений служило как бы ступицей для системы пяти длинных, плоских, треугольно заточенных спиц, расположенных вкруг, как лучи у морской звезды — почти горизонтально и немного загибаясь от центра. Основание нижнего утолщения соприкасалось с долгим поручнем таким легким касанием, что нескольких отломанных фигурок не хватало. Фигурки были четыре с половиной дюйма в высоту, в диаметре же, вместе с подобием тонких спиц, не более двух с половиной дюймов.

Когда Джилман встал, каменные плиты обдали жаром его босые ноги. Он был абсолютно один, и первым его движением было подойти к

балюстраде и с головокружительным чувством взглянуть на бесконечный титанический город с высоты почти в две тысячи футов. Он прислушался, и ему показалось, что из узких колодцев улиц поднимается ритмическая невнятица слабой музыки, порождаемой резкими тонкими звуками в широкой тональности, и он пожалел, что не может различить обитателей города. От этого вида у него скоро забрало дух, так что он рухнул бы на мостовую, если бы инстинктивно не ухватился за сверкающую балюстраду. Правая рука его упала на одну из фигурок, контакт как будто вернул ему устойчивость, однако хрупкий чужеземный металл не выдержал этого прикосновения и шипастая фигурка, схваченная им, отломилась. Еще наполовину в тумане, он продолжал сжимать ее, другой же рукой взялся за поручень в пустом промежутке.

Но тут его свёрхчуткое ухо уловило что-то за спиной, и, оглянувшись, он обвел взглядом плоскую террасу: тихо, однако не особенно таясь, к нему приближались пятеро — в двоих он узнал зловещую старуху и клыкастого косматого звереныша. Трое других заставили его рухнуть без памяти, ибо это были живые организмы около восьми футов ростом, своим видом точно повторявшие фигурки с колючими отростками и передвигавшиеся, по-паучьи перебирая нижним пучком отростков-лучей...

Джилман проснулся в своей постели, обливаясь холодным потом, с ощущением, словно ему напекло лицо, руки и ноги. Вскочив с кровати, он умылся и оделся в безумной спешке, как будто ему было необходимо поскорее убраться из дому. Он не знал, куда пойдет, но чувствовал, что занятиями снова придется пожертвовать. Странная, тянущая к небесной точке между Гидрой и Арго, сила ослабела, но другая, еще мощнее, заступила ее место. Теперь он чувствовал, что должен идти на север — только на север. Он страшился перейти мост, откуда был виден пустынный островок на Мискатонике, поэтому перешел по мосту на Пибоди-авеню. Он много раз спотыкался, ибо его взгляд и слух прикованы были к неизмеримо высокой точке в пустой небесной синеве.

Примерно час спустя, несколько с собой совладав, он увидел, что ушел далеко от города. Повсюду вдруг простиралась унылая пустошь соляных болот, узкая же дорога впереди вела к Инсмауту — тому древнему, наполовину обезлюдевшему городку, который жители Аркхэма с такой удивительной неохотой посещали. Хотя влечение к северу не уменьшалось, он сопротивлялся ему, как сопротивлялся раньше другой тянущей силе, и в конце концов обнаружил, что почти может уравновесить одну силу с помощью другой. Доплетаясь до города и выпив кофе у стойки, он

потащился в публичную библиотеку и стал бесцельно листать пустовесные журналы. Раз к нему подошли приятели, обронив мимоходом, что он выглядит до странности обгоревшим на солнце; о своей прогулке он им не сказал. В три он пообедал в ресторане, замечая, что тянущая сила либо отпустила его, либо разделилась. Потом убивал время в дешевом кинематографе, снова и снова глядя на бессмыслицу на экране, но ни секунды не задерживая на ней внимание.

Около девяти вечера он, еле волоча ноги, побрел к себе, вошел в старый дом. Джо Мазуревич подвывал свои неразборчивые молитвы, и Джилман не задерживаясь поспешил к себе в мансарду посмотреть, дома ли Элвуд. Удар ожидал его, когда он включил тусклую электрическую лампочку. Он сразу заметил, что на столе лежит нечто, чему там не место, а взглянув еще раз, больше не мог сомневаться: на боку — стоямя она не держалась — на столе лежала диковинная шипастая фигурка, которую в своем чудовищном сне он отломил на химерической балюстраде. Не было ни одной детали, которая бы отсутствовала. Рубчатое круглобокое центральное тело, тонкие расходящиеся отростки, утолщения с обоих концов и плоские, чуть отогнутые вовне, пучки отростков-лучей на утолщениях — все было на месте. При электричестве цвет фигурки казался радужно-серым с зелеными прожилками; и Джилман, при всем своем ужасе и смятении, заметил, что одно из утолщений кончалось зазубриной, отвечавшей своей бывшей точке соприкосновения с поручнем во сне.

Лишь наклонность его к молчаливому цепенению удержала его от вопля... Этот сплав сна и реальности было уже не вынести. Все еще как в тумане, он схватил колющий предмет и, пошатываясь, спустился к хозяину дома Домбровски. Молитвенные причитания суеверного наладчика ткацких станков все еще отдавались в тронутых плесенью стенах, но Джилман теперь не имел ничего против. Хозяин был у себя и приветливо его встретил. Нет, он никогда эту штуку не видел и ничего про нее не знает. Но ему жена говорила, что нашла странную железяку в одной из постелей, когда днем убирала комнату, — может, это она и была? Домбровский кликнул жену, и та вперевалку пришла. Да, это и есть та самая штуковина. Она нашла ее в постели молодого господина — около самой стенки. Разумеется, штуковина показалась ей очень чудной, но ведь у молодого господина полна комната разных диковинок — и книг, и редких старых вещей, и картинок, и всяких бумажек с пометками. Они ничего решительно про это не знают.

Стало быть, Джилман вернулся наверх в прежнем смятении духа, убежденный, что или он все еще спит, или его лунатизм перешел все

крайности и побудил его промышлять неизвестно где. Откуда он раздобыл эту чудную вещь? На его памяти, он не видел такой ни в одном из музеев Аркхэма. Тем не менее где-то она все же была; ее зрительный образ, когда он схватился за нее во сне, должно быть, и вызвал то странное видение террасы с балюстрадой. На завтра он наведет крайне осторожные справки — и, возможно, обратится к невропатологу.

Между тем он попытался проследить за своим хождением во сне. Поднимаясь по лестнице вверх и проходя по лестничной площадке к мансарде, он сыпал всюду мукой, которой одолжился — признавшись откровенно для чего — у хозяина дома. По пути он остановился у двери Элвуда, но оказалось, что свет там не горит. Войдя в комнату, он положил шипастую штуку на стол и, не тратя времени на раздевание, в полном душевном и физическом изнеможении лег. С заколоченного чердака на покатом потолке ему послышалось неясное поскрипывание и глухой стук шагов, но он был настолько несобран, что не стал придавать этому значения. Таинственное влечение к северу вновь набирало силу, но его источник теперь находился как будто ниже на небосводе.

В слепящем фиолетовом свечении сна снова явилась старуха с клыкастой косматой тварью — явились с большей отчетливостью, чем когда-либо раньше. На этот раз они добрались до него, и он почувствовал когтистую хватку иссохших пальцев старой карги. Извлеченный из постели и ввергнутый в пустоту, на миг он услышал ритмический рокот и увидел сумеречную бесструктурность непроявленной бездны, клокочущую вокруг него. Но миг этот был очень кратким — теперь он находился в неотделанном крошечном помещении без окон с неотесанными стропилами, сходящимися прямо над его головой, и странно покатым полом. На этом полу, на подпорках, чтобы ровно держались, были установлены низкие полки, набитые книгами, от древних до рассыпающихся трухой, а в центре стояли стол и скамья, явно прибитые намертво. Небольшие вещицы, неизвестного вида и назначения, размещались по верху полок, и в пылающем фиолетовом свете Джилману привиделось точное подобие шипастой фигурки, приведшей его в столь ужасное замешательство. Слева в полу неожиданно открылся пролом, подобие черного треугольного колодца, откуда, после секундного сухого постукивания, выглянула омерзительная мелкая косматая тварь с желтыми клыками и бородатым человеческим лицом.

Злобно ухмыляющаяся чертовка все еще цепко его держала, позади же стола стояла фигура, никогда им прежде не виденная, — сухопарый высокий человек крошечно черного цвета, но без малейшего признака

негроидности в чертах, полностью лишенный и волос, и бороды; единственным платьем служило ему бесформенное одеяние из какой-то тяжелой черной материи. Ног его было не видно из-за стола и скамьи, но он был, должно быть, обут — стоило ему переступить, раздавалось пристукивание. Он хранил молчание, и его мелкие правильные черты ничего не выражали. Он просто указывал на громадных размеров книгу, раскрытую на столе, чертовка же совала Джилману в руку большое серое перо. Надо всем помавал пронзительный, доводящий до исступления страх, апогей же наступил, когда косматая тварь, взбежав по одежде сновидца ему на плечо и соскользнув по левой руке, мгновенно прокусила ему запястье под самым манжетом. Когда из ранки струей ударила кровь, Джилман потерял сознание...

Наутро двадцать второго он проснулся с болью в левом запястье и увидел, что манжет побурел от запекшейся крови. В голове у него был страшный сумбур, но эпизод с черным человеком отчетливо стоял перед глазами. Должно быть, во сне его покусали крысы, приведя к апогею этого жуткого сна. Открыв дверь, он увидел, что мука на полу лежит как лежала, исключая здоровенные следы неуклюжего, как медведь, постояльца на другом конце мансарды. Значит, на сей раз он во сне не ходил. Но с этими крысами придется что-то делать. Надо бы поговорить с домовладельцем. Снова он попытался закупорить дырку внизу наклонной стены, вклинив туда подсвечник, который вроде бы подходил по размеру. В ушах у него страшно звенело, словно отдаваясь отголосками какого-то страшного шума, слышанного во сне.

Пока мылся и переодевался, он пытался припомнить, что ему снилось после залитого фиолетовым светом пространства, но ничего конкретного в сознании не проявлялось. Сам этот эпизод относился, должно быть, к заколоченному чердаку, столь неистово захватившему его воображение, но дальнейшие впечатления были стертыми и расплывчатыми. Наводило на мысль о сумеречных непроявленных безднах и о безднах еще необъятней, еще чернее за их пределами — безднах, где не было смыслов постоянных и непреложных. Он был доставлен туда купой пузырей и маленьким многогранником, которые неотступно преследовали его; но в абсолютном мраке этой новой пустоты они, как и он сам, превратились в струйки пара. Нечто двигалось впереди — струйка поплотнее, временами сгущавшаяся в безымянные подобия личин, — и он подумал, что движение их совершается не по прямой линии, но скорее по нездешним дугам и спиралям некоей воздушной закручивающейся воронки, подверженной

законам, о которых не ведает физика и математика умопостижимого космоса. Под конец появился намек на громадные скачущие тени, предощущение чудовищной, наполовину недоступной слуху вибрации и тихий, слабый, монотонный посвист невидимых флейт — но больше ничего. Джилман решил, что это последнее представление он почерпнул из прочитанного в «Некрономиконе» о великой бессмысленной сущности Азафота, чей черный престол в сердце Хаоса царит над временем и пространством.

Когда смылась кровь, ранка на запястье оказалась совсем небольшой, и Джилмана озадачило то, как располагались два маленьких прокола. Ему пришло в голову, что на покрывале, где он лежал, крови не было, — крайне странно, если иметь в виду, сколько ее было на манжете и на руке. Неужели он во сне ходил по комнате и крыса укусила его, когда он сидел на стуле, или настигла его в какой-нибудь менее нормальной позе? В поисках буроватых пятнышек или пятен он заглядывал во все углы, но ни единого не нашел. Лучше было бы, подумал он, посыпать и в комнате, и за дверью мукой; а вообще, какие еще нужны доказательства, что он ходит во сне? Он знал это и так, и дело теперь за тем, чтобы с этим покончить. Придется просить помощи у Фрэнка Элвуда. В это утро странная, тянущая в небеса сила как будто ослабела, но ее сменило другое ощущение, еще более необъяснимое. То было смутное, настойчиво возвращающееся желание вырваться из своего теперешнего состояния, но оно не давало ни намека, как именно это сделать. Когда он взял со стола странную шипастую фигурку, ему показалось, что более ранняя тяга к северу чуть возросла, но даже при этом новый и больше сбивающий с толку импульс преобладал.

Захватив фигурку, он спустился в комнату Элвуда, крепясь, чтоб не слушать причитаний Мазуревича, доносившихся с нижнего этажа. Элвуд, слава богу, был дома и подавал признаки пробуждения. До завтрака и занятий еще оставалось время для разговора накоротке, так что Джилман одним духом выложил все о своих недавних страхах и снах. Собеседник был весь сочувствие и соглашался, что следует что-нибудь делать. Его поразила внешность измученного, исхудавшего Джилмана, заметил он и странный, ненормального вида солнечный ожог, обращавший на себя внимание и других на прошедшей неделе. Однако сказать ему было особенно нечего. Он ни разу не видел Джилмана во время его лунатических походов и не имел представления, что это за удивительная фигурка. Он, правда, слышал однажды вечером, как французский канадец, живущий сразу под Джилманом, разговаривал с Мазуревичем. Они говорили друг другу, как сильно боятся Вальпургиевой ночи, которая наступит через

каких-нибудь несколько дней, потом обменивались сожалениями насчет обреченного молодого господина, бедняги Джилмана. Дероше, тот малый, что жил под Джилманом, заговорил о шагах по ночам — то босых ног, то в башмаках — и о фиолетовом огне, который он видел однажды ночью, когда боязливо прокрался наверх, чтобы заглянуть в замочную скважину к Джилману. Заглядывать он не осмелился, рассказывал он Мазуревичу, после того как увидел этот огонь сквозь щели в двери. Шел там и тихий разговор; когда Дероше его начал, их голоса упали до невнятного шепота.

Элвуд даже не мог представить, что дало повод этим двум суеверам судачить, но подумал, что их фантазия разыгралась, с одной стороны, из-за привычки Джилмана засиживаться допоздна и его лунатических хождений и разговоров, а с другой — из-за надвигающегося кануна первого мая, внушающего традиционный страх. Что Джилман разговаривает во сне, это факт, а от того, что подслушал Дероше у замочной скважины, явно и пошел неверный толк о фиолетовом огне-призраке. Стоит этим простакам услышать любую несусветицу, и они готовы вообразить, будто все видели собственными глазами. Так что Джилману лучше перебраться в комнату к Элвуду и одному не ночевать. Элвуд, если проснется, разбудит его, когда он заговорит или будет вставать. И в самое ближайшее время надо обратиться к врачу, а пока они обойдут с этой шипастой фигуркой разные музеи и некоторых профессоров, объявив, что нашли ее в уличном баке для мусора и пытаются определить, на что это похоже. Домбровски к тому же придется перетравить всех крыс в перекрытиях.

Подбодренный дружеским участием Элвуда, Джилман в тот день пошел на занятия. Станные побуждения все еще нудили его, но он весьма успешно сумел от них отвлечься. Во время перерыва он показывал диковинную фигурку нескольким профессорам, каждый из которых проявлял сильнейший интерес, но ни один не смог его просветить относительно ее смысла и происхождения. В эту ночь он спал на кушетке, которую, по просьбе Элвуда, хозяин притащил в комнату второго этажа, и в первый раз за многие недели его не тревожили никакие сны. Однако горячка не отпускала, а причитания наладчика ткацких станков нервов отнюдь не успокаивали.

На следующие несколько дней Джилман почти полностью избавился от каких бы то ни было болезненных проявлений. По словам Элвуда, никаких склонностей к тому, чтобы вставать или разговаривать во сне, он не проявлял; тем временем домовладелец везде рассыпал крысиную отраву. Единственное, что вносило смуту, были разговоры между суеверными иностранцами, чье воображение разошлось не на шутку. Мазуревич все

пытался его заставить обзавестись распятием и в конце концов навязал ему то, которое, сказал он, благословил святой отец Иваники. Дероше тоже пришлось что сказать: он твердил, что над ним в опустевшей комнате и в первую, и во вторую ночь, как Джилман оттуда ушел, звучали осторожные шаги. Полу Чойнски тоже слышались по ночам звуки за стенами и на лестнице, он уверял, что его дверь пробовали тихонько открыть, а госпожа Домбровски божилась, что в первый раз со дня Всех Святых видела Темную Дженкин. Но таким наивным рассказам не стоило придавать значения, и дешевое металлическое распятие осталось праздно болтаться на ручке гардероба.

За три дня Джилман и Элвуд облазили все местные музеи, пытаясь идентифицировать странную фигурку, но без всякого успеха. Интерес тем не менее повсюду пробуждался сильнейший: полная чужеродность вещицы дразнила научное любопытство. Одну из маленьких расходящихся «спиц» отломил и подвергли химическому анализу. Профессор Эллери выделил странный сплав платины, железа и теллурия, но вперемешку с ними явно присутствовали три других элемента большого атомного веса, классифицировать которые химия оказалась просто бессильна. Они не только не соответствовали ни одному из известных элементов, но и не укладывались ни в одну пустую клеточку элементов периодической системы. Тайна остается нераскрытой по сей день, фигурка же находится в экспозиции университетского музея Мискатоника.

Наутро двадцать седьмого апреля свежий крысиный ход появился в комнате, где Джилман нашел пристанище, но днем Домбровски забил его жостью. Отрава не произвела значительного действия, царапанье и возня в стенах, по существу, не уменьшилась.

Элвуд в тот вечер задержался, и Джилман не стал до него ложиться. Ему не хотелось засыпать в одиночестве — тем более что в вечернем сумраке ему померещилась та отвратительная старуха, чье обличье так чудовищно преобразовывалось в его снах. Он задавался вопросом, кто же она и что это возле нее громыхает жестяной на гряде мусора у входа в убогий двор. Карга как будто его заметила и злокозненно осклабилась, хотя это, может быть, просто его фантазия.

На следующий день оба юноши очень устали и рассчитывали уснуть как убитые. Вечером в полудреме они обсуждали математические теории, в которые так глубоко и, возможно, губительно погрузился Джилман, и строили догадки об их возможной связи с древней магией и фольклором. Когда разговор заходил о старой Кизайе Мейсон, Элвуд соглашался, что у Джилмана были веские научные основания думать, что она могла

натолкнуться на странную и знаменательную информацию. Скрытые культы, которым следовали эти ведьмы, нередко сохраняли и передавали из уст в уста поразительные древние тайны позабытых эонов, и нет ничего невозможного в том, что Кизайя действительно овладела искусством отмыкать пути измерений. Предание особенно подчеркивает, что ведьме бесполезно воздвигать материальные препоны: кто знает, какова истинная подоплека у старых сказок о ночных полетах на метле?

Сможет ли современный ученый достичь такого могущества, занимаясь одной математикой, покажет лишь будущее. Успех же, добавил Джилман, может завести в опасные и непостижимые ситуации, ибо кто возьмется предсказать, какие законы царят в смежном, но обычно недоступном измерении? С другой стороны, живописным возможностям нет предела. В некоторых пространственных поясах время может оказаться несуществующим; войдя в такой пояс и оставаясь в нем, было бы возможно сохранять жизнь и молодость бесконечно, избегнув органического метаболизма и разрушения или же подвергаясь ему лишь в незначительном объеме во время посещения своего собственного или схожего измерения. Было бы, например, можно, перейти во вневременной план и возникнуть в далеком земном будущем таким же молодым, как прежде.

Можно строить лишь довольно безответственные догадки, сумел ли кто-нибудь когда-нибудь проделать нечто подобное. Древние легенды туманны и двусмысленны, в новые же времена все попытки пересечь заповеданные проходы усложнялись, казалось, союзом со странными и страшными посланцами инобытия. С незапамятных времен существует предстатель, или посланец тайных и страшных сил — Черный Человек ведовства и Ньюарлафотеп «Некрономикона». Головоломную задачу представляют собой и посланцы низшего ранга, или посредники, — диковинные ублюдки-полуживотные, которые выступают в предании как домашние духи ведьм.

Когда Джилман и Элвуд стали укладываться, слишком сонные, чтобы вести дискуссию дальше, то услышали, как в дом ввалился пьяный Джо Мазуревич, и неистовое отчаяние его молитвенных причитаний пробрало их дрожью.

В ту ночь Джилман снова увидел фиолетовый свет. Во сне ему снилось, как что-то скреблось и царапалось в перегородках, неловко пытаясь справиться с дверной задвижкой. Потом он увидел, как старуха и мелкая косматая тварь подступают к нему по ковру. Лицо ведьмы пылало нечеловеческим торжеством, а маленькая мерзость с желтым оскалом глумливо верещала, указывая в другой конец комнаты на кушетку, где спал

мертвым сном Элвуд. Цепенящий страх не давал закричать. Как и в прежний раз, отвратительная карга, ухватив Джилмана за плечи, рывком выдернула его из постели и ввергла в пустоту. Снова бесконечность ревущих бездн пронеслась мимо, но в следующую секунду ему показалось, что он находится в темном, склизком, зловонном колодце незнакомого переуллка, где по обе стороны вздымались трухлявые стены ветхих домов.

Впереди шел черный человек в просторном одеянии, которого он видел под крутым уклоном стропил в другом сне, оказавшаяся ближе к нему старуха с угодливой гримасой указывала путь. Темная Дженкин с приятной игривостью отиралась у ног черного человека, почти полностью скрытых в глубокой грязи. Справа темнела открытая дверь, черный человек безгласно на нее указал. Ухмыляющаяся карга так туда и ринулась, волоча Джилмана за пижамный рукав. Когда они оказались на скверно пахнущей лестнице, которая угрожающе скрипела, от старухи начал исходить слабый фиолетовый свет; вот наконец и выходящая на лестничную площадку дверь. Карга повозилась с задвижкой, дверь распахнулась, и, сделав Джилману знак подождать, ведьма скрылась в черном проеме.

Сверхчутким ухом юноша уловил жуткий придушенный крик; и вот ведьма вышла из комнаты, неся маленькое бесчувственное тельце, и сунула его в руки сновидцу. Вид этой фигурки, выражение этого личика развеяли морок. Слишком обомлевший, чтобы кричать, он бросился очертя голову вниз по зловонной лестнице в грязный переулок, и бегство его задержала лишь сдавившая горло хватка черного человека, поджидавшего их. Теряя сознание, он еще слышал слабое резкое верещание клыкастого выродка, смахивающего на крысу.

Возвращение яви утром двадцать девятого ввергло Джилмана в Мальстрем ужаса. Едва он открыл глаза, как в ту же секунду понял: что-то до жути не так, ибо он был по-прежнему распростерт на неразобранной постели в своей мансарде со скошенным потолком. У него необъяснимо болело горло, и, с трудом приняв сидячее положение, он, все более обуреваемый страхом, увидел, что ноги и низ пижамных штанин побурели от спекшейся уличной грязи. Его память была в безнадежном тумане, но, по крайней мере, он понял, что опять ходил во сне. Элвуда свалил слишком глубокий сон, чтобы, услышав, его не пустить. Грязная неразбериха следов по полу тянулась, как ни странно, не до самой двери. Чем больше Джилман на них смотрел, тем необычнее они казались ему; вдобавок к тем, которые он признавал за свои, там были более мелкие, почти круглые отпечатки — ножки большого стола или стула могли бы оставить такие следы, если бы

те не были раздвоенными. Были и грязные дорожки каких-то удивительных крысиных следов, выходящих из свежей дыры и снова туда возвращающихся. Крайнее смятение и ужас потерять рассудок обуяли Джилмана, когда, доковыляв до двери, он увидел, что грязных отпечатков за нею нет. Чем больше подробностей своего гнусного сна он вспоминал, тем страшнее ему становилось, и отчаяние его еще усугублял Мазуревич, нараспев причитавший молитвы двумя этажами ниже.

Спустившись в комнату Элвуда и разбудив все еще спавшего товарища, он начал рассказывать, в каком виде обнаружил себя, но Элвуд и представления не имел, что же могло на самом деле случиться. Где мог быть Джилман, как он снова попал в комнату, не наследив в холле, как получилось, что к его следам на мансарде примешались следы как будто испачканных ножек мебели — бесполезно было строить догадки. И потом эти темные, синевато-багровые отпечатки на горле, словно он пытался себя задушить. Приложив к ним руки, Джилман обнаружил, что они даже приблизительно не совпадают. Пока они разговаривали, Лероше заглянул сообщить, что слышал наверху жуткий грохот в самые глухие часы ночи. Нет, на лестнице после двенадцати никого не было, хотя перед самой полночью он слышал слабый шум шагов в мансарде и ему не понравилась крадущаяся вниз поступь. Нынче, добавил он, скверная пора для Аркхэма. Пусть уж лучше молодой господин ни за что не снимает распятия, которое дал ему Джо Мазуревич. Даже и днем небезопасно, ведь с наступлением зари по дому раздавались странные звуки — особенно тоненький детский вопль, поспешно придушенный.

То утро Джилман механически отсидел на лекциях, совершенно неспособный сосредоточиться на занятиях. Тревожное чувство жуткого предзнания охватило его — казалось, он ждет, когда грянет некий всеокрушительный удар. В полдень он пообедал в университетском кафетерии и в ожидании десерта взял с соседнего столика газету. Десерта он так и не съел; заметка на первой полосе вызвала у него слабость во всем теле и безумный блеск в глазах; он смог лишь рассчитывать и на нетвердых ногах вернуться в комнату Элвуда.

Прошлой ночью у мостков Орна произошло странное похищение: бесследно пропал двухлетний ребенок глыбоподобной прачки по имени Анастасья Волейко. Мать, похоже, давно уже этого боялась, но причины, которым она приписывала свой страх, были настолько абсурдными, что никто не принимал их всерьез. С марта, говорила она, к ней так и повадилась Темная Дженкин, и из ее гримас и верещания она поняла, что маленький Ладислас назначен в жертву на ужасном шабаше Вальпургиевой

ночи. Она просила соседку Марию Цанек прийти с ними переночевать и попытаться уберечь младенца, но Мария не отважилась. Полицию она позвать не могла, они ей не доверяют. Каждый год, сколько она себя помнит, детей забирают этим манером. И дружок ее, Пит Стовацки, не подумал помочь, потому что хотел избавиться от младенца.

От чего Джилмана бросило в холодный пот, так это от сообщения подгулявшей парочки, оказавшейся у мостков Орна чуть за полночь. Они не отрицали, что были навеселе, но оба клялись, что видели дико выраженную троицу, крадучись входившую в темный проулок. Огромный негр в широких одеждах, маленькая старушонка в отрепьях и молодой белый парень в ночной пижаме. Старуха тащила за собой юношу, а в ногах у негра, в самой грязи, увивалась ручная крыса.

Джилман до вечера просидел в оторопи. И Элвуд — который тем временем прочитал газеты и выстроил страшные догадки — так его и застал. На сей раз ни тот ни другой уже не думали сомневаться, что вокруг них сгущается нечто до скверности серьезное. Химеры ночных кошмаров и реалии объективного мира начали проявлять чудовищную и немыслимую взаимосвязь, и лишь неусыпное бдение могло упредить еще более ужасный ход событий. Джилману рано или поздно придется обратиться к врачу, но только не теперь, когда во всех газетах только и пишут, что об этом пропавшем ребенке.

Что именно произошло, было до бешенства невразумительно, и Джилман с Элвудом шепотом обменивались самыми дикими предположениями. Неужели Джилман, не отдавая себе отчета, добился в изучении пространства и его измерений большего, чем он думал? Неужели он действительно ускользнул из нашей сферы в места неведомые и невообразимые? Где побывал он — если побывал — в те демонически нездешние ночи? Ревущие сумеречные бездны — зеленый склон — опаляющая жаром терраса — тянущая силы звезд — круговерть абсолютного мрака — черный человек — грязный переулок и лестница, старая ведьма с клыкастым косматым страшилищем — купа пузырей и маленький многогранник — странный ожог — рана на запястье — необъяснимая фигурка — ноги в грязи — синие пятна на шее — рассказы и страхи суеверных иностранцев — что все это значит? До каких пределов годится здесь здравый смысл и его законы?

В эту ночь им было не до сна, а на следующий день, засыпая на ходу, оба ушли с лекций. Было тридцатое апреля, и вместе с сумерками надвигался адский шабаш, которого боялись все иностранцы и суеверные старики. В шесть часов Мазуревич явился домой с сообщением, что,

дескать, фабричные перешептываются, будто Вальпургиеву ночь будут справлять в темном овраге позади Мидоу-Хилл, где старый белый камень, возле которого почему-то ничего не растет. Некоторые даже обращались в полицию и советовали поискать исчезнувшего младенца Волейко, да только вряд ли это кто-нибудь сделает. Джо настаивал, чтобы молодой господин, этот бедняга, ходил в его никелевой цепочке с распятием, и, потакая малому, Джилман надел ее и опустил крест за ворот рубахи.

Поздно вечером оба юноши сидели, одолеваемые сном, который наводил на них своими молитвами наладчик станков с нижнего этажа. Ключа носом, Джилман прислушивался, и его сверхъестественно изощренный слух, казалось, напряженно ловил некий едва уловимый пугающий ропот помимо обыденных звуков древнего дома. Накатила скверная память о делах из «Некрономикона» и Черной книги, и он поймал себя на том, что раскачивается в гнусном ритме, который обычен лишь в самых черных ритуалах шабаша и который исходит из истока по ту сторону времени и пространства, постигаемых нами.

В эту минуту он осознал, к чему он прислушивается, — к дьявольскому распеву справляющих праздник в далекой темной долине. Откуда ему был ведом момент, когда Нахаб и его прислужник должны принести чашу, полную до краев, за которой последуют черный петух и черный козел? Он видел, что Элвуда сморил сон, попытался позвать его, разбудить, но что-то замкнуло ему рот. Он был не властен над собою. Неужели он все-таки расписался в книге черного человека?

Потом его воспаленный болезненный слух уловил далекое, доносимое ветром пение. Из-за дальних холмов, полей и улиц оно доносилось, но он его все же узнал. Должно быть, зажигают костры, начинается пляска. Как ему удержаться и не пойти? Что за тенета опутывают его? Математика — фольклор — дом со старой Кизайей и Темной Дженкин... и тут он увидел, что в стене рядом с его кушеткой — новый крысиный ход. На дальний распев и близкие псалмы Джо Мазуревича наложился иной звук — потаенное неотступное царапанье в перегородках. Он надеялся, что электричество не откажет. Тут он увидел клыкастое бородатое личико в крысиной дыре — окаянное личико, отмеченное разительным, глумливым сходством с лицом старой Кизайи, доосозналось ему, — и услышал тихую возню с дверной задвижкой.

Ревущие сумеречные бездны неслись перед ним, и он почувствовал себя совсем беспомощным в аморфной хватке купы переливчатых пузырей. Впереди мчался маленький радужный многогранник, и через все смерчеобразное средоточие пустоты отдавалась, нарастая и убыстряясь,

смутная звуковая гармония, предвещавшая, казалось, некий неопиcуемый и невыносимый апогей. Он словно бы знал: грядет чудовищный взрыв Вальпургиевой вибрации, в космическом ритме которой соберутся все первосущие и абсолютные пространственно-временные бурления, что таятся за плотными материальными сферами и порой прорываются в мерных раскатах, неприметно проникая собою все порядки бытия и придавая грозную тайнознаменательность предначертанным свыше срокам, во всех мирах порождающим страх, и ничего кроме страха.

Но это все сгнуло в ту же секунду. Он снова был в стиснутом, залитом фиолетовым светом месте под крутым уклоном стропил, с покатым полом, низкими полками древних книг, скамьей и столом, диковинными вещицами и треугольным проломом у стены. На столе лежала маленькая бледная фигурка — мальчик младенческого возраста, нагой и без сознания, — за столом же стояла склабящаяся чудовищная старуха, сжимая в правой руке причудливую рукоять сияющего ножа, а в левой — странных пропорций чашу из тусклого металла, покрытую удивительным резным орнаментом, и с хрупкими ручками по бокам. Ее ритуальный каркающий речитатив звучал на языке, которого Джилман не понимал, но который, однако, был ему чем-то знаком по осторожным ссылкам в «Некрономиконе».

Когда в глазах у него прояснилось, он увидел, как старая карга наклоняется, протягивает через стол пустую чашу, — и не владея собственными чувствами, подавшись далеко вперед, он обеими руками принял ее, причем заметив ее сравнительную легкость. В тот же самый миг отвратительная Темная Дженкин вылезла через край треугольного черного пролома слева от него. Карга жестом приказала ему держать чашу в определенном положении, сама же занесла так высоко, как только позволяла рука, гигантский причудливый нож над крошечной белеющей жертвой. Клыкастая косматая тварь принялась верещать продолжение ритуала, ведьма же отвратительно каркала в ответ. Джилман ощутил, как острое гложащее омерзение нарушило его умственный и эмоциональный столбняк, и легкая металлическая чаша дрогнула в его руках. Через секунду нож, начавший свое движение вниз, окончательно разрушил наваждение, Джилман выронил чашу с гулким, похожим на колокольный, звоном и, обезумевши, простер руку, чтобы остановить чудовищное деяние.

В один миг, двинувшись по наклонному полу, он обогнул стол и, вырвав нож из когтей старухи, со звоном его зашвырнул в узкий треугольный пролом. Однако в следующую минуту дело приняло другой оборот — убийственные когти теперь сомкнулись на его собственном

горле; сморщенное лицо кривилось безумной яростью. Он почувствовал, как цепочка дешевого распятия врезается в шею, и в минуту опасности вдруг подумал, как вид самого креста подействует на злобную тварину. Ее сила превосходила человеческую, и она не прекращала его душить, но, слабея, он сунул руку за ворот, вытащил святой символ и, обрывая цепочку, стянул его с шеи.

При виде святой эмблемы ведьму, казалось, сразил панический страх, и ее хватка ослабела ровно настолько, чтобы дать Джилману шанс вырваться. Он отодрал клещастые пальцы от своей шеи и столкнул бы старуху в пролом, не сомкнувшись они снова на нем и с новым приливом силы. На сей раз он ответил тем же, потянувшись руками к горлу тварины. Не успела она разглядеть, что он делает, как он уже обмотал цепочку с распятием вокруг ее шеи, в один миг так затянув концы, что ей перехватило дыхание. Пока она из последних сил билась, он почувствовал, как его укусили в лодыжку, и понял, что Темная Дженкин пришла ей на помощь. Яростным пинком он сошвырнул противоестественную тварь в пролом, слыша как она заскулила откуда-то снизу.

Убил ли древнюю каргу, он не знал, но оставил ее там на полу, где она упала. Когда же он отвернулся, то явившееся ему зрелище едва не оборвало последнюю нить, удерживающую его рассудок. Пока ведьма пыталась его удавить, Темная Дженкин, жилистая и с четверкой дьявольски сноровистых рученок, не теряла времени даром — все его усилия оказались втуне. То, чего он не дал ножу сотворить с грудью жертвы, желтые клыки косматой нечисти сотворили с его запястьем — только что сброшенная на пол чаша стояла полная до краев возле маленького бездыханного тельца.

В бредовом наваждении сна Джилман услышал из бесконечной дали нездешние дьявольские ритмы шабашной песни и понял, что черный человек там. Сумбур воспоминаний путался с математическими формулами, и он почувствовал, что в подсознании есть те углы, которые его наведут, впервые одного и без чьей-либо помощи, на дорогу в нормальный мир. Он твердо знал, что находится на заколоченном с незапамятных пор чердаке над своей собственной комнатой, но сможет ли он выбраться через покатый пол или давным-давно замурованный выход, было очень сомнительно. А что, если бегство со снящегося во сне чердака приведет его попросту в снящийся дом — искаженную проекцию того реального места, куда он стремился? Он совершенно спутался в уме, пытаясь сообразить, как соотносятся сон и явь во всех его испытаниях.

Переправа через смутные бездны будет пугающей, ибо не прекратится пульсация Вальпургиева ритма и его слух отворит наконец та до сих пор

прикровенная космическая вибрация, которой он смертельно боялся. Уже и сейчас он мог различить чудовищное дрожание, частоту которого он угадывал слишком хорошо. Во время шабаша оно всегда нарастало и достигало до всех миров, вызывая посвященных на неопишуемые церемонии. Половина песнопений шабаша опиралась на это едва слышимое биение, которого никакому земному уху не вынести во всей его непокрытой космической полноте. Желал бы Джилман знать, может ли он довериться инстинкту, чтобы тот отвел его в нужное место в пространстве? Где взять уверенности, что он не окажется на зеленом склоне той далекой планеты, или на мозаичной террасе над городом чудищ с щупальцами где-то за пределами галактики, или в той черной круговерти абсолютно пустотного Хаоса, где царит бессмысленный демон-султан Азафот?

Как раз перед тем, как он ринулся в неизвестность, фиолетовый свет померк, оставив его в полной тьме. Ведьма — старая Кизайя — Нахаб — это значит, что она умерла. И, примешиваясь к долетавшим издали распевам шабаша и поскуливанию Темной Дженкин снизу из пролома, ему послышался иной, еще неистовее воющий голос из неведомой глубины. Джо Мазуревич — его молитвы, отводящие Ползучий Хаос, вдруг переходят в необъяснимо торжествующий вопль — миры, язвящие своей реальностью, сталкиваются с горячечным коловоротом сна: Ийа! Шаб-Ниггураф! Козлище-с-Тысячью-Малых-Козлов...

Джилмана нашли на полу его старой мансарды с причудливым углом потолка задолго до рассвета — на страшный крик сразу сбежались и Дероше, и Чойнски, и Домбровски, и Мазуревич; проснулся даже и крепко спавший на стуле Элвуд. Джилман был жив, с открытыми, немигающими глазами, но казался почти в полном беспамятстве. На горле следы убийственных пальцев, и на левой лодыжке бедственный крысиный укус. Одежда его была в жалком виде, и не хватало распытия. Элвуд содрогнулся, страшно было подумать, в какую новую форму вылился лунатизм его друга. Мазуревич весь сомлел из-за того «знамения», которое, по его словам, он получил в ответ на свои молитвы, и неистово закрестился, когда из-за наклонной стены донесся крысиный писк.

Уложив сновидца на кушетку в комнате Элвуда, они послали за доктором Малковски — практикующим в округе врачом, который не обронит ни слова там, где оно может показаться нескромным, — и тот сделал Джилману две инъекции, давшие ему расслабиться в некоем подобии нормального сна. Днем к пациенту временами возвращалось сознание, и прерывистым шепотом он рассказал Элвуду свой самый последний сон. Это было мучительной процедурой, и с самого начала выяснилось новое

смущающее обстоятельство.

Джилман — столь недавно обладавший сверхъестественно чутким слухом — был теперь совершенно глух. Доктор Малковски, вновь спешно вызванный, сказал Элвуду, что обе его барабанные перепонки лопнули, как от звукового удара, чья сила превзошла все, что может выдержать или представить себе человек. Как нечто подобное могло разразиться несколько часов назад и не поднять на ноги всю Долину Мискатоника, уж этого, положив руку на сердце, доктор не знал.

Свою часть беседы Элвуд писал на листке, так что общение наладилось довольно легко. Ни тот ни другой не знали, что и думать обо всей этой путанице, и решили, что самое лучшее — думать о ней как можно меньше. Оба, однако, были согласны, что им надо убраться из этого древнего окаянного дома и сделать это так быстро, как только можно. В вечерних газетах писалось, что перед самым рассветом полиция совершила облаву на каких-то странных гуляк в овраге за Мидоу-Хилл, упоминалось также, что тамошний белый камень служит объектом векового суеверного поклонения. Никто не был пойман, но среди тех, кто бросился врассыпную, был замечен огромного роста негр. Никаких следов пропавшего без вести малолетнего Ладислава Волейко, говорилось в другой колонке, не обнаружено.

Все увенчавший собою кошмар случился этой же ночью. Такого Элвуду никогда не забыть; всем этим вызванный нервный срыв заставил его до конца пропустить весь семестр. Целый вечер ему слышались крысы в перегородках, но он не обращал на них особенного внимания. Затем, спустя долгое время после того, как они с Джилманом улеглись, поднялся жуткий пронзительный крик. Элвуд вскочил, зажег свет и бросился к своему гостю. Тот испускал звуки, поистине нечеловеческие, как будто терзаемый не поддающейся описанию мукой. Он корчился в простынях, а на одеяле начинало расплываться огромное красное пятно.

Элвуд никак не отважился дотронуться до него, но вопль и корчи постепенно утихли. К тому времени в дверях столпились Домбровски, Чойнски, Дероше, Мазуревич и жилец с верхнего этажа, и домовладелец отправил жену дозваниваться доктору Малковски. Все истерически вскрикнули, когда какая-то тварь, похожая на крупную крысу, неожиданно выпрыгнула из окровавленных простыней и юркнула через комнату к свежооткрытому ходу в стене. Когда прибыл доктор и начал совлекать страшное покрывало, Уолтер Джилман был уже мертв...

Язык не повернется сказать, что же убило Джилмана. В теле его был

проделан настоящий туннель — и кем-то выедено сердце. Домбровски в неистовстве от своих неудачных попыток вытравить крыс отбросил все мысли о сдаче дома внаем и за неделю перебрался со всеми своими постояльцами в потемневший от копоти, но не такой древний дом на Уолнат-стрит. Труднее всего оказалось утихомирить Джо Мазуревича — унылый наладчик станков пил беспробудно и постоянно бормотал, причитая, о призрачных и ужасных вещах.

В ту последнюю страшную ночь Джо наклонился, чтобы взглянуть на алый крысиный след, тянувшийся от кушетки Джилмана к близкой дыре. На ковре они были очень неразборчивы, но между краем ковра и плинтусом оставались голые доски. Там Мазуревич обнаружил нечто чудовищное — или ему так показалось, поскольку больше никто с ним не соглашался, вопреки неоспоримой причудливости следов. Отпечатки действительно куда как отличались от заурядных крысиных, но даже Чойнски и Дероше ни за что не признали бы, что след смахивает на отпечатки человеческих ручинок.

Дом больше уже не сдавался. Как только Домбровски выехал, его заволокла пелена окончательного запустения, ибо люди обходили дом стороной — и по причине его старой славы, и из-за вновь возникшего зловония. Может быть, крысиная отравка бывшего домовладельца в конце концов подействовала, и немного времени прошло, как дом стал наказанием для всех по соседству. Служащие санитарной службы нашли, что запах распространяется из закрытого пространства над и обочь восточной мансарды, и единодушно сочли, что количество дохлых крыс, должно быть, грандиозно. Они, однако, решили, что прорубать туда вход и дезинфицировать долго оставшееся закупоренным помещение не стоит труда, поскольку смрад скоро пройдет, да и не тот район, чтобы проявлять особенную придиристость. Ведь здесь вечно бродили смутные слухи о непонятном зловонии, исходившем с чердака Ведьминого дома сразу же после Вальпургиевой ночи и дня Всех Святых. Соседи, по вялости, с этим мирились, но смрад тем не менее шел, отпугивая всех от зловещего дома. Под конец он был признан жилищным инспектором непригодным для жилья.

Сны Джилмана и сопутствующие им события так и остались без объяснения. Элвуд, который мог бы свести с ума любого своим толкованием этой истории, осенью вернулся в университет и в следующем июне его закончил. Он нашел, что зловещих пересудов в городе поубавилось, и факт состоит действительно в том, что — вопреки молве о призрачном верещании в заброшенном доме, которое прекратилось лишь

тогда, когда не стало и самого здания, — со времени смерти Джилмана ни о каких новых явлениях старухи Кизайи или Темной Дженкин больше не слышно. По счастливой случайности Элвуда не было в городе позже в тот год, когда некоторые события неожиданно опять возродили местные слухи об ужасе прежних времен. Конечно, потом он прослышал, в чем было дело, и мучился несказанной мукой мрачных смятенных раздумий, но и это лучше, чем реальная близость к месту событий и возможность кое на что посмотреть.

В мае 1931 года с пустующего дома бурей сорвало крышу с огромной трубой, так что беспорядочная мешанина рассыпающегося кирпича, потемнелой, поросшей мхом черепицы, гниющих балок и досок обрушилась на чердак и проломила там пол. Вся мансарда оказалась забитой сором, но никто не удосужился разобраться в этой свалке, пока не пришел неизбежный черед смести с лица земли развалину. Эта окончательная мера последовала в декабре, а слухи поползли, когда с великой неохотой, настроенные на неладное, рабочие разбирали бывшую комнату Джилмана.

Среди мусора, рухнувшего с древнего покатого потолка, обнаружилось некоторое количество предметов, из-за которых пришлось прервать работу и вызвать полицию. Полиция, в свою очередь, пригласила следователя и кое-кого из профессуры университета. Там были кости — сильно разможенные и расколотые, но легко признаваемые за человеческие, — чей явно современный возраст загадочно противоречил той отдаленной дате, когда в единственно возможное таившее их место, низкий чердак над покатым потолком, был предположительно закрыт всякий доступ. Врач при следователе сделал вывод, что некоторые кости принадлежат скелету ребенка, тогда как другие — обнаруженные среди истлевших обрывков темноватой ткани — скелету довольно низкорослой, сгорбленной женщины преклонного возраста. Тщательное просеивание мусора произвело на свет множество косточек крыс, захваченных обвалом, в том числе и косточек более старых, таким образом обглоданных мелкими клыками, что не раз вызывало глубокое сомнение и размышление.

Среди прочих находок были изуродованные обрывки книг и записей заодно с пожелтелым прахом, в который рассыпались книги и рукописи еще более древние. Все они без исключения относились к черной магии в ее самых далеко идущих и страшных видах; и явно недавнее происхождение некоторых предметов остается такой же неразгаданной загадкой, как и современный возраст человеческих костей. Еще большей тайной является полная однородность неразборчивого, старинной

каллиграфии почерка, встречающегося в целом ряде рукописей, которые, судя по своему состоянию и бумажным знакам, допускают временной разрыв, по меньшей мере от ста пятидесяти до двухсот лет. Другим, однако, величайшей тайной представляется множество абсолютно непонятных вещей, чья форма, материал, способ изготовления и предназначение опрокидывали все догадки, — целая их россыпь была найдена среди обломков в разных стадиях порченности. Один из этих предметов, вызвавший настоящую сенсацию у профессоров университета, — сильно поврежденное монструозное изображение, отчетливо напоминающее ту странную фигурку, которую Джилман передал в университетский музей, не считая того, что оно больше по размеру, сделано из какого-то особенного голубоватого камня, а не из металла, и покоится на подставке с удивительной формой углов и не поддающимися расшифровке иероглифами.

Археологи и антропологи все еще пытаются истолковать диковинный орнамент, гравированный на смятой чаше из легкого металла, которая была в буроватых зловещих пятнах с внутренней стороны, когда ее отыскали. Иностранцы и легковверные мамы так же словоохотно обсуждают современное никелевое распятие с оборванной цепочкой, завалившееся среди мусора и с дрожью опознанное Джо Мазуревичем: именно его он много лет назад давал бедняге Джилману. Некоторые полагают, что на заколоченный чердак распятие затащили крысы, другие думают, что оно пролежало все это время где-то в углу бывшей комнаты Джилмана. А иные, включая самого Джо, высказывают догадки слишком дикие и фантастические, чтобы здравый рассудок принимал их на веру.

Когда в комнате Джилмана выломали наклонную стену, в закрытом треугольном пространстве, заключенном между этой перегородкой и северной стеной дома, оказалось куда меньше каменного сора, чем в самой комнате; однако там был жуткий пласт более древнего вещества, при виде которого сносившие дом помертвели от ужаса. Коротко говоря, это был настоящий склеп, наполненный костями детей, — некоторые оказались вполне современными, другие со всей бесконечностью стадий восходили к периоду столь отдаленному, что почти полностью рассыпались в прах. На этом толстом слое костей, под нагромождением мусора, покоился нож — огромных размеров, ярко архаичного происхождения, фантастически вычурного заморского вида.

В этом мусоре, вклинившись между рухнувшей балкой и сцементировавшимися в монолит кирпичами от поваленной трубы, обнаружилось нечто, вызвавшее больше смятения, тайного страха и

неприкрытых суеверных толков в Аркхэме, чем что бы то ни было в этом тревожимом призраками окаянном доме.

То был почти сплюснутый скелет огромной крысы, противоестественное строение которого до сих пор вызывает споры, но также порождает и особенную сдержанность у сотрудников отделения сравнительной анатомии в университете Мискатоника. Относительно этого скелета очень мало что просочилось наружу, но нашедшие его рабочие, приходя в себя от потрясения, потихоньку толковали про длинные темные космы, какими он был опутан.

Кости маленьких лапок, идет слух, предполагают хватательные способности, более характерные для некрупной обезьяны, чем для крысы; мелкий же череп с хищными желтыми клыками представляет собой полнейшую аномалию, в определенном ракурсе напоминая уменьшенную карикатуру на человеческий череп чудовищного вырожденца. Натолкнувшись на эту мерзость, рабочие в страхе перекрестились, а потом поставили в церкви Св. Станислава благодарственные свечи с чувством облегчения оттого, что пронзительного призрачного верещания им больше не слышать.



Серебряный ключ



Когда Рэндольфу Картеру исполнилось тридцать, он потерял ключ, отмыкающий путь в края снов. Прежде этого времени он искупал обыкновенности жизни, ночь за ночью скитаясь по стезям сновидений в странных и старинных городах, в пределах пространства и дивных несказанных вертоградах за морями бесплотной дымки, но косность возраста брала свое, и он чувствовал, как отходят от него мало-помалу эти его вольности, и вот наконец все как отрезало. Больше не подниматься его галеонам вверх по реке Укранос мимо златошпильного Франа и караванам его слонов не сотрясать тяжкой поступью благовонные джунгли Клэда, где спят под луной дивные и нетронутые, позабытые чертоги из слоновой кости в прожилках.

Он погряз в чтении о вещах с их насущностью и в словесах слишком многих собеседников. Добромысленные философы научали его вникать в логические связи вещей и аналитически препарировать ход его дум и фантазий. Удивление прошло, и он позабыл, что вся жизнь — лишь набор представлений в мозгу, где нет отличия меж одними, порожденными вещью предметного мира, и другими, порожденными внутренним видением, и нет причин одно ставить превыше другого. Обычай протрубил ему уши суеверным почтением к тому, что осязаемо и физически существует, и внушил ему тайный стыд мыкаться среди фантазий. Умники говорили ему, что его бесхитростные видения пусты и ребячливы и еще нелепее они из-за того, что действующие лица упорно воображают их полными значения и смысла, а бессмысленный мир бесцельно скрепит своими осями из ничего в нечто и опять ни во что, зная не зная ни хотений, ни существований сознания, на секунду вспыхивающего неверным светом во мраке.

Его привязали на цепь к вещам предметного мира и до того разобъяснили, как у них все устроено, что тайна ушла из мира. Если он сетовал и возгорался желанием убежать в те края прозрачной полумглы, где яркие клочки и драгоценные ассоциативные нити его фантазии сплетались в картины захватывающего дух чаяния и нескудеющего восторга, его вместо этого обращали к новым чудесам науки, веля находить чудесное в

кружениях атома и таинственное в небесных протяжениях. И когда он не умел найти подобной благодати в подчиняющихся известным и конечным законам вещах, ему было говорено, что ему недостает воображения и зрелости, раз он предпочитает обманы снов обманам предметного мира.

Так что Картер попытался поступать, как поступают все, и притворяться, будто обыденные события и эмоции приземленного духа важнее, чем фантазии утонченных выдающихся душ. Он не возражал, когда ему говорили, что животная боль зарезанной свиньи или земледелец с расстройством желудка в реальной жизни вещь более значительная, чем беспорочная красота Нарафа с его сотней узорных ворот и куполами из халцедона, смутно помнящегося ему из его дрем; и по их наставлению он пестовал в себе вымученное чувство жалости и трагизма.

Однако раз и другой он не мог не видеть, как поверхностны, мелочны и бессмысленны все человеческие устремления и с каким пустопорожним треском наши истинные побуждения расходятся с теми пышными идеалами, которые мы на словах исповедуем. Тогда он искал спасения в учтивом смешке, с которым его обучили орудовать против сумасбродства и искусничанья фантазии; ибо он видел, что будни нашего мира ни на йоту ей не уступят ни в сумасбродстве, ни в искусственности и куда менее достойны уважения из-за своей скудости красотой и дурацкого нежелания признать за собою отсутствие цели и смысла. Так он сделался чем-то вроде юмориста, ибо не понимал, что даже юмор — пустой звук в бестолковой вселенной, лишенной верного мерил логичности.

В первое время своего рабства он обратился к кроткой вере в лоне Церкви, любовь к которой внушило ему наивное упование его праотцов, ибо оттуда простирались мистические стези, сулившие, казалось, уход от жизни. Лишь приглядевшись поближе, заметил он зачехнувшие воображение, и красоту с душком, и нудную пошлость, и напыщенную серьезность с нелепыми притязаниями на истину во всей полноте, которые всепобедно и удручающе царили среди большинства ее исповедников; он сполна ощутил неуклюжесть, с которой она пыталась поддерживать жизнь в переросших себя страхах и домыслах первобытного племени перед лицом неизвестного. Картера удручало смотреть, как нешуточно стараются люди создать земную реальность из старых преданий, которые их же хваленая наука опровергает на каждом шагу, и эта серьезность не к месту убила ту привязанность, которую он мог бы питать к старинным верованиям, довольствуясь они тем, чтобы дать бесплотной фантазии звучную обрядность и возможность излияния чувств в их истинном виде.

Но когда он стал присматриваться к тем, кто отвергал старый миф, то

нашел их еще безобразнее тех, кто не отвергал. Они не знали, что красота заключена в гармонии и что прелесть жизни не имеет иного мерила в бесцельности космоса, кроме одной лишь ее гармонии с видениями и чувствами, которые ее предворяли и вслепую вылепили наши небесные шарики, отделяя их от всего остального хаоса. Они не понимали, что добро и зло, красота и уродство — лишь прикрасы, даваемые причудой взгляда, единственная ценность которых в их связанности с тем, что, по воле случая, думалось и чувствовалось нашим праотцам, и более изощренные детали которых отличаются для каждого рода-племени и для каждой культуры. Вместо этого они или напрочь отрицали подобные вещи, или переносили их в область грубых, неопределенных инстинктов, роднящих их с мужланами и скотами; так что их жизни злосмрадно влачили в муке, уродстве и несообразности, переполняя, однако, их смехотворной гордостью по поводу освобождения от чего-то, никак не более ложного, чем то, что по-прежнему ими владело. Ложных кумиров страха и слепой набожности они променяли на кумиров распущенности и вседозволенности.

Картер не вкушал глубоко этих новых свобод: их низость и убожество тошнотой отзывались в душе, любящей одну красоту, рассудок же его бунтовал против той шаткой логики, с какой их поборники пытались скотские побуждения покрыть позолотой сакральности, облупленной с поверженных ими идолов. Он видел, что большинство их, заодно с церковниками, которых они низвергли, придерживаются заблуждения, будто в жизни есть смысл помимо того, какой в нее вкладывает человеческая фантазия, и не может отрешиться от грубых понятий морали и долга вне понятия красоты, при том что вся Природа, в свете их научных открытий, вопиет о своей бессознательности и надличной неморальности. Извращенные и обмороченные предвзятыми заблуждениями справедливости, свободы и логики, они отринули старинную премудрость и старинный порядок вместе с устарелыми мнениями; даже не задумываясь о том, что эта премудрость и эти порядки были единственными творцами их теперешних мыслей и суждений и единственным маяком и мерилем в бессмысленном универсуме, лишенном назначенных целей или неподвижных точек отсчета. Лишившись этих искусственных рамок, их жизнь утрачивала направление и волнующий интерес, пока они наконец не бросились топить свою скуку в суете и фальшивой деловитости, шуме и возбуждении, в варварских зрелищах и скотских чувствах. Когда приедалось и это, они, разбираемые разочарованием и тошнотой отвращения, начинали пестовать в себе иронию и желчность и порицать

общественный строй. Им было невдомек, что их грубые принципы так же зыблемы и противоречивы, как и боги их предков, и то, что мнится сейчас удовольствием, в следующий миг будет погибелью. Спокойная, вечная красота является лишь в дремах, но это утешение мир от себя отринул, когда кумиропоклонничая перед реальностью, отринул тайны детства и невинности.

Во всем этом хаосе бренности и безупокой Картер пытался жить, как пристало человеку проникательного ума и добрых традиций. Видения его, осмеянные веком, становились все бледнее и неуловимее, в другое же уверовать он не мог, но любовь к гармонии удерживала его на путях, присущих ему от роду и по положению. Бесстрастно он шел человеческим муравейником и вздыхал, потому что все ему виделось не вполне реальным, потому что каждый желтый отблеск солнца на высоких кровлях и каждый взгляд мельком на обнесенные перилами площади, когда зажигаются первые вечерние фонари, служили лишь напоминанием о видениях, когда-то ему знакомых, и вызывали в нем тоску изгнанника по бесплотным краям, которые он больше не знал где искать. Путешествия казались просто насмешкой; и даже мировая война почти его не расшевелила, хотя он с самого начала служил в Иностранном легионе во Франции. Одно время он искал друзей, но вскоре утомился грубостью их чувствований и одинаковостью и приземленностью их видений. Он смутно радовался тому, что у него нет близких родственников и близких с ними связей, ведь они не смогли бы понять его умственной жизни. Они, то есть все, кроме его родного деда и двоюродного дяди Кристофера. Да их обоих давно не было в живых.

Потом он опять взялся за писание книг, которое забросил, когда дремы впервые ему изменили. Но и это не давало ни удовольствия, ни утешения, ибо приземленностью тронуло его ум и ему не давалось думать о тех прекрасных вещах, о которых, бывало, он думал. Иронический настрой обрушивал все сумеречные минареты, которые он возводил, а земляная боязнь невероятного губила все утонченные и изумительные цветы его волшебных садов. Усвоенная им напускная набожность выплескивалась приторностью в его персонажах, а миф о значимости реальности и о значительности событий и человеческих чувств низводила его возвышенную фантазию до просвечивающей насквозь аллегии или дешевой социальной сатиры. Новые его романы обрели успех, какого никогда не знавали прежние; но поскольку он понимал, до чего они должны быть пусты, чтобы угодить пустой толпе, то сжег их и перестал писать. Романы эти были весьма изящны; давая видения легким абрисом, он

искушенно над ними посмеивался, но очень хорошо сознавал, что их изощренность высушила в них все живое.

После этого он и стал пестовать заведомый призрак и пробавляться отвлеченностями из области странного и причудливого в качестве противоядия от банального. Но большая их часть скоро показалась во всей своей скудости и бесплодности; и он понял, что расхожие оккультные доктрины так же засушены и косны, как и научные, да к тому ж лишены, пусть и худосочного, подменыша истины, который бы их искупал. Глупая несуразица, ложь и невнятица мысли не суть фантазия; в них не укрыться от жизни уму, дисциплина которого на порядок выше. Так что Картер накопил книг все более странных и прибегал к диковинной книжности людей все более глубоких и страшных, забираясь в такие тайники сознания, куда проникали немногие, и узнавая такие сокрытые зияния жизни, предания и незапамятной древности, что они навсегда лишили его покоя. Он решил жить в плане более тонком и обставил свой дом в Бостоне в угоду своим переменчивым настроениям; под каждое из них он отвел особую комнату, выдержанную в соответствующих тонах, убранную подходящими книгами и вещами и обустроенную источниками света, тепла, звука, вкуса и запаха, дающими подобающие ощущения.

Однажды он прослышал об одном человеке с юга, чья святотатственная начитанность в доисторических книгах и глиняных табличках, контрабандой вывезенных из Индии и Аравити, заставляли чураться его и страшиться. Его-то он и отправился искать, а когда нашел, то прожил с ним, участвуя в его штудиях, в течение семи лет, пока однажды в полночь на неведомом древнем погосте их не постигло ужасное и лишь один ушел от того, на что пошли двое. Тогда он вернулся в Аркхэм, страшный, наваждаемый ведьмами старый город его праотцов в Новой Англии, и в темноте среди седых ив и обветшалых мансардных крыш испытал такой опыт, который заставил его навек запечатать некоторые страницы в дневнике одного сумасбродного предка. Впрочем, все эти ужасы приводили его лишь на грань реальности, они не имели отношения к тому подлинному краю дрём, который он знал в юности; так что, доживя пятый десяток, он не чаял найти ни покоя, ни радости в мире, слишком суетном для красоты и слишком трезвом для фантазии.

Постигнув наконец бренность и ничемность предметов реальности, Картер проводил свои дни в уединении и в томительных бессвязных воспоминаниях о юности, полной дрём. Он полагал довольно глупым, что утруждается жить вообще, и посему раздобыл у одного знакомого из Южной Америки весьма любопытную жидкость, дарующую

безболезненное забвение. Тем не менее косность и сила привычки заставляли его откладывать дело; и он мешкал в нерешительности среди дум о старых временах, поснимав странные драпировки со стен и переустроив дом в духе того, каким он был в его раннем отрочестве, — бордовые панели, викторианская мебель и прочее.

По прошествии времени он стал почти рад тому, что все мешкает, ибо реликвии его детства и раскол с миром заставляли жизнь с ее искушенностью казаться очень далекой и нереальной; до такой степени далекой и нереальной, что в его еженощный сон вновь стали вкрадываться волшебность и чаяние. Годами знавал его сон лишь те искаженные отражения будней, какие знает зауряднейший сон, но теперь промельком возвращалось к нему нечто более удивительное и фантастическое; нечто, смутно страшщее своей неминуемостью, принявшее облик пронзительно-четких картин его детства и заставлявшее думать о беспорядочных мелочах, давно им забытых. Часто он, просыпаясь, призывал свою мать и деда, уже четверть века лежащих в могиле.

Потом однажды ночью дед напомнил ему о ключе. Живой, седой старый книжник говорил пространно об их древнем колене и об удивительных прозрениях изощренно-тонко чувствующих людей, составлявших их род. Он говорил о пламеннооком крестоносце, проникшем в умопомрачительные тайны сарацинов, державших его в плену; и о первом сэре Рэндольфе Картере, практиковавшем магию в царствование королевы Елизаветы. Говорил он и об Эдмунде Картере, который едва избежал перекалады по салемскому делу о колдовстве и который спрятал в старинный ларец огромный серебряный ключ, перешедший к нему от предков. Прежде чем Картер успел проснуться, благородный дух вымолвил, где найти тот ларец — вычурный дубовый ларец первобытной диковинности, чью прихотливо-узорчатую крышку за два столетия не открывала ни одна рука.

В пыли и в сумраке огромного чердака нашел он ларец, задвинутый и забытый у задней стенки ящика в высоком комод. Он был около фута в длину и ширину, и его готические резные фигуры были настолько страшны, что не приходилось дивиться, как это после Эдмунда Картера никто не отваживался его открывать. Ларец ни издавал ни звука при встряхивании, но источал мистический аромат забытых благовоний. То, что в нем лежал некий ключ, было, по правде говоря, лишь туманным преданием, и отец Рэндольфа Картера не знал отродясь, что подобный ларец существует. Он был забран ржавым железом, и повернуть устрашающего вида замок никакого способа не имелось. Картер смутно думал, что найдется внутри

некий ключ, отмыкающий потерянные пути в края дрем, но о том, где и как им воспользоваться, его дед не сказал ничего.

Старый слуга взломал вычурную крышку, исходя дрожью от вида мерзостных рож, ослабевших с почернелого дерева, и от неведомой откуда берущегося чувства узнавания. Внутри, обернутый выцветшим пергаментом, оказался громадный ключ тусклого серебра, покрытый загадочными резными фигурками; но вразумительного объяснения не было никакого. Пространный свиток содержал лишь странные иероглифы неведомого языка, начертанные древней тростинкой. Картер узнавал в этих тайнообразах те, что видел когда-то на неких свитках папируса, принадлежавших тому чернокнижнику с Юга, который однажды в полночь пропал на безымянном кладбище. Того всегда пробирало дрожью, когда он читал этот свиток, и дрожью пробирало теперь и Картера.

Но он начистил ключ и ежедневно держал его при себе в пахучем ларце из древнего дуба. Его сны между тем все больше набирались красочной живости и, хотя в них не показывались бывшие удивительные города и неправдоподобные вертограды, явно принимали те очертания, в которых нельзя было ошибиться. Они звали его обратиться во времени вспять и слитной волею предков влекли к некоему сокровенному и праотеческому источнику. Тогда он понял, что должен вернуться в прошлое и слиться со стариной; изо дня в день думал он о холмах в северной стороне, там, где на берегу стремительного Мискатоника высятся наваждаемый призраком Аркхэм и его уединенное сельское родовое гнездо.

В багровеющем осеннем огне Картер пустился исстари знакомой дорогой мимо плавной зыби холмов и обнесенных камнем лужаек, далекого дола и бахромы лесов, петляющих тропинок и укромных крестьянских усадеб и прозрачных изгибов Мискатоника, здесь и там перечеркнутых нехитрыми мостиками их дерева или камня. У одной излучины он увидел купу великанских вязов, где столетие с половиной тому назад странным образом сгинул его предок, и он вздрогнул от пробежавшего среди них порыва ветра. Дальше стоял обветшалый домишко Гуди Фаулер, старой колдуньи, с его маленькими злыми оконцами и огромной крышей, съезжающей почти до земли на северной стороне. Минуя его, он прибавил скорости авто и не сбавлял ходу, пока не въехал на холм, где родилась его мать и где рождались ее предки и откуда старинный белый дом все еще горделиво смотрел на дорогу, на захватывающий своей красотой панорамный пейзаж скалистых откосов и изумрудной долины с далекими шпилями Кингспорта на горизонте и с вековым морем под бременем дрем, угадывающимся на самом дальнем плане.

Потом показался более крутой откос, на котором удерживалось старое жилище Картеров, которого он не видел сорок с лишком лет. Было далеко за полдень, когда он достиг подножья холма, и у поворота на полпути вверх приостановился, чтобы обозреть окрестный простор, золотой и сияющий в косых чародейных потоках, изливаемых закатным солнцем. Вся невиданность и все чаяния недавних его снов, казалось, присутствовали в этом безмолвном и неземном пейзаже, и он задумался о неведомых одиночествах других планет, пока его глаз следил бархатистые и пустующие лужайки, играющие светлой зыбью между своих обвалившихся каменных стенок; и сказочные купы деревьев, оттеняющие волнистый очерк дальних сизых холмов, и лесистую призрачную долину, ныряющую в сумрачные влажные впадины, где струйки воды невнятно лепечут среди набухших искривленных корней.

Что-то давало ему почувствовать, что моторам нет места в том краю, которого он взыскует, так что он оставил свое авто у опушки леса и, переложив огромный ключ в карман пальто, дальше стал подниматься пешком. Лес теперь поглотил его полностью, хотя, как он знал, дом стоял на голой вершине холма, везде, кроме северной стороны, возвышаясь над деревьями. Картер гадал, как будет выглядеть дом, ибо он пустовал, брошенный по его небрежению без присмотра лет тридцать назад после смерти его таинственного двоюродного дяди Кристофера. В детстве он проводил там долгое отрадное время каникул, натываясь на таинственные чудеса в лесу позади сада.

Вокруг сгустились тени, надвигалась ночь. Один раз между деревьями справа открылся просвет, и за сумеречным пространством долины он увидел старую колокольницу конгрегационалистов на вершине Сентрал-Хилл посреди Кингспорта, розовеющую последним дневным румянцем, с круглыми стеклами окошек, как жар горящими отблеском света. Потом, снова оказавшись в глубокой тени, он вздрогнул, опомнившись: краткое видение, наверное, было подсказано лишь его детской памятью, поскольку старую белую церковь давно снесли, чтобы освободить место для больницы конгрегационалистов. О чем, не без интереса, читал; в газете писали о каких-то странных норах или лазах, найденных в скалистом холме под церковью.

В его недоумения врезался пронзительный голос, и он снова вздрогнул дрожью узнавания через столько лет. Старый Бениджа Кори служил наемным работником у его дяди Кристофера и был в годах даже в далекие времена его детских наездов. Теперь ему, должно быть, перевалило за сто с лихвой, но этот пронзительный голос не мог исходить ни от кого, кроме

него. Слов было не разобрать, но их интонация, воскресая в памяти, не давала ошибиться. Подумать, «старина Бениджа» еще жив!

— Мистер Рэнди! Мистер Рэнди! Иде ж вы? Захотели напужать тетю Марту прям' до полусмерти? Што ли она не велела вам быть окол' дома вечером и сразу домой, как стемнеет? Рэнди! Рэн... ди!.. Не видал другого мальчишки, штобы так запропадать по лесам... только и знает сидеть рот разиня у аспидовой норы на верхней делянке... Эй, Рэн... ди-и-и, эй!

Рэндольф Картер остановился в густой темноте и потер рукою глаза. Что-то было не так. Он куда-то попал, где его быть не должно; сбился, забредя чересчур далеко в места, которые были не для него, и теперь непростительно опоздал. Он не заметил времени на колокольнице в Кингспорте, хотя в свою маленькую подзорную трубу мог вполне рассмотреть циферблат; но он знал, что его опоздание очень странное и небывалое. Он не помнил точно, с ним ли его подзорная труба, и запустил руку в карман широкой куртки, чтобы удостовериться. Нет, там ее не было, зато был огромный серебряный ключ, который он нашел вместе с ларцом. Однажды дядя Кристофер рассказывал ему что-то странное про старый неотмыкаемый ларец с ключом внутри, но тетя Марта резко оборвала рассказ, это, мол, вещи не того рода, чтобы о них говорить с ребенком, у которого и так в голове хватает всяких странных фантазий. Он попытался вспомнить, где именно отыскался ключ, но все как-то странно перепуталось: вроде это было в Бостоне, на чердаке его дома; он смутно припоминал, как подкупил Паркса половиной его недельного жалованья, чтобы тот помог отомкнуть ларец и об этом помалкивал; стоило ему это припомнить, как перед глазами всплыла загадочно постаревшая физиономия Паркса, словно долгие годы избороздили морщинами маленького шустрого кокни.

— Рэн-ди-и-и! Рэн-ди-и-и! Эгей! Рэнди!

Колеблющийся свет появился из-за темного поворота, и старый Бениджа обрушился на молчаливого и потерянного странника.

— Шут те возьми, вот вы где, малой! Што ли у вас языка в роту нету, што не можете отвечать по-людски? Я за полчаса наорамшись, а вам, давно меня слышать! Што ли не знаете, што тетя Марта вся как на иголках, што вас, как стемнело, дома нету! Обождите, вот я скажу дяде Крису, он до вас доберёцца! Вам бы следоват знать, што лес этот самый негодящее место болтацца в такое время! Тут такое бо' знать што шляецца, што никому не поздоровицца, ишо мои прадеды поперед меня знали! П'шли, мистер Рэнди, Хэнна ужинать дожидатца больше не станет!

И Рэндольфа Картера повели по дороге, забирающейся в гору, где

звезды, дивуясь, проглядывали сквозь высокие осенние ветви. И взлаiali собаки, когда желтый свет окон с мелкими переплетами засиял у дальнего поворота, и Плеяды мерцали над открытой макушкой холма, где громадная двускатная кровля чернела на фоне тусклого запада. Тетя Марта стояла в дверях и не слишком бранилась, когда Бениджа водворил прогулявшего ужина в дом. Она знала дядю Криса достаточно хорошо, чтобы ожидать подобных вещей от того, в ком кровь Картеров. Рэндольф не стал показывать ключ, но в молчании прикончил свой ужин, подняв шум только тогда, когда пришло время спать. Иногда он лучше видел сны наяву, а к тому же хотел испробовать ключ на деле.

Утром спозаранку Рэндольф был на ногах и уже удрал бы на верхнюю делянку, не поймай его дядя Крис и не засади за накрытый к завтраку стол. С нетерпением он озирался по комнате с низким потолком, лоскутными половиками, открытыми матицами и угловыми стойками, улыбаясь только тогда, когда садовые ветки скреблись по свинцовым стеклам заднего окна. Он чувствовал свою близость с деревьями и холмами, они открывали ему путь в тот вечный край, который был его настоящей родиной.

Потом, уже на свободе, ощупал карман куртки, на месте ли ключ, и, успокоившись, вприпрыжку бросился через сад к лесистому склону, который взбирался даже выше безлесной макушки. Лесной дол был мшистым и таинственным, и при тусклом свете то здесь, то там смутно выступали громады покрытых лишайниками скал, словно долмены друидов среди узловатых и криворослых стволов священной рощи. Забираясь в гору, Рэндольф пересек быстрый поток, струи которого, падая со стремнины невдалеке, пели рунические заговоры притаившимся фавнам, эгипанам и дриадам.

Потом он вышел к странной пещере в лесистом склоне, той самой страшной «аспидовой норе», которой чурался сельский люд и от которой Бениджа снова и снова пытался его отвадить. Она была глубока; куда глубже, чем кто-либо, кроме Рэндольфа, мог заподозрить, ибо мальчик нашел расщелину в самом дальнем черном углу, которая вела в более высокий грот позади — нехорошее замогильное место, чьи гранитные стены наводили на странную мысль об искусственном происхождении. На сей раз, как и всегда, он залез внутрь, освещая дорогу спичками, стянутыми в гостиную, и протиснулся в дальнюю расщелину с нетерпением, трудно объяснимым даже для него самого. Он не смог бы сказать, почему так уверенно двинулся к задней стене или почему, двинувшись к ней, машинально вытащил огромный серебряный ключ. На этом он не остановился... Вечером, вернувшись вприпрыжку домой, он оставил без

всяких оправданий свое опоздание и пропустил мимо ушей укоры за то, что не послушал звавшего на обед полуденного рожка.

Теперь все дальние родственники Рэндольфа Картера единогласно сходятся в том, что на десятом году его жизни с ним приключилось нечто, что подстегнуло его к фантазиям. Его кузен, Эрнст Б. Эспинуолл, эсквайр из Чикаго, на полных десять лет его старше, отчетливо помнит происшедшую с мальчиком перемену после осени 1883 года. Рэндольф взирал на картины, созданные воображением, которые мало кто сподобился видеть, и еще непонятнее оказались некоторые свойства, которые он обнаруживал в связи с самыми земными вещами. Словом, казалось, он приобрел причудливый дар прорицания; в нем вызывали необычный отклик вещи хотя и не имевшие в ту минуту значения, но потом, получалось, полностью оправдывавшие его странные реакции. В последовавшие десятилетия, по мере того как на страницах истории одно за другим появлялись новые изобретения, новые имена и новые события, люди, даваясь диву, порой припоминали, как годы тому назад Картер обронил небрежное словцо в несомненной связи с тем, что тогда было далеким будущим. Он сам не понимал, что говорил, и не знал, почему некоторые вещи вызывают у него навязчивые чувства, полагая, что виной тому был, наверное, какой-нибудь позабытый сон. На дворе был еще только 1897 год, когда Картер весь побелел, стоило какому-то путешественнику упомянуть французский городок Бэллуа-ан-Сантер; о чем и вспоминали друзья, когда, отвоевав в рядах Иностранного легиона в мировой войне, он в 1916-м едва не получил там смертельную рану.

Обо всем этом среди родственников Картера пошло множество разговоров, потому что он недавно пропал. Его старый слуга, коротышка Паркс, годами терпеливо сносивший его причуды, последний раз его видел в то утро, когда он один уезжал в авто, забрав с собой недавно найденный ключ. Паркс помогал ему извлечь ключ из старого ларца, и на него странно подействовали причудливые резные фигуры и какое-то другое непонятное свойство ларца, которому не нашел названия. Перед отъездом Картер сказал, что отправляется навестить старые праотческие края окрест Аркхэма.

На полпути вверх на Вязовой горе, по дороге к развалинам старого дома Картеров, обнаружили его автомобиль, аккуратно поставленный у обочины; в авто оказался странный ларец из пахучего дерева, с резными, вычурными, нагнавшими страху на местных жителей иероглифами. В ларце оказался лишь загадочный пергамент, письма на котором не смог ни расшифровать, ни идентифицировать ни один лингвист или палеограф.

Все, какие могли быть, следы давно смыло дождем, хотя бостонским сыщикам и нашлось что сказать на предмет того, что рухнувшие балки Картерова дома явно были стронуты с места. Так, заявляли они, словно кто-то ощупью пробирался среди развалин в самое недавнее время. Найденный в лесу на скалистом склоне за домом простой белый носовой платок нельзя опознать как принадлежавший пропавшему без вести.

Идет разговор о разделе имения Рэндольфа Картера между его наследниками, но я буду твердо противиться такому ходу событий, поскольку полагаю, что он не умер. Существуют искривления времени и пространства, которые может прозревать лишь духовидец; и, насколько знаю Картера, полагаю, он просто нашел путь через все эти лабиринты. Вернется он когда-нибудь или нет, этого я сказать не могу. Он томился по краю дрем, который он потерял, и тосковал по дням своего детства, потом нашел некий ключ и, полагаю, сумел им воспользоваться к своему странному благу.

Я спрошу его, когда увижусь с ним, ибо невольно ожидаю встретиться с ним в некоем городе дрем, куда мы оба взяли за обычай наведываться. В Улфаре, за рекой Скай, идет слух, что новый король воссел на опаловом троне Илек-Вада, того баснословного города башен и башенок, венчающих полые стеклянные кручи, нависающие над сумеречным морем, где обросшие плавниками и бородой гнорри возводят свои небывалые лабиринты, и думаю, что я знаю, как толковать такой слух. Безусловно, я с нетерпением предвкушаю увидеть тот огромный серебряный ключ, ибо его загадочные резные фигуры могут знаменовать весь промысел и тайну слепо надличного космоса.



Серебряный ключ отмыкает пути

I



В просторном покое, увешанном гобеленами в прихотливых разводах и устланном бухарскими коврами, поражающими старинной и искусной работой, четверо сидели вокруг заваленного бумагами стола. В дальних углах странные треногие кадилъницы кованого металла, время от времени заправляемые неимоверно дряхлым негром в мрачной ливрее, курились гипнотическим фимиамом; у одной из стен в глубокой нише отстукивали удивительные гробоподобные часы с непостижимыми иероглифами на циферблате и четырьмя стрелками, идущими не в лад ни с каким отсчетом времени, известным на этой планете. Это была особенная и неприятная комната, но весьма под стать тому делу, которое в ней решалось, ибо здесь, в новоорлеанском доме величайшего на всем континенте мистика, математика и ориенталиста, наконец улаживался вопрос об имени едва ли менее крупного мистика, ученого книжника, писателя и духовидца, четыре года тому назад пропавшего с лица земли.

Рэндольф Картер, всю свою жизнь стремившийся избежать нуды и ограниченности дневного мира реальности в манящей дали дремных видений и на баснословных подходах к иным мирам, исчез с людских глаз в 1928 году в октябре седьмого числа в возрасте пятидесяти четырех лет. Он вел странную и одинокую жизнь, и находились такие, кого его удивительные романы наталкивали на догадки куда более причудливые, чем любой из многих случаев, составляющих его жизнеописание. Связь его с Харли Уорреном, мистиком из Южной Каролины, чьи штудии языка наакаль, предначального языка гималайских кумиротроителей, привели к столь жуткому результату: Уоррен в ту страшную, в туманном мороке ночь спустился в промозглый, отдающий селитровым духом разложения склеп, чтобы уже из него не выбраться. Картер жил в Бостоне, но пустынные, наваждаемые нечистым холмы позади векового и меченного колдовской напастью Аркхэма были тем местом, откуда вышли все его предки. И среди этих древних, молчаливо вынашивающих свою думу холмов он и пропал

окончательно.

Паркс, его старый слуга, умерший в начале 1930 года, говорил о странно пахучем с мерзкими вычурами ларце, который отыскался на чердаке, и о пергаменте, написанном невпрочет, и о серебряном ключе с причудливыми резными узорами, упрятанном в этом ларце — о чем сам Картер упоминал в переписке. Со слов слуги, Картер ему говорил, что этот ключ переходит к нему от предков и поможет отомкнуть пути в потерянное детство, в странные миры и таинственные сферы, куда он до сих пор наведывался лишь в полуявственных, кратких и уклончивых дремах. Потому как-то раз Картер забрал ларец со всем содержимым, сел в авто и уехал, чтобы больше никогда не вернуться.

Вскоре какие-то люди обнаружили автомобиль у обочины старой, заглушенной травой дороги на холмах за ветхим Аркхэмом — на холмах, где когда-то обитали предки Картера и где разрушенный подвал в огромной родовой усадьбе Картеров по-прежнему стоял, разинувшись в небо. Поблизости была та роща высоких вязов, где в 1781 году пропал другой Картер, а чуть подальше стоял трухлявый домишко, где еще того раньше варила свои зловещие зелья ведьма Гуди Фаулер. Этот край заселился в 1692 году подозрительным людом, бежавшим из Сэлема от обвинения в колдовстве, и вплоть по сей день смутно слывет отдающими чем-то зловещим делами, которые не так-то просто себе представить.

Только-только успел уйти из-под тени Висельного Холма Эдмунд Картер, о чародействе которого ходило немало баек. Теперь, похоже, и единственный наследник сгинул туда же вслед за ним, чтобы составить компанию!

В автомобиле нашли ларец из пахучего дерева с вычурами гнусной резьбы и пергамент, которого не смог прочесть ни один человек. Серебряный ключ сгинул — вероятно, туда же, куда и Картер. Больше никаких определенных улик не было. По словам сыщиков из Бостона, обрушившиеся доски и балки старого дома Картеров были странно стронуты с места, и кто-то обнаружил платок в мрачной чаще между скалистыми ребрами склона позади развалин, недалеко от страшной пещеры, прозванной Аспидовой норой.

Тогда-то местные легенды об Аспидовой норе и обрели новую жизнь. Фермеры толковали о богомерзких делах, на которые старый колдун Эдмунд Картер приспособил этот ужасный грот, и приплетали рассказы более свежие о водившемся за самим Рэндольфом Картером пристрастии к этому гроту, когда он был мальчиком. В дни его отрочества старобытная усадьба под двускатной с высоким гребнем крыши еще держалась и

давала приют его двоюродному дяде Кристоферу. Он часто навещал дедовскую усадьбу и говаривал странные вещи об Аспидовой норе. Люди помнили его слова о глубокой расщелине и о невесте какой внутренней пещере за ней и рассуждали о перемене, которая в нем обнаружилась после того достопамятного дня, целиком проведенного им в пещере, когда ему было девять лет. Тогда был тоже октябрь — и с тех пор мальчик словно обрел сверхъестественную сноровку к предсказыванию грядущих событий.

Когда Картер исчез, дождь лил до глубокой ночи, и никто толком не сумел проследить, куда отпечатки ног ведут от машины. Из-за обилия влаги Аспидову нору изнутри заливала сплошная илистая жижа. Это только невежественная деревенщина толковала что-то о следах, которые они якобы углядели на дороге под навесом огромных вязов и на словесцем склоне холма неподалеку от Аспидовой норы, там, где, нашелся платок. Кто станет придавать значение молве, судачащей о кургузых следах детских ног вроде тех, что оставляли курносые башмаки Рэндольфа Картера, когда он был мальчишкой? Этот дурацкий домысел был не лучше другого слуха: что кургузые следы детских ног на дороге сходились со следами скроенных по-особому без каблучков башмаков старого Бениджи Кори. Старик Бениджа ходил у Картеров в слугах, когда Рэндольф был маленьким, да только умер он тридцать лет тому.

Эти-то слухи — вкупе с высказываниями самого Картера перед Парксом и другими о том, что со странными вычурами серебряный ключ поможет ему отомкнуть пути в потерянное детство, — и побудили, должно быть, некоторых ученых мистиков высказаться за то, что пропавший без вести человек действительно повернул во времени вспять и вернулся назад за сорок пять лет в тот другой октябрьский день 1883 года, который мальчиком провел в Аспидовой норе. В ту ночь, как они строили свои доводы, он сумел тем ли, другим путем побывать в 1928 году и вернуться обратно; ведь знал же он наперед о том, чему только предстояло произойти? И однако никогда не заговаривал о том, что могло произойти позднее 1928-го.

Один из ученых — оригинал преклонных лет из Провиденса, Род Айленд, состоявший в долгой и доверительной переписке с Картером, — развил еще более замысловатую теорию: якобы Картер не только возвратился в детство, но достиг дальнейшего освобождения, привольно пустившись в странствие через все многоцветье детских видений. Сподобившись удивительного прозрения, он напечатал историю исчезновения Картера, в которой давал понять, что без вести пропавший «воссел на опаловом троне Илек-Вада, того баснословного города башен и

башенок, венчающих полые стеклянные кручи, нависающие над сумеречным морем, где обросшие плавниками и бородой гнорри возводят свои небывалые лабиринты».

Этот-то самый старик, Уорд Филлипс, и протестовал громче других против раздела имения Картеров между его наследниками — всеми дальними родственниками — на основании того, что в ином временном измерении он все еще жив и вполне может однажды вернуться. Против него развернулись боевые действия со всем законническим талантом одного из родственников, Эрнста Б. Эспинуолла из Чикаго, человека, десятью годами старше Картера, но прыткого, как юноша, в судейских баталиях. Четыре года бушевало сражение, но срок раздела настал, и пространной причудливой комнате в Новом Орлеане предстояло стать местом делопроцесса.

Все это происходило в доме литературного и финансового душеприказчика Картера, выдающегося знатока тайной премудрости и восточных древностей креола Этьена-Лорана де Мариньи; Картер повстречался с де Мариньи на войне, когда они оба служили во Французском Иностранном легионе, и сразу прилепился к нему из-за сходства вкусов и воззрений. Когда, отправившись вместе в достопамятный отпуск, просвещенный юный креол свозил истомленного бостонского мечтателя в Байон, что на юге Франции, и открыл ему некие ужасные тайны в незапамятной и непроглядной тьме подземелий, язвинами уходящих под тот долгими веками вынашивающий свое бремя город, — тогда их дружба скрепилась навек. В завещании Картера де Мариньи был назван душеприказчиком, и теперь алкающий познания ученый неохотно распоряжался разделом имения. Для него это было грустным занятием, ибо, как и старый житель Род Айленда, он не верил, что Картер мертв. Но могут ли мистические дрёмы послужить противовесом грубо материальной мудрости мира сего?

Вкруг стола в той необычной комнате в старом Французском квартале сидели те, кто заявил свои имущественные права в этом деле. Обычное юридическое извещение о разборе дела было помещено в тех газетах, где бы его могли прочитать предполагаемые наследники Картера, однако лишь четверо сидели, прислушиваясь к противоестественному постукиванию гробоподобных часов, отмеряющих ход времени не так, как оно идет на земле, и бормотанию фонтана во дворике за полузавешенными вееровидными окнами. По мере того как тянулось время, лица всех четверых почти заволочло курениями из кадящих треножцев — заправленные без меры, они, казалось, все меньше нуждаются в присмотре

со стороны бесшумно передвигающегося по комнате и все сильнее поддающегося панике старого негра.

Присутствовал сам Этьен де Мариньи — стройный, смуглый, усатый красавец, все еще моложавый. Эспинуолл, из числа наследников, был грузен, седовлас, с бакенбардами на апоплексическом лице. Филлипс, мистик из Провиденса, — поджарый, седой, с длинным носом меж гладко выбритых щек, немного сутулился. Четвертый в тюрбане брахмана оказался человеком неопределенного возраста — худой, со смуглым, заросшим бородой, на редкость неподвижным лицом с очень правильными чертами и с черными, как ночь, состоящими из одних зрачков, горящими глазами, которые, казалось, взирали из какой-то далекой дали. Он назвался Свами Чандрапутрой, адептом из Бенареса, имеющим важные сведения для передачи; и де Мариньи, и Филлипс, поддерживавшие с ним переписку, не замедлили признать правомерность его мистических притязаний. Он говорил со странной натугой, глухим и неживым голосом, словно английская речь перенапрягала его голосовые связки; однако язык его был столь же правильным, беглым и разговорным, как и у любого коренного англосакса. Общим своим обликом он сошел бы за обычного европейца, но его мешковатый костюм сидел на нем как-то по-особому плохо, а густая черная борода, восточный тюрбан и громадные белые перчатки придавали ему заморски причудливый вид.

Де Мариньи, перебирая в руках пергамент, обнаруженный в автомобиле Картера, держал речь.

— Нет, я оказался неспособен разобрать этот свиток. Господин Филлипс, сидящий рядом, также признает свое поражение. Полковник Черчуорд утверждает, что это не наакаль, в этом языке не видно абсолютно ничего общего с иероглифами знаменитой боевой дубинки с острова Пасхи. Резные фигуры на ларце, однако, наводят на мысль об истуканах с острова Пасхи. Из того, что мне приходит на память, ближе всего к знакам на этом свитке — обратите внимание, что все буквы словно висят на горизонтальных перекладинах-словах, — письмена в некоей книге, которая была когда-то у злосчастного Харли Уоррена. Ее прислали ему из Индии в 1919 году, когда Картер и я гостили у него, и что это за книга, он так и не рассказал, дескать, нам этого лучше не знать, давая понять, что исконным местом ее происхождения могла оказаться отнюдь не Земля. Он взял книгу с собой тогда в декабре, когда спустился в склеп на том старом кладбище, но ни он сам, ни книга так больше и не вернулись наверх. Не так давно, набросав по памяти некоторые идеограммы из книги и сняв фотостатом копию с пергамента Картера, я послал их нашему присутствующему здесь

другу — Свами Чандрапутре. Он полагает, что сможет просветить нас на их счет, сверив некоторые данные и наведя определенные справки.

Но остается ключ... Картер прислал мне сделанную с него фотографию. Диковинные вычуры его — не буквы, они восходят, сдается, к той же культурной традиции, что и пергаментный свиток. Картер, бывало, всё говорил, что стоит на пороге отгадки, однако в подробностях ничего не рассказывал. Однажды он впал чуть ли не в поэтический пафос по поводу всей этой штуки. Древний серебряный ключ, говорил он, отворит череду дверей, препятствующих нам вольно шествовать сквозными коридорами пространства и времени вплоть до самого Окоёма, которого не преступал ни один человек с той поры, как ужасающий гений Шаддада возвел и укрыл в песках Аравийских пустынь сказочно громадные купола и бессчетные минареты многоколонного Ирема. Полумертвые от голода дервиши, писал Картер, и помешавшиеся от жажды кочевники приходили обратно, чтобы рассказать о колоссальной арке портала с изваянием длани над замковым камнем, но ни один человек не прошел под арку и не воротился назад, чтобы сказать, что свидетелями его посещения стали оставленные им следы на покрытых гранатовыми россыпями песках под сводом портала. Ключ, высказывал догадку Картер, и был то самое, что тщила схватить изваянная длань исполина.

Почему Картер не забрал пергамента вместе с ключом, сказать мы не можем. Возможно, он о нем позабыл, а возможно, решил обойтись без него, памятуя того, кто, спускаясь в склеп, взял с собой книгу с подобными письменами и больше уже не вернулся. Или свиток был, по сути, не нужен для того, что затеял Картер.

Стоило де Мариньи умолкнуть, как резким пронзительным голосом заговорил старик Филлипс:

— О странствиях Рэндольфа Картера мы знаем лишь то, что нам видится во сне, чудится в дрёме. В дрёмах побывал я во многих удивительных краях и слышал много удивительных и многосмысленных вещей в Ултаре, за рекою Скай. Похоже на то, что нужды в пергаменте не было, ибо Картер несомненно вернулся в мир своих детских видений и воцарился теперь в Илек-Ваде.

Господин Эспинуолл еще гуще налился апоплексической кровью и зашипел:

— Неужели никто не может унять этого старого дуралея? Хватит с нас уже всякого бреда. Задача состоит в разделе имущества и не пора ли нам приниматься за это.

Первый раз за все время Свами Чандрапутра подал свой странно

нездешний голос:

— Господа, не все здесь так просто, как вы полагаете. Неладно делает господин Эспинуолл, смеясь над очевидностью дрём. Господин Филлипс составил себе неполное представление — потому, возможно, что ему недостаточно виделось в дрёмах. Самому мне виделось многое, я подолгу предавался видениям. Мы в Индии были всегда преданы медитации, так же, похоже, как все Картеры. Вы, господин Эспинуолл, как родственник по материнской линии, по крови не Картер. В своих собственных дрёмах и в некоторых других источниках я почерпнул великое множество сведений о том, что вам еще представляется темным. Вот, к примеру, тот пергамент, не поддавшийся расшифровке, Рэндольф Картер его позабыл — между тем, попомни он его взять с собой, он бы ему весьма пригодился. Я, видите ли, действительно немало узнал о том, что приключилось с Картером после того, как, забрав с собою серебряный ключ, он четыре года назад в октябре 7-го числа, на закате, вышел из своего автомобиля.

Эспинуолл во всеуслышанье издевательски хмыкнул, но остальные с явным интересом подались вперед. Курения над треножцами вились все гуще, и сумасшедшее отстукивание гробоподобных часов, казалось, складывалось в какой-то прихотливый ритм, напоминающий точки-тире некоего нездешнего и непрочитываемого телеграфного послания из космоса. Откинувшись назад и полуприкрыв глаза, индус повел дальше свою странно натужную, однако беглую речь; перед слушателями его между тем начинала маячить картина того, что приключилось с Рэндольфом Картером...

II

Холмы за Аркхэмом полны какими-то странными чарами — может быть, тем, что старый колдун Эдмунд Картер накликал со звезд и вызвал из нутра преисподней, когда укрылся здесь в 1692 году, бежав из Салема. Как только Рэндольф Картер вновь очутился среди этих холмов, он понял, что стоит вблизи одного из тех выходов, что немногие храбрецы, изгои с нелюдской душой, пробивали в великанских стенах, отделяющих мир от великого Запредельного. Здесь, он почуял, и сейчас в этот самый день года, сможет он с успехом претворить в дело вещее знание, которое получил месяцами раньше, разобрав причудливые вычуры того потускнелого и неимоверно древнего серебряного ключа. Он знал теперь, какие им нужно совершать обороты и как его воздеть к закатному солнцу, и слова по какому

обряду и чину нужно сказать нараспев в пустоту при его девятом и последнем вращении. В точке, столь близкой к темной стороне и проложенному пути, ключ не может не выполнить своего исконного назначения. Без сомнения, он в эту ночь обретет покой в своем потерянном детстве, о котором так и не переставал горевать.

Он вышел из автомобиля, унося ключ в кармане, и стал подниматься по склону, углубляясь все дальше и дальше в сумрачную сердцевину того вынашивающего свою думу, наваждаемого призраками загорода с его извивами дорог, повитым плющом камнем стен, мрачной лесной чащей, криворослым, загложившим садом, разинувшейся провалами окон опустевшей усадьбой и потерявшими всякую узнаваемость развалинами. В час заката, когда дальние шпили Кингспорта занимают рядным пламенем, он достал из кармана ключ и проделал им те обороты, говоря те заговоры, которые требовались. И лишь позднее осознал, насколько быстро обряд возымел действие.

Потом в густеющих сумерках он услышал голос из прошлого: голос старого Бениджи Кори, наемного работника его двоюродного дяди. Разве не умер старик Бениджа лет за тридцать до этого? За тридцать лет до чего — сколько прошло времени? Где же это он пробыл? Что странного в том, что старик Бениджа зовет его — не дозвется этого седьмого октября 1883 года? Уж не загулялся ли он дольше, чем ему позволила тетя Марта? Что это за ключ у него в кармане куртки, где бы следовало быть маленькой подзорной трубе, два месяца назад подаренной ему отцом на девять лет? Не нашел ли он ключ дома на чердаке? Не размыкает ли он ту загадочную арку, которую его острый глаз проследил среди зубчатых камней в глубине той внутренней пещеры позади Аспидовой норы на холме? Это было то место, что всегда сопрягалось со старым Эдмундом Картером-колдуном. Люди туда не ходили, и никто, кроме него, не заметил и не протиснулся через заглушенную корнями расщелину в ту огромную мрачную нутряную полость с аркой. Чьи руки изваяли то подобие арки в толще скалы? Руки старого Эдмунда-колдуна — или тех других, вызванных его заклинаниями и послушных ему?

В тот вечер маленький Рендольф ужинал с дядей Крисом и тетей Мартой в старой усадьбе с двускатной кровлей и высоким гребнем.

На другое утро он убежал спозаранку через кривоствольный яблоневоый сад на верхнюю делянку, где среди уродливых, непомерно раздавшихся в толщину дубов, мрачное и заповеданное, таилось устье Аспидовой норы. Несказанное чаяние обуяло его, и он даже не заметил пропажу носового платка, когда рылся в кармане куртки, проверяя целость

и сохранность причудливого серебряного ключа. С безоглядной уверенностью бесстрашия он пополз по черному жерлу, освещая себе дорогу прихваченными из гостиной спичками. В следующую минуту он, извиваясь, пролез через заглушенную корнями расщелину в дальнем конце и оказался в необъятном внутреннем гроте, краегранная каменная стена которого отдаленно напоминала выведенную с умыслом чудовищную арку. Перед этой серой, точащей влагу стеной он безмолвно стоял, объятый ужасом и восторгом, и созерцал ее, одну за другой зажигая спички. Тот бугор над замковым камнем воображаемой арки — на самом деле, не изваяние ли великанской длани? Потом он достал серебряный ключ и проделал обряды и прочитал заговоры, источника которых почти не помнил. Забыл ли он что? Он только знал, что хочет перейти черту в беспредель, где обитают боги сна, в бездны, где все миры сплавляются в великое Безликое.

III

То, что случилось потом, почти неопишимо словами. Оно полно тех парадоксов, противоречий, ненормальностей, которым не находится места в дневной яви, но которыми наполняются наши сонные видения из тех, что попричудливей, и принимаются как должное, пока не вернемся в наш тесный, застывший предметный мир, ограниченный законом причинной связи и логикой трехмерного пространства.

Повествование продолжалось, и индусу трудно было избежать того, что казалось лепетом впавшего в детство человека — наивным и пустым умобредствованием. Апоплексически фыркнув от отвращения, господин Эспинуолл практически перестал слушать.

Ибо правимый так, как отправил его Рэндольф Картер в наваждаемой призраками черноте нутряной пещеры, обряд серебряного ключа оказался вовсе бесполезным. С первым же жестом и словом явственно повеяло странным, пробирающим восторгом и жутью преобразованием — ощущением непредугаданного возмущения и смятения во времени и пространстве, однако ощущением таким, в котором не было и намека на то, что мы знаем как движение и протяженность. Неуловимо терялся какой бы то ни было смысл таких вещей, как возраст и место. За день до этого Рэндольф Картер чудом одолел временную пропасть. Сейчас не было различия между мальчиком и мужчиной. Был только Рэндольф Картер в своей сущности, с некоторым запасом образов-представлений, утративших

всякую связь с земными картинами и обстоятельствами их обретения. За миг до этого было нутро пещеры с невнятным намеком на громадину арки с изваянием великанской длани на дальней стене. Сейчас и стена, и пещера отсутствовали, и отсутствовало само их отсутствие. Был лишь поток восприятий менее зрительных, чем умозрительных, в гуще которых сущность, бывшая Рэндольфом Картером, могла переживать понимание или впечатление всего того, вокруг чего вертелись его мысли, однако, каким способом восприятие происходило, рассудок ясно не сознавал.

К тому времени как обряд завершился, Картер знал, что тот край, где он оказался, не сыскать ни в одной земной географии, и то время, в которое он попал, не датируется никакой историей; ибо он не был вполне несведущ в природе того, что творилось. Об этом говорилось обиняками в загадочных Пнакотских отрывках, и целая глава в заповеданном «Некрономиконе» безумного араба Абдуль Альхазреда обрела смысл, когда он разгадал резные вычуры серебряного ключа. Открылся путь — не тот поистине Весьма Далекий Путь, но тот, который уводит из-под власти времени на ту протяженность Земли, которая находится за пределами времени, откуда, в свой черед, страшно и опасно ведет Весьма Далекий Путь в Последнюю Пустоту за пределами всех земель, всех вселенных и всей материи.

Должен быть некий Провожатый — и провожатый ужасный, некое существо с Земли, какой она была миллионы лет назад, когда не было и помину о человеке и когда забытые тени двигались в обволакивающих планету парах, возводя удивительные города, на остатках чьих обветшалых развалин предстояло действовать первым млекопитающим. Картер помнил смутные и смуту вселяющие знаменования чудовищного «Некрономикона», относящиеся до этого Провожатого...

«И пока обретаются те, — писал безумный араб, — кто взыскует смелость засматривать за завесу и воспринимать Его проводником, они выказали бы больше благоразумия, избегни они сношения с Ним, ибо в Книге Тота записано, сколь ужасна цена одного лишь взгляда. И исход невозвратный тем, кто исшел, ибо в бескрайностях, запредельных нашему миру, витают призраки тьмы, которые сковывают и связывают. Нощный Пришатный, пакость, попирающая издревлий знак, сонм, надзирающий тайные ворота, которые заведомо есть во вех погребальницах, и утучняющийся тем, чем прорастает могильный жилец, — все оные навиги уходят рядом с Ним, Кто стережет Путь: с Ним, Кто поведет безрассудного за пределы миров в бездну пожирателей без имени и названия. Ибо Он есть 'УМР АТ-ТАВИЛ, древнейший из древнейших, что

скриб передает как ДОЛГИЙ ВЕКОВ».

Память и воображение лепили неясные полуобразы, зыбко очерченные в клокоющем хаосе, но Картер знал, что это лишь игра памяти и воображения. Однако он чувствовал, что не случай порождает все эти картины в его сознании, но, скорее, некая пространная реальность, несказанная и непомерная, которая окружала его и усиливалась себя передать в единственно доступных его пониманию символах. Ибо никаким земным пониманием не объять ветвлений формы, которые переплетаются в запредельных пустотах, за околицей нам известных времени и пространства.

Перед Картером зыбко маячило игрище фигур и картин, которые он каким-то образом связывал с первобытным, канувшим в века земным прошлым. Одушевленные чудовища со смыслом и целью двигались среди открывающихся видов фантастического рукотворенья, которое при здоровом рассудке не привидится и во сне; и ландшафты складывались из невероятной растительности, утесов и гор, и построек такого типа, какого не знал человек. Были там города на дне моря и обитатели их, были башни в великих пустынях, где шары и цилиндры, и безымянные крылатые существа то уносились в небесные выси, то низвергались оттуда. Все это укладывалось у Картера в голове, хотя в образах не было стойкой связи ни друг с другом, ни с ним. Сам он не имел ни постоянного облика, ни положения, но лишь те ускользающие намеки на облик и положение, которые ему подсказывал вскружившийся ум.

Он загадывал найти очарованные пределы своих детских дрем, где галеры плывут вверх по реке Укранос, минуя златошпильный Франа, и где караваны слонов тяжелой поступью сотрясают благовонные джунгли Клэда, простирающиеся позади забытых дворцов с колоннадами из слоновой кости в прожилках, что покоятся, дивные и нетронутые, под луной. Теперь же, опьяненный видениями безоглядней, он едва понимал, куда он стремится. Думы безудержной и кощунственной дерзновенности одолели его, и он знал, что без страха предстанет перед пугающим Провожатым и попросит его о чудовищных и страшных вещах.

Игрища восприятий как будто сразу же обрели неверную устойчивость. Показались высокие каменные громады, покрытые резными узорами неземной и непостижимой конфигурации и расставленные по законам какой-то неведомой перевернутой геометрии. Свет источался с неба не дающихся определению красок, пуская лучи в непостижимо противоречащих друг другу направлениях, и почти как разумное существо играл над полукружием великанских, покрытых иероглифической вязью

престолов, скорее восьмиугольных, чем каких-то иных, с восседавшими на них худо различимыми фигурами в хламидах.

Была и еще одна, не занимавшая престола фигура, словно бы скользившая или парившая над мутной зыбью нижнего уровня, напоминавшего пол. Она не то чтобы сохраняла устойчивый силуэт, но в ее очертаниях то виделось, то опять ускользало нечто, наталкивающее на мысль о далеком предтече или полуподобии человека, хотя и в полтора раза выше обычного. Казалось, ее целиком окутывала, как и фигуры на престолах, многоскладчатая хламида неизъяснимого цвета; и сколько Картер ни смотрел, он так и не заметил прорезей для глаз, сквозь которые она могла бы взирать. Зрение, вероятно, ей было не нужно, ибо она принадлежала, казалось, тому порядку существ, который намного превосходил чисто физическое по своему строению и способностям.

Через мгновение Картер понял, что так оно и есть, ибо Тень мысленно обратилась к нему, не проронив ни звука ни на каком наречии. И хотя имя, которое она вымолвила, было имя пугающее и грозное, Рэндольф Картер не отпрянул в испуге. Вместо этого он отозвался так же немо и бессловесно и воздал ей те почести, которые мерзкий «Некрономикон» научил его воздавать. Ибо это была никак не меньше, чем та самая Тень, которая сеяла ужас по всему свету с тех пор, как Ломар поднялся с морского дна и Дети Огненного Тумана явились на Землю, чтобы дать человеку премудрое древнее Знание. Это поистине был пугающий Провожатый и Открыватель Путей — ‘УМР АТ-ТАВИЛ, древнейший, что скриб передает как ДОЛГИЙ ВЕКОВ.

Провожатый, которому было ведомо все, знал и о странствиях Рэндольфа Картера, и о его приходе, и о том, что этот искатель видений и тайн предстал перед ним без страха. В исходивших от него токах не было ничего устрашающего или злоторного, и Картер на секунду задумался, не завистью ли и обманутым желанием совершить то, что теперь было должно совершиться, диктовались жуткие и святотатственные двусмысленности, подпускаемые безумным арабом. Или, может быть, Провожатый оставлял страх и зло про запас для тех, кто боялся. Токи всё исходили, и наконец Картер смог переложить их в слова.

— Я истинно есть тот, — говорил Провожатый, — о ком ты знаешь, я древнейший из древнейших. Мы — древние и я — ожидала тебя. Мы приветствуем тебя, хотя ты и заставил нас долго ждать. Ты обладаешь ключом и отворил Первый Путь. Теперь тебе уготован искус Весьма Далекого Пути. Если боишься, можешь не идти дальше. Ты всё еще можешь целым и невредимым вернуться назад так же, как пришел. Но если

ты захочешь идти дальше...

Пауза была чревата зловещим смыслом, но токи продолжали излучать благорасположение. Картер и секунды не колебался, ибо его подгоняло жгучее любопытство.

— Я иду дальше, — послал он в ответ, — и принимаю тебя своим Провожатым.

При этом ответе, по определенному колыханию хламиды, заключавшему в себе, может быть, воздевание руки или ее подобия, а может быть, нет — показалось, что Провожатый сделал некое знамение. Последовало второе знамение, и хорошо усвоивший премудрость Картер понял, что наконец он на самых подступах к Весьма Далекому Пути. Свет заиграл теперь другими несказанными красками, и тени на как бы восьмиугольных престолах выступили более различимо. Они воссели прямее, и в их силуэтах стало больше людского, хотя Картер знал, что они не могли быть людьми. Их оклобученные головы, казалось, увенчивались высокими, неизъяснимого цвета митрами, странно напоминавшими митры известных безымянных фигур, высеченных позабытым ваятелем в живой толще скал на одной высокой заповедной горе Тартара; вычурные же наверхья их длинных жезлов, зажатых где-то среди многих складок хламид, являли во плоти причудливые тайны ветхих времен.

Картер догадывался, что они такое, и откуда они, и кому они служат; догадывался он, и какой ценой достается их служба. Но все же он был доволен, ибо с одной безоглядной попытки ему предстояло узнать всё. Анафема, размышлял он, это всего лишь слово, которое в ходу у тех, кого слепота понуждает клеймить всех, кто зряч хотя бы на один глаз. Он диву давался, сколь непомерно самомнение тех, кто лопотал о злокозненных древних, как будто они станут прерывать свои вековечные дремы ради того, чтобы строить козни человечеству. С тем же успехом, рассуждал он, мамонт может преткнуться на месте, чтобы воздать исступленное мщение земляному червю. И вот, движением жезлов с их прихотливыми вычурами, его приветствовало все собрание со своих как бы восьмиугольных престолов и посылало весть, которой он мог внять:

— Мы приветствуем тебя, древнейший из древних, и тебя, Рэндольф Картер, которого отвага сделала одним из нас.

Тут Картер увидел, что один из престолов пустует и древнейший из древних указывает жестом, что престол уготован ему. Увидел он и другой престол, выше всех остальных и в центре странной кривой — не полукруга и не эллипса, не параболы и не гиперболы — которую они составляли. Это, соображал он, должно быть, сидище самого Провожатого. Совершая едва

ли описуемые движения, Картер занял свое место, и пока он это проделывал, он увидел, что Провожатый воссел на свое.

Постепенно и полуявственно сделалось видно, что, захватив во вздевшихся стойком складках своей хламиды какой-то предмет, Провожатый как бы выставляет его перед глазами или тем, что соответствовало глазам, у своих клевретов-клобучников. Это был крупный шар или нечто, за шар сходившее, из какого-то тускло-переливчатого металла, и когда Провожатый выпростал его вперед, низкий, проникающий полунарек на звук начал возникать и затухать с промежутками, в которых чудился ритм, хотя ни в один земной ритм они и не укладывались. Наводилось ощущение медленного напева — или того, что человеческим воображением истолковывалось как напев. Вскоре шар или не-шар начал разгораться свечением, и, глядя, как он вспыхивает на холодном свету, играющем не дающимися определению красками, Картер усмотрел, что его мерцания настраиваются на лад неземного ритма напева. Тогда все митроносцы с жезлами начали слегка и странно покачиваться на престолах в том же несказанном ритме, в то время как над их покрытыми клобуками головами заиграли нимбы неизъяснимого цвета, схожего с излучениями не-шара.

Индус прервал свой рассказ и странно посмотрел на высокие гробоподобные часы, чье сумасшедшее отстукивание не шло в лад ни с одним земным ритмом.

— Вам, господин де Мариньи, — неожиданно обратился он к высокоученому хозяину дома, — нет нужды говорить, что это был за особенный нездешний ритм, в котором вели напев и покачивались те повитые пеленами Тени на восьмиугольных престолах. Вы единственный в Америке, кто еще вкусил, что такое Запредельная Протяженность. Эти часы, полагаю, прислал вам тот йог, о котором говаривал злосчастный Харли Уоррен: провидец, кто единственный, по его словам, побывал в Йан-Хо, сокровенном наследии теряющегося во тьме веков Лэнга, и забрал с собой из этого жуткого подзарочного города некоторые вещицы. Интересно, многие ли из их более тонких свойств вам известны? Буде мои видения и письменные источники верны, их сделали те, кто многое знал о Первом Пути. Но позвольте мне продолжать.

Наконец, продолжал свами, покачивание и тягучий полунапев сошли на нет, феолы, игравшие вокруг поникших теперь и подвижных голов, затухли, сами же фигуры в хламидах как-то странно осели на своих престолах. Не-шар, однако, продолжал лучиться неизъяснимым светом. Картер почувствовал, что древние спят, как спали они, когда он впервые

увидел их, и Картер задавался вопросом, от каких космических дрем пробудил их его приход. Его ум медленно вбирал ту истину, что этот странный обряд тягучего пения был обрядом наставления и что чарой напева Древнейший из Древних погрузил их в новый и особенный сон, чтобы их дремы могли отворить Весьма Далекий Путь, куда пропуском служил серебряный ключ. Он знал, что в пучинах этого глубокого сна они созерцают немереные бездонности совершенной и полной запредельности и что им предстояло совершить то, чего требовало его присутствие.

Провожатый этим сном не был застигнут; казалось, неким тонким безгласным манером он все еще делал наставления. Он явно внедрял прообразы тех вещей, которые должны были привидеться клевретам во сне; и Картер знал, что, как только каждый из древних внутренним оком увидит предписанное содержание, возникнет зародыш проявления, зримого для его земных глаз. Когда дремы всех Теней придут в унисон, путем концентрации проявление это осуществится и всё, что ему требовалось, обретет плоть. Такое он видывал на Земле, в Индии, где кружок адептов может посылом сопряженной воли претворить мысль в осязаемую вещественность, и в седой древности Атлааната, о котором даже говорить осмеливаются немногие.

Что именно такое Весьма Далекий Путь и как его пройти, Картер определенно не знал, но его захлестнуло чувство напряженного предвкушения. Он сознавал, что у него есть своего рода тело и что роковой серебряный ключ он сжимает в руке. Вздыхающаяся напротив него каменная толща кажущейся своей ровностью напоминала стену, к центру которой неодолимо притягивало его взгляд. И тогда он внезапно почувствовал, что Древнейший из Древних перестал посылать ментальные токи.

В первый раз Картер понял, сколь ужасна может быть полная тишина, и ментальная, и физическая. До этого не проходило мига, который бы не был наполнен ощущением некоего ритма, будь то лишь слабое загадочное биение земной протяженности за пределами нашего пространства, но теперь как будто пропастное молчание бездны нависло надо всем. Несмотря на подразумевающееся тело, Картеру не было слышно своего собственного дыхания, свечение же не-шара 'Умр ат-Тавила сделалось мертвенно неподвижным и бестрепетным. Налитой силой нимб, ярче ореолов, игравших над головами Теней, застылым сполохом сиял над оклобученным семенем жуткого Провожатого.

Головокружение напало на Картера, и чувство потерянной ориентации выросло в тысячу крат. Казалось, что удивительным огням присуща

непроглядность самых черных чернот, нагнетенных друг на друга, а древних, которые вот совсем рядом на их как бы восьмиугольных престолах, окутывает дымка самой умопомрачительной отдаленности. Потом он почувствовал, что его сносит в немереные пучины и волны благовонного тепла набегают ему на лицо. Его как будто качало жаркое, розовоцветное море; море дурманного винного зелья, бьющееся пенной волной в берега медяного пламени. Великим страхом обуяло его, когда он вполглаза увидел бесконечную необъятность морских зыбей, набегающих на далекий берег. Но миг тишины был нарушен — зыбуны говорили с ним на наречии, не нуждающемся в материальном звуке и членораздельных словах.

«Истинный муж стоит за гранью добра и зла, — возглашалось гласом, который был не голос. — Истинный муж постиг Всё-В-Одном. Истинный муж познал, что иллюзия есть одна реальность и что плоть есть великий обманщик».

И вот в каменной толще, столь неодолимо притягивавшей его взгляд, проявился очерк великанской арки, не без сходства с аркой, что привиделась ему так давно в той нутряной пещере, на далекой небытной тверди трехмерной Земли. Он понял, что орудует серебряным ключом — поворачивает его по обряду, подсказанному чутьем, а не знанием, и сродни обряду, отверзшему Внутренний Путь. Это розово-пьяное море, лизавшее его щеки, было ни больше ни меньше, как твердокаменная толща стены, подающаяся перед волшбой и бурунами мысли, которыми древние помогали его волшбе. По-прежнему ведомый чутьем и слепой решимостью, он понесся в проход — и прошел Весьма Далеким Путем.

IV

Прохождение Рэндольфа Картера сквозь ту каменную машину напоминало головокружительное низвержение в непомерные пропастные бездны между звезд. Он почувствовал с великого отдаления, как накатывает победительная, богообразная сладостность, которая убивала, и вслед за тем трепетание гигантских крыльев и подобие не то верещания, не то бормотания, издаваемое тварями, неведомыми на Земле и в Солнечной системе. Оглянувшись, он увидел не один проход, а множество, и у некоторых из них гомонили личины, которые он мучительно постарался забыть.

И тогда он внезапно испытал ужас больший, чем любая из тех личин

могла навести, — ужас, которого он не мог избежать, потому что был связан с ним кровными узами. Хотя Первый Путь и лишил его в чем-то опоры, оставив в неуверенности относительно его телесного вида и взаиморасположения с зыбко очерченными предметами вокруг, но его ощущение целостности пребывало нетронутым. Он был по-прежнему Рэндольфом Картером, точкой стабильности в бурлящем пространстве. Теперь, пройдя Весьма Далеким Путем, в миг всепожирающего страха он осознал, что он не один человек, но имя ему легион.

Он был в одно и то же время во многих местах. На Земле, в октябре 1883 года, 7-го числа, в мягком вечернем свете мальчик по имени Рэндольф Картер выбирался из Аспидовой норы и сбегал по каменистому косоугору и через кривоствольный сад выходил к дому дяди Кристофера в холмах позади Аркхэма; тем не менее в тот же самый момент, неким образом пришедшийся и на 1928 год земного летоисчисления, бледный призрак, не перестав быть Рэндольфом Картером, занимал престол среди древних в запредельной земной протяженности. И повсюду, в сумятице мест и времен, бесконечное множество и чудовищная непохожесть которых толкали его на волосок от безумия, без числа перемешивалось существ, в которых он узнавал того же себя, что и в нынешнем своем конкретном воплощении.

Картеры встречались в обстановке любого известного и лишь гипотетического века земной истории, и более удаленных веков земного существования, превосходящих и знания, и вероятие; Картеры в обличье человека и нечеловека, позвоночного и беспозвоночного, разумного и бессмысленного, животного и растения. И больше того, встречались Картеры, не причастные ничем земной жизни, но беззастенчиво движущиеся на фоне других планет и созвездий, и галактик, и самой космической гущины; семена вечной жизни, летящие от мира к миру, от вселенной к вселенной, и тем не менее все они были тот же он самый. Некоторые из промельков видений напоминали сны — и смутные, и яркие, привидевшиеся только раз и неотступные, — которые посещали его все долгие годы с тех пор, когда он впервые предался дремам, и некоторые узнавались навязчивым, волнующим, чуть ли не жутким узнаванием, не объяснимым никакой земной логикой.

Очутившегося перед подобным постижением Рэндольфа Картера обуял крайний ужас — ужас такой, какого не было и в намеке в самый разгар той чудовищной ночи, когда двое отправились на свой страх в некий древний и скверный некрополь, простирающийся под ущербной луной, и обратно ушел лишь один. Ни смерть, ни рок, ни мученическая мука не

возбуждают того всепобеждающего отчаяния, которое проистекает из утраты своего «Я». Слияние с пустотой — это покой самозабвения; но самосознание, что существует, и при этом знание, что больше ты не конкретное существо, на особицу от других существ — что ты лишен своей самости — вот тот предел терзания и ужаса, которому нет названия.

Он знал, что был когда-то некий Рэндольф Картер из Бостона, однако не мог быть уверен в том, что он — та частица или фасетка живого конгломерата, оказавшаяся за последним краем, — был тем самым Рэндольфом Картером или другим. Его «Я» уничтожилось; и тем не менее он — поистине, если может быть нечто такое, как «Он», при той абсолютной пустотности индивидуального бытования — в равной степени сознавал, что каким-то немыслимым образом являет собой целый легион «Я». словно тело его неожиданно претворилось в одного из тех многоруких и многоголовых идолов, чьими изваяниями украшаются индийские храмы: и он созерцал сей конгломерат, в смятении пытаясь различить, что есть подлинник и что — прибавки, поистине, если был (чудовищная крайность мысли!) некий подлинник, различимый от других воплощений.

И тогда, среди кошмара губительных дум, Картер — частица конгломерата, оказавшаяся за последним краем, — был низринут оттуда, что казалось последней крайностью ужаса, в темную преисподнюю теснину ужаса глубочайшего. На сей раз источник его находился скорее вовне — личностная сила которого разом и противостояла ему, и обстоила его, и пронизала его, сила, которая купно со своим наружным присутствием не только казалась частью его самого, но также событийной всему времени и сопричастной всему пространству. Зримого образа не было, однако ощущение объективной реальности и пробирающее дрожью представление, сочетавшее в себе обособленное и самостное с бесконечным, сообщали мертвящий ужас, который превосходил все, что могла бы помыслить возможным любая из частиц Картера-конгломерата.

Перед лицом этого страшного чуда недо-Картер забыл ужас распада своего «Я». Это было безграничное бытие и самость Всего-В-Одном и Одного-Во-Всем — не просто явление одной пространственно-временной протяженности, но сродственное с абсолютной животворной сущностью всего универсума во всем его безмерном размахе — в том крайнем, совершенном размахе, которому нет пределов и который одинаково превосходит фантазию и математику. Возможно, это его в неких тайных культах Земли и поминали шепотом как Йог-Софота; и под другими именами его знали за божество; это его ракообразные на Югготе почитали

как Того-Кто-За-Краем; и его же летучие мозговые извилины спиральных туманностей знают через непередаваемое знаменье — и однако в тот миг Картера-частицу озарило, сколь мелки и дробны все эти представления.

И вот Существо накатило на Картера-одномерку невероятные волны своего обращения — бьющие, жгучие и грохочущие сгустки энергии, разившие своего адресата с почти непереносимой яростью, и ритм их накатов вторил причудливому покачиванию древних и мерцанию чудовищных огней в том умопомрачительном месте, где конец Первого Пути. Как будто светила, миры и вселенные сошлись в одной точке, само месторасположение которой в пространстве они умыслили стереть напором необоримой ярости. Но среди большего ужаса умалывается меньший ужас, ибо опаляющие волны как будто отрезали Картера-за-последним-краем от всей бесконечности его двойников, чем и воскресили до некоей степени иллюзию его «Я». Спустя какое-то время слушающий начал переводить волны в знакомые ему мыслеформы, и ощущение ужаса и подавленности пошло на убыль. Страх стал чистым благоговением, и то, что казалось святотатственно ненормальным, сейчас казалось лишь несказанно величественным.

«Рэндольф Картер, — словно бы говорило оно, — древние, кто суть мои манифестации на запредельной протяженности твоей планеты, послали тебя как того, кто недавно еще хотел возвратиться в малые пределы, где витают дремы, которые он потерял, но кто тем не менее поднялся с большей свободой до больших и более благородных алканий и любознаний. Ты хотел пуститься вверх по златоструйной реке Укранос, в поисках позабытых городов из слоновой кости в одурно пахнущем орхидеями Клэде и воцариться на опаловом троне Илек-Вада, чьи баснословные башни и бессчетные купола мощно возносятся к одинокой рдяной звезде на тверди небес, чуждых твоей Земле и всякой материи. Теперь, пройдя по обоим Путям, ты взалкал высших вещей. Ты не побежишь, как дитя, от немилой картины к любимой мечте, но ринешься, как мужчина, в ту последнюю и сокровеннейшую из тайн, что таится за всеми картинами и мечтами.

То, чего ты алкаешь, я полагаю благом, и я готов взыскать тебя тем, чем лишь одиннадцать раз взыскивал существ на твоей планете — и лишь пять раз тех, кого ты зовешь людьми, или тех, кто на них похож. Я готов открыть тебе Последнюю Тайну, созерцание которой сокрушает немощный дух. Тем не менее, прежде чем сполна узреть ту конечную и начальную из загадок, ты все еще можешь сделать свободный выбор и возвратиться, если захочешь, по тем же Путям, и завеса не будет разодрана надвое перед

твоими глазами».

V

Внезапное угасание волн погрузило Картера в леденящую и трепетную тишину, исполненную духа покинутости. Отовсюду давила беспредельная необъятность пустоты, тем не менее взыскующий знал, что Существо все еще здесь. Через миг он обрел слова, умозрительную суть которых и бросил в бездну: «Я принимаю, и я не отступлюсь».

Опять накатили волны, и Картер понял, что слова услышаны Существом. И тут бесконечный Разум исторг потоки знания и объяснения, открывавшие взыскующему новые дали и приуготовляющие его к такому постижению космоса, которым он никогда не надеялся обладать. Ему было сказано, сколь наивно и ограничено представление о трехмерности мира и какая бесконечность протяжений существует помимо известных протяжений вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо. Ему была показана малость и мишурная пустота земных божков, с их мелкими человеческими интересами и отношениями — их вражды, буйства, амуры и слабости; их вожделения к почестям и жертвам, их требование верить вопреки рассудку и природе.

Тогда как большая часть впечатлений трансформировалась для Картера в слова, были такие, которые передавались ему другими органами чувств. Возможно, глазами, а возможно, воображением воспринимал он, что обретается в области такого числа измерений, которого не постичь ни человеческому глазу, ни мозгу. В бременеющих чернотах того, что поначалу было коловращением силы, потом беспредельной пустотой, он созерцал теперь размах творения, который помутнял его чувства. С какой-то немыслимой высшей точки он взирал на чудовищно громадные формы, чья множественность протяжений превосходила любое понятие о бытовании, размере и очертаниях, которое его рассудок по сию пору был способен вместить, невзирая на целую жизнь, посвященную тайноведению. Смутно он начинал сознавать, почему в то же самое время может существовать Рэндольф Картер-полуребенок в Аркхэмской усадьбе в 1883 году, зыбкий призрак на неявно восьмиугольном престоле за краем Первого Пути; одномерка, предстоящая перед лицом Присутствия в беспредельной бездне, и все остальные Картеры, рисовавшиеся его фантазии и восприятию.

Потом волны расходились сильнее, стремясь углубить его понимание,

примиришь его с многоликостью существа, чьей мизерной частью был нынешний он-одномерка. Ему говорилось, что любая пространственная фигура есть лишь не что иное, как результат пересечения с плоскостью какой-либо соответствующей фигуры с большим числом измерений — как квадрат получается сечением куба, а круг сечением сферы. Так трехмерные куб и сфера получаются сечением соответствующих фигур четырех измерений, которые ведомы людям лишь по догадкам и снам, а те, в свою очередь, получаются сечением пятимерных фигур, и так далее вплоть до головокружительных и недостижимых вершин бесконечности прообразов. Мир людей и людских богов есть лишь мизерная грань мизерного явления — трехмерная грань малого континуума, достигаемого Первым Путем, где ‘Умр ат-Тавил посылает сны-наставления древних. Хотя люди провозглашают это реальностью, а умозрение о многомерном подлиннике клеймят умобредствованием, поистине всё обстоит как раз наоборот. То, что мы зовем сущностью и реальностью, есть призрачность и иллюзия, а то, что мы зовем призрачностью и иллюзией, есть сущность и реальность.

Время не идет, а стоит на месте — неслись волны — и не имеет ни конца, ни начала. То, что оно движется и служит причиной перемен, есть иллюзия. В действительности оно самое есть иллюзия, ибо если не для узкозорких существ в маломерных пространствах, то ни прошлого, ни настоящего, ни будущего не бывает. Люди помышляют о времени лишь из-за того, что называется переменами, тем не менее это тоже иллюзия. Всё, что было, что есть и что будет, существует одновременно.

Откровения эти совершались с божественной высокоговещательностью, не оставляя Картеру возможности усомниться. Даже если они оказывались едва не за гранью его понимания, он чувствовал, что откровения эти непреложно истинны в свете той последней реальности космоса, которая опрокидывает все узкие представления и тесные пристрастные взгляды; и он был довольно знаком с глубокими умозрениями, чтобы не быть в ковах узких и пристрастных понятий. Разве все его искание не держалось верой в нереальность узкого и пристрастного?

После внушительной паузы волны продолжали свои накаты, вещая о том, что зовущееся переменой у обитателей маломерных областей есть попросту функция их сознания, созерцающего внешний мир под разными космическими углами. Подобно тому как формы, получаемые рассекновением конуса, кажутся разными в зависимости от угла сечения — то кругом, то эллипсом, то параболой, то гиперболой в соответствии с этим углом, при этом сам конус пребывает неизменным, — так же кажется, что меняются частные аспекты неизменной и бесконечной реальности с

переменной космического угла созерцания. У этого многообразия углов умозрения немощных существ внутренних миров и находятся в рабстве, поскольку за редким исключением они не научаются управлять ими. Лишь некоторые из отдавшихся изучению заповеданного предания обрели крупницы понятия об управлении ими и одолели тем самым время и перемены. Но силы и сущности за краем Путей властны над всеми умозрительными углами и по своему хотению рассматривают космос с мириадами частей в терминах дробности, подразумевающей перемену, или с точки зрения всеобщности, не подверженной изменению.

Накат волн снова прервался, и Картер смутно и ужасаясь начинал сознавать окончательную подоплеку той загадки потерянной самости, которой поначалу так устранился. Собрав воедино все фрагменты открывшейся истины, его интуиция подвигала его все ближе и ближе к постижению тайны. Он понимал, что страшное откровение сошло бы на него с немалой силой еще на первом Пути — расщепив его «Я» на мириады земных двойников — не убереги его чары ‘Умр ат-Тавила с тем, чтобы, безошибочно орудуя серебряным ключом, он смог отворить Крайний Путь. Алкающий большей ясности понимания, Картер посылал мысленные токи, допрашивая о точной взаимосвязи между различными гранями его «Я» — той частицей, ныне ушедшей за Крайний Путь, и той, другой, по-прежнему сидящей на как бы восьмиугольном престоле за краем Первого Пути; мальчиком из 1883 года; мужчиной из 1928-го; многоразличными существами-предтечами, составившими его наследие и оплот его самости, и безымянными обитателями других эпох и других миров, которых отождествило с ним абсолютное постижение, озарившее его в жуткий тот первый раз. Неспешно Существо покатило свои волны в ответ, стараясь сделать понятным то, что было почти недоступным земному уму.

Все нисходящие колена существ в маломерных пространствах, роптали волны, и все стадии роста каждой отдельной особи суть попросту проявления одного вечного прообраза в пространстве за пределами измерений. Каждое существо в этом колене — сын, отец, дед и так далее — и каждый возраст особи — младенец, ребенок, отрок, мужчина — есть попросту одна из бесчисленных фаз того же самого вечного праобраза, обусловленная изменением угла его рассекновения плоскостью умозрения, или умозрительным планом. Рэндольф Картер в любом своем возрасте: Рэндольф Картер и все его предтечи, люди и пралюди, земляне и праземляне, все это только фазы одного абсолютного вечного «Картера» вне времени и пространства — призрачные проекции, где всю разницу составляет угол, под каким случилось рассекновение вечного праобраза

умозрительным планом на этот раз.

Малейшее изменение угла могло обратить теперешнего ученого во вчерашнего ребенка, могло обратить Рэндольфа Картера в того колдуна, Эдмунда Картера, который в 1692 году бежал из Сэлема под укрытие холмов за Аркхэмом, или того Пикмэна Картера, кто в году 2169-м прибегнет к удивительным средствам для отворота монгольских орд от Австралии; могло обратить Картера-человека в одно из тех предначальных существ, прилетевших с Кифамила, двойной планеты, когда-то вращавшейся вокруг Арктура, и после этого обитавших в Гиперборее прамира и поклонявшихся черному кумиру Тцатоггуа; могло обратить земнородного Картера в отдаленного предка, неправдоподобного обличьем и обитавшего на самом Кифамиле, или в еще более прародительское создание с внегалактической Стронти, или в четырехмерный летучий разум в более старом пространственно-временном континууме, или в растительный мозг из будущего с мрачной радиоактивной кометы с непостижимой орбитой — и так далее, в бесконечном космическом обороте.

Праобразы, рокотали волны, населяют Абсолютную Бездну, безвидную, несказанную и угаданную редкими духовидцами с маломерных миров. Первым среди них было само это наставляющее Существо, на самом деле бывшее собственным праобразом Каретар. Не знающее пресыщения рвение Картера и всех его прародителей к познанию заповедных космических тайн было естественным следствием происхождения от Верховного Праобраза. Во всех мирах все великие ведуны, все великие мыслители, все великие художники суть его грани.

Пораженное почти до немоты благоговеньем и чем-то вроде пугающего восторга сознание Рэндольфа Картера преклонилось перед той трансцендентной Сущностью, от которой происходило. Волны снова угасли, и в оглушительной тишине его обуяли думы, помыслы о странных даяниях, еще более странных вопросах, куда как еще более странных просьбах. Удивительные представления не в лад проносились в мозгу, ослепленном непривычными прозрениями и непредугаданными откровениями. Ему надоумилось, что, если в откровениях этих содержится буквальная правда, он сможет побывать во плоти во всех тех бесконечно далеких эпохах и областях мироздания, которые он до сих пор знал лишь в дремах, обрети он лишь чародейную власть над изменениями угла своего умозрительного плана. И не серебряный ли ключ орудие этой власти? Не он ли превратил его вначале из мужчины, живущего в 1928 году, в мальчика, пребывающего в 1883 году, а потом в нечто, целиком за

пределами времени? Станным образом, невзирая на явное отсутствие тела, он знал, что ключ все при нем.

Пока тишина еще длилась, Рэндольф Картер излил мысли и домыслы, которые его осаждали. Он знал, что в этой последней бездне он равно удален от любой из граней своего праобраза — с лицом человека или нелюдя, земнородного или внеземного, из этой галактики или другой, — и любопытство в отношении других фаз его существа (особенно тех, что дальше всего отстояли от 1928 земного года во времени и пространстве, или тех, что неотвязней всего наваждали всю жизнь его дремы) было распалено в лихорадку. Он чувствовал, что его праобразная Сущность по своему хотению может отправить его во плоти в любую из фаз этих далеких минувших жизней, изменив его умозрительный план, и, несмотря на все пережитые им чудеса, он вспыхнул желанием дальнейшего чуда: хождения во плоти по всем тем причудливым и невероятным местам, которые обрывочно показались ему в видениях этой ночи.

Без определенного умысла спросил он Присутствие о доступе в зыбкий фантастический мир, который своими пятью многоцветными солнцами, чужими созвездиями, головокружительно черными кручами, клешнеруками тапирорылыми обитателями, причудливыми железными башнями, необъяснимыми туннелями и загадочными парящими цилиндрами снова и снова вторгался в его сны. Он чувствовал полуживотвенно, что в мыслимом космосе этот мир наиболее свободно соприкасался с другими, и он жаждал повидать те места, которые лишь мельком открывались ему, и через весь космос пуститься в плавание к тем еще более отдаленным мирам, с которыми рыластые клешнеруки поддерживали торговлю. Для страха было не время. Как и всегда в решительный момент его странной жизни, истое вселенское любопытство одержало верх над всем остальным.

Когда волны возобновили свою наводящую трепет вибрацию, Картер понял, что он жалован тем ужасным, о чем просил. Существо вещало ему о тех чернотных пустотах, через которые ему предстоит проходить, о неведомой пятикратной звезде в негаданной галактике, где коловращается чужой мир, и о пробивающих в нем норы чревоземных напознях, против которых рыластые клешнеруки этой планеты непрерывно сражаются. Оно провещало ему и то, что его личный умозрительный план и его умозрительный план, отнесенный к пространственно-временным основам искомого мира, должны одновременно подвергнуться угловому преобразованию с тем, чтобы в этом мире восстановился Картер-одномерка, который там обитал.

Присутствие предостерегало его, что он должен быть тверд в знании своих символов, если хочет когда-нибудь вернуться из того отдаленного и чужого мира, на который пал его выбор: и Картер лучился в ответ нетерпеливым согласием; уверенный, что серебряный ключ, который, он чувствовал, был при нем и который, он знал, наклонил, оба разом, план личности и план мира, перебросив его назад в 1883 год, — уверенный, что ключ этот содержит символы, имеющиеся в виду. И вот Существо, улавливая его нетерпение, изъявило готовность совершить это чудовищное безрассудство. Внезапное истечение волн прекратилось, и этому последовало мгновенное затишье, напряженное безымянным и странным чаянием.

Потом раздались без предупреждения стрекот и стукот, возвысившиеся до грозового грохотания. Снова Картер ощутил себя средоточием сильнейшей коловерти энергии, разящей, бьющей и нестерпимо палящей в знакомом уже ритме внеземного пространства, которую он не мог описать ни как полыхающий жар горячей звезды, ни как всеубийственный холод абсолютных пустот. Перед ним играли, свивались и заплетались полосы и лучи цвета, вовсе не встречающегося ни в одном из спектров нашей вселенной, и он осознавал пугающую скорость движения. В один мимолетный миг он увидел фигуру, одиноко сидящую на мраморном престоле, скорее восьмиугольном, чем каком-то ином...

VI

Прервав свою повесть, индус увидел, что де Мариньи и Филлипс целиком ушли в слух. Эспинуолл прикидывался, что не следит за рассказом, нарочито не отрывая глаз от бумаг на столе. Послушное неземному ритму отстукивание гробоподобных часов обрело новый и зловещий смысл; курения же из задохшихся, забытых без внимания треножниц свивались в необъяснимые, фантастические клубы, образуя беспокойные сочетания с жутковато-нелепыми фигурами на колышемых сквозняком гобеленах. Старый негр, присматривавший за ними, исчез — возможно, некое нагнетающееся напряжение спугнуло его из дому. Нерешительно, даже как-то виновато затрудняясь, рассказчик возобновил свою странно натужную и тем не менее беглую речь.

— Вы находите трудным, — заговорил он, — поверить в рассказанное о бездне, но потруднее придется с тем осязаемым и вещественным, что еще ждет впереди. Так уж устроен наш ум. Вдвойне невероятными оказываются

чудеса, перенесенные в трехмерность из тех зыбких сфер, где витают дремы. Я не буду пытаться рассказать вам о многом — это была бы уже другая и совершенно иная история, — расскажу только о том, что вам знать совершенно необходимо.

После той последней коловерти нездешнего и многоцветного ритма Картер оказался там... На мгновение ему казалось, что он попал в свой старый неотвязчивый сон. Он шел в толчее, как и многие ночи до этого, среди клешнеруких рыластых существ по улицам в лабиринте необъяснимо обработанного металла, под пожарищем разноцветных солнц; и, опустив взгляд, он увидел, что его тело не отличается от других — складчатых, местами одетых чешуей и сочлененных необычным манером, больше напоминающим насекомых, но не без перекорченного сходства с человеческим силуэтом. Он все еще сжимал серебряный ключ — вот только сжимал он его скверного вида клешней.

В следующую минуту ощущение, что он видит сон, пропало, и он, скорее, почувствовал себя так, словно только проснулся. Абсолютная бездна — Сущность — существо нелепой заморской породы по имени Рэндольф Картер с еще не родившейся планеты из будущего — это были куски из настойчиво повторяющихся снов ведуна Цкаубы с планеты Яаддит. Они повторялись слишком настойчиво — они чинили ему помехи в его обязанностях творить чары, запирающие страшных дхолей в их норах, и спутывались с его воспоминаниями о мириадах настоящих миров, на которых он побывал в оболочке из светового луча. И теперь они стали претендовать на реальность как никогда. Этот тяжелый, вещественный серебряный ключ у него в правой верхней клешне, точно подобие того, который он видел во сне, хорошего не означает. Он должен предаться покою и размышлению и в поисках совета погадать по табличкам Нхиня. Поднявшись на металлическую стену в закоулке, уводившем от главного скрещения улиц, и войдя в свои комнаты, он подошел к полке с табличками.

Спустя семь долей дня Цкауба сидел скорчившись на своем долгограннике, в благоговении и чуть ли не в отчаянии, поскольку вместе с правдой вскрылся новый и противоречивый комплекс воспоминаний. Больше не знать ему покоя внутреннего единства с самим собой. На все времена и пространства их стало двое: Цкауба, ведун с Яаддит, забираемый отвращением при мысли об отталкивающем земном млекопитающем Картере, которым ему предстояло стать и которым он побывал; и Рэндольф Картер из Бостона на Земле, потрясаемый страхом перед клешнерукой рыластой тварью, которой он был когда-то и которой сделался вновь.

Время, проведенное на Яаддит и идущее по своим меркам, — хрипло продолжал Свами, чей натужный голос начинал выдавать признаки усталости, — само по себе составляет историю, которая не укладывается в кратких пределах рассказа. Были путешествия на Стронти, и Мтуру, и Кат, и другие миры двадцати восьми галактик, доступных для облекающихся в световой луч созданий с Яаддит, и путешествия во времени на целые эоны в прошлое и будущее с помощью серебряного ключа и многих других символов, известных ведунам Яаддит. Были мерзейшие схватки с белесой скользкостью дхолей в первобытных туннелях, изъязвивших планету. Были полные восторга и жути просиживания в библиотеках среди залежей мудрости десяти тысяч миров, процветающих и погибших. Были напряженные собеседования с другими умами Яаддит, вплоть до Высшего Старчества Буо. Цкауба никому не сказал, что стряслось с его личностью, но когда на передний план выходил аспект Рэндольфа Картера, он исступленно выискивал любые возможные способы возвращения на Землю в человеческом облике и отчаянно упражнял в человеческой речи иновидную гортань, столь худо для этого приспособленную.

Вскоре аспект-Картер с ужасом узнал, что серебряный ключ не может вернуть ему человеческий облик. Ключ был изготовлен — как слишком поздно он вычислил из того, что помнилось, виделось в дремах и следовало из яаддитской премудрости, — в Гиперборее на Земле и властен был только над углом наклона личного умозрительного плана человека. Тем не менее ключ мог изменять угол наклона планетарного плана и произвольно переправлять во времени следующего с ним, не меняя его телесной оболочки. Некая дополнительная волшба наделяла ключ безграничными силами, которыми он иначе не обладал, но и это открытие было делом рук человеческих — и силу оно имело в недоступно расположенном месте и не могло быть повторено ведунами с Яаддит. Все это невпрочет было писано на пергаменте, оставшемся в ларце с вычурами гнусной резьбы, прятавшем в себе серебряный ключ, и Картер горько сокрушался, что бросил его и не взял с собой. Недоступная теперь Сущность из бездны предостерегала его, буде он не тверд в знании своих символов, и без сомнения полагала его во всеоружии.

По мере того как влачилось время, он все отчаяннее бился над тем, чтобы использовать чудовищную премудрость Яаддит для отверзания обратного пути в бездну к всемогущей Сущности. С его новыми познаниями он бы мог далеко продвинуться в прочтении загадочного пергамента, но при нынешних обстоятельствах эта возможность была чистой насмешкой. Случались, однако, времена, когда аспект-Цкауба

выдвигался на передний план, и тогда он силился вытравить вносившие разлад воспоминания Картера, которые смущали его покой.

Так утекали долгие периоды времени — на целые века дольше, чем охватывает человеческий ум, ибо существа на Яаддит умирают не раньше, чем по завершении длительного оборота времени. После многих сотен планетных коловращений аспект-Картер как будто стал брать верх над аспектом-Цкауба и стал тратить непомерное количество времени на исчисление расстояния от Яаддит в пространстве и во времени до Земли человечества, которой предстояло стать. Цифры были умопомрачительными — не поддающиеся счету зоны световых лет, — но незапамятная премудрость Яаддит дала Картеру навык оперировать ими. Он взращивал в себе способность переноситься в дремах к Земле и узнал о нашей планете многие вещи, которых никогда не знал. Но не мог вызвать в видении нужную формулу на утраченном свитке.

И тогда наконец он замыслил безумный план побега с Яаддит, начало которому было положено, когда он обнаружил зелье, способное погрузить его аспект-Цкауба в вечный сон, не рассеивая при этом его знаний и воспоминаний. Он полагал, что его расчеты позволят ему проделать путешествие в оболочке из световой волны, какого не проделывало ни одно существо на Яаддит — телесное путешествие сквозь безымянные зоны и через невероятные галактические просторы к Солнечной системе и к самой Земле. Попав на Землю, хотя и в теле клешнерукой рыластой твари, он, быть может, сумеет найти и разгадать до конца странное тайнописание свитка, оставленного им в автомобиле в Аркхэме; и с его помощью — и с помощью ключа — вернуть себе свое привычное земное подобие.

Не вслепую он шел навстречу опасностям подобной попытки. Он знал, что, когда доведет угол наклона планетарного плана до нужной эпохи (чего нельзя было сделать, несясь в пространстве), Яаддит будет мертвой планетой, где восторжествуют всепобедные чревоzemные дхоли, и его бегство в оболочке из световой волны представлялось делом весьма неверным. Отдавал он себе также отчет и в том, что, на манер адептов, ему придется достичь приостановки всей жизнедеятельности, чтобы вынести века и века полета через немеренные пустоты. К тому же он знал — если уповать на удачный исход путешествия, — что ему предстоит выработать иммунитет против земных бактерий и прочих условий, враждебных для плоти с Яаддит. Больше того, он должен суметь прикинуться человеком, пока не сможет снова найти пергамент, разгадать его и вернуть себе этот облик неподложно. Иначе долго ли быть обнаруженным и уничтоженным впавшими в ужас людьми как нечто, что не вправе существовать. Нужно

также и золото — по счастью, доступное на Яаддит, — чтобы как-то перебиваться во время этих его исканий.

Планы Картера мало-помалу начали реализовываться. Он раздобыл оболочку из светового луча, сверхъестественно прочную, могущую выдержать и чудовищное перемещение во времени, и беспримерный полет в пространстве. Он проверил все свои исчисления и отправлялся снова и снова в своих дремах к Земле, стараясь подступиться как можно ближе к 1928 году. Он удивительно преуспел, упражняясь в приостановке жизнедеятельности. Он обнаружил именно тех болезнетворных бактерий, которые требовались, и рассчитал те перегрузки, к которым должен привыкнуть. Он искусно изготовил восковую личину и мешковатое платье, дававшие ему возможность сойти среди людей за какого ни на есть человека, и измыслил двойной силы чары, чтобы защититься от дхолей в момент своего старта с мертвой, мрачной Яаддит в непостижимом будущем времени. Он позаботился и о том, чтобы собрать большой припас зелий — на Земле недоступных, — которые бы удержали его аспект-Цкауба в стесненном состоянии, пока он не сможет сбросить телесную оболочку Яаддит; не пренебрег он и небольшим количеством золота для земных нужд.

День отправления был временем смуты и тревожных предчувствий. Картер взобрался на площадку к своей оболочке под предлогом полета на тройную звезду Нитон и влез в футляр из сияющего металла. Места ему оставалось как раз столько, чтобы произвести обряд серебряного ключа, и, совершая его, он медленно заставил воспарить свою оболочку. Устрашающе вспучился и померк день, и объяла тошная мука боли. Космос, как помешанный, пошел колесом, и другие созвездия заплясали на черном небе.

Внезапно Картер ощутил новое равновесие. Холод межзвездных провалов проедал снаружи его оболочку, и он видел, что свободно парит в пространстве — металлическое здание, откуда он отправлялся, пошло прахом годы тому назад. Поверхность под ним кишела великанскими дхолями; и в то самое время, пока он смотрел, один из них вздыбился на несколько сотен футов и своим скользким белесым концом возделся с ним вровень. Но чары делали свое дело, и через миг он уже покидал Яаддит, целый и невредимый.

В той сумрачно причудливой комнате Нового Орлеана, откуда, что-то почуяв, спасся бегством старый черный слуга, необычный голос Свами Чандрапутры все больше надсаживался в хрип.

— Господа, — продолжал он, — не стану просить принимать эти вещи на веру, пока я не представил вам специального доказательства. Итак, принимайте это как баснословие, когда я говорю о тысячах световых лет — тысячи лет во времени и нескладные биллионы миль в пространстве, — в течение которых Рэндольф Картер бороздил космос в виде нездешнего, не имеющего названия существа в тонкой оболочке ионизированного металла. Он с величайшей тщательностью высчитал длительность приостановки жизненных функций, приурочив ее конец лишь за несколько лет до момента посадки на Землю в 1928 году или около того.

Ему никогда не забыть того пробуждения. Вспомните, господа, ведь до своего векового сна он прожил сознательной жизнью тысячи земных лет в самой гуще нездешних и ужасных диковинок Яаддит. Этот отвратительный проедающий холод, и угасание угрожающих видений, и взгляд сквозь зрительную щель в оболочке. Густина звезд, созвездия и туманности — и наконец, в их очертаниях нечто родственное тем земным созвездиям, которые он знал.

Когда-нибудь о его нисхождении в Солнечную систему можно будет поведать. Он видел Кинарт и Юуггот у самого Окоёма, вблизи миновал Нептун и успел заметить злобную седую плесень, испещряющую его; познал несказанную тайну, близко заглянув в туманы Юпитера, и на одном из спутников увидел кошмар; и созерцал циклопические руины, простирающиеся по рдяному диску Марса. Когда стала приближаться Земля, она предстала ему в виде тонкого полумесяца, устрашающе возбуждающего в размере. Он сбавил скорость, хотя чувство, что он наконец-то дома, неохотно позволяло ему потерять даже минуту. Я и не пытаюсь вам передать это чувство, как мне описал его Картер.

Что ж, Картер до последнего медлил в верхних слоях земной атмосферы, ожидая, когда над Западным полушарием наступит день. Он хотел приземлиться там, откуда покинул Землю — возле Аспидовой норы в холмах позади Аркхэма. Если кто из вас бывал подолгу вдали от дома — а один среди вас, я знаю, бывал, — полагаюсь на ваше воображение в том, как подействовал на него вид Новой Англии, с ее плавной зыбью холмов, громадными вязами, кривоствольными садами и древними камнями стен.

С рассветом он сел на нижней лужайке старого поместья Картеров и за тишину и одиночество преисполнился благодарности. Как и тогда, когда он отбыл, стояла осень и запахи холмов бальзамом излились в его душу. Он

сумел затащить металлическую оболочку вверх по склону делянки в Аспидову нору, хотя через заглушенную сорняками расселину во внутреннюю пещеру она не проходила. Там же и облек он свою иноземную плоть людским платьем и восковой личиной, без чего было не обойтись. Он продержал там оболочку более года, пока известные обстоятельства не продиктовали необходимость нового укрытия.

Картер прошелся пешком в Аркхэм — применяясь при этом с соблюдением человеческой осанки управляться со своим телом в земной силе тяжести, — и в банке обменял свое золото на наличность. Также навел он некоторые справки — выдавая себя за иностранца, малосведущего в английском, — и обнаружил, что на дворе 1930 год, лишь двумя годами позже, чем он наметил.

Конечно, его положение было ужасным. Лишенный возможности доказать свою личность, вынужденный каждый миг пребывать начеку, с определенными трудностями относительно питания и под гнетом необходимости сберегать нездешнее зелье, поддерживавшее его аспект-Цкауба в дремлющем состоянии, он чувствовал, что должен действовать как можно быстрее. Отправившись в Бостон и наняв комнату в обветшалом Уэст-Энде, где бы мог жить недорого и неприметно, он без промедления навел справки об имении и состоянии дел Рэндольфа Картера. Тогда-то он и узнал, как не терпелось господину Эспинуоллу, здесь присутствующему, разделить имение и как доблестно бились господин де Мариньи и господин Филлипс за его неприкосновенность.

Индус отдал поклон, хотя ни малейшего выражения не отразилось на его смуглом, неподвижном, скрытом густой бородою лице.

— Окольными путями, — продолжал он, — Картер раздобыл хорошую копию отсутствующего пергамента и приступил к труду над его расшифровкой. Меня радует, что я смог во всем этом оказаться полезен — ибо он весьма скоро обратился ко мне и через меня связался с другими мистиками по всему миру. Я переехал жить к нему в Бостон, в убогое пристанище на Чэмберс-стрит. Что касается до пергамента — с удовольствием выведу господина де Мариньи из его замешательства. Позвольте, обращаясь к нему, сказать, что те иероглифы являют собой язык не наакаль, но рь'лайихьян, занесенный на Землю отродьем Ктулху бесчисленные столетия тому назад. Это, конечно же, перевод — гиперборейский оригинал существовал на миллионы лет раньше на языке прамира тцат-йо.

Расшифровка потребовала большего труда, чем Картер предвидел, но он ни на миг не терял надежды. С начала этого года он идет семимильным

шагом, благодаря одной книге, вывезенной им из Непала, и нет никаких сомнений, что скоро он одержит победу. И тем не менее, к несчастью, возникло одно препятствие — исчерпывается запас того зелья, что поддерживало его аспект-Цкауба в дремлющем состоянии. Однако это не такое великое бедствие, как он опасался. Личность Картера забирает все большую власть над телом, и когда на передний план выходит Цкауба, пробуждаемый теперь лишь каким-то экстраординарным волнением, он обыкновенно бывает слишком одурманен, чтобы пустить насмарку хоть какие-то усилия Картера. Он не может найти металлическую оболочку, чтобы вернуться в ней на Яаддит; хотя однажды он ее едва не нашел, но Картер заново ее перепрятал, когда аспект-Цкауба был целиком подавлен. Перепугать нескольких человек и породить некие кошмарные слухи среди поляков и литовцев бостонского Уэст-Энда — вот весь вред, который он смог причинить. По сию пору он ни разу не испортил тех одеяний, которые старательно подготовил Картер, хотя иногда он их сбрасывает, и тогда некоторые части требуют замены. Я видел, что скрывают эти одежды, — и на это худо смотреть.

Месяц назад Картер прочитал оповещение об этой встрече и понял, что должен действовать быстро во спасение своего имения. Он не мог ждать, пока расшифрует пергамент и вернет себе человеческий облик. В результате он поручил мне выступать от его имени.

Господа, заявляю вам, что Рэндольф Картер не умер; что временно он пребывает в аномальном состоянии, но через два, самое большее через три месяца сможет появиться в надлежащей форме и потребовать имение под свое собственное попечительство. Посему я прошу вас отсрочить эту встречу на неопределенное время.

VIII

Де Мариньи и Филлипс, как под гипнозом, не сводили с индуса глаз, Эспинуолл же разразился хриплым пыхтением и мычанием. Раздражение старого юриста вылилось к этому времени в открытую ярость, и он обрушил на стол кулак с апоплексическими прожилками. Когда он заговорил, это напоминало отрывистый лай:

— Сколько еще терпеть эти дурачества! Я час прослушал этого сумасшедшего — этого жулика, — и теперь ему хватает дьявольской наглости говорить, что Рэндольф Картер жив, и безо всякой на то причины просить нас отложить принятие каких-либо решений по поводу его имения!

Почему вы не вышвырнете негодяя вон, де Мариньи? Вы намерены выставить нас всех на посмешище перед каким-то шарлатаном?

Де Мариньи успокоительно поднял руку и мягко заговорил:

— Давайте думать не торопясь и проясним наши мысли. Это была весьма замечательная история, и в ней есть то, что даже такому несведущему человеку в мистике, как я, не кажется невозможным. Тем более что я получаю с 1930 года письма от Свами, отвечающие его изложению событий.

Стоило ему замолчать, как отважился вставить слово старый господин Филиппс:

— Свами Чандрапутра говорил о доказательствах. Я также вижу много существенного в этой истории, и сам я получал дающие ей странное подтверждение письма от Свами в течение последних двух лет. Но кое-что в этих утверждениях доходит до крайности. Не имеется ли чего-то осязаемого, что бы могло быть показано?

С бесстрастным лицом Свами наконец хрипло и медленно стал отвечать, одновременно он вытягивал некий предмет из кармана своего мешковатого одеяния.

— Хотя никто из здесь собравшихся так и не видел самого серебряного ключа, господин де Мариньи и господин Филлипс видели сделанные с него фотографии. Знакомым ли вам кажется вот это?

Большой рукой, скрытой под белой перчаткой, он выложил неловко на стол тяжелый ключ потускнелого серебра — почти в пять дюймов длиной, абсолютно неведомой и иноземной работы, сплошь покрытый иероглифической вязью самого причудливого очертания. Де Мариньи и Филлипс ахнули.

— Это он! — вскричал де Мариньи. — Камера не лжет. Я бы не мог ошибиться!

Но тут Эспинуолл разразился ответом:

— Глупцы! Да что же это доказывает? Если это действительно ключ, принадлежащий моему родственнику, дело этого иностранца — этого проклятого ниггера — объяснить, как он им завладел! Рэндольф Картер сгинул вместе с ключом четыре года назад. Откуда мы знаем, что его не убили и не ограбили? Он сам был полупомешанный и яшчался с напроць помешанными. Послушай, ты, ниггер, где ты взял этот ключ? Ты убил Рэндольфа Картера?

В неестественно спокойном лице Свами ничто не дрогнуло, но его глаза, глядящие куда-то прочь и состоящие из одной черноты зрачков, опасно полыхнули. Он выговорил с огромным трудом:

— Попрошу следить за собой, господин Эспинуолл. Есть другой вид доказательства, и я мог бы его предъявить, но действие, какое оно на всех окажет, не будет приятным. Внемлем рассудку. Вот некоторые бумаги, явно написанные после 1930 года и рукой Рэндольфа Картера, в чем нельзя ошибиться. — Он неуклюже извлек длинный конверт из своего мешковатого одеяния и вручил его брызжущему слюной адвокату, за чем де Мариньи и Филлипс наблюдали с полной сумятицей в мыслях и с озаоряющим чувством неотмирного удивления. — Почерк, конечно, едва разборчив, но请记住 о том, что Рэндольф Картер сейчас не имеет рук, приспособленных выводить буквы человеческого алфавита.

Эспинуолл поспешно пролистал бумаги и был заметно смущен, однако манере своей не изменил. Воздух в комнате наэлектризовался возбуждением и неназванным страхом, и неземной ритм гробоподобных часов отдавался абсолютно бесовским звуком в ушах у де Мариньи и Филлипа, хотя на законника, казалось, никак не действовал.

— Выглядит как ловкая подделка, — снова заговорил Эспинуолл. — Если это не подделка, это может означать, что Рэндольф Картер оказался в руках людей, не питающих честных намерений. Требуется сделать только одно — арестовать этого мошенника. Вы вызовете полицию, де Мариньи?

— Не стоит спешить, — отвечал хозяин. — Я не думаю, чтобы это было делом полиции. У меня есть одна задумка. Господин Эспинуолл, этот джентльмен — мистик действительных достижений. По его словам, он доверенное лицо Рэндольфа Картера. Удовольствуетесь ли вы, если он сможет ответить на некоторые вопросы, на которые может ответить лишь тот, кто действительно является подобным доверенным? Я знаю Картера и смогу задать такие вопросы. Позвольте, я возьму книгу, которая, полагаю, будет хорошей проверкой.

Он направился к двери в библиотеку, ошеломленный Филлипс как-то машинально последовал за ним. Эспинуолл оставался на месте, пристально приглядываясь к индусу, сидевшему против него с неестественно бесстрастным лицом. Когда индус неуклюже стал убирать серебряный ключ обратно в карман, законник внезапно испустил утробный клич:

— Ба, черт возьми, дошло! Этот негодяй замаскирован. Думаю, он вообще не из Вест-Индии. Лицо это — да это не лицо, а маска! Мне это, наверное, от его рассказов взбрело на ум, но это правда. Оно совсем не меняется, а эти тюрбан и борода только прикрытие. Малый — простой проходимец! Он даже не иностранец — я следил, как он говорит. Он какой-нибудь янки. И только взгляните на эти перчатки — знает, что может оставить отпечатки пальцев. Черт тебя побери, я сдеру с тебя эту штуку!

— Стойте! — хриплый, странно нездешний голос Свами отозвался чем-то превосходящим просто земной испуг. — Я говорил, что есть иной вид доказательства, и могу его предъявить, если необходимо, хотя лучше бы вам не побуждать меня к этому. Этот старый краснорожий докучала прав — я действительно не из Вест-Индии. Лицо — это маска, и то, что за ней скрывается, — не человек. Вы, прочие, догадались — я почувствовал это мгновения тому назад. Никто не обрадуется, если я сниму эту маску — брось, Эрнст. Я могу просто сказать тебе, что я и есть Рэндольф Картер.

Никто не шелохнулся. Эспинуолл кряхтел и бесцельно жестикулировал. С другого конца комнаты де Мариньи и Филлипс наблюдали за гримасами побагровевшего лица, видя спину фигуры в тюрбане, сидевшей против него. Противоестественное отстукивание часов было омерзительно, а курения треножниц и колышющиеся гобелены плясали пляску смерти. Законник полузадушенно оборвал тишину:

— Ну нет, проходимец, ты не испугаешь меня! У тебя есть причины, чтобы не снимать эту маску. Может, мы бы узнали, кто ты такой. Долой ее...

Когда он подался вперед, Свами перехватил его руку неуклюже одетой в перчатку конечностью, вызвав странный вскрик боли, смешанной с удивлением. Де Мариньи двинулся было к ним, но в замешательстве остановился, когда возглас протеста, изданный псевдоиндусом, перешел в совершенно необъяснимое трещание и жужжание. Багровое лицо Эспинуолла было неистовым, и свободной рукой он сделал еще один выпад, ловя окладистую бороду своего противника. На сей раз он сумел ее ухватить, от его исступленного рывка вся восковая личина отошла от тюрбана и пристала к апоплексическому кулаку законника.

Едва это случилось, Эспинуолл издал жуткий булькающий крик, и Филлипс с де Мариньи увидели, как его лицо исказилось в припадке ничем не прикрытого животного страха, более дикого, глубинного и отвратительного, чем когда-либо приходилось им видеть в выражении человеческого лица. Выпустив тем временем другую его руку, псевдо-Свами стоял, как будто оглушенный, производя жужжащий звук абсолютно противоестественного свойства. Потом фигура в тюрбане странно подсела, потеряв человеческую осанку, и удивительной шаркающей походкой, как зачарованная, двинулась к гробоподобным часам, отстукивающим свой космический и ненатуральный ритм. При этом ее теперь неприкрытое лицо было обращено в противоположную от них сторону, так что де Мариньи и Филлипс не могли видеть того, что открыл законник своим поступком. Тут их внимание отвлек Эспинуолл, грузно оседающий на пол. Чары

нарушились, но когда они подбежали к старику, он был уже мертв.

Быстро обернувшись к удаляющейся спине шаркающего Свами, де Мариньи увидел, как одна из больших белых перчаток вяло свалилась с болтающейся руки. Фимиамные курения густо стояли в воздухе, и на месте обнаженной кисти промелькнуло лишь что-то длинное и черное. Прежде чем креол двинулся за удаляющейся фигурой, старик Филлипс удержал его за плечо.

— Не надо! — прошептал он. — Мы не знаем, с чем можем столкнуться. Понимаете, то другой аспект — Цкауба, ведун с Яаддит.

Фигура в тюрбане уже добралась до противоестественных часов, и наблюдавшие увидели сквозь плотное марево смазанный абрис черной клешни, неловко орудовавшей с высокой, в иероглифических резах дверцей. Вся эта возня производила причудливый щелкающий звук. Потом фигура вошла в гробоподобный футляр и затворила за собой дверцу.

Де Мариньи было больше не удержать, но когда, подбежав к часам, он их открыл, там было пусто. Ненатуральное отстукивание продолжалось, отбивая темный космический ритм, на котором держатся все мистические отворения путей. Большая белая перчатка на полу и мертвец с зажатой в руке бородатой маской больше не сулили никаких откровений.

Прошел год, и о Рэндольфе Картере ничего не было слышно. Его именем пока не распорядились. По адресу в Бостоне, откуда некий «Свами Чандрапутра» обращался с запросами к различным мистикам в 1930, 1931 и 1932 годах, действительно проживал странный индус, но он съехал незадолго до встречи в Новом Орлеане, и больше его никогда не видели. Говорят, он был темнокож, с лицом без всякого выражения и бородат, и его домохозяин считает, что смуглая маска, должным образом выставленная на обозрение, сильно на него смахивает. Его не заподозрили тем не менее ни в какой связи с кошмарными призраками, о которых ходил слух у местных славян. Холмы позади Аркхэма обшарили в поисках «металлической оболочки», но так ничего и не нашли. Однако служащий Первого Национального банка в Аркхэме припомнил-таки странного человека в тюрбане, обратившего в наличные деньги некоторое количество золотых слитков в октябре 1930 года.

Де Мариньи и Филлипс не знают, что и думать обо всем этом. Что, в конце концов, было доказано? Существовала некая история. Существовал некий ключ, могущий быть подделан по одному из рисунков, которые Картер широко раздавал в 1928 году. Существовали бумаги — все, не имеющие решающего значения. Существовал незнакомец под маской, но

кто из ныне здравствующих под маску заглядывал? Под двойным воздействием напряжения и курений фимиама исчезновение в часах легко могло оказаться парной галлюцинацией. Индусы знают немало о гипнотизме. Здравый смысл провозглашает «Свами» преступником, незаконно претендовавшим на имение Рэндольфа Картера. Но вскрытие показало, что Эспинуолл умер от удара. Одна ли только ярость была тому причиной? И кое-что в той истории...

В просторном покое, увешанном причудливо узорчатыми гобеленами и проникнутом курениями фимиама, Этьен-Лорэн де Мариньи часто сидит, вслушиваясь со смутным чувством в ненатуральный ритм тех гробоподобных, в иероглифических резах часов.



Сон о неведомом Кадате



Трижды снился Рэндольфу Картеру дивный город, и трижды его подхватывало и уносило прочь, пока он медлил на высоких террасах над городом. Златозарный и чудный, весь город как жар горел на закатном солнце, все его стены и храмы, и колоннады, и арчатые мосты из мрамора с прожилками, серебряные чаши его пестроструйных фонтанов на пространных площадях и в благоуханных садах; его широкие улицы убегали вдаль меж рядов стройных деревьев, и фиалов с ворохами цветов, и светлеющих статуй слоновой кости; круто взбирались по северным склонам ярусы красных черепичных кровель и старинных островерхих фронтонов на укромных улочках с пробивающейся меж булыжниками травой. Это была горячка богов, трубный глас нездешних фанфар и грохот нетленных кимвалов. Тайна осеняла его, как туманы осеняют баснословную недосыгаемую вершину; и пока, затаив дыхание, Картер ждал у перил той террасы, у него занялось в груди от щемящей несбыточности полустертых воспоминаний, боли потерь и приводящей в исступление нужды вновь найти то место, что когда-то вызывало в нем восторг и ужас и было преисполнено значимости.

Он знал, что значение того места для него когда-то было превыше всего, но на каком круге или в каком воплощении, наяву или в дремах он то место знал, сказать он не мог. Оно пробуждало глухие отголоски давно забытого раннего детства, когда каждый день был удивительным и радостным таинством, а свет дня и мрак ночи равно наступали под пылкие звуки лютни и пения, как провозвестники, отворяющие огненные пути к будущим и негаданным чудесам. Но, стоя из ночи в ночь на той высокой террасе из мрамора с причудливыми фиалами и резными перилами и устремляя взор к спящему закатному городу красоты и сущности неотмирной, он чувствовал на себе ковы тиранических богов сна; ибо ему было никак не сойти с того выпренного места и не спуститься широкими пролетами порфиновых лестниц, бесконечно свергающихся туда, где улицы древней чары распростерлись широко и маняще.

Когда он проснулся на третий раз и лестницы эти так и остались

нехоженными и спящие закатные улицы неторенными, он долго и истово молился сокрытым богам сна, вынашивающим свои прихоти и причуды на заоблачных высотах неведомого Кадата в холодном пустолюдии, где не ступала нога человека. Но боги не давали ответа и не оказывали снисхождения; не подавали они знака благосклонности и тогда, когда он посылал им молитвы в своих дремах и вызывал их жертвованиями через брадатых кумиротролителей Наштом и Каман-Тахом, чей пещерный храм огненного столпа лежит неподалеку от врат мира яви. Однако, казалось, его молитвы были услышаны, но в дурном смысле, ибо уже после первой из них дивный город сокрылся от его взоров; словно те три коротких видения были делом простого случая или недоглядчивости и противоречили некоему сокровенному промыслу богов.

Наконец, нестерпимо томясь вожделением к тем закатным сияющим улицам и укромно-загадочным переулкам на склонах, покрытых черепичной чешуей старинных кровель, не в силах ни спать, ни проснуться, чтобы изгнать их из памяти, Картер решился пойти со смелой мольбой туда, куда до него никто не ходил, и, презирая опасности, пройти ледяной пустыней во мраке к тому месту, где на неведомом Кадате, повитом туманами и увенчанном невоображаемыми звездами, покоятся таинственные, как темная ночь, ониксовые чертоги Вящих.

В первосонье спустился он на семьдесят семь ступеней в пещеру огненного столпа и заговорил о задуманном с брадатymi кумиротролителями Наштом и Каман-Тахом. И кумиротролители качали своими наголовниками-пшентами и клялись, что он найдет там погибель своей душе. Они ссылались на то, что Вящие уже выказали свою волю и что им претит докучание назойливыми мольбами. Они напоминали ему, что не только никто не бывал на Кадате, но никто даже не подозревает, в каком краю света он может лежать — то ли в дремном краю нашей мироколицы, то ли в сопредельном одном из негданных спутников Фомальгаута или Альдебарана. Если в нашем дремном краю вообще мыслимо достичь его, от начала времен лишь трое в полном смысле людей пересекли незаконные чернотные пустоты на пути в чужой дремный край; назад двое из тех троих вернулись умопомешанными. Такие путешествия чреваты бесчисленными опасностями, а что и говорить о той всепожирательной грозе в конце пути, что творит несуразную тарабарщину за пределами мироздания, куда не достают дремы; та последняя безвидная напасть преисподнего хаоса, что кощунствует и клокочет в самом сердце всей бесконечности, — беспредельный демон-султан Азафот, имя которого ничьи уста не смеют произнести вслух и который неутолимо гложет себя в

невообразимых хоромах во мраке бурном за гранью времен под приглушенный исступляющий стук злых барабанов и тонкое однотонное завывание окаянных флейт; и под оный мерзящий грохот и вой медленно, неловко и нелепо пляшут исполинские Вышние Боги, безглазые, безгласые, отемневшие, несмысленные. Иные Боги, духом-вестоносцем которых служит ползучий хаос Ньярлафотеп.

Так остерегали Картера кумирслужители Нашт и Каман-Тах в пещере огненного столпа, но все же он не оставил своей решимости найти богов на неведомом Кадате в холодном пустолудии, где бы оно ни находилось, и, склонив их к себе, снискать для себя права не терять из виду, не терять из памяти тот дивный закатный город. Он знал, что путешествие предстоит странное и долгое и что Вящие будут препинать ему путь; но он был старожилом в дремном краю и полагался на многие памятки и полезные уловки. Так что, чин по чину испросив благословения у кумирслужителей и во всех тонкостях обдумав свою дорогу, он храбро низошел на семь сотен ступеней к Воротам Глубокой Дремоты и вступил в Заколдованный лес.

В тесноте того криворослого леса, где низкие чудовищные дубы сплетались протянутыми ветвями и тускло играли свечением странных лишайников, обитали скрытные и таинственные зуги; им ведомо много темных тайн мира дрем и немало секретов дневного мира, ибо лес в двух местах сопределен землям людей, но сказать, где именно, означало бы накликать беду. Там, куда зуги могут пробраться, с людьми приключаются необъяснимые происшествия и исчезновения, и это благо, что зуги не могут отлучаться далеко за пределы дремного края. Но его околицами они ходят свободно, мелькают маленькие, темные и незримые и приносят с собой пряные повести, за которыми коротают время у очагов в своем любимом лесу. Большинство их обитает в норах, но некоторые населяют стволы громадных деревьев; и хотя основным пропитанием им служит лишайник, идет шепоток, что лакомы они и до мяса, и плотского и бесплотного, ибо верно, что в лес заходило много сновидцев, да не все вышли обратно. Картер, однако, не чувствовал страха, ибо долго скитался по стезям сновидений и научился шелестящему языку зугов и завязал с ними не один уговор; с их помощью отыскав блистательный город Селефаис в Оот-Наргае за Тальнарианскими холмами, где полгода царствует великий король Куранес — человек, при жизни известный ему под другим именем. Куранес был тем единственным, кто, побывав в межзвездных пустотах, вернулся, не повредившись умом.

И вот, пробираясь мерцающими низкими лесными коридорами меж исполинских стволов, Картер издавал шелестящие звуки на принятый у

зугов лад, то и дело прислушиваясь, нет ли ответа. Ему помнилось, что одно особенное селение этих созданий находится в середине леса и замшелые исполинские камни в кругах там, где когда-то была прогалина, говорят о более древних и более жутких, давно позабытых обитателях леса, и вот к этому месту он теперь торопился. Дорогу он находил по уродливым грибковым наростам, будто все более раскормленным по мере того, как приближался ужасный круг, где древние твари водили свои хороводы и творили заклятия. Наконец, в сильном свечении этих более толстых лишайников, обнаружилась зловещая серо-зеленая громадина, упирающаяся в лесные своды и исчезающая из глаз. Это был ближайший в гигантском круге камень, и Картер понял, что селение зугов недалеко. Снова принявшись за свое шелестение, он терпеливо ждал; и наконец его вознаградило ощущение следящих за ним множества глаз. Это были зуги, ибо их потусторонние глаза видны задолго до того, как начинают обозначаться их маленькие, увертливые, сумеречные силуэты.

Они валом валили наружу из потайных нор и источенных ходами деревьев, пока вся полумгла не зароилась ими. Один из самых неумных задел Картера противным прикосновением, а другой гадко куснул за ухо; но старшие быстро утихомирили безобразников. Совет Премудрых, узнав гостя, поднес ему тыкву-горлянку забродившего сока одного из деревьев-обиталищ этих существ, непохожего на все другие — оно произросло из семени, оброненного кем-то с луны; и пока Картер пил, соблюдая положенный обряд, завязалась престранная беседа. К несчастью, зуги не знали, где высится гора Кадат, не могли они и сказать, в краю наших ли дрем или иных находится холодное пустолюдие. Молва о Вящих равно доходит со всех концов; и можно сказать лишь одно, что их скорее увидишь на горных высотах, чем в долинах; ибо на тех высотах они танцуют, памятуя былое, под луной и за облаками.

Потом один древний зуг припомнил штуку, не слыханную другими; дескать, в Ултаре, за рекой Скай, еще уцелел последний список с тех немисливо старых Пнакотских рукописей, снятый неусыпными обитателями забытых арктических царств и унесенный в края дрем, когда косматые каннибалы гнофкены одержали победу над Олафое с его многими храмами и предали смерти всех героев страны Ломар. Манускрипты эти, говорил он, много рассказывают о богах и к тому же в Ултаре есть люди, видевшие знаменья богов. Один старый кумирслужитель сумел даже взойти на высокую гору, дабы подсмотреть их танец при лунном свете. Он потерпел неудачу, а сотоварищ его преуспел в этом деле, и как он пропал, того не скажешь словами.

Тогда Рэндольф Картер поблагодарил зюгов, которые дружелюбно зашелестели и подарили ему в дорогу другую бутылку вина из дерева-с-луны, и отправился через светящийся лес на другую его опушку, где быстрая Скай сбегает по склонам Лериона и города Хатег, Нир и Ултар вкрапливаются в долину. Позади него, тайком и незримо, пробиралось несколько любопытных зюгов, ибо они стремились узнать, какая ему выпадет участь, и вернуться с этой повестью к своему народу. Неохватные дубы сошлись еще теснее, когда он выбрался из селения, и он зорко приглядывался, ища известное место, где они немного расступятся, мертвыми или полумертвыми торча среди противоестественно разросшейся плесени, перегнившей земли и трухлявых колод, в которые превратились павшие их собратья. Там он должен будет круто повернуть в сторону, ибо на том месте могучая каменная плита покоится на лесной земле; и те, кто отваживался подступить к ней, говорят, что в нее вделано железное кольцо в три фута диаметром. Памятуя о вековечном хороводе громадных замшелых камней и о том, для чего он мог быть заведен, зюги не задерживаются у пространной плиты с ее колоссальным кольцом, ибо они сознают, что не все забытое непременно должно быть мертво, и им бы не пришлось по нраву увидеть, как плита медленно и неуклонно приподнимается.

Картер повернул в сторону в положенном месте и позади услышал испуганное шелестение самых робких из зюгов. Он знал, что они будут идти за ним, поэтому не беспокоился, ибо человек свыкается со странными повадками этих соглядателей. Когда он вышел к опушке леса, стоял полусумрак, и разгорающееся зарево говорило ему, что это полусумрак рассвета. В плодородной долине, плавно низбегающей к реке Скай, он видел дымок над трубами, и живые изгороди, и возделанные поля, и соломенные кровли расстилающегося мирного края. Раз он остановился у колодца возле дома, чтобы зачерпнуть ковшик воды, и все собаки зашлись испуганным лаем из-за зюгов, неприметно кравшихся за ним по траве. В другом доме, где уже не спали, он обратился с расспросами о богах и о том, часто ли они пляшут на Лерионе; но чета крестьян лишь осенила себя Знаком Предвечных и указала путь в Нир и Ултар.

В полдень он шел по единственной широкой улице, главной улице Нира, в котором он побывал однажды и который был крайней вехой в его путешествиях в эти края; вскоре он подошел к огромному каменному мосту через Скай, в замковый камень которого каменщики заживо вмуровали человеческую жертву, когда возводили этот мост тринадцать столетий назад. Как только он оказался на той стороне, повсеместное присутствие

кошек, дыбом подымавших шерсть на вьющихся по пятам зугов, обнаружило близкое соседство Ултара; ибо в Ултаре, согласно древнему и знаменательному закону, ни один человек не смеет убить ни единую кошку. Очаровательны были пригороды Ултара с их прячущимися в зелени домиками и усадьбами за аккуратными изгородами; а еще очаровательней был сам причудливый город с его старыми островерхими крышами и нависающими верхними этажами, бесчисленными дымволоками и забирающими вверх узкими улочками, старинный булыжник которых виднеется там, где не все пространство занято грациозными кошками. Когда кошек несколько пораспугали полунезримые зуги, Картер напрямик направился в кумирню Предбывших, где, по слухам, обретались кумирслужители и старые векописи; и, оказавшись среди повитых плющом седых камней этой округлой башни, венчавшей собой самый высокий холм Ултара, он разыскал патриарха Атала, поднимавшегося на заповедную вершину Хатег-Кла в каменистой пустыне и сошедшего вниз живым.

Восседающему на престоле слоновой кости в убранном гирляндами святилище на самом верху башни Аталу было полных три века от роду, но он по-прежнему был светел умом и памятью. От него Картер узнал многое о богах, но главное то, что поистине они лишь земные боги, немощные правители лишь над нашими дремами, больше нигде не имеющие ни власти, ни обиталища. Может, они и услышат мольбу человека, будучи в добром расположении, сказал Атал; но и думать нечего подняться к их ониксовой твердыне Кадата в холодном пустолудии. Счастье, что никто из людей не ведает, где высится Кадат, ибо весьма горькие плоды принесло бы восхождение на него. Спутника Атала, Премудрого Барзая, утащили, исходящего воплем, в небо только за то, что он взобрался на вершину ведомой людям Хатег-Кла. С неведомым же Кадатом, если он когда-нибудь будет найден, дело будет обстоять куда ужаснее; ибо, если умудренный смертный иной раз и может обойти земных богов, их хранят Иные Боги из Запредела, о которых лучше умалчивать. Дважды по крайней мере в истории мира отмечали Иные Боги своей печатью первосуций земной гранит; в первый раз в допотопные времена, как угадывается по рисунку Пнакотских рукописей в слишком старой, чтобы можно было прочесть, их части, и в другой раз — на Хатег-Кла, когда Премудрый Барзай попытался увидеть земных богов пляшущими при свете луны. Так что будет гораздо лучше, сказал Атал, предоставить всех богов им самим и не беспокоить, разве что неназойливыми молитвами.

Хоть и разочарованный обескураживающим советом Атала и

скудостью того, чем могли помочь Пнакотские рукописи и Семь Тайных Книг Хсана, Картер не совсем отчаялся. Прежде всего он спросил старого кумиротслужителя о том чудном закатном граде, виденном с обнесенной поручнями террасы, думая, не сумеет ли он его отыскать и без помощи богов, но Аталу сказать было нечего. Может быть, говорил Атал, этот город — часть его особого дремного края и не принадлежит к миру видений, знакомому многим; не исключено, что он может быть на другой планете. В таком случае земные боги не укажут ему пути, даже если и захотят. Однако не похоже на то, ибо прекращение снов весьма ясно показывает, что Вящие желают от него город спрятать.

Тогда Картер учинил лукавую вещь, так употчевав своего бесхитростного хозяина лунным вином, подаренным зугами, что старик сделался безоглядчиво многоречивым. Утратив свою сдержанность, бедный Атал разболтался без всякого удержу о заповедных вещах, проговорившись о том громадном лицеочертанье, что выбито в живой толще горы Нгранек на острове по имени Ориаб в Южном море, и околичностями давая понять, что, быть может, это и есть то подобие, в котором земные боги запечатлели свои черты в те времена, когда они плясали на той горе при луне. Вызнал он и то, что этот лик столь странен своими чертами, что их можно без труда опознать и что они верный признак истинного племени богов.

И вот Картеру сразу сделалось ясно, как все это послужит к отысканию богов. Известно, что те из Вящих, кто молод, приняв на себя другой вид, часто сочетаются с дочерьми человеческими, так что в обитателях земли, сопредельной холодному пустолюдию, где стоит Кадат, должна течь их кровь. Итак, отыскать то пустолюдие можно, если, увидев каменный лик на горе Нгранек, проследить его черты и, запечатлев их тщательно в памяти, искать их подобию среди живых людских лиц. Где они заметнее и гуще, оттуда ближе всего и должно быть обиталище богов; и та каменистая пустыня, что лежала бы за поселениями в этих краях, и должна быть той, где высится Кадат.

Многое бы, возможно, узналось в подобных местах о Вящих: ведь те, в ком течет их кровь, возможно, наследуют память о мелочах, весьма нужных искателю. Они, возможно, сами не ведают, кто они от рода, ибо боги так не любят обнаруживать себя среди людей, что не сыскать того, кто бы видел их в лицо по собственному ухищрению; но у них будут выпренные, причудливые помыслы, невразумительные для их ближних, и они будут петь о далеких городах и вертоградах, столь ни на что не похожих даже в дремном краю, что простой люд будет называть их безумцами. Возможно, с

помощью всего этого удастся проникнуть в древние тайны Кадата или получить окольные сведения о чудном закатном граде, который боги облачают покровом тайны, и, возможно, даже при случае захватить заложником возлюбленное чадо божье или взять в плен самого юного бога, имеющего на себе образ человека и обитающего среди людей с пригожей крестьянской девой, своей суженой.

Однако Атал не ведал, как отыскать Нгранек на том острове Ориаб; и дал Картеру совет идти вниз по течению за певучими струями Скай, несущей воды под своими мостами к Южному морю, где не бывал никто из обитателей Ултара, но откуда прибывают купцы в ладьях или с длинными караванами впряженных в арбы мулов. Там лежит огромный город Дилат-Леен, но в Ултаре о нем идет дурная молва из-за тех черных галер с тремя рядами скамей, что заходят в его гавань с грузом карбункулов из невесть каких стран. У негоциантов с этих галер, ведущих дела со златоковачами, человеческий или почти человеческий облик, гребцов же никто никогда не видел; и в Ултаре почитают за непотребство, что тамошние купцы ведут торговлю с черными кораблями из неведомой земли, гребцам которых нельзя показаться на люди.

К тому времени, как Атал все это поведал, его совсем разморило, и Картер осторожно уложил его на кушетке с инкрустацией из черного дерева и благоприлично расправил долгую бороду у него на груди. Собравшись уходить, он отметил, что вслед за ним не раздалось никакого приглушенного шелестения, и подивился, почему так увяло любопытство, подзуживавшее зугов. Потом его внимание привлекли холеные лоснящиеся кошки Ултара, с необычайным вкусом облизывающие себе усы, и он припомнил шипение и кошачьи вопли, глухо до него долетавшие из нижних покоев капища, пока он весь ушел в разговор со старым кумиротрошителем. Припомнил он также и бесстыжий голодный взгляд, каким особенно дерзкие молодые зуги провожали маленького черного котенка на булыжниках мостовой. И поскольку для него во всем свете не было ничего милее маленьких черных котят, он наклонился и приласкал холеных кошек Ултара, облизывающих себе усы, и не стал сокрушаться, что пронырливые эти зуги не будут сопровождать его дальше.

Солнце садилось, и Картер остановился в древней гостинице на крутой улочке, откуда открывался вид на нижний город. И когда он вышел на балкон в своей комнате и обвел взглядом море красных черепичных кровель, и булыжные мостовые, и приветливые луговины вдаль, все приглушенное и волшебное в косых лучах, он готов был поклясться, что Ултар как раз то место, где можно было бы поселиться навек, если бы

только память о городе на закате великолепнее этого не манила его все вперед к неведомым опасностям. Потом случились сумерки, и розовые стены побеленных фронтонов полиловели и потеряли свою материальность; и желтые огоньки затеплились один за другим в забранных старинными решетками окнах. И мелодичные колокола заблаговестили с храма-башни на высотах, и первая звезда мягко замерцала над лужайками за рекой Скай. С наступлением ночи пришло время песен, и Картер покачивал головой в лад лютнистам, воспевающим старину на узорочных балконах и в мозаичных двориках безыскусного Ултара. Мелодическими были бы даже голоса многочисленных кошек Ултара, не погрузись они большей частью в молчание сытости от необычного пиршества. Некоторые из них удалились в те загадочные места, известные только кошкам и, по словам поселян, расположенные на темной стороне луны, куда кошки вспрыгивают с высоких кровель; один же маленький черный котенок прокрался по лестнице и вскочил Картеру на колени помурлыкать и поиграть. И потом свернулся в ногах, когда тот наконец прилег на маленькую кушетку с подушками, набитыми пахучими и дурманными травами.

Наутро Картер присоединился к каравану купцов, отправляющемуся в Дилат-Леен с шерстяной пряжей Ултара и капустными кочанами его хлопотливых хозяев. И шесть дней они ехали под перезвон колокольных по гладкой дороге вдоль берега реки Скай, иной раз останавливаясь на ночлег в гостиницах причудливых рыбацких городков, а иной раз располагаясь лагерем под звездным небом, куда с присмирившей реки обрывками долетали песни лодочников. Окрестности были прекрасными, с зелеными живыми изгородями, и рощами, и живописными домиками под островерхими кровлями, и восьмиугольными ветряными мельницами.

На седьмой день на горизонте возник дымный наволок и потом высокие черные башни Дилат-Леена, в основном возведенного из базальта. Издалека Дилат-Леен с его узкими угловатыми башнями выглядит как кусок Дороги Великанов, и его улицы сумрачны и неприветливы. В нем множество мрачных портовых таверн у бесчисленных причалов, и весь город заполонен мореходцами-чужаками из всех стран земли, и, летает молва, не только с земли. Картер порасспросил одетых в причудливые хламы жителей о горной вершине Нгранек на острове Ориаб и обнаружил, что им о ней хорошо известно. С того острова, из Бахарны, заходят корабли, и один отправится в обратное плавание как раз через месяц, Нгранек же от этого порта всего в двух днях езды на верховой зебре. Но мало кто видел каменное лицоочертание бога, ибо оно на том неудобовосходимом склоне

Нгранека, что смотрит лишь на голые отвесные скалы и долину зловещей лавы. Однажды боги прогневались на людей на той стороне и сказали об этом Иным Богам.

Нелегко было все это разузнать у торговцев и моряков в приморских тавернах Дилат-Леена, поскольку те предпочитали, понизив голос, толковать о черных галерах. Одна из них с грузом карбункулов ожидалась на неделе с тех неведомых берегов, и городской люд жил в страхе увидеть ее у причала. Слишком широки были рты у тех, кто сходил с ее палубы по торговым делам, и особенным дурновкусием отдавали тюрбаны, намотанные в два бугра надо лбом. И обувь их была самой корносой и самой странной на вид из всего, что встречается в Шести Королевствах. Но незримые гребцы были хуже всего: слишком резко, и ровно, и мощно поднимались и опускались три ряда весел, и это смущало, и было неладно, что корабль неделями стоит у причала, и торговцы ведут дела, а команда не покажется даже мельком. И по отношению к хозяевам таверн и к зеленщикам с мясниками это нечестно, ибо никогда ни крошки снеди не отправлялось на борт. Купцы брали лишь золото да упитанных черных рабов из Парга с того берега реки Скай. Только это они и брали всегда, те негоцианты гадкого облика со своими незримыми гребцами, и никогда ничего от зеленщиков с мясниками, но лишь золото да чернокожих толстяков из Парга, которых они покупали на вес. А дух с тех галер, доносимый южным ветром из гавани, — лучше его не описывать. Лишь постоянно окутываясь клубами крепчайшего табачного зелья, могли его выносить самые стойкие из завсегдатаев древних приморских таверн. Дилат-Леен не потерпел бы черных галер, если бы такие карбункулы добывались где-то еще, но ни в одних копиях в земном дремном краю не сыскать ничего подобного.

Об этом-то и толковал со всего света собравшийся люд в Дилат-Леене, пока Картер терпеливо дожидался корабля из Бахарны, который мог бы доставить его на остров, где высятся склоны Нгранека с выбитым изваянием, выпренье и бесплодные. Картер не преминул между тем проводить все излюбленные пристанища дальних странственников, думая, не услышит ли там рассказов о Кадате в холодном пустолюдии или о чудном городе с мраморными стенами и серебряными фонтанами, что виден с высоких террас на закате. Однако об этих вещах он не узнал ничего, хотя раз ему показалось, что некий раскосый старик купец напустил на себя необычайно знающий вид, когда разговор коснулся холодного пустолюдия. Об этом человеке носилась молва, что он ведет торговлю с ужасными каменными деревьями в ледяной пустыне на плато

Ленг, куда не заглядывают добрые люди и чьи злые огоньки видны далеко в ночи. Ходили даже слухи, будто он водит дела с тем иерархом, о котором лучше не распространяться, кто скрывает лицо под маской желтого шелка, в совершенном одиночестве обитая в доисторическом каменном монастыре. Можно было не сомневаться, что подобная личность вполне способна на сомнительные сделки с теми, кто, надо думать, обитает в холодной пустыне, но очень скоро Картер обнаружил, что расспрашивать его бесполезно.

И вот наконец черная галера проскользнула в гавань мимо базальтового мола и высокого маяка, молчаливая и нездешняя, вся в странных миазмах, которыми южный ветер пахнул на город. Смятение всколыхнуло все припортовые таверны, и некоторое время спустя чернявые, с распыленными ртами купцы в намотанных двумя буграми тюрбанах, постукивая корносыми башмаками, воровато сошли на берег, направляясь в золотые ряды. Картер пристально наблюдал за ними, и чем дольше смотрел, тем больше проникался к ним неприязнью. Потом он увидел, как они загоняют по сходням на ту особенную галеру упитанных чернокожих из Парга, потеющих и пыхтящих, и задал себе вопрос, в какой же стране Земли — да и Земли ли? — обречены эти плачевные толстяки на служение.

И на третий вечер стоянки один из этих негоциантов, от которых с души воротит, заговорил с ним, гнусно склабясь и околичностями давая понять, что наслышан об исканиях Картера. Он имел вид того, кто располагает знаниями слишком секретными, чтобы говорить об этом на людях; и хотя звук его голоса был гадок невыносимо, Картеру показалось, что знаниями путешественника из такой дальней дали пренебрегать нельзя. Он пригласил купца составить ему компанию наверху за закрытыми дверями и извлек остававшееся лунное вино зугов, чтобы у того развязался язык. Купец-чужанин пил как губка, но все так же слабил, не меняясь в лице от количества возлияний. Потом он выставил удивительную бутылку своего собственного вина, и Картер увидел, что эта бутылка — целый полый рубин, прихотливо покрытый резными фигурами, слишком фантастическими, чтобы ум мог о них рассуждать. Картер лишь пригубил глоток, как его обуяло головокружением космического пространства и обдало жаром немыслимых джунглей. Гость тем временем улыбался все шире и шире, и последнее, что увидел Картер, проваливаясь в черноту, была гнусная темная образаина, корчившаяся от злобного смеха, а там, где в трясучке припадочного веселья распустился один из накрученных надо лбом бугров оранжевого тюрбана, нечто такое, что отказывается

выговорить язык...

Сознание возвратилось к Картеру в гуще ужаснейшего смрада на палубе корабля, мимо же с неестественной скоростью проплывали чудные берега Южного моря. На него не наложили цепей, но трое темнолицых купцов язвительно улыбались поблизости, и вид тех шишек у них на тюрбанах вызвал у него почти такую же дурноту, как и смрад, сочившийся из-под крышек зловещих люков. Мимо на его глазах проплывали осиянные земли и города, о которых в былые дни часто повествовал спутник его на стезях сновидений, хранитель маяка в древнем Кингспорте; и он узнавал уступчатые святилища Зака, обиталище позабытых грез; шпили злославного Талариона, того демонского города тысяч чудес, где царствует кумир Лати; кладбищенские сады Зуры, края непостижных наслаждений; и сходящуюся в выси сверкающей аркой двойную хрустальную оконечность Сона-Найл, охраняющей гавань этой блаженной земли фантазии.

Мимо всех этих роскошных земель окаянски летел злосмрадный корабль, подгоняемый нечеловеческими ударами незримых гребцов. И день еще не угас, когда Картер увидел, что кормчий правит корабль не иначе как к Базальтовым Столпам на западе, за которыми — как твердит простонародная молва, лежит великолепная Катурия, но которые, как известно искушенным сновидцам, суть устье, откуда моря-океаны земной страны дрем чудовищным водопадом низвергаются в бездонное ничто и в пустоте несутся к иным мирам и иным светилам и к тем жутким пустотным провалам за пределами устроенного мироздания, где в сердце хаоса неутолимо гложет себя демон-султан Азафот под барабанный стук и флейтовый вой и адовы пляски Иных Богов, незрячих, немотствующих, сумеречных и бессмысленных, чьим духом-вестоносцем служит Ньярлафотеф.

Между тем язвительно улыбающаяся тройка купцов ничем не выдавала своих намерений, хотя Картер отлично знал, что они должны быть в сговоре с теми, кто чинил препоны в его исканиях. В дремном краю считается, что немало посланников Иных Богов ходит среди людей; и все эти посланники, люди они в полном смысле или несколько недолюди, с усердием исполняют волю этих незрячих и бессмысленных сил в обмен на милость их мерзейшего духа-вестоносца, ползучего хаоса Ньярлафотепа. Так и Картер догадывался, что купцы в тюрбанах с двумя шишками, прослышав о его дерзостном искании Вящих в их твердыне Кадата, решили его умыкнуть и доставить Ньярлафотепу, какая бы неназываемая награда ни причиталась за подобную добычу. Из каких пределов пришли эти

купцы, из нашей знакомой вселенной или из жутких потусторонних пространств, Картер не мог вообразить, не мог он и представить того адова сходбища, где они встретятся с ползучим хаосом и выдадут его, и потребуют себе награду. Однако он знал, что никакая тварь, подобная человеку столь близким подобием, не посмеет приблизиться к абсолютной черноте престола князя демонского Азафота в безвидном средоточии пустоты.

На закате солнца купцы алчуще засверкали глазами, облизывая свои непомерно растянутые губы, и один из них, сойдя вниз, возвратился из какой-то потайной и мерзкой каморки с горшком и корзиной тарелок. Потом, усевшись под навесом в тесный кружок и передавая горшок друг другу, они принялись поедать дымящееся мясо. Но когда они дали кусок и Картеру, он заметил нечто совершенно ужасное в его размере и форме; так что, побледнев в лице больше прежнего, он выбросил свой кусок в море, как только от него отвели глаза. И он снова подумал о тех незримых гребцах и о том подозрительном пропитании, что давало им непомерную механическую силу.

Мрак стоял, когда галера прошла между Базальтовыми Столпами запада, и зловеще нарастал впереди гул, там, где гремучий поток падал с края земли. И брызги этого водопада, взлетая, затмевали звезды, и палуба сделалась влажной, и судно кренил бешеный бурун бездны. Потом с причудливым свистом корабль одним махом прянул, и Картер пережил все ужасы кошмара, когда земля провалилась куда-то и громадная ладья беззвучно и кометоподобно ринулась в межпланетное пространство. Картер знать не знал, какие бесформенные черные сонмища гнездятся, кишат и корчатся в мировом эфире, ломаясь и кривляясь в лицо мимохожим странственникам, а иногда осклизлыми лапами ошариваясь вокруг, если их любопытство возбуждал какой-то движущийся предмет. Это был безымянный помет Иных Богов, подобно им, незрячий и бессмысленный, и одержимый их алчбой и жаждой.

Но сквернящая галера держала свой курс не так далеко, как было убоился Картер, ибо вскоре он увидал, что кормчий правит кормило прямоком на луну. Горящий серп луны все увеличивался по мере того, как они приближались, и наводил беспокойство, являя свои кратеры и горные острия. Корабль двинулся к краю луны, и вскоре сделалось ясно, что он ищет пристанища на той ее таинственной и прикровенной стороне, которая всегда отвращена от Земли и на которую никто из в полном смысле слова людей — может быть, за изъятием духовидца Снирет-Ко — никогда не взирал. Вид луны с близкого расстояния внушал изрядное смятение;

Картеру не пришлись по душе ни размеры, ни очертанья руин, рассыпавшихся во прах тут и там. Расположение мертвых капищ на горах говорило не во славу богов потребных и праведных, и в симметриях разбитых колонн чудился некий темный и прикровенный смысл, которому не хотелось искать разгадку. О строении же и росте былых поклоняющихся Картер упорно не хотел строить догадок.

Когда корабль обогнул край луны и поплыл над той незримой для человека твердью, в причудливом ландшафте проявились некоторые признаки жизни, и Картер увидел множество низких, широких и круглых хижин посреди белесых полей уродливой плесени. Он заметил, что в этих хижинах не было окон, и подумал, что их форма напоминает эскимосские снежные хижины. Потом он увидел маслянистую зыбь какого-то трясинного моря и понял, что путешествовать опять предстоит по воде или, по крайней мере, по некоей жиже. Галера плюхнулась на морскую поверхность с характерным звуком, и странная упругость, с которой ее приняли волны, изрядно смутила Картера. И вот они с громадной скоростью заскользили вперед, однажды разминувшись и обменявшись маячными сигналами с похожей, как родная сестра, галерой, но в основном не видели ничего, кроме странного моря и неба, черного и со звездной россыпью, хотя в нем и стояло палящее солнце.

Вскоре впереди рваным очерком всплыли в лишайниках наподобие язв холмы побережья, и Картеру бросились в глаза гадкие коренастые серые башни города. То, как они запрокидывались и наклонялись, каким образом жались одна к другой; то, что в них вообще не было окон, внушало изрядную тревогу пленнику, и он горько сетовал на свою блажь, попустившую его пригубить странного вина у того купца в тюрбане о двух буграх.

По мере того как приближался берег и город все сильнее дышал своим мерзким зловонием, Картер увидел, что рваные зубцы холмов густо одеты лесами, в некоторых деревьях он узнавал собратьев того одинокого дерева-с-луны в заколдованной дубраве на земле, из чьего сока мелкорослые бурые зуги курили свое удивительное вино.

Картер уже различал движущиеся фигуры на шумных пристанищах впереди, и чем лучше он видел их, тем больше начинал бояться их и чураться. Ибо вовсе не люди были они, не люди даже и приблизительно, но громадные серовато-белые склизкие твари, которые раздувались или ужимались, когда хотели, и в основном имели вид — хотя он часто менялся — своего рода безглазых жаб со странным дрожащим пучком коротких розовых щупалец на конце тупого плоского рыла. Уродища эти

хлопотливо переваливались по причалам, со сверхъестественной силой ворочая тюки, клетки и ящики, и то вспрыгивали на какую-нибудь пришвартованную галеру, то соскальзывали с нее, держа длинные весла в передних лапах. А иногда они прогоняли гуртом топчущих рабов, которые смахивали на тех с распыленными ртами человекоподобных купцов, что торговали в Дилат-Леене; разве что без тюрбанов, без платья и без башмаков человеческого подобию в них было не так-то уж много. Некоторых рабов — из тех, что потолще, которых на пробу щипал кто-то вроде надсмотрщика, — сгружали с кораблей и заколачивали в клетки, и грузчики волокли их в низкие пакгаузы или громоздили на огромные грохочущие подводы.

Одну из подвод запрягли и угнали, и влекома она была столь баснословной тварью, что у Картера забрало дыхание, даже после всех уродищ, на которых он насмотрелся в этом пакостном месте. Время от времени стайку рабов, обряженных и окруженных в тюрбаны наподобие чернявых купцов, загоняли на галеру, куда за ними следовала большая команда склизких жабьих тварей — шкиперов, штурманов и гребцов. И Картер увидел, что существам-недолюдям оставляют более черную работу, не требующую, однако, силы — такую, как стояние у руля и стряпня; их держат на побегушках, и они совершают сделки с людьми на Земле или других планетах, где ведут торговлю. Существа эти должны были сходить для Земли, ибо впрямь были не без сходства с людьми, стоило им прикрыться платьем, обуться и наvertеть тюрбаны, и они могли торговаться в базарных рядах, избежав конфуза и затейливых объяснений. Но большинство из них, за изъятием тощих или увечных, прямо нагишом позагоняли в клетки и увезли на грохочущих фурах, запряженных баснословными тварями. Изредка сгружали и заколачивали в клетки других существ; одни были совсем вроде этих полулюдей, другие не то чтобы очень похожи, третьи не похожи совсем. И он задавался вопросом о тех злосчастных черных толстяках Парга; было ли еще кого из них разгружать, загонять в клетки и отправлять в глубь страны на тех отвратительных телегах?

Когда галера пристала у отсвечивающего жирным блеском причала из ноздреватого камня, кошмарным сонмом жабьи твари повыползали из люков, и две из них ухватили Картера и сволокли его на берег. Смрад и вид этого города не поддаются описанию; в памяти Картера удержались лишь обрывочные видения улиц, вымощенных кирпичом, и черных входных проемов, и бесконечных серых отвесных стен без окон. Наконец его втащили под низкий свод и погнали вверх по бесконечным ступеням в

угольной тьме. Жабьим тварям, очевидно, было все едино, что свет, что мрак. Смерд стоял невыносимый, и когда Картера заперли в какой-то камере и оставили одного, ему едва достало сил протащиться по ней, чтобы определить ее очертание и размеры. Она оказалась круглой и футов двадцати в поперечнике.

Потом время перестало существовать. Иногда в камору совали еду, но Картер к ней так и не притрагивался. Какой над ним навис рок, он не знал; но у него было чувство, что его продержат до прихода страшного духавестоносца Иных Богов беспредельности, ползучего хаоса Ньярлафотепа. Наконец, по прошествии негаданных часов или дней, громадная каменная дверь настежь отверзлась, и Картера выпихнули по лестнице вниз на залитые рдяным светом улицы страшного города. На луне пришла ночь, и по всему городу были расставлены невольники-факельщики.

На омерзительной площади собиралось нечто вроде процессии: десять жабьих тварей и двадцать четыре человекоподобных факелоносца, по одиннадцати по бокам и по одному сзади и спереди. Картера водворили в середину шествия — пять жабьих тварей перед ним, пять за ним и по одному человекоподобному факелоносцу по бокам. Некоторые из жабьих тварей извлекли флейты слоновой кости с мерзостными резными вычурами и начали издавать гадкие звуки. Под это адово высвистывание процессия прошествовала с мощенных кирпичом улиц в скрытые мраком поля непотребной плесени и вскоре начала подниматься на один из низких и пологих холмов, расположенных за городскими пределами. Картер мог не сомневаться в том, что на каком-то ужасном угоре или святотатственном юру их поджидает ползучий хаос; и он жаждал, чтобы с этой томительной неопределенностью поскорее было покончено. Подвывание нечестивых флейт было так отвратительно, что он отдал бы золотые горы за какой-нибудь хоть вполовину нормальный звук; но у этих жабьих тварей не было голоса, да и рабы голоса не подавали.

И тогда сквозь усеянный звездами мрак донесся нормальный звук. Он раскатился с холмов повыше и был подхвачен на всех иззубренных вершинах, и ему отозвался нарастающий бешеный хор. Это был полуночный вопль кошки, и Картер признал наконец правоту деревенских стариков, когда они вполголоса судачили о тех загадочных местах, что ведомы только кошкам и куда старейшины кошачьего племени украдкой удаляются ночной порой, прыгая с высокого конька крыш. На темную сторону луны они и отправляются, чтобы скакать и кувыркаться среди холмов, беседовать с древними призраками; и тут-то в самой середине шествия вонючих тварей Картер и услышал их уютное дружелюбное пение

и вспомнил крутые кровли, и теплые очаги, и светлые окошки у себя дома.

А кошачий язык был Картеру изрядно знаком, и в этом далеком ужасном месте он издал крик, который подходит к случаю. Но нужды в этом не было, ибо, только еще открывая рот, он услышал, что кошачий хор набирает силу и приближается, и увидел быстрые тени, застывшие звезды, когда маленькие грациозные фигурки, собираясь тучами, прыгали по холмам. Был брошен клич клана, и не успели участники гадкого шествия хотя бы испугаться, душная туча шерсти и убийственная фаланга когтей накрыла их, как прилив и как ураган. Флейты заглохли, и ночь огласилась пронзительными криками. Умирая, вопили человекоподобные, а кошки шипели, и выли, и урчали, одни только жабы твари не издавали ни звука, когда их зловонная зеленовато-белесая сукровица пагубно сочилась на ту ноздреватую землю с непотребным обметом плесени.

Пока не догорели факелы, это было грандиозное зрелище, никогда прежде Картер не видел такого множества кошек. Черные, серые, белые, светлошерстые, полосатые и трехцветные; простые, тибетские, персидские, мэнские, ангорские и египетские — все они были там в неистовстве битвы, и всех их осенял отблеск той глубокой и неизменной священности, которая претворялась в величие их богини в святилищах Бубастиса. Сам-семь запускали они когти в горло какому-нибудь недочеловеку или в рыло с бахромой розовых щупалец жабьей твари и свирепо валили врага наземь в плесенный обмет, где бессчетная тьма их собратьев в божественном исступлении битвы прокатывалась по ним и сквозь них волной ярких когтей и зубов. Картер выхватил факел у поверженного раба, но скоро его смело бурной лавиной его верных защитников. Потом он лежал в сплошной темноте, слушая гром сражения и клики победителей и чувствуя мягкие лапки своих друзей, когда в пылу схватки они во все стороны перемахивали через него.

Наконец ужас и трепет и изнеможение смежили ему веки, и когда глаза его снова открылись, им предстала странная сцена. Громадный сияющий диск Земли, в тринадцать раз больше Луны, как мы ее видим, взойдя, залил лунный ландшафт потоками потустороннего света; и все пространство диких равнин и зубчатых пиков безбрежным морем покрывали стройные боевые ряды присевших на задние лапки кошек. Круг за кругом они расходились, а два или три вожака, выйдя из рядов, лизали ему лицо и мурлыкали в утешение. От мертвых рабов и жабьих тварей вроде бы и следов не осталось, но Картеру померещился какой-то мосол на голом месте невдалеке.

И вот Картер заговорил с вожаками на негромком кошачьем языке и

узнал, что его старинная дружба с кошачьим родом была хорошо известна и часто поминаема в тех местах, где сходятся кошки. Он не остался незамеченным, когда шел улицами Ултара, и холеные старые кошки запомнили, как он приласкал их после того, как они разделались с алчными зугами, нехорошо поглядывавшими на маленького черного котенка. Вспомнили они и то, как он приветил того самого маленького котенка, который пришел проводить его в гостинице, и как он налил ему блюдечко густых сливок поутру, прежде чем уходить. Дедушка этого самого маленького котенка был предводителем собравшегося теперь воинства, ибо с удаленного холма он увидел гнусное шествие, а в пленнике узнал закадычного друга своего племени на земле и в дремном краю.

С отдаленной вершины раздался кошачий вопль, и старый вожак внезапно прервал свои речи. Это подавал знак один из дозорных воинства, расставленных на высочайших вершинах высматривать единственного врага, которого земные кошки боятся, — огромных кошек с Сатурна, по неведомой причине издревле очарованных темной стороной Луны. Они связаны союзническим уговором со злыми жабыми тварями и прослыли своей враждебностью к нашим земнородным кошкам; стало быть, при теперешних обстоятельствах стычка как бы не обернулась делом серьезным.

После короткого совещания генералитета кошки встали и теснее сомкнули ряды, защитным кольцом сплотясь вокруг Картера и изготоясь ко громадному прыжку через все пространство обратно на крыши Земли и в ее края дрем. Старый фельдмаршал посоветовал Картеру положиться на сомкнутые ряды пушистых прыгунов, прыгнуть, когда все остальные прыгнут, и ловко приземлиться, когда все остальные приземлятся. И еще он предложил доставить его в любое место, куда тот ни пожелает, и Картер остановил свой выбор на Дилат-Леене, откуда отплывала черная галера, ибо оттуда хотел направить свой путь к острову Ориаб и горному гребню Нгранек с его изваянным ликом; хотел он и предостеречь жителей города, чтобы впредь не поддерживали они торговли с черными галерами, если только можно учтиво и по праву ту торговлю пресечь. Потом, по сигналу, все кошки вскинулись в ловком прыжке, надежно затеревши своего друга в самую середину; а в черной пещере на безблагодатной вершине лунной горы тщетно все еще ждал добычи ползучий хаос Ньярлафотеп.

Кошки одним прыжком промахнули пространство, и, окруженный своими сотоварищами, Картер на этот раз не увидел тех громадных, черных и бесформенных тварей, что гнездятся, кишат и корчатся в бездне. Не успев вполне осознать, что случилось, он снова оказался в знакомой комнате в

гостинице в Дилат-Леене, а вкрадчивые, дружелюбные кошки тем временем потоком утекали в окно. Последним удалился старый предводитель из Ултара, говоря, пока Картер пожимал ему лапку, что до петухов успеет домой.

Когда наступило утро, Картер сошел вниз и узнал, что со дня его поимки и увоза минула уже неделя. До корабля курсом на Ориаб оставалось еще дважды по столько, и все это время он, как только мог, хулил черные галеры с их нечестивым обычаем и чином. Горожане в большинстве своем ему верили; и все же столь желанны были для златоковачей крупные карбункулы, что ни один из них не зарекся вести торговлю с распялоротыми купцами. Если эта торговля и доведет когда-нибудь Дилат-Леен до беды, так не его в этом будет вина.

Спустя неделю или около того жданный корабль прошел мимо черного мола и высокого маяка, и Картер повеселел, видя, что это честный барк добрых людей с расписанными бортами и желтыми треугольными парусами и седоголовым шкипером в шелковых одеяниях. Вез он благовонную ликвидамбру из роц в самом сердце Ориаба, тончайшую глиняную посуду, изготовленную гончарами-искусниками Бахарны, и диковинные статуэтки, вырезанные из древней лавы Нгранека. Расплачиваются с ними шерстяной пряжей Ултара и радужно-многоцветными тканями Хатега, а также резной слоновой костью, которой промышляют чернокожие Парга за рекой Скай. Картер уговорился со шкипером, что поплывет с ними в Бахарну, и было ему сказано, что путешествие займет десять дней.

За неделю ожидания Картер успел разговориться с тем шкипером о Нгранеке, и было ему сказано, что лишь немногие видели лицоочертанье, выбитое на ней, и что большинство странственников довольствуется преданиями из уст стариков, собирателей лавы и резчиков подобий в Бахарне и потом, вернувшись под свой далекий кров, рассказывают, будто лицезрели его взаправду. Шкипера даже разбирало сомнение, чтобы кто-то из ныне живущих видел тот изваянный лик, ибо оборотный склон Нгранека недоступен, гол и зловещ, и летает молва о пещерах у самой его вершины, где живут костоглодные черничи. Однако шкипер не пожелал распространяться, на что этот самый костоглодный чернич похож, ведь известно, что живность такого рода неотвязно наваждает сны тех, кто о ней слишком часто задумывается. Тогда Картер стал спрашивать того капитана о неведомом Кадате в холодном пустолудии и о чудном закатном городе, но о них тот добрый человек при всем желании не мог ничего ему рассказать.

Картер отплыл из Дилат-Леена в одно раннее утро, когда благоприятствовало прибрежное течение и первые лучи восходящего солнца ложились на узкие угловатые башни этого мрачного города, крепкого черным базальтом. Два дня плыли они на восток, не теряя из вида зеленое побережье, и часто видели уютные рыбацкие городки с кровлями под красной черепичной чешуей и дымволоками печных труб, круто забирающие по склону от старых дремлющих причалов и отмелей, где сушились растянутые сети. Но на третий день они резко взяли на юг, где сильнее зыбились воды, и вскоре суша совсем пропала из глаз. На пятый день матросами завладела тревога, но капитан просил извинить им их страхи, говоря, что галиот с минуты на минуту пройдет над оплетенными водорослями стенами и разбитыми колоннами затонувшего города из незапамятной старины, и когда море не взбаламучено, в глубинах его видится столько зыблющихся теней, что простой люд невзлюбил это место. К тому же, признался он, множество кораблей сгинуло в этих водах; их маячные флаги еще видели в самой близости того места, но больше тех кораблей никто никогда не видел.

В ту ночь было очень светло от луны, и взгляд уходил глубоко в толщу воды. Стояло такое безветрие, что галиот едва двигался, и понт совсем стих. Заглядывая через поручень, на глубине многих морских саженей Картер увидел купол громадного храма и перед ним пролет между двумя рядами сфинксов, выводивший туда, где когда-то была площадь народных собраний. Дельфины весело сновали в развалинах то туда, то сюда, и морские свиньи неуклюже резвились то здесь, то там, иногда поднимаясь к поверхности и выпрыгивая из воды. Галиот пронесло немного вперед, там морское дно поднималось холмами, и отчетливо различались очертания древних, забирающих вкручу улиц и снесенных водою стен мириадов маленьких домиков.

Потом завиднелись пригороды и наконец, одинокая громада на холме, воздвигнутая по более строгому устройению, чем все прочие здания, и в куда лучшей сохранности. Она была низкой и темной и являла собой каре с башней на каждом углу и мощеным двором в середине и сплошь была испещрена странными, круглыми и маленькими оконцами. Воздвигнута она была, по всей вероятности, из базальта, хотя водоросли повивали большую ее часть; и так уединенно и внушительно располагалась она на том дальнем холме, что была, наверное, святилищем или святой обителью. Свечение каких-то рыбок внутри ее придавало круглым оконцам такой вид, будто в них брезжит огонь, и Картеру стало понятно, что страхи мореходцев вполне простительны. Потом в жидком лунном свете он

различил непонятный высокий монолит посреди того внутреннего двора и увидел, что к нему нечто привязано. И когда, раздобыв из капитанской каюты зрительную трубу, он разглядел в том, что было привязано, мореходца в шелковом одеянии Ориаба, подвешенного вниз головой и с пустыми яминами в голове вместо глаз, он возликовал, что поднявшийся ветер быстро увлекает корабль вперед, в более чистые воды.

На следующий день они обменялись сигналами с кораблем под лиловым ветрилом, правящим курс на Зар, что в краю позабытых дрем, с грузом луковиц невиданно окрашенных лилий. Под вечер одиннадцатого дня их глазам открылся остров Ориаб и поднимающаяся из дальней дали в иззубринах и в снежном венце гора Нгранек. Остров Ориаб весьма огромен, и порт Бахарна изрядно могучий город. Набережные в Бахарне порфиновые, и город уходит от них пространными каменными уступами, с улицами, преломляющимися в ступени, и часто наведенными над ними арками домов и дугами мостов между домами. Есть там канал, что протекает подо всем городом в туннеле с гранитными воротами и приводит к лежащему в сердце острова озеру Яат, на дальнем берегу которого простираются кирпичные развалины первобытного города, чье название незапамятно. Когда под вечер галиот входил в гавань, двойной сигнальный огонь Тон и Тал приветливо вспыхнул в знак, что дорога открыта, и из всего несметного множества окон на уступах Бахарны по очереди и тихо выглянули теплые огоньки, по мере того как в сумерках над головой выглядывали звезды, пока весь этот забирающий в кручу приморский город не сделался мерцающим созвездием, витающим между звездами в небе и отражением этих звезд в зеркале гавани.

Сойдя на берег, галиотчик привел Картера гостем в свой собственный маленький домик на берегах озера Яат, где город к нему спускается тыльной своей стороной; и жена его с домочадцами подавала путешественнику на отраду чужеземную лакомую снедь. Дни напролет охотился Картер за слухами и преданиями о горе Нгранек во всех тавернах и людных местах, где сходятся собиратели лавы и резчики подобий, но не встретил ни одного, кто добирался бы до верхних склонов или видел изваянный лик. Нгранек — гора суровая, дальше нее нет ничего, кроме окаянной долины, и к тому же никак нельзя с уверенностью полагаться на то, что костоглодные чернички такая уж полная выдумка.

Когда галиотчик ушел в обратное плавание в Дилат-Леен, Картер расположился в старинной таверне, которая выходила на улочку, выложенную ступеньками, в первозданной части города, выстроенную из кирпича и напоминающую развалины на дальнем берегу озера Яат. Здесь

он вынашивал свои планы о восхождении на Нгранек и увязывал воедино то, что узнавал от собирателей лавы о подступах к ней. Хозяин таверны дожился до глубокой старости и слышал столько преданий, что мог оказать изрядную помощь. Он даже сводил Картера на высокий чердак этого древнего дома и показал ему неумелый рисунок, нацарапанный каким-то скитальцем на обмазанной глиной стене в стародавние времена, когда люди были смелее и не так неохочи до подъема на верхние склоны Нгранека. Прадед старого содержателя таверны слышал от своего прадеда, что скиталец, нацарапавший тот рисунок, поднялся на Нгранек и узрел изваянный лик и, чтобы увидели и другие, набросал его здесь; но Картера изрядно разбирало сомнение, поскольку крупный и грубый абрис на стене был сделан наспех и как попало и целиком затмевался толчеей мелких сопутствующих личин невозможно дурного вкуса, с рогами и крыльями, и когтями, и завитушками хвостов.

Наконец, разжившись всеми сведениями, какими вероятно было разжиться в тавернах и людных местах Бахарны, Картер взял внаем верховую зебру и однажды утром пустился в дорогу вдоль берега озера Яат в глубь острова, где высится утесистая Нгранек. По правую его руку волнистой грядой лежали холмы, приветливые сады и аккуратные каменные сельские домики, изрядно напоминая ему плодородные нивы, расстилающиеся по обе стороны реки Скай. Под вечер он оказался неподалеку от безымянных древних развалин на дальнем берегу озера Яат, и хотя старые собиратели лавы остерегали его располагаться там лагерем на ночь, он, стреножив свою зебру, привязал ее к странного вида колонне перед обветшалой стеной и расстелил свое одеяло в укромном углу, под некими резными узорами, смысл которых ускользал от разгадки. В другое одеяло он завернулся, ибо на острове Ориаб ночи студены; когда же один раз проснулся, ему почудилось, что какое-то насекомое крыльями задевает его по лицу; он укрылся с головой и спокойно спал, пока дра-птахи в далеких ликвидамбровых рощах не пробудили его.

Солнце только еще всходило над огромным склоном, по которому вниз на мили к берегу озера Яат мрачно растянулись первобытные кирпичные основания, обветшалые стены и случайные, покрытые трещинами колонны и постаменты, и Картер огляделся в поисках своей стреноженной зебры. К пребольшему отчаянию, он увидел это кроткое животное без сил лежащим под колонной, к которой оно было привязано, и еще больше раздосадовался открытием, что его верховая зебра мертвым-мертва, а вся кровь у нее высосана через единственную ранку на горле. Его вьюк был распотрошен, из него выпало несколько блестящих безделиц, и повсюду в пыли

виднелись следы, схожие с отпечатками громадных перепончатых лап — следы, которым он не находил объяснения. На ум ему пришли рассказы и предостережения собирателей лавы, и тут он стал думать, чем же задевало его ночью по лицу. Потом он закинул за плечи свой выюк и зашагал к горе Нгранек, не без дрожи увидев поблизости от себя, когда дорога проходила через развалины, огромную низкую арку, зияющую в стене старого капища, и ступени, уводящие во тьму дальше, чем проницал его взгляд.

Путь его теперь лежал в гору среди более диких и местами лесистых окрестностей, где он видел лишь хижины углежогов и стоянки тех, кто собирал ликвидамбру в рощах. Воздух был напоен бальзамическими ароматами, и дра-птахи рассыпали беспечные трели, сверкая на солнце всеми семью цветами радуги. Перед заходом солнца он снова набрел на стоянку собирателей лавы, возвращавшихся с тяжелыми мешками с нижних угорий Нгранека, и здесь же разбил свой лагерь, и слушал песни и рассказы этих людей, в том числе и перешептывания об их пропавшем товарище. Тот взобрался повыше, чтобы добраться до скопления хорошей лавы, и с наступлением темноты не вернулся к своим собратьям. Когда на другой день они стали искать пропавшего, то нашли лишь его тюрбан и никаких следов на утесах внизу, куда он мог бы упасть. И они прекратили поиски, потому что среди них был старик, сказавший, что толку не будет. Никто еще не нашел того, что взяли костоглодные черничи, хотя сами эти бестии были настолько сомнительны, что казались почти баснословными. Картер стал спрашивать, пьют ли костоглодные черничи кровь и любят ли то, что блестит, и оставляют ли отпечатки перепончатых лап, но все качали отрицательно головами, хотя было заметно, что их пугают такие вопросы. Увидев, сколь они сделались несловоохотливы, он больше не стал расспрашивать и, завернувшись в одеяло, уснул.

На следующий день он поднялся вместе с собирателями лавы и распрощался с ними, поскольку они направляли свой путь на запад, он же, на купленной у них зебре, направил путь на восток. Старшие среди них обратились к нему с добрым напутствием и предостережением, советуя ему не взбираться слишком высоко на Нгранек, но, хотя он и поблагодарил их от всего сердца, его было ни в какую не отговорить. Ибо он, как и прежде, чувствовал, что должен найти богов на неведомом Кадате и выпытать у них дорогу в тот ставший наваждением чудный город в лучах заката.

В полдень, долго едучи в гору, он наткнулся на какие-то заброшенные поселки из кирпича, где совсем близко от Нгранека когда-то жили обитатели предгорья и промышляли резьбою подобий из гладкой лавы. Селились они здесь еще при жизни деда старого хозяина таверны, но

примерно в то время они стали чувствовать, что их присутствие вызывает недовольство. Их дома вползали уже вверх на самые склоны, и чем выше они строились, тем большего числа людей недосчитывались, когда поднималось солнце. Наконец они решили, что будет лучше бросить все и уйти, поскольку впотьмах им порой мелькались такие вещи, которые, как ни толкуй, не истолкуешь к добру; так что все они в конце концов спустились к морю и стали обитателями Бахарны, обжившись в одном старом-престаром квартале и наставляя своих сыновей в старинном искусстве резьбы по дереву, которым они промышляют и по сей день. Именно от сынов народа предгорья в изгнании Картер и услышал наилучшие рассказы о Нгранеке, когда рыскал по древним тавернам Бахарны.

Между тем огромный ребристый бок Нгранека, чем ближе подходил к нему Картер, вздымался все выше и выше. Нижнее угорье покрывало редколесье, над ним рос чахлый кустарник и потом отвратительная голая скала жутким видением поднималась до неба, чтобы слиться с мерзлым воздухом, льдом и вечным снегом. Картер видел расселины и складки угрюмого камня, и мысль о предстоящем подъеме нисколько не радовала его. Кое-где склон был прожилен застывшими потоками лавы, и все усеивали груды шлака. Девяносто веков тому назад, когда даже боги еще не плясали на ее высотах, эта гора говорила языками огня и ревела голосами нутряных грохотаний. Теперь она высилась, молчаливая и зловещая, отмеченная с невидимой своей стороны тем колоссальным загадочным изображением, о котором говорила молва. И в утесах ее зияли пещеры, которые могли быть пусты и таить лишь извечный мрак, а могли — если правду гласит предание — скрывать такие воплощения ужаса, о каких не стоит догадываться.

Местность, повышавшуюся к подошве горы, покрывали редкие купы хилых дубков и ясеней и усеивали осколки скал, лавы и древний пепл. От многих стоянок, где собиратели лавы разбивали по обыкновению лагерь, оставались выжженные кострища и несколько безыскусных жертвенников, воздвигнутых, дабы умиловить Вящих или отвести то, что тревожило сон на высоких перевалах и в лабиринтных пещерах Нгранека. Под вечер Картер добрался до угольев самого дальнего кострища и устроился там на ночлег, привязав зебру к молодому деревцу и хорошенько укутавшись во все свои одеяла, прежде, чем отойти ко сну. Всю ночь напролет с далекого берега какого-то невидимого пруда доносились завывания вунита, но Картер не испытывал страха перед этим земноводным чудовищем, ибо ему было сказано со всей определенностью, что ни одно из них не

осмеливается даже близко подходить к склонам Нгранека.

В ясных лучах утреннего солнца Картер начал свое восхождение, не спешиваясь с зебры до тех пор, пока эта толковая скотинка могла одолевать кручу, когда же поросший редколесьем склон сделался слишком отвесным, он оставил ее на привязи у низкорослого ясеня и дальше пробирался уже сам — сначала через лес с его развалинами стародавних селений на загложших полянах, потом по жесткой траве с торчащим тут и там худосочным кустарником. Он жалел, что вышел из-под защиты леса, ибо круча была стремнистой, да и вся затея — головокружительной. Спустя время ему стоило только оглядеться, и он мог обозреть всю местность, расстилающуюся под ним; покинутые хижины резчиков подобий, ликвидамбровые рощи и стоянки собирающих пахучую их смолку, леса с гнездами и песенками семицветных дра-птах и даже далеким намеком на берег озера Яат с его заповеданными руинами, чье имя кануло в пучину забвения. Он почитал за лучшее не оглядываться и все карабкался и карабкался, пока кустарник не стал совсем редким — часто кроме жесткой травы было не за что ухватиться.

Потом пошла тощая почва с громадными голыми проплешинами выходящего на поверхность камня и редкими гнездами кондоров в расселинах. Наконец не осталось ничего, кроме голого камня, и не будь он столь выветренным и шероховатым, едва ли Картер смог подниматься дальше. Выступы, складки и зубцы тому, однако, весьма способствовали; а случайный вид клейма кого-то из сбиральщиков лавы, коряво выцарапанный в рыхлом камне, и мысль, что до него здесь побывали добрые люди, подбадривали его. На некоторой высоте о присутствии человека говорили в дальнейшем уступы для рук и для ног, вырубленные там, где была нужда, и небольшие открытые выработки и выемки, где попадалась какая-нибудь отборная жила или струя застывшей лавы. В одном месте вырубили искусственный уступ к особенно богатому ее скоплению, отстоящему далеко вправо от основной тропы. Раз-другой Картер осмеливался оглядеться по сторонам, и едва не мutilось его сознание от распаивающегося под ним вида. Весь остров до самого побережья открывался его глазам с восходящими каменными уступами Бахарны и дымом из ее труб, бесплотно витающим в дальней дали. И еще дальше за ними — безбрежность южного понта со всеми его причудливыми загадками.

Все это время тропа то и дело изворачивалась по склону, так что противоположный и ликоносный склон был все еще скрыт. Тут Картер увидел уступ, тянувшийся вверх и влево, который как будто вел в желанном

для него направлении, и пошел этим путем в надежде, что он доведет его до цели. Минут через десять стало ясно, что этот путь действительно был открыт и что он забирает вверх по крутой дуге, которая, если только не встретит неожиданного препятствия или не свернет в сторону, выведет его после двух-трехчасового подъема на неведомый южный склон, господствующий над угрюмыми скалами в окаянной Долине лавы.

Новая местность представала внизу его взорам, и он видел, что она мрачнее и суровее, чем те поморские земли, которые он пересек. Горный склон тоже выглядел по-другому из-за глубоко вдающихся в него пещер и расселин, не попадавших на более ровном пути, с которого он сошел. Одни пещеры открывались над ним, другие под ним, зевы их щерились в голых отвесных утесах, полностью неприступных для ноги человека. Воздух изрядно охладел, но столь тяжел был подъем, что Картер того и не чувствовал. Досаждало ему лишь то, что воздух делался все более тонок, и он думал, что от этого-то и вскружились головы других путников и родились те нелепые рассказы о костоглодных черничах, которыми они объясняли исчезновение скалолазов, срывавшихся с этих погибельных путей. Рассказы путешественников его не особенно впечатлили, но на всякий бедственный случай при нем был лихой кривой ятаган. Все мысли умаялись и терялись перед желанием узреть тот изваянный лик, который мог бы его навести на след богов, обретающихся на высотах неведомого Кадата.

Наконец в пугающей стылости высоты он вышел на противоположный скрытый склон Нгранека и в немереных безднах под собой увидел малые утесы и бесплотные провалы лавы, следы бывшего гнева Вящих. Простирались на юг и обширные земли, но это была тощая пустошь, где не открывалось цветущих полей и не рисовалось печных труб, и казалась она без конца и без края. С этой стороны море оставалось незримым, ибо Ориаб остров изрядный. В голых стенах круч по-прежнему открывалось множество черных пещер и причудливых трещин, все так же недостижимых для скалолаза. Над ним теперь нависала громадная выпирающая масса камня, не дававшая ничего увидеть вверху, и на миг Картер поколебался сомнением: а не окажется ли она непреодолимой?.. Ненадежно удерживаясь на открытой всем ветрам высоте многих миль над землей, когда с одной стороны пустота и смерть, а с другой — скользкие стены камня, он познал на мгновение тот страх, что заставляет людей чураться прикровенной стороны Нгранека. Он не мог повернуть обратно, а солнце уже было низко. Если вверх не будет пути, ночь застанет его все так же припавшим к камню, а заря не застанет уже никого.

Но путь был, и он увидел его, когда пришло время. Лишь весьма искушенный странственник по стезям сновидений мог воспользоваться этими едва приметными опорами, однако Картеру этого было достаточно. Перевалив нависающий горный карниз, он обнаружил, что выше по склону путь будет куда легче, поскольку таяние огромного ледника оставило после себя обширное поле наносов, все измятое складками. Левее, с неизвестных высот в неизвестные глубины, уходил отвесный обрыв с черным устьем пещеры как раз над ним, чуть дальше, чем дотягивалась рука. Однако весь остальной склон как будто сильно запрокидывался назад, давая пространство опереться и отдохнуть.

По холоду он чувствовал, что должен быть у границы снегов; и он поднял взгляд, чтобы обозреть, какие же блистающие вершины рдеют в последних багровых лучах. На высоте бесчисленных футов над ним лежали снега, а ниже резким абрисом выпирала громада горной породы вроде той, которую он только что преодолел. И когда он увидел эту громаду, у него захватило дыхание и вырвался крик, и, трепеща от восторга и ужаса, он уцепился за острые скалы: этот исполинский горб был не таким, каким его создала земля на своей заре, но багрово и поразительно пламенел он в закатных лучах вырезанным и глянцевым лицеочертанием бога.

Сурово и грозно сиял этот лик, озаряемый закатным пожарищем. Необъятность его не поддавалась человеческим меркам, но Картер тут же понял, что человек здесь никогда и не прикладывал руки. Это был бог, изваянный руками богов, и надменно и царственно взирал он сверху вниз на искателя. Ходила молва, что он незнакомого вида и в то же время безошибочно узнаваем, и Картер видел, что это поистине так, ибо тот длинный и узкий разрез глаз, те длинные мочки ушей, тот тонкий нос и остро выпяченный подбородок выдавали породу не людей, но богов.

Подавленный восторгом и жутью, он прирос к месту на выпревших и погибельных высотах, хотя именно на то уповал и за тем сюда шел; ибо в божественном лике больше чудесности, чем говорит прорицание, и когда этот лик необъятнее, чем преогромный храм, и видится на закате взирающим сверху вниз, посреди загадочного безмолвия того высшего мира, из чьей темной лавы он был чудным образом иссечен в давнопрошедшее время, чудесность его столь велика, что ей нельзя не поддаться.

Вдобавок была в этом и чудесность узнавания: хотя Картер и вознамеривался исходить все края дрем в поисках тех, чье сходство с этим ликом отмечало бы их как потомство богов, теперь он знал, что этого не потребуется. Несомненно, великанский лик, высеченный в горе, был

сродни лицам, какие он часто встречал в тавернах портового Селефиса, что лежит в Оот-Наргае позади Танарианских Холмов и где правит тот самый Король Куранес, которого Картер когда-то знал по миру яви. Мореходцы с подобными лицами каждый год заходили на своих темных ладьях в его гавань, чтобы сбыть свой оникс в обмен на фигурную бирюзу, золотопряжу и алых певчих птичек Селефаиса, и ясно было, что они суть не что иное, как полубоги, которых он ищет. Где они обитают, там и должно простираться холодное пустолудие, в чьих пределах высится неведомый Кадат с ониксовыми чертогами Вящих. Итак, в Селефаис должен лежать его путь, в дальнюю даль от острова Ориаб и в такие края, что путь его снова пройдет через Дилат-Леен и вверх по течению Скай до моста у Нира, и снова через заколдованный лес зугов, откуда путь повернет на север вертоградами по берегам Украноса к золотошпильному Трану, где Картер сможет найти галиот, плывущий за Серенарианское море.

Но вот сгустились плотные сумерки, и еще суровее в полумгле глядел долу исполинский изваянный лик. Примостившимся на уступе застала искателя ночь; и во мраке он не смог бы ни ступить выше, ни отступить ниже, но мог лишь стоять, и льнуть, и дрожать на этой узкой стезе до наступления утра, молясь о том, чтобы не заснуть, не то сон лишит его цепкости и низринет с головокружительных воздушных высот на скалы и острые камни в окаянной долине. Вышли звезды, но кроме них лишь черная пустота являлась ему в очи; пустота и ее союзница смерть, борясь с искушениями которой он только и мог, что вжиматься в камень и откидываться назад от невидимой грани. Последнее, что в полумгле он увидел земного, был кондор, паривший над идущим к западу обрывом рядом с ним и с пронзительным клекотом прянувший прочь, стоило ему подлететь к пещере, чье устье зияло чуть выше, чем доставала рука.

Внезапно, без единого звука предупреждения во мраке, Картер почувствовал, как чья-то невидимая рука украдкой вытягивает у него из-за пояса кривой ятаган. Потом он услышал, как клинок зазвенел внизу на камнях. И на фоне Млечного Пути ему померещился ужасный силуэт чего-то болезненно изостренного и рогатого, и хвостатого, и с нетопырьими крыльями. На западе свет звезд застился подобной же нежитью, словно крылатый сонм зыбкого очертания тварей валил беззвучно и густо из той недостижимой пещеры в стене обрыва. Потом нечто вроде холодной резиновой руки впилося ему в шею, а нечто другое ухватило за ноги — бесцеремонно его подняли в воздух и завертели во все стороны. Еще минута — и звезды пропали; Картер понял, что оказался в лапах у костоглодных черничей.

У него забрало дыхание, когда они понеслись с ним к той пещере в боку утеса и по чудовищной путанице ходов. Если он вырывался, как поначалу его понуждал инстинкт, они немилосердно его щекотали. Сами они не производили ни малейшего звука, и даже перепонки их крыльев мяли его бесшумно. Они были жутко холодные и влажные и скользкие, и их лапы омерзительно месили тело. Вскоре они тошнотно ринулись вниз, пронзая непостижимые бездны в закручивающейся, кружащей голову, дурнотной струе промозглого могильного воздуха; и Картер чувствовал, что их стремительно увлекает последний бурун вопиющего и бесовского безумия. Он снова и снова принимался кричать, но как только он начинал, черные лапы щипали еще изощренней. Потом он заметил нечто вроде мутного свечения вокруг и догадался, что они спускаются в самый нутряной мир подземельной жути, о котором смутно говорило предание и который освещался лишь тусклыми пятнами, похожими на огромные гнилушки, которыми смердел мефитический воздух и первобытные испарения преисподних во чреве земли.

Наконец далеко внизу он увидел бледные очертания серых и зловещих вершин и понял, что это должны быть баснословные Двужубцы Фрока. Ужасным и недобрым знамением стояли они на наваждаемых кругах бессолнечных и безначальных глубин; превышающие человеческий помысел сторожевые страшных долин, где пробивают свои ходы мерзостные чревоземные дхоли. Но Картеру было лучше смотреть туда, чем на своих похитителей, которые оказались поистине отвратительными и дикообразными тварями с гладкой, сальной, словно моржовая, верхней оболочкой, гадкими рогами, загибающимися внутрь навстречу друг другу, нетопырьими крыльями, хлопанье которых не производило ни звука, уродливыми цапками лапами и колючим хвостом, охлестывающим воздух бессмысленно и беспокойно. И хуже всего, они никогда не говорили и не смеялись и никогда не улыбались, ибо вовсе не имели лица, но лишь плоское отсутствие черт там, где следует быть лицу. Они только и знали, что зацапывать, лететь, щипать; таков был обычай костоглодных черничей.

По мере того как их рой опускался ниже, Зубцы Фрока вставали со всех сторон, серые и превысокие, и было видно, сколь безжизнен тот твердокаменный и величественный гранит вечной ночи. На еще больших глубинах огоньки-гнилушки позатухали, и лишь первобытная тьма пустоты облежала вокруг, из которой злыми великанами выступали только острые выпренье зубцы. Скоро и они были далеко позади, а вокруг была пустота да могучий ток воздуха, промозглого сыростью преисподних каверн. Потом наконец костоглодные черничи опустились на невидимую поверхность,

казавшуюся наслоением костей, и бросили Картера одного в этой черной долине. Притащить его сюда было долгом костоглодных черничей, стерегущих Нгранек; сделавши свое дело, они с бесшумным хлопаньем крыльев улетели. Картер попытался проследить их полет, но обнаружил, что не сумеет, ибо даже Зубцы Фрока растворились во мраке. Только тьма, и ужас, и кости, и тишина вокруг, и больше там не было ничего.

По некоторым источникам Картер знал, что он оказался в Продоле Пнот, где ползают и пробивают свои ходы великанские чревоземные дхоли; но он не ведал, что его ждет, ибо никто никогда не видел дхоля и даже не догадывался, на что похож этот напозень. О дхолях ходят лишь глухие слухи, они дают о себе знать только шорохами, которые производят среди курганов костей, и скользким прикосновением, когда, извиваясь, влачатся мимо. Их нельзя увидеть, потому что они пресмыкаются только во мраке. С дхолем столкнуться Картеру не хотелось, поэтому он напряженно ловил каждый звук из неведомых костяных глубин. Даже в этом ужасном месте у него созрел план и намерение, ибо слухи о Пноте не миновали ушей того, с кем Картер помногу говаривал в былые дни. Вкратце, было очень похоже, что это то самое место, куда упыри со всего мира яви сваливают объедки своих пиров; и если бы ему всего-навсего повезло, он бы мог набрести на тот могучий утес, возносящийся даже над Зубцами Фрока, который ставил предел их владениям. Град падающих костей покажет ему, где искать, а найдя, он сможет покричать какому-нибудь упырю спустить ему лестницу; ибо, как это ни странно звучит, у него была весьма исключительная связь с этими жуткими существами.

Некий человек, которого он знал в Бостоне — художник со странной живописью и потайной мастерской в древнем и безблагодатном закоулке вблизи кладбища, — завел даже дружбу с упырями и научил его понимать то, что попроще, на их отвратительной, чмыкающей и пришепетывающей скороговорке. Человек этот в конце концов сгинул, и, не зная наверняка, Картер думал, как бы не найти его тут и первый раз в дремном краю не пустить в ход английский того неближнего света, каким была явь его жизни. Он, во всяком случае, чувствовал, что сумеет убедить какого-нибудь упыря вывести его из Продола Пнот; и лучше было бы встретиться с упырем, который виден, чем с дхолем, который не виден.

И вот Картер шел во мраке, а то и бежал, когда ему что-нибудь слышалось среди костей под ногами. Раз он наткнулся на каменистый склон и понял, что это, должно быть, подошва одного из Зубцов Фрока. Потом наконец он расслышал отвратительное стучание и громыхание, которое доносилось с большой высоты, и удостоверился, что находится под

самым утесом упырей. Он не был уверен, что его услышат из этой долины на мили и мили под горой, но сознавал, что нутроземье имеет свои законы. Пока он раздумывал, его стукнуло на лету костью такой тяжелой, что это был не иначе как череп; и, благодаря этому уразумев, как он близко к роковому утесу, он постарался испустить как можно лучше тот чмыкающий крик, которым упыри призывают друг друга.

Звук распространяется медленно, так что минуло какое-то время, прежде чем донесся пришепетывающей скороговоркой ответ. Но он наконец-то донесся, и ему было сказано, что для него спустят веревочную лестницу. Ожидание ему предстояло весьма тоскливое, поскольку нельзя знать заранее, что мог расшевелить среди этих костей его крик. И правда, очень скоро он действительно услышал смутное шуршание издалека. По мере того как оно намеренно и неуклонно приближалось, его обуревала все большая и большая тревога, ибо он не хотел сходить с того места, где предстояло опуститься лестнице. Наконец напряжение сделалось почти невыносимым, и он был готов, предавшись панике, ринуться прочь, когда глухой удар о свежую грудь костей рядом отвлек его внимание от другого звука. Это упала лестница, и, на шарив через минуту ее туго натянутый конец, он ухватился за него. Но другой звук не стихал и преследовал его, даже когда он поднимался. Он одолел уже целых пять футов, когда громыхание внизу красноречиво набрало силу, и оставил позади уже добрых десять, когда нечто принялось раскачивать лестницу снизу. На высоте, должно быть, пятнадцати или двадцати футов вдоль его бока волнообразно зазмеилось долгое и скользкое прикосновение; и с этого места он карабкался, как одержимый, чтобы избежать невыносимых отираний того пакостного и тучного дхоля, чей вид не для людских глаз.

Час за часом карабкался он до ломоты в плечах и кровавых ссадин на ладонях, видя снова тусклые огоньки-гнилушки и неладные пики Фрока. Наконец он стал различать над головой выпирающую закраину громадного утеса упырей, чей отвесный склон был невидим; и немало часов спустя увидел причудливую образину, заглядывающую за край, словно химера, заглядывающая за парашют Нотр-Дам. В приступе дурноты он едва не разжал руки, но через минуту снова пришел в себя; ибо его пропащий друг Ричард Пикмэн как-то раз свел его с упырем, и он хорошо знал их псообразные физиономии и заваливающиеся вперед фигуры и невыразимые пристрастки. Так что он вполне совладал с собою, когда отвратительная тварь втаскивала его из головокружительной пустоты за край обрыва, и не разразился воплями при виде недоеденных остатков, сваленных рядом в кучу, вокруг которой сидели упыри, и работая

челюстями, с любопытством к нему присматривались.

Он оказался на залитой тусклым светом равнине, единственными природными чертами которой были огромные валуны и отверстия нор. В целом упыри держались прилично, хотя один и примеривался щипнуть Картера, а несколько прочих в задумчивости поедали глазами его худобу. Пришепетывая скороговоркой, он приступил к терпеливым расспросам касательно своего пропавшего друга и узнал, что тот сделался весьма сановным упырем во тьмах крошечных сопредельных миру яви. Престарелый упырь с зеленоватым обметом вызвался препроводить его к месту, которое Пикмэн избрал нынешним своим пребывалищем; так что, победив естественную гадливость, Картер последовал за этой тварью в обширный ход и долгие часы полз за ним в смердящем мраке гниющей земли. Ход вывел их на бледную равнину, усеянную своеобразными земными останками — ветхими надгробиями, разбитыми урнами, несуразными обломками памятников, — и Картер с некоторым волнением осознал, что оказался, вероятно, ближе к миру яви, чем когда бы то ни было с тех пор, как спустился на семь сотен ступеней из пещеры огненного столпа к Воротам Глубокого Сна.

Здесь, на могильной плите с датой «1768», похищенной с кладбища Грэнери в Бостоне, сидел упырь, некогда бывший художником Ричардом Эптоном Пикмэном. Его резинистая нагота была ничем не прикрыта, и столько его облик принял на себя упырино, что человеческая природа в нем уже затмилась. Но, еще владея остатками английской речи, это существо могло поддерживать разговор отрывистым полувнятным ворчанием, раз за разом сбиваясь на пришепетывающую упыриную скороговорку. Узнав, что Картер хочет попасть в заколдованный лес, а оттуда в город Селефаис за Танарианскими Холмами, оно приняло довольно неуверенный вид; ибо эти упыри мира яви не промышляют по кладбищам в верхних дремных краях, оставляя это дело красностопым вукулам, расплещающимся в мертвых городах, и много препятствий лежит между их преисподней и заколдованным лесом, в том числе и ужасное царство гагов.

Гаги, исполинские и косматые, воздвигли когда-то круги камней в том лесу и справляли странные требы Иным Богам и ползучему хаосу Ньярлафотеу до той самой ночи, пока непотребства их не достигли ушей земных богов и те не низвергли их в подземельные пропасти. Лишь один огромный каменный люк с железным кольцом соединяет преисподнюю земных упырей с заколдованным лесом, а тронуть этот люк гаги боятся, ибо он положен с заклятием. И нечего думать, чтобы сновидец из

смертного пламени мог одолеть их пропастные каверны и выбраться через тот люк; ведь раньше сновидцы из смертного племени были для них едой, и они рассказывают легенды, как хороши на вкус таковые сновидцы, хотя изгнание урезало их стол до одних уморищ, этих мерзостных тварей, которые обитают под каменными сводами Зина, скачут на длинных задних ногах наподобие кенгуру и мрут на свету.

Так что упырь, некогда бывший Пикмэном, посоветовал Картеру либо выйти из преисподней в том заброшенном городе Саркоманде в долине у подножия плато Ленг, где крылатые львы стерегут черные, отдающие селитристым духом разложения ступени, низводящие из дремного края в нижние бездны, либо через кладбище возвратиться в мир яви и заново отправляться в поход за неведомым Кадатом по семидесяти ступеням легкой дремоты в пещеру огненного столпа и по семистам ступеням к Воротам Глубокого Сна и заколдованному лесу. Подобное, однако, не устраивало искателя, ибо он не знал и не ведал дороги до Оот-Наргая от Ленга; не хотелось ему и пробуждаться, дабы не позабыть всего, что он обрел на стезе этого сновидения. Погибель была бы его исканиям, если бы он позабыл царственные и горние лики тех мореходцев с севера, которые заходят с ониксом в Селефаис и которые, будучи сынами богов, должны навести его на след холодного пустолюдия и Кадата, обители Вящих.

После долгих уговоров упырь согласился препроводить гостя в могучие стены царства гагов. Был только шанс, что Картер сумеет прокрасться через весь этот мглистый край с его каменными круглыми башнями в тот единственный час, когда все исполины, сытые до отвала, храпят у себя по домам, и достичь главной башни, меченной знаком Коф, чьи ступени восходят к той каменной крышке люка в заколдованном лесу. Пикмэн согласился даже отрядить с ним трех упырей, чтобы, орудуя могильной плитой в качестве рычага, они помогли своротить каменный люк; ибо гаги отчасти побаиваются упырей и нередко спасаются бегством со своих собственных колоссальных погостов, когда застанут пир горой.

Он также посоветовал Картеру самому перерядиться под упыря; сбрить бороду, которой он позволил себе обрасти (поскольку упыри не носят бород), и, обвалявшись нагишом в земляной жиже, чтобы добиться нужной фактуры, бежать их обычной, заваливающейся вперед припрыжкой, неся одежду связанной в узелок, словно это лакомый кусочек из могильного склепа. До города гагов, который сопределен всему их царству, они доберутся подходящими лазами, выводящими на кладбище неподалеку от той несущей в себе ступени башни под знаком Коф. Однако им следует остерегаться огромной пещеры близ кладбища, ибо это устье,

ведущее под каменные своды Зина, и мстительные уморища всегда кровожадно подстерегают там тех обитателей верхних пропастей, которые преследуют их и истребляют. Уморища норовят выходить, когда гаги спят, и так же охотно нападают на упырей, как и на гагов, ибо не умеют их различать. Они до того неразборчивы, что поедают друг друга. Гаги ставят дозорного в узком месте под каменными сводами Зина, но он часто поддается сонливости и иногда достается шайке уморищ, напавших врасплох. Хотя уморища не могут жить при настоящем свете, в тусклой мгле преисподней они выдерживают часами.

И вот Картер полз и полз бесконечными ходами вместе с тремя услужливыми упырями, тащившими надгробную доску полковника Непимии Дерби, год смерти 1719, с кладбища на Чартер-стрит в Сэлеме. Снова выбравшись во мглу, они оказались среди леса необъятных замшелых монолитов, достигающих едва ли не так высоко, как только хватал глаз, и являющих собою умеренно-скромные надгробия гагов. Вправо от ямины, откуда они по-змеиному выползли, в просветы между рядами камней открывался грандиозный вид циклопических круглых башен, вздымающихся за пределы видимости в мглистом воздухе земляного нутра. Это был великий город гагов, и входные проемы в нем имели в высоту тридцать футов. Упыри сюда часто навешиваются, ибо один преданный праху гаг может кормить всю колонию почти целый год, и пусть оно и опасней, лучше подкопаться под гага, чем утруждаться гробокопательством на людских погостах. Теперь Картер понял, что это за великанские мослы, которые он иногда чувствовал под ногой в Продоле Пнот.

Прямо впереди и как раз за чертой кладбища отвесной стеной возвышался утес, у подножья которого зияла необъятная и заповеданная пещера. Упыри наставляли Картера держаться от нее как можно дальше, поскольку это был вход под безотрадные каменные своды Зина, где гаги во тьме охотятся на уморищ. И это предупреждение впрямь оказалось весьма несправедливым, поскольку в тот момент, как один из упырей стал подбираться к башням взглянуть, верно ли они подгадали с часом, когда гаги отбывают ко сну, сумрак того громадного пещерного устья зарделся сначала одной парой изжелта-красных глаз, потом другой, и это значило, что гагов стало на одного дозорного меньше и что уморища поистине обладают чутьем изумительной остроты. Так что упырь вернулся к их лазу и дал спутникам знак, чтобы они молчали. Самое лучшее было предоставить уморищ их собственным проискам, полагаясь на то, что они могут вскоре убратся, поскольку они натурально выбились из сил, пока управлялись с дозорным

гагов под черными сводами. Через мгновение нечто, размером с небольшую лошадь, выпрыгнуло в серую мглу, и на Картера накатила удушливая дурнота при виде этой нескладной и неладной тварины с ее на диво человеческой физиономией, невзирая на отсутствие носа и лба и других важных деталей.

Вскоре трое других уморищ подскакали к своему собрату, и упырь скороговоркой прошептал Картеру, что отсутствие на них боевых шрамов подает худой знак. Оно доказывает, что они вовсе не дрались с дозорным гагов, а попросту проскользнули мимо него, пока он спал, так что вся их сила и свирепость при них так и останется, пока они не найдут себе жертву и не расправятся с ней. Весьма гадко было смотреть, как эти нечистые и неладно скроенные животные, числом около полутора десятков, роются и скачут по-кенгуриному в тусклой мгле, где возвышаются исполинские башни и монолиты, но еще гаже делалось слушать, как гортанным хаканьем они, на манер уморищ, переговариваются между собой. И однако, как бы они ни были ужасны, все же они не были так ужасны, как то, что с ошеломительной внезапностью выпросталось за ними из пещеры.

Это была лапа, фута два с половиной шириной и снабженная устрашающими когтями. Вслед за ней появилась другая, а за ней громадная, покрытая черной шерстью рука, к которой обе лапы присоединялись короткими предплечьями. Потом блеснули два розовых глаза, и голова разбуженного дозорного гагов, огромная, как котел, вырыскнула на вид. Глаза выпирали на два пальца с каждой стороны, под защитой костистых бугров, заросших жестким волосом. Но главное, из-за чего голова выглядела ужасной, был рот — полный крупных желтых клыков, он шел сверху вниз, разеваясь поперек, а не вдоль.

Но прежде чем злополучный гаг сумел выбраться из пещеры и подняться в свои полные двадцать футов, на него налетели мстительные уморища. Картер на мгновение испугался, что он издаст крик о помощи и подымет все свое племя, но тут упырь прошептал тихой скороговоркой, что гаги лишены голоса и разговаривают, выстраивая гримасы. Сражение, которое последовало за этим, было поистине ужасающим. Злолютые уморища со всех сторон яро насакивали на искалеченного гага, их клыки кусали и рвали его, а острые твердые копыта смертоубийственно увечили. И все время они заходились своим возбужденным хаканьем, пронзительно вереща, когда поперечной пасти случалось схватить кого-то из их числа, так что шум драки наверняка перебудил бы весь спящий город, если бы вслед за теряющим силы дозорным боевые действия не перемещались все глубже и глубже в пещеру. Скоро вся буйная свалка действительно

совершенно пропала во мраке, и лишь случайные злые отзвуки давали знать, что дело не кончено.

Тогда самый бойкий из упырей дал сигнал двигаться, и Картер последовал за припрыгивающей троицей прочь из леса монолитов в мрачные злосмradные улицы того страшного города, чьи округлые башни из исполинских камней взмывали выше, чем досягал глаз. Молчаливо они ковыляли по неровной каменной мостовой, с отвращением слыша из-за высоких черных дверей приглушенный омерзительный храп, отличающий объятых дремотой гагов. В тревожном предчувствии их пробуждения упыри припустились весьма скорой побейкой; но и тогда путешествие оказалось не из коротких, поскольку город исполинов разбит был по исполинской мерке. Наконец они все-таки выбрались на более-менее открытое место у подножия башни еще необъятней, чем прочие; над ее колоссальным порталом барельефом был выбит некий чудовищный символ, от которого повергаешься в дрожь и не ведая его смысла. Это была главная башня под знаком Коф, и с тех громадных каменных ступеней, чуть видневшихся в ее сумраке, начинались пролеты гигантской лестницы, ведущей в верхние пределы дремного края и в заколдованный лес.

И вот началось нескончаемое восхождение в непроглядной черноте; его делали почти невозможным чудовищные ступени, рассчитанные на гагов и поэтому чуть ли не в ярд вышиной. Об их числе Картер не мог составить верного представления, поскольку скоро так устал, что неумолимым и резиново-растяжливым упырям приходилось ему помогать. Во время всего бесконечного подъема над ними нависала угроза, что их побег обнаружат и отрядят за ними погоню: хотя никто из гагов не дерзнет отворить каменную дверь в лес, ибо на ней заклятие Вящих, вход на лестницу в башне не преппаем ничем, и гаги часто преследуют улизнувших уморищ вплоть до самого верха ступеней. Ухо гагов столь чутко, что даже шорох голых подошв и ладоней может выдать взбирающихся по лестнице, когда город проснется; и тогда этим гигантам с их ходом и навыком видеть без света, взятым от охоты за уморищами под сводами Зина, конечно, не потребуется много времени, чтобы настичь свою мелкую и непроворную жертву на тех колоссальных ступенях. Глубокое уныние одолевало при мысли о том, что ни единым звуком не подадут о себе знать безмолвные преследователи, но весьма неожиданно и ужасно налетят во мраке на взбирающихся по лестнице. И на освященный обычаем страх гагов перед упырями не стоило полагаться в этом особенном месте, где на стороне гагов были столь весомые преимущества. Грозила также некоторая опасность от хитрых и злобных уморищ, которые часто

прискакивают на башню, пока гаги спят. Если гаги заспятся надолго, и уморища, разделавшись со своим делом в пещере, не задержатся, то этим мерзким и злокозненным тварям ничего не стоит учуять взбирающихся по ступеням; а уж тогда едва ли не лучше было попасть в зубы гагу.

Они поднимались уже целую вечность, когда в темноте над ними раздалось хаканье; и дело приняло весьма серьезный и неожиданный оборот. Было ясно, что одно уморище или несколько забрело в башню до прихода Картера и его провожатых; было ясно и то, что неминуемая опасность близка. После секундного столбняка предводительствующий упырь оттолкнул Картера к стене и постарался как можно лучше расставить своих сородичей для сокрушительного удара по врагу древней могильной плитой. Упыри видят впотьмах, поэтому с отрядом дело обстояло не так худо, как если бы Картер был в одиночестве. В следующий миг дробот копыт выдал по крайней мере одно скачущее вниз уморище, и упыри с надгробием занесли свое орудие для отчаянного удара. Вскоре сверкнула пара изжелта-красных глаз, и задышливое хакание уморища заглушило дробот его копыт. Стоило ему соскочить на ступень сразу над упырями, как они с такой нечеловеческой силой обрушили древнее надгробие, что жертва только издала сдавленный хрип и рухнула грудой скверны. Тварь эта как будто оказалась единственной, и, поприслушивавшись минуту-другую, упыри похлопали Картера по плечу в знак, что пора отправляться дальше. Как и прежде, им пришлось ему помогать; а он был рад уйти подальше от места побоища, где неприглядные останки незримо распластались в темноте.

Наконец упыри вместе со своим спутником остановились, и, пошарив руками над головой, Картер понял, что они добрались до огромной каменной крышки люка. Нечего было и думать, чтобы отворить подобную громадину настезь, но упыри надеялись приподнять ее ровно настолько, чтобы вбить могильную доску в качестве клина и помочь Картеру проскользнуть в эту щель. Сами они намеревались спуститься обратно и пройти через город гагов, поскольку скользкой увертливости им было не занимать и они не знали дороги поверху в призрачный Саркоманд с его охраняемым львами преддверием бездны.

Могуче напряжились трое упырей, борясь с каменной крышкой над ними, и Картер помогал наддавать со всей силой, какая у него была. Решив, что край у самой вершины лестницы как раз тот, что нужен, они направили на него все потуги своих несправедливо упитанных телес. Через несколько мгновений появилась полоска света, и Картер, кому это дело препоручалось, просунул в отверстие конец древней могильной плиты. За

этим последовало мощное налегание, но дело подвигалось слишком медленно, и им приходилось возвращаться к исходному положению каждый раз, когда не удавалось повернуть плиту и сделать подпорку.

Крайность их положения внезапно тысячекратно умножил шум на лестнице под ними. Это всего лишь бухала туша и гремели копыта убитого уморища, когда оно покатилося вниз по ступеням; впрочем, из всех возможных причин, по которым та туша пришла в движение, ни одна ни в малейшей степени не сулила хорошего. Поэтому, зная обычай гагов, упыри взялись за дело в некотором исступлении и в удивительно короткое время подняли крышку так высоко, что смогли удержать ее на месте, пока Картер не повернул плиту, оставив изрядное отверстие. И вот они подсадили Картера, давши ему взобраться на их резинистые плечи и придерживая его ноги, когда он вцепился пальцами в благословенный прах верхних дремных земель. Еще миг, и они проскочили сами, выбив надгробие и захлопнув громадную крышку люка как раз тогда, когда шумное дыхание раздалось прямо под ней. Никто из гагов никогда не пройдет через эту дверь, ибо на ней заклятие Вящих, поэтому объятый глубоким облегчением и покойным чувством Картер умиротворенно растянулся на уродливой толще лишайников в заколдованном лесу, провожатые же его уселись на корточках, как имеют обыкновение отдыхать упыри.

Сколь бы ни был сверхъестественно причудлив этот заколдованный лес, по которому так долго путешествовал Картер, поистине он был приют и отрада после всех преисподних, оставленных им позади. Из обитателей леса никто не подавал о себе знать, ибо зуги боязливо сторонятся этой потаенной двери, и Картер немедленно приступил к своим упырям с расспросами об их дальнейшей дороге. Возвращаться через башню они уже не решились; не привлекал их и мир яви, когда они узнали, что предстоит встретиться с кумирслужителями Наштом и Каман-Тахом в пещере огненного столпа. Наконец они решили возвращаться через Саркоманд и его преддверие бездны, хотя и знать не знали, как туда добираться. Картер припоминал, что город лежит в долине у основания Ленга, помнил и то, что в Дилат-Леене он видел зловещего старика-купца с раскосыми глазами, по слухам, промышлявшего торговлей с Ленгом, и дал, стало быть, совет упырям держать путь в Дилат-Леен, пройдя лугами к Ниру и, перебравшись за реку Скай, идти вдоль реки до самого ее устья. Так они и решили поступить и, не тратя времени, пустились своей прыткой побегой, поскольку сгущавшиеся сумерки сулили впереди целую ночь пути. И Картер пожимал лапы этим мерзостным бестиям и изъявлял им благодарность за помощь, и изъяснялся в признательности той бестии, что

некогда была Пикмэном; но не удержался от вздоха радости, когда они убрались. Ведь упырь есть упырь, и для человека в лучшем случае спутник малоприятный. После этого, отыскавши лесной бочаг, Картер смыл с себя ил преисподних земель и облачился в свое платье, бережно им сохраненное.

И вот настала ночь в том жутком лесу с его чудищами-деревями, но гниlostное свечение позволяло идти, словно при свете дня; потому и пустился Картер хорошо знакомой дорогой к Селефаису в Оот-Наргае позади Танарианских Холмов. И по пути думал о зебре, которую стреноженной бросил у вяза на горе Нгранек на острове Ориаб в дальнем далеке и бесконечно далеком прошлом, и задавался вопросом, покормил ли ее кто-нибудь из сбиральщиков лавы и отпустил ли на волю. Задавался вопросом он и другим: возвратится ли он когда-нибудь в Бахарну и расплатится ли за зебру, убитую ночью в тех древних развалинах на берегу озера Яат, и будет ли узан в лицо старым содержателем таверны. Вот какие думы навевал ему воздух вновь обретенных верхних дремных земель.

Но вскоре его заставил остановиться звук, долетевший из пустого нутра громадного дерева. Он миновал стороной круг великанских камней, поскольку не имел сиюминутной охоты разговаривать с зугами, но как-то особо расшелестелось в том огромном дереве, выдавая, что где-то там советуются о важном деле. Подкравшись поближе, он разобрал интонации возбужденного и жаркого спора; и самое малое время спустя получил сведения о вещах, которые исполнили его величайшей тревогой. Ибо на своем верховном соборе зуги бились над планом похода против кошек. Всё это повлекла за собой гибель той шайки, которая пробралась за Картером в Ултар и которую кошки подвергли справедливой каре за неподобающие умышления. Дело это долго тлело под спудом, а теперь, или по крайней мере не позже чем через месяц, боевые порядки зугов готовились обрушиться на кошачье племя чередой внезапных атак, захватывая кошек врасплох поодиночке или по двое-трое и не дав подходящего случая даже мириады кошек Ултара сплотить ряды и натаскать новобранцев. Вот какие планы вынашивали зуги, и Картер понял, что должен их спутать, прежде чем отправляться в собственный многотрудный поход.

Потому, отменно тихо прокравшись на лесную опушку, Рэндольф Картер бросил кошачий клич через облитые звездным светом луга. И громадный котяра в ближайшей усадьбе перенял отголосок и послал его над зыбью полей всем воинам — большим и малым, черным, серым, полосатым, рыжим, белым и трехцветным; и его отзвуки раскатились через

весь Нир и за реку Скай и до самого Ултара, и в Ултаре кошачье ополчение хором отозвалось на клич и собралось в походном строю. По счастью, луна еще не всходила, так что все кошки были на земле. Прыгая бесшумно и проворно, они пососкакивали с приступка у каждого очага и с каждой крыши и хлынули великим пушистым морем через равнины к лесной опушке. Там их встречал и привечал Картер, и зрелище ладных и добрых кошек поистине служило отрадой его глазам после тех тварей, которых он повидал и с которыми побывал в преисподних. Он обрадовался при виде своего почтенного друга и спасителя, предводительствующего отрядом, с лентой, в знак отличия опоясывающей его лоснящуюся шею, и воинственно ошестинившимися усами. И еще того лучше, молодцеватый юный отпрыск, бывший субалтерном в этой войске, оказался не кем иным, как тем самым крошечным котенком в гостинице, которому Картер налил блюдечко густых сливок в то канувшее в далекое прошлое утро в Ултаре. Теперь это был рослый и подающий надежды кот и все тот же мурлыка, когда дошло дело до дружеских объятий. По словам его деда, он весьма процветал на армейском поприще и вполне мог рассчитывать на капитанский чин после участия в очередной кампании.

И вот Картер стал обрисовывать угрозу, нависшую надо всем кошачьим племенем, и наградой ему было низкое и бархатистое благодарное мурлыканье со всех сторон. Взявшись держать совет с генералами, он разработал план немедленного действия, подразумевавший мгновенное нападение на зугово вече и на другие известные их оплоты, упреждая внезапные атаки и вынуждая пойти на мировую, прежде чем они успеют мобилизоваться для вторжения. После чего кошки безбрежным потоком наводнили заколдованный лес, хлынув волной к соборному дереву и к кругу великанских камней. Шелестение взлетело до панических нот, когда враг увидел новоявленного противника, и весьма слабый отпор оказали хитрые и любопытные зуги. Они поняли наперед, что их ожидает разгром, и, не помышляя больше о мести, думали лишь о сиюминутном спасении жизни.

И вот половина кошек заняла круговую позицию с пленными зугами в центре, оставив проход, по которому препровождали все новых пленников, захватываемых кошками по всему лесу. Картер выступал толмачом при пространном обсуждении условий капитуляции, и стороны пришли к решению, что зуги останутся свободным племенем, но облагаются в пользу кошек изрядной данью в виде куропаток, перепелов и фазанов из менее волшебных чащоб. Двенадцать отпрысков благородных семейств забирались из числа зугов заложниками в Святилище Кошек в Ултаре, и

победители недвусмысленно дали понять, что любые исчезновения кошек в сопредельных зугам краях повлекут за собой самые губительные для зугов последствия. Когда уговорились обо всех этих вещих, кошачье ополчение разомкнуло ряды, давая зугам одному за другим ускользать по своим домам, что те и спешили сделать, не раз с насупленным видом оглядываясь назад.

А старый кошачий генерал предложил Картеру эскорт через весь лес к тем его границам, куда Картер хотел добраться, полагая весьма вероятным, что зуги затаили на него лютую злобу за то, что он порушил всю их воинственную затею. Это предложение Картер благодарно приветствовал, не только ради безопасности, которую оно сулило, но и ради того, что любил утонченное кошачье общество. Так что, взятый в середину славного и игривого отряда, беспечно-вольного после исполнения достохвального долга, Рэндольф Картер с достоинством шествовал через заколдованный и мерцающий лес исполинских деревьев, беседуя о своих исканиях со старым генералом и его внуком, остальные же предавались самым причудливым кульбитам или погоне за опавшими листьями, подхваченными ветром, среди лишайников той первозданной почвы. И старый кот говорил, что весьма наслышан о неведомом Кадате в холодном пустолюдии, но не ведает, где оно лежит. Что же до чудного закатного города, то о нем не знает ни сном, ни духом, но будет рад сообщить Картеру все, что о том ни проведаст в дальнейшем.

Он передал искателю пароли, имеющие отменный вес среди кошек дремного края, и особенно препоручал его покровительству старого предводителя кошек в Селефаисе, куда лежал его путь. Этот старый кот, слегка уже знакомый Картеру, был степенный мальтиец, своим непререкаемым авторитетом могущий споспешествовать в любом деле.

Занималась заря, когда они вышли к самой опушке леса, и Картер стал неохотно прощаться со своими друзьями. Юный субалтерн, знавший Картера еще в бытность свою малым котенком, последовал бы за ним, не воспрепятствуй ему в этом старый генерал; но суровый патриарх утверждал, что узами долга тот связан с военным поприщем и со всем своим родом. Так что Картер в одиночестве отправился в дорогу золотеющими полями, что таинственно простирались вдоль обрамленной ивами реки, а кошки снова повернули в лес.

Путник отменно знал тот край вертоградов, лежавший от леса до Серенарианского моря, и беспечно следовал за поющими струями Украноса, указывающего ему дорогу. Солнце вставало все выше над отлогими склонами с их купами деревьев и зеленеющими лужайками и

заставляло разгораться всеми красками тысячи цветов, испещрявших каждый холм и раздол. Дымка благодати овеивает весь этот край, чуть больше других вобравший в себя солнечных лучей и музыки лета, звенящего пчелиным и птичьим роем; так что странственники проходят здесь, словно по волшебной стране, и радуются и дивуются больше, чем сколько бы они потом ни вспоминали.

К полудню Картер добрался до яшмовых террас Кирана, что сбегает к самой речной кромке и поддерживают собой то святилище красоты, куда раз в год из своей далекой страны на берегах моря мглы прибывает в золотом паланкине король Илек-Вада, чтобы поклониться божеству Украноса, напевавшему ему свои песни, когда в юности он обитал в хижине на речном берегу. Все из яшмы это святилище, и целый акр земли занимают его палаты и дворы, его семь островерхих башен и его сокровенный алтарь, куда река входит по скрытым канальцам и где божество негромко творит в ночи свою песнь. Многократно внимает луна странной музыке, проливая свой свет на те дворы, и террасы, и башенные острия, но песнь ли бога та музыка или монотонный напев загадочных иерофантов, никто, кроме самого короля Илек-Вада, не может сказать, ибо лишь один он входил во святилище и видел иерофантов. Теперь, в дневной полудреме, эта филигранная и изысканная кумирня тонула в молчании, и Картер слышал лишь бормотание мощных струй и звенящую музыку пчел и птиц, идучи все вперед под очарованным солнцем.

С полудня до самого вечера брел пилигрим благоуханными пажитями, защищенный отлого низбегающими к реке склонами с домиками под соломенной кровлей и обителями приветливых божеств, вырезанных из темной яшмы с краснобрызгом или яблочно-зеленого берилла. Он то подходил к самой воде Украноса и насвистывал резвым и всеми красками искрящимся рыбкам в ее хрустальных струях, то останавливался среди шепчущих камышей и созерцал величественный темный лес на дальнем берегу, деревья которого спускались к самой воде. Прежде в дремах он видел, как из леса робко выходят на водопой невообразимые и неуклюжие бионтопотамы, но теперь он не заметил ни одного. Иногда он задерживал шаг, чтобы проследить за плотоядной рыбой, поймавшей птицу-рыболовку, которую она приманивала, соблазнительно играя на солнце чешуей, и своим огромным ртом ловила за клюв, которым крылатая охотница нацеливалась ее пронзить, как копьем.

Под вечер он взошел на пологий, поросший травами склон и увидел перед собой тысячекратно рдеющие в закатных лучах золоченые шпили Трана. Отнимает способность к рассуждению выпренность алавастровых

стен одного невероятного города, поверху наклоняющихся внутрь и как будто сделанных из одного куска никому не известным образом, ибо они древнее, чем сама память. Но сколь ни выпрени они с их сотней врат и двумя сотнями дозорных крепостных вышек, теснящиеся в их кольце башни, сплошь белые под золочеными шпилями, еще более выпрени, чем они; так что жители окрестных долин видят, как они воспаряют в небо, то сияя в прозрачной синеве, то запутавшись остриями в облачных и туманных клубках, то повитые туманами понизу и ослепительно сверкающими верхушками шпилей над дымкой. И там, где ворота Трана открываются на реку, лежат мраморные пристанища, где тихо покачиваются на якоре нарядные галиоты из благовонного кедра и каламандра и на тюках и бочонках с письменами далеких земель посиживают чужестранные бородачи-мореходцы. Позади стен прочь от берега простирается сельский край, где дремлют между пригорков белые маленькие усадьбы, и узкие дорожки со множеством каменных мостиков плавно выются среди садов и речек.

Вечером Картер шел этим цветущим краем и видел, как с реки наплывают сумерки на дивный златошпильный Тран. И как раз с наступлением тьмы подошел он к южной заставе и был остановлен дозорным, одетым в красное, который не пустил его дальше, пока он не рассказал три несбыточных сонных видения и не показал себя сновидцем, достойным подняться по крутым и загадочным улицам Трана и пробавляться на торжищах, где раскладывают на продажу товары с нарядных галиотов. Тогда он прошел в невероятный тот город через стену такой толщины, что ворота казались туннелем, и попал в средоточие извилистых распутий, выющихся в глубоких теснинах меж воспаряющих в небо башен. Из-за решеток и балконов источали свет окна, и звуки свирели и лютни несмело ускользали из внутренних двориков, где лепетали мраморные фонтаны. Зная дорогу, Картер пробрался более сумрачными улицами вниз к реке, где в старой приморской таверне нашел капитанов и мореходцев, знакомых ему по бесчисленному числу других дрем. Там он купил себе место до Селефаиса на огромном зеленом галионе и там же остался на ночлег после степенной беседы с убеленным сединами котом, который дремотно прижмуривался у громадного очага и грезил о былых битвах и забытых богах.

Утром Картер взошел на борт галиона, державшего курс на Селефаис, и сел на носу, между тем как отдавали концы и начиналось долгое плавание к Серенарианскому морю. Берега на многие лиги вниз по течению оставались всё такими же, как и выше Трана, с иногда возникающей справа

на дальних склонах какой-нибудь затейливой кумирней или полусонной деревушкой у самой воды с крутыми красными кровлями и растянутыми на солнцепеке сетями. Держа на уме свои поиски, Картер дотошно расспрашивал всех моряков о тех, кого они встречали в тавернах Селефаиса, разузнавая имена и повадки чужаков с длинным и узким разрезом глаз, долгими мочками ушей, тонким носом и остро выпяченным подбородком, которые приходили с севера на темных ладьях и меняли оникс на резную яшму и золотую филигрань и красноперых певчих птичек Селефаиса. Об этих людях плователи знали только ту малость, что в разговоры они вступают нечасто и сеют вокруг себя почтительный трепет.

Земля их лежала в далекой дали и называлась Инкуанок, и у немногих возникало желание там побывать, ибо это был холодный и бессолнечный край, прилегавший, по слухам, к неладному Ленгу; хотя с той стороны, где якобы простирался Ленг, вздымались высокие непроходимые горы, так что никто не мог знать, действительно ли там существует злоименитое плато с его ужасными каменными деревьями и не к ночи будь помянутым монастырем, или молву о нем породил тот страх, который мучает по ночам малодушных, когда то неприступное горное урочище чернеет на фоне восходящей луны. Несомненно, что Ленг досягаем с самых разных морей. О других сопредельных Инкуаноку странах те моряки представления не имели и слухом не слыхивали о холодном пустолюдии и неведомом Кадате, разве лишь однажды, смутно и неведь откуда. Не знали они ничего и о чудном закатном городе, куда стремился Картер. Так что странственник больше не спрашивал о далекой далёчине, но поджидал своего часа, когда сможет поговорить с теми чужаками из холодной и бессолнечной земли Инкуанок, бывшими плоть от плоти тех самых богов, что высекли свое лицоочертанье на горе Нгранек.

Свечерело, когда галион достиг тех излучин реки, что пересекают благовонные джунгли Кледа. Тут Картер пожалел, что не может сойти на берег, — ведь в гуще тех тропических сплетений, уединенно и неприкосновенно дремлют дивные дворцы из слоновой кости, где некогда обитали баснословные государи страны, имя которой забыто. Волшба Предвечных сохраняет эти чертоги от вреда и упадка, ибо начертано, что придет день и они снова понадобятся; караванам слонов случается мельком их видеть вдалеке в лунном свете, но никто не отваживается близко к ним подступаться из-за их охранителей, блюдущих их целость. Но корабль летел дальше, и сумерки притушили дневной гул, и ранние звезды ответно мигали первым светлякам на речном берегу, и те джунгли отступали всё дальше назад, оставляя лишь свое благоухание в память того, что это было.

И всю ночь напролет галион плыл, минуя тайны незримые и негаданные. Однажды вперёдсмотрящий крикнул, что холмы к востоку горят огнями, но сонный капитан на это сказал, что лучше на них не слишком заглядываться, поскольку дело весьма сомнительное, кто их зажег или что их зажгло.

Наутро река мощно раздалась в своих берегах, и по домам вдоль воды Картер понял, что они подплывают к превеликому торговому городу Хланиту на Серенарианском море. Городские стены здесь из неотшлифованного гранита, и дома причудливы островершиями гребней на своих белёных фронтонах. Люд Хланита походит на обитателей мира яви больше, чем любой другой народ дремного края; так что ничем этот город не привлекает, кроме торгового промысла, но слывет доброй работой своих мастеров. Причалы в Хланите дубовые, и там галион встал на якорь, пока шкипер рядился в тавернах. Картер тоже сошел на берег и с любопытством смотрел на изрытые колеями улицы, где неуклюже гроыхали деревянные повозки с волами, и на базары, где разгоряченные торговцы суетно расхваливали свой товар. Портовые таверны были у самых причалов, в улочках с поседевшим от соленой пены булыжником, и казались неимоверно древними из-за низких почернелых балок своих потолков и толстого зеленоватого стекла круглых оконеч. В этих тавернах древние старики-мореходцы вели нескончаемые разговоры о далеких гаванях и рассказывали множество историй об удивительных жителях бессолнечного Инкуанока, но мало что могли добавить к рассказу моряков с галиона. Потом долго разгружавшийся и грузившийся корабль поднял наконец паруса и вышел в закатное море, и высокие бастионы и островерхие кровли Хланита всё умаялись в последнем золотеющем свете дня, наделявшем их дивом и красотой, до которых далеко произведенному человеческими руками.

Две ночи и два дня плыл галион по Серенарианскому понту, не видя земли и отмаячив флажками лишь одному судну. Когда второй день уже клонился к закату, впереди выказался заснеженный пик Арана с его нарядными деревьями гингко, качающими ветвями на нижних склонах, и Картер понял, что они достигли земли Оот-Наргай и дивного города Селефаиса. Скоро означились блистающие минареты того баснословного града и девственно-чистые стены из мрамора, и бронзовые на них статуи, и огромный каменный мост, где воды Нараксы сливаются с морем. Потом обозначился мягкий очерк холмов за городом с их рощами и садами асфоделей, и малыми кумирницами, и усадьбами; на самом дальнем плане — лиловый Танарианский хребет, могучий и загадочный, за которым лежат заповеданные стези в мир яви и в иные дремные края.

Гавань была полна расписными галерами, одни из мраморного города-облака Серанниана, парящего в тех бесплотных высях, где море соприкасается с небом, другие из более материальных областей дремного края. Лавируя между ними, кормчий проложил себе путь к причалам, пахучим от пряностей, где галион бросил якорь в сгустившихся сумерках, когда над водой начинали мигать мириады городских огней. Вечно новым казался этот бессмертный город-видение, ибо время здесь было не властно ни разрушать, ни пятнать. Бирюза Нат-Хортата всё та же, что была искони, и всё те же восемьдесят иерофантов в венцах из орхидей, которые воздвигли его десять тысячелетий назад. По-прежнему сверкает бронза огромных ворот, не стираются и не трескаются ониксовые мостовые. И высокие бронзовые статуи взирают со стен на купцов и погонщиков верблюдов более старых, чем само баснословие, и всё же без единого волоска седины в раздвоенных бородах.

Картер не сразу отправился на поиски храма или дворца или крепости, но остался под обращенной на море стеной среди торговых гостей и моряков. И когда сделалось слишком поздно для толков и преданий, Картер отыскал хорошо знакомую старинную таверну и отошел ко сну о богах неведомого Кадата, взыскуемых им. На завтра он обошел все причалы в поисках моряков-чужан Инкуанока, но ему было сказано, что в ту пору никого из них в гавани не было, их галеру с севера ждали не раньше чем в двухнедельный срок. Он повстречал между тем одного моряка из Торабониана, который бывал в Инкуанокке и работал в ониксовых каменоломнях того бессолнечного края; и этот моряк говорил, что на север от обитаемых людьми мест определенно лежит пустыня, которой все страшатся и сторонятся. Торабонианец брался утверждать, что, простираясь до самой подошвы неодолимых гор, пустыня ведет в обход их на жуткое плато Ленг, и потому-то люди и страшатся ее; но он не отрицал и других историй, не договаривавших о неких недобрых силах и ненарекаемых соглядателях. Было оно или не было тем баснословным пустолюдием, в котором возвышается неведомый Кадат, он не знал, но чтобы те силы и соглядатели, если они действительно существуют, витали там без причины — на это было мало похоже.

На следующий день Картер поднялся по улице Колоннады до храма из бирюзы и говорил с Первосвященником. Хотя в Селефаисе поклоняются Нат-Хортату, в ежедневных молитвословиях поминают всех Вящих; и священник поискусился в их настроениях. Как и Атал в далеком Ултаре, он настоятельно отговаривал даже пытаться увидеть их, утверждая, что они подвержены вспышкам гнева и различным причудам и что их осеняет

странное покровительство Иных Богов с Той стороны, дух-вестносец которых — ползучий хаос Ньарлафотеп. Ревниво скрывая чудный закатный город, они ясно выказывают свое нежелание, чтобы Картер туда добрался; и дело весьма сомнительное, как они взглянут на гостя, явившегося затем, чтобы их лицезреть и предстать перед ними с прошением. До сих пор никто никогда не нашел Кадат, и, возможно, оно и лучше, если никто не отыщет его и впредь. Молва, что носилась об ониксовых чертогах Вящих, была ни в коем случае не утешительной.

Поблагодарив увенчанного орхидеями Первосвященника, Картер покинул храм и отправился на базар овчаров-скотобойцев, где, лоснясь от довольства, обитал старый кошачий вожак Селефаиса. Этот серый и преисполненный достоинства котяра грелся в лучах солнца на ониксовой мостовой, и когда визитер приблизился, лапку ему подали с томной лентой. Но Картер повторил пароли и отрекомендовался, как велел старый предводитель котов Ултара, и тогда пушистый патриарх сделался отменно разговорчивым и сердечным и открыл ему немало тайной премудрости, ведомой котам на поморских склонах Оот-Наргая. Повторив, что было ценнее всего, некие украдкой ему переданные пугливыми портовыми кошками слухи о людях из Инкуанока, на темные лады которых не ступит лапкой ни одна кошка.

Казалось, что этих людей осеняет ореол неземнорожденных, хотя не это было причиной, почему ни одна кошка не поплывет на их корабле. Причиной было то, что в Инкуаноке засилье теней, чего не потерпит ни одна кошка, так что во всем том бессолнечном крае не услышать утешительного мурлыканья или безыскусного мяуканья. Было ли дело в тех тварях, которых заносит через невозможные вершины с якобы существующего Ленга, или в тех, что проникают из пустыни на севере, где царит стужа, кто знает; но факт остается фактом — далекий тот край чреват косвенным присутствием запредельных пространств, что не по нраву кошкам и к чему они более чутки, чем люди. И они, стало быть, лапкой не ступят на темные лады, которые правят свой курс к базальтовому пристанищу Инкуанока.

Старый кошачий вожак сказал еще, где отыскать его друга, короля Куранеса, который в недавних сновидениях Картера царил поочередно во Дворце Семидесяти Услад из розового хрусталя в Селефаисе и в плывущем по небу высокобашенном облаке-замке Серанниане. Он больше не находил, казалось, отрады ни в том и ни в другом месте, но предавался сильнейшей тоске по утесам и низинам Англии своего отрочества, где по вечерам в маленьких дремотных селениях за решетчатыми окошками тихо веют

старые песни Англии и где серые башни церковок живописно рисуются на изумруде далеких раздолов. Возврата в мир яви к этим вещам для него не было, поскольку его брменная плоть умерла, и, за неимением лучшего, он вызвал во сне и оживотворил кусочек Старой Англии на востоке от города, где волнистые луговины идут, все повышаясь, от морских скал к Танарианским предгорьям. Там он поселился в готическом имении из серого камня с видом на море и постарался уверить себя, что это и есть старинное Тревор-Тауэрс, где родился он сам и где явились на свет тринадцать поколений его праотцов. И рядом на берегу он построил корнуоллскую рыбацкую деревушку с крутыми булыжными улочками и, населив ее обладателями наиболее английских физиономий, неустанно пытался привить им незабываемо милый выговор рыбаков старого Корнуолла. А в долине неподалеку он воздвиг огромное, в норманнском стиле, аббатство, башню которого видел из своего окна, и на кладбище при обители расставил серые камни надгробий с именами предков, выбитыми на них, и поросшие мхом, чем-то напоминающим мхи Старой Англии. Ибо хотя Куранес и был государем в дремном краю, и все, какие можно себе представить, роскошества и диковины, великолепия и красоты, восторги и наслаждения, новшества и развлечения были к его услугам, он бы с радостью отрекся от всего своего могущества и блеска и вольностей за благословение побыть один день простым мальчиком в той доброй и тихой Англии, той старинной, любезной Англии, которая вылепила его существо и которой он неизменно причастен.

Отдав, стало быть, старому седому кошацъему вожаку свой прощальный поклон, Картер не стал посещать дворец с его восходящими террасами из розового хрусталя, а, выйдя из восточных ворот, направил свой путь через поля маргариток на островерхую кровлю, мелькнувшую ему в просвете между дубами полого поднимающегося к морским скалам парка. Он подошел к пышной живой изгороди и воротам с маленькой кирпичной привратницей, и когда позвонил, не долгополый и напوماженный дворцовый лакей, но старичок-коротышка в рабочей блузе, вовсю старавшийся говорить с прихотливыми интонациями далекого Корнуолла, приковылял, чтобы его впустить. И Картер пошел по аллее, осененной деревьями, самым ближайшим подобием английских деревьев, и стал подниматься ступенчатыми садами, разбитыми в духе времен королевы Анны. В дверях, с каменными кошками по обе стороны на старый лад, его встретил дворецкий в бакенбардах и в подобающего вида ливрее и препроводил в библиотеку, где Куранес, Владыка Оот-Наргая и Небес окрест Серанниана, задумчиво сидел в кресле под окном, глядя на свою

деревушку у моря и лелея желание, чтобы вошла его старая няня и побранила его, что он всё еще не собрался на этот противный садовый праздник у пастора, а экипаж уже подан и его матушка просто сама не своя от нетерпения.

Облаченный в шлафрок излюбленного у лондонских портных его юности фасона, Куранес с живостью поднялся навстречу гостю, ибо вид англосакса из мира яви был отрадой для его глаз, даже если это англичанин из Бостона, штат Массачусетс, а не Корнуолла. И они надолго заговорились о старых временах, и было им что порассказать, ведь оба издавна скитались по стезям сновидений и глубоко искусились в чудесах самых невоображаемых мест. Куранес побывал в абсолютно пустотных пространствах за пределами звезд, и говорили, что он тот единственный, кто вернулся из подобного путешествия, не помешавшись умом.

Картер наконец завел речь о своих исканиях и обратился к хозяину с теми вопросами, с которыми обращался к столь многим. Куранес не знал, где находится Кадат или чудный закатный город, но он знал, что домогаться Вящих очень опасно и что Иные Боги необычным образом защищают их от назойливого любопытства. Об Иных Богах он набрался многих познаний в отдаленных пределах космоса, особенно там, где бытует безвидное и где разноцветные клубы газа постигают сокровенные тайны. Фиолетовый клуб С'нтак открыл ему ужасные вещи о ползучем хаосе Ньярлафотеппе и остерегал его приближаться к средоточию пустоты, где демонский султан Азафот неутолимо гложет себя во мраке. Вообще, неладное это дело — докучать Предбывшим; и если они упорно препинают всякий доступ в тот чудный закатный город, то лучше и не домогаться этого города.

Куранес к тому же сомневался, обрящет ли его гость нечто с приходом в тот город, даже если и достигнет его. Сам он долгие годы наяву и в дремах стремился в прекрасный Селефаис и в страну Оот-Наргай, к свободе и глубине переживания жизни без ее оков, условностей и серости. Но теперь, пришед в этот город и в эту страну и воцарившись здесь, он слишком скоро нашел всю эту свободу и яркость поблекшей и скучной, поскольку она никак не укоренялась в его чувствах и воспоминаниях. Он был король в Оот-Наргае, но не находил в этом смысла и вечно изнывал по старому и привычному, по той Англии, где складывалась его юность. Он бы отдал все свое королевство за перезвон корнуоллских колоколов над долинами и всю тысячу минаретов Селефаиса за крутые безыскусные крыши деревушки рядом с его родным домом. И он увещевал своего гостя, что незнаемый закатный город может оказаться вовсе не тем, что он ищет, и не лучше ли ему оставаться лучезарным и полубытым видением. Ведь он

частенько проводывал Картера в былые дни яви и хорошо знал отрадные склоны Новой Англии, где тот появился на свет.

Он непоколебимо верил, что в конечном счете взыскующего будет мучить тоска лишь по воспоминаниям детства; вечернее зарево над Бикон-Хилл, высокие шпили и извивы крутых улиц причудливого Кингспорта, седой старины двускатные кровли древнего, колдовски наваждаемого Аркхэма, и благодатные луга и долины, где каменные стены закрылись ползучими лозами и из зеленой тени выглядывают белые фронтоны сельских усадеб. Всё это он говорил Рэндольфу Картеру, и всё же искатель держался своего намерения. Они наконец расстались, каждый при своем убеждении, и через бронзовые ворота Картер вернулся в Селефаис и по улице Колоннады спустился к старой стене, обращенной на море, где еще и еще беседовал с мореходцами о далеких портах и ждал сумеречный корабль из холодного и бессолнечного Инкуанок, в странноликих морях и торговцах ониксом которого текла кровь Вящих.

Однажды многозвездным вечером, когда Фарос роскошно сиял над гаванью, жданный корабль бросил якорь, и странноликие моряки и торговцы стали показываться по одному и по несколько человек в старинных тавернах под стеной, обращенной на море. Изрядно взбудораженный видом вживе тех черт, настолько схожих с богоподобным лицеочертаньем на Нгранеке, Картер, однако, не спешил заговаривать с молчаливыми мореходцами. Он не знал, насколько преисполнены гордости, скрытности и темных сверхъестественных сил эти отпрыски Вящих, и не сомневался, что было бы неразумно рассказывать им о его исканиях или слишком дотошно расспрашивать о той холодной пустыне, простирающейся на север от их бессолнечной земли. Несловоохотливые с другими в тех старинных портовых тавернах, они собирались между собой в кружок в самом дальнем углу и пели наваждающие слух песни о неизвестных краях и сказывали протяжные сказания, и наречие их было не слыханным в дремном краю. И столь необыкновенными и берущими за душу были те песни и сказания, что дивные их дела угадывались по лицам внимающих им, хотя простому уху в словах тех слышались лишь странные переливы да смутный напев.

Неделю мореходцы-чужане пробавлялись в тавернах и вели свой торговый промысел на базарах Селефаиса, и прежде чем они вышли в море, Картер купил себе место на их сумеречном корабле, говоря, что он бывалый добытчик оникса, охочий поработать в каменоломнях. Корабль, дивно и хитроумно сооруженный, был из тикового дерева, резные углубления в котором заполнял отполированный эбен и испещряло золото,

и каюта, где поместился странственник, изувешена была шелками и бархатом. В час прилива однажды утром распустили паруса и подняли якорь, и Картер, стоя на высокой корме, смотрел, как тонут вдали горящие в рассветных лучах стены, и бронзовые статуи, и золоченые минареты неподвластного времени Селефаиса, и всё умалется заснеженная вершина горы Аран. К полудню глазам представала лишь светлая голубизна Серенарианского понта, с единственной расписной галерой вдалеке, держащей путь в Серанниан, тот край, где море сливается с небом.

Ночь вызвездило великолепными звездами, и сумеречный корабль правил на Звездный Воз и Малую Медведицу, по мере того как те оборачивались вокруг полюса. И моряки пели странные песни о неизвестных краях и один за другим неприметно скрывались в носовом кубрике, задумчивые же вахтенные тянули про себя старинные заговоры и наклонялись над поручнями, чтобы взглянуть на светящихся рыбок, стайками играющих под водой.

В полночь Картер отправился спать и поднялся с первым сиянием молодого дня, замечая, что солнце встает дальше к югу, чем было привычно. За тот второй день он сошелся накоротке с корабельщиками, мало-помалу разговарившись с ними об их холодном бессолнечном крае, о тонкой красоте их ониксового града и об их страхах перед высокими и неприступными вершинами, за которыми по другую сторону, говорят, простирается Ленг. Они поделились с ним своим огорчением, что кошки никак не приживаются в земле Инкуанок, и своими догадками, что скрытая близость Ленга тому виной. Лишь от разговоров о каменистой пустыне, лежащей на севере, уходили они. Что-то было неладно с этой пустыней, и считалось не к добру ее поминать.

Потом они заговорили о каменоломнях, в которых, по словам Картера, он собирался работать. Каменоломен тех было множество, ведь город Инкуанок целиком выстроен из оникса, в то же время ониксом в огромных полированных плитах торговали с Ринаром, Огротаном и Селефаисом, а у себя дома с купцами Траа, Иларнека и Кадатерона в обмен на прекрасные поделки из этих баснословных портов. И далеко к северу, почти в той холодной пустыне, о существовании которой жители Инкуанок предпочитают не поминать, есть одна заброшенная каменоломня, превосходящая величиной все остальные; в ней в незапамятные времена вырубали глыбы и плиты такой неизмеримой огромности, что иссеченные места их изъятия поражают ужасом всех зрящих. Кто добывал эти невероятные глыбы и куда они были переправляемы, того не знал ни один человек; но почитали за лучшее ту каменоломню не трогать и не ворошить

тех нечеловеческих воспоминаний, которые, чувствовалось, могли бы на ней бременеть. Так и стоит она, предоставленная своему одиночеству, в полумгле, и только ворон да оглашаемая молвою черногор-птица супятся над ее великостью и огромностью. Когда Картер услышал об этом ониксовом приломе, он впал в глубокую думу, ибо из старинных сказаний знал, что замок Вящих на высотах неведомого Кадата возведен из оникса.

С каждым днем солнце скатывалось всё ниже, а небеса заволакивало всё плотней и плотней. И через две недели солнечного света вовсе не стало, а остался лишь призрачный тусклый полусвет-полумгла, пробивающийся сквозь вечную пелену облаков днем, и холодное беззвездное свечение, мреющее с исподу облаков, ночью. На двадцатый день показались в морской дали острые зубья огромного одинокого кряжа, твердая земля, впервые представшая перед глазами с тех пор, как заснеженная вершина Арана пропала из виду за кормой корабля. Картер спросил у капитана, как же называется тот скалистый кряж, но услышал в ответ, что он не имеет названия и что ни одно судно не ищет на нем пристанища по причине тех звуков, которые раздаются с него по ночам. И когда с наступлением темноты с тех острозубых гранитных скал поднялось глухое и бесконечное завывание, странственник порадовался, что они не пристали к берегу и что кряжу тому нет названия. Корабельщики читали молитвы и протяжные заговоры до тех пор, пока вытьё уже не достигало ушей, и в глухие часы пополуночи Картер забылся во сне, чреватом ужасными снами.

На третье утро далеко впереди и к востоку выказалась гряда огромных серых вершин, острия которых терялись в неизменных облаках этого бессолнечного мира. Завидя их, моряки запели от радости, и некоторые молитвенно преклонили колена на палубе; и Картер понял, что они в земле Инкуанок и скоро станут у базальтовых пристанищ громадного города, соименного той земле. К полудню показалась темная полоса берега, и не пробило трех пополудни, как с северной стороны поднялись воздушные купола и прихотливые шпили города оникса. Редкостный и преудивительный высился в столпостенах своих тот первозданный город, весь одна изысканная чернота, прожиленная витьем и сплетением золотого узора. Высокие и многооконные подымались хоромы, со всех сторон испещренные резными фигурами и цветами, темная соразмерность которых ослепляла глаз красотой более пронзительной, чем свет. Некоторые заканчивались пышными куполами, сходявшимися в острие наверх, другие ступенчатыми пирамидами со вздымающимися купами минаретов, представляя всякую грань прихотливости и игры фантазии. Стены были низки и проняты многими воротами, величественные арки над

которыми поднимались много выше самих стен и венчались головой бога, изваянной так же искусно, как и тот исполинский лик на далеком Нгранеке. На холме в центре города высилась башня о шестнадцати углах громаднее всех остальных и несла на себе высокую островерхую колокольницу, покоившуюся на плосковатом куполе. Это, сказали мореходцы, был Храм Предбывших, и храмослужителем там был старый Первосвященник, сокрушенный сокровенными тайнами.

Раз за разом над городом оникса содрогался набат странного колокола, и каждый раз ему отзывалось согласие загадочной музыки, производимой рожками, виолами и протяжными голосами. И из ряда треножцев на галерее, опоясывавшей высокий храмовый купол, по временам исходили сполохи пламени; ибо храмослужители и народ того города были умудрены в первосуших таинствах и истово следовали заведенному Вящими чину, как он установлен в свитках более древних, чем Пнакотские рукописи. Пока корабль, минуя огромный базальтовый волнолом, заходил в гавань, дал о себе знать более обыденный городской шум, и на причалах Картер увидел невольников, моряков и купцов.

Моряки и купцы принадлежали к страннеликому племени богов, а невольники составляли коренастый, с раскосыми глазами народ, по слухам забредший сюда с равнин, запредельных Ленгу, то ли обойдя, то ли перевалив неприступные горы. Причалы уходили далеко за городскую стену, и на них грудились многообразные товары со стоящих на якоре галер, в одном же их конце громоздился оникс, и резной и гладкий, дожидаясь отправки на далекие торжища Ринара, Ограта и Селефаиса.

Вечер еще только наступал, когда сумеречная ладья бросила якорь у каменного выступа причала, и все моряки и торговцы вереницей сошли на берег и через арчатые ворота удалились в город. Улицы в том городе мостились ониксом, и одни из них были широкими и прямыми, а другие кривыми и узкими. Дома у воды были ниже, чем остальные, а над их выведенными удивительной аркой дверными проемами лепились некоторые золотые эмблемы, чествующие, дескать, того божка, которого каждая из них символизировала. Шкипер отвел Картера в старую портовую таверну, куда сходились мореходцы из заморщины, и на следующий день обещался ему показать все чудеса бессолнечного города и свести его в таверны добытчиков оникса под северной стеной. И опустился вечер, и зажглись маленькие бронзовые светильники, и моряки в той таверне запели песни о далекой далёчине. Но когда на своей высокой башне огромный колокол содрогнулся над городом и загадочным согласием отзывались ему рожки, и виолы, и голоса, все оставили свои песни и речи и преклонились в

молчании, пока не замер последний отзвук. Ибо давность и странность пребывают на бессолнечном городе Инкуаноке, и люди боятся выказать нерадивость в обрядах, ведь рок и возмездие могут подстергать негаданно близко.

В глубине кутавших таверну теней Картер различил приземистую фигуру, вызвавшую у него неприязнь, ибо это был несомненно тот самый раскосый старик-купец, которого он столько времени тому назад видел в тавернах Дилат-Леена и о котором носилась молва, что он промышляет торговлей со страшными каменными селениями Ленга, куда не забредают добрые люди и чьи злые огни видны по ночам издалека, и даже водит дела с тем архемагом, коего не описать, что носит на лице маску желтого шелка и в одиночестве обитает в каменном доисторическом монастыре. Когда Картер расспрашивал купцов Дилат-Леена о холодном пустолудии и Кадате, этот старик словно бы выказал хитроватый проблеск знания; и его присутствие в сумеречном и наваждаемом Инкуаноке, столь близко к диковинным делам севера, отнюдь не было обнадеживающим. Он совсем стушевался из виду, прежде чем Картер успел заговорить с ним, моряки же потом рассказывали, что он привел невесть откуда караван яков с клажей исполинских и сладко-пряных яиц оглашенной молвою черногор-птицы, чтобы промыслить за них мастеровитые кубки зеленой яшмы, что торговые гости привозят из Иларека.

На другое утро шкипер провел Картера по ониксовым улицам Инкуанока, сумрачным под бессолнечными небесами. Инкрустированные двери и резные фасады, узорчатые балконы и окна фонарем с хрустальными стеклами — всё дышало сумеречной и глянцевиной прелестью; там и здесь распахивались площади с черными обелисками и колоннадами, и изваяниями преудивительных существ, человеческих и баснословных. Иногда вдоль долгих и неуклонных улиц, или в боковых переулках, или над воздушными куполами, шпилями и фигурными крышами открывались виды, для которых не было выражений, чтобы описать их неотмирность и красоту; и всё превосходил великолепием тяжеловесно уходящий ввысь превеликий главный Храм Предбывших, с его шестнадцатью резными боками, плосковатым куполом и выпрenneй островерхой колокольницей, возносящейся надо всем и величественной, что бы ни лежало на первом плане. И откуда ни посмотри, далеко за городскими стенами и бесконечными нивами поднимались на востоке серые ребристые склоны тех упирающихся в самое небо и неприступных гор, за которыми, по слухам, лежал мерзейший Ленг.

Шкипер повел Картера ко громадному храму, что стоит в обнесенном

стеной саду на огромной, круглой площади, от которой расходятся улицы, наподобие спиц от ступицы колеса. Семеро арчатых ворот в этот сад, над каждым из которых изваян тот же образ, что и над городскими воротами, всегда отворены, и народ почтительно бродит где вздумается по изразцовым дорожкам и узким тропинкам, вдоль которых стоят причудливые истуканы и святилища смиренных божеств. А частые сполохи треножцев на высоком балконе отражаются там в прудах и фонтанах и водоемах, сплошь высеченных из оникса и с играющими лучистыми рыбками, за которыми ловцы погружаются в самые истоки океана. Когда гулкий набат с храмовой колокольницы дрожит над садом и городом и в ответ из семи приворотнических у стен сада раздается согласный строй рожков, и виол, и голосов, из семи дверей храма исходят длинные вереницы черноризых жрецов в клобуках и личинах, несущих перед собою на вытянутых руках превеликие золотые чаши, над которыми дымятся удивительные пары. И все семь верениц особенной журавлиной походкой, выбрасывая далеко вперед ноги, не согнутые в коленях, тянутся по дорожкам, что ведут к семи приворотническим, куда они скрываются и откуда больше не появляются. Говорят, что подземные ходы соединяют приворотнические с храмом и что длинные вереницы жрецов ими и возвращаются; не обходится и без того, что толкуют, как глубокие пролеты ониксовых ступеней низводят к таинствам, вовеки не изреченным. Но лишь в немногих обиняках намекают, что жрецы в вереницах, окруженные клобуком и личиной, не люди.

Картер во храм не входил, ибо лишь Покровенному Государю попускается это делать. Но прежде, чем он вышел из сада, грянул час колокола, и его слух потрясло оглушительное содрогание набата над головой и громкий вопль рожков, и виол, и голосов из приворотнических. И по семи широким аллеям долгие вереницы жрецов-чашеносцев прошествовали на свой особенный лад, наведя на путника страх, какой не часто наводят жрецы человеческого образа и подобия. Когда скрылся последний из них, Картер покинул тот сад и, покидая его, заметил пятно на изразцах дорожки, по которой проносили чаши. Пятно это даже шкиперу не пришлось по нраву, и он заторопил Картера к холму, на котором возвышался дворец Покровенного Государя, многотеремный и дивный.

Дороги ведут к ониксовому дворцу узкие и крутые, за исключением одной, широкой и плавно изогнутой, где государь с приближенными разъезжает на яках или на влекомых яками колесницах. Картер и его провожатый взбирались по улочке сплошь из одних ступеней, зажатой стенами, врезанные в которых странные символы были заполнены

отполированным золотом, улочке, пролегающей под балконами и окнами фонарем, откуда доносило то мягкие переливы музыки, то дыхание заморского аромата. Впереди неизменно выказывались те исполинские стены, мощные бастионы и лепящиеся друг к другу воздушные терема, которыми прослыл дворец Покровенного Государя; и наконец, они прошли под высокую черную арку и оказались в садах государевых увеселений.

Картер едва не сомлел от такого многообилия красоты, ибо ониксовые террасы и дорожки в сени колонн, веселая разноцветность куртин и тонкие цветущие деревца, подвязанные к золоченым шпалерам, бронзовые вазы и треножцы с прелестной чеканкой, статуи из черного с прожилками мрамора, только что не дышащие на своих постаментах, изразцовые фонтаны в озерцах с базальтовым дном и светящимися рыбками, радужные певчие птицы в храмиках на фигурных колонках, дивная узорная вязь огромных ворот из бронзы и стебли плюща в цвету, повивающие каждую пядь глянцевитых стен, — всё в своем согласии являло зрелище, прелестью превосходившее всякую реальность и полунеправдоподобное даже в дремном краю. Словно мираж, трепетало оно под тем тусклым бессолнечным небом, с многотеремным и узорочным великолепием дворца впереди и причудливым очерком далеких неприступных вершин правее. И не смолкая пели птички и водометы, и благоухание небывалых цветов пеленой окутывало тот невообразительный сад. Там не встречалось иного человеческого присутствия, и Картера радовало, что оно так.

Потом они повернули назад и спустились той же улочкой ониксовых ступеней, ибо в самый дворец посетителям вход заказан; и негожее дело слишком долго и пристально заглядываться на огромный центральный терем, поскольку про него говорят, что первобытный пращур оглашенных молвою черногор-птиц избрал его своим обиталищем и что любопытным оттуда насылаются неладные сны.

Потом капитан отвел Картера в северные кварталы города, вблизи Караванных Ворот, где в таверны захаживают торговцы яками и каменотесы из ониксовых приломов. И там, под низким потолком гостиного дома каменотесов, они распрощались, ибо шкипера призывали дела, а Картеру не терпелось пуститься в разговоры о севере с каменотесами. Тот гостиный дом оказался весьма многолюдным, и Картер, не мешкая, вступал в разговор то с одним, то с другим, сказываясь бывалым добытчиком оникса, охочим поразузнать о каменоломнях Инкуанока. Но узнал он не многим больше того, что знал прежде, поскольку опасно и уклончиво держались каменотесы, говоря о холодной пустыне на севере и каменоломне, куда никто из людей не захаживает. Их осаждали страхи

перед теми пресловутыми лазутчиками из-за гор, где, говорят, простирается Ленг, и злыми силами и безымянными стражами в россыпях скал далеко на севере. Потихоньку толковали они и о том, что оглашенные молвою черногор-птицы твари нечистые, что оно, по правде, и к лучшему, коли никто из людей воочию их не видел (баснословного пращура черногор-птиц во дворцовом тереме кормят под покровом тьмы).

На другой день, говоря, что он хочет собственными глазами осмотреть все многообразные каменоломни и повидать разбросанные поместья и ни на что не похожие ониксовые селения Инкуанока, Картер взял внаем яка и, нагрузив объемистые кожаные переметные сумы, снарядился в путь. За Караванными Воротами дорога пролегла напрямик через возделанные поля со многими сельскими усадьбами под низкими куполами, стоявшими тут и там. У некоторых из этих домов искатель задерживался с расспросами; как-то раз встретился ему домохозяин столь суровый и отчужденный, столь исполненный несообразного величия, сродни величию тех гигантских черт на Нгранеке, что он почувствовал, что набрел наконец на кого-то из Вящих, обитавшего среди людей, или на того, в ком на девять десятых течет их кровь. И в присутствии того сурового и отчужденного селянина он побеспокоился отменно хорошо отзываться о богах и превозносить их за все милости, когда-либо ему оказанные.

В тот вечер Картер устроился на ночлег в лугах пообочь дороги под сенью огромного дерева лигат, к которому привязал яка, а наутро возобновил свое паломничество на север. Около десяти часов он добрался до селения Ург с его малыми крышами-куполами, где останавливаются передохнуть торговцы и ведут свои рассказы каменотесы, и в тамошних тавернах пробавлялся до полудня. Оттуда поворачивает на запад в Селарн большой караванный путь, но Картер держался дороги на север в каменоломни. Весь вечерующий полдень Картер ехал по той забирающей вверх дороге, которая была поуже большого тракта и пролегла теперь по местности, где было больше камней, чем возделанных нив. И под вечер низкие холмы по левую руку выросли в черные скалистые громады, и он понял, что приближается к окрестностям каменоломен. И всё это время огромные ребристые склоны неприступных гор возносились всё выше вдали по правую от него сторону, и чем дальше он забирался, тем жутче становились рассказы о них, услышанные от селян и купцов и возчиков на громыхающих колымагах с ониксом, попадавшихся по дороге.

На другой вечер он устроил себе ночевку под укрытием большой черной скалы, привязав стреноженного яка к колу, вбитому в землю. Сильное свечение облаков в этих северных широтах останавливало на себе

его взгляд, и не раз ему мерещились темные силуэты, вычерчивавшиеся на их фоне. На третье утро он завидел первую каменоломню и поздоровался с людьми, орудовавшими там киркой и тесалом. До наступления вечера он миновал одиннадцать приломов; ибо весь этот край, целиком преданный ониксовым скалам и валунам, начисто лишенный растительности, был россыпью огромных обломков камней на черной земле, с неотступно встающими по правую его руку серыми неприступными пиками, голыми и зловещими.

Третью ночь он ночевал в лагере камнеломщиков, и мятущееся пламя их костров играло неотмирными отсветами на глянцевиных утесах запада. И во многих пропетых ими песнях и во многих рассказанных ими сказаниях проблескивали столь странные познания о стародавнишних днях и о повадках богов, что Картер в том усмотрел лежащую под спудом память о Вящих, из чресел которых они вышли. Они спрашивали его, далеко ли он направляется, и остерегали слишком забираться на север; но он отвечал, что приискивает новые ониксовые гряды и рисковать собирается не более, чем оно принято у старателей. Наутро он распрощался с ними и пустился дальше в сгущающийся мрак севера, где, остерегали они его, он найдет страх наводящую и заброшенную каменоломню, в которой чудовищного размера глыбы выворачивались десницей более древней, чем рука человека. Но когда он обернулся, чтобы послать прощальный привет, и ему померещилось, что к лагерю приближается тот приземистый и уклончивый старик-купец с раскосыми глазами, которого сделала притчею во языцех далекого Дилат-Леена молва о его торговых делах с Ленгом, это ему сильно не понравилось.

Он миновал еще две каменоломни, и, казалось, обитаемые земли Инкуанок остались позади, и дорога сузилась до крутой звериной тропы, поднимавшейся меж угрозных черных круч. Справа неотступно вставали ребристые и дальние вершины, и по мере того, как Картер забирался всё глубже в этот нехоженный край, он замечал, что становится всё сумрачнее и холоднее. Вскоре ему сделалось внятно, что на черной тропе нет следа ни ноги, ни копыта, и он понял, что и впрямь забрел на незнанные и нетореные распутия давнишних времен. Иной раз высоко над ним раздавался вороний гай, и по временам шум крыльев из-за какой-нибудь необъятной скалы заставлял его с беспокойством думать об оглашенных молвою черногор-птицах. Но в основном он был в одиночестве со своим косматым коньком и проникался тревогой, наблюдая, как оный превосходный як проявляет всё большую неохоту идти вперед и всё большую наклонность в испуге храпеть от малейшего шума по пути.

Тропа пролежала теперь в теснине меж чернотелыми с искрою отвесными скалами и начинала подниматься вверх еще круче, чем прежде. Было неустойчиво, и як часто оскальзывался на каменных осколках, густо усыпавших всё вокруг. Часа через два Картер увидал впереди отчетливый горный гребень, за которым не было ничего, кроме тусклого серого неба, и благословил саму возможность идти по ровному или под гору. Однако добраться до этого гребня было нелегкой задачей, поскольку тропа вздымалась едва ли не отвесной стеной и грозила опасностью из-за осыпей черного гравия и мелких камней. В конце концов, Картер спешился и, изо всех сил стараясь не оступиться, повел своего одолеваемого сомнениями яка в поводу, таща его на аркане, когда животное спотыкалось или артачилось. Потом он неожиданно вышел на перевал и посмотрел вдаль, и дыхание его занялось от увиденного.

Тропа действительно шла напрямиком и слегка под гору между тех же высоких естественных стен, что и прежде; но по левую руку там открывалось чудовищное пространство, необъятное по размаху, где некая первобытная сила расколола и раздробила природную ониксовую гряду в форме великанской каменоломни. Далеко в толщу отвесных скал уходила эта циклопическая выработка, и глубоко во чреве земли зияли ее нижние ямины. Это была нечеловеческая каменоломня, и вогнутые стены ее изъезжляли огромные квадратные впадины в ярды шириной, говорившие о размерах плит, некогда вырубленных безымянной рукой и тесалом. В вышине над ее рваными краями раздавался шум крыльев и грай громадных воронов, и невнятный шурш в незримых глубинах говорил о нетопырях, о черных муриях или об иных нелегко называемых присутствиях, что наваждают бесконечные мраки. Картер стоял в теснине и в сумраке, облегающем вокруг; каменистая тропа перед ним уходила вниз; по правую его руку высокие ониксовые скалы тянулись, покуда хватал глаз, по левую же высокие скалы обрывались чуть впереди тем ужасным и словно не в земной тверди вырубленным приломом.

Вдруг як громко заревел и, выравшись из сдерживающей руки, одним прыжком промахнул мимо и опрометью ринулся прочь, скрывшись под склоном узкой тропы на севере. Камни, которые он выбивал, почти не касаясь земли копытами, падали через край каменоломни и беззвучно терялись во мраке, так и не достигнув дна; но Картер не думал об опасностях ненадежной тропы, когда не переводя духа гнался за своим понесшимся вскачь буцефалом. Вскоре скалы по левую руку опять поднялись во весь рост, заново обращая тропу в узкую теснину; а странственник всё еще гнался за яком, размашистые глубокие следы

которого говорили об отчаянном бегстве.

Раз ему послышался топот перепуганной скотинки, и, приободрившись, он прибавил скорости. Миля за милей оставались позади, и тропа перед ним постепенно раздавалась вширь, пока он не понял, что того и гляди окажется в холодной и страх наводящей пустыне, лежащей на севере. Ребристые серые скаты дальних неприступных вершин снова обозначились над кручами по правую руку, а впереди были скалы и валуны открытого пространства, явно свидетельствующие о приближении сумрачной и бесконечной равнины. И снова яснее прежнего прозвучали в его ушах те удары копыт, но на сей раз преисполнив его вместо бодрости ужасом, когда он понял, что это не топот его перепуганного яка. Это был свирепый и намеренный топот, и раздавался он у него за спиной.

Погоня за яком теперь превратилась в бегство от невидимой твари, и хотя Картер не решался оглянуться, он чувствовал враждебное присутствие за своей спиной. Як, должно быть, первым слышал или учуял его, и Картер задавался неприятным вопросом, не от самых ли человеческих обиталищ преследуют его, или неведомое выпросталось из той черной преисподней каменоломни. Утесы остались, между тем, позади, так что мгла наступающей ночи легла на огромную пустыню песков и призрачных скал, где все дороги терялись. Отпечатков копыт своего яка он не различал, но из-за спины неотступно доносился гнусный тот топот, временами сливаясь с тем, что его фантазия рисовала как хлоп исполинских крыльев и шурш чешуй. С горестной ясностью он понимал, что проигрывает в расстоянии, что безнадежно заблудился в этой сокрушенной и проклятой пустыне бессмысленных камней и нехоженных песков. Лишь те отдаленные и неприступные вершины справа давали ему некоторое ощущение направления, но и они виднелись более смутно по мере того, как убывал серый сумрак и его место заступало тошнотворное мрение облаков.

Тут, зыбко и туманно на помраченном севере прямо перед собой, он заметил ужасную вещь. В первые мгновения он было принял ее за гряду черных гор, но теперь видел, что это нечто большее. Оно отчетливо проступало в свечении нависающих облаков и кое-где на фоне мреющего наволока даже прорисовывалось силуэтом. Далеко ли было оно, Картер не мог бы сказать, но должно быть далеко. Оно высилось на тысячи футов, огромной вогнутой дугой протянувшись от серых неприступных вершин до невоображаемых пределов на западе, и некогда было впрямь огромными горными гребнями оникса, но теперь те горы уже были не горы, ибо некто приложил к ним сверхчеловеческую руку. Безмолвно воссели они на высотах мира, подобно волкам или упырям, испокон веков в венце облаков

и туманов блюдя тайны севера. Великим полукольцом воссели они, те сторожевые псы-горы, принявшие на себя статуарный вид чудовищных соглядателей, и с угрозой заносили они десницу на весь людской род.

Только в неверном свете облаков могло показаться, что их двойные головы в митрах задвигались, но, промыкавшись еще сколько-то на подкашивающихся ногах, Картер увидел, как из покрывающей их пелены взнимаются громадные фигуры, движения которых не были обманом зрения. С хлопом крыльев и чешуистым шуршем, каждый миг те фигуры делались всё огромнее, и странственник понял, что его мыкание подходит к концу. Это были не птицы и не летучие мыши, ибо размером они превосходили слона, а голову имели наподобие лошадиной. Картер понял, что это и были оглашенные худой молвой черногор-птицы, и больше не задавался загадкой, что за злые сторожа и безымянные дозорные заставляют людей чураться борейской каменной пустыни. И, смиряясь окончательно перед судьбой, он остановился и наконец решился оглянуться назад, где и впрямь всюю поспешал приземистый раскосый торговец, прославивший недоброй славой, и склабился, сидя верхом на поджаром яке и предводительствуя пагубному сонму черногор-птиц, с чьих крыльев еще не сошел селитристый обмет преисподних бездн.

Хотя и угодивший в ловушку баснословных и крылатых ночных мар с лошачьими головами, теснивших его со всех сторон гигантским безбожным кольцом, Рэндольф Картер не лишился сознания. Выспренние и жуткие, громоздились над ним те исполинские химеры, а раскосый купец спрыгнул с яка и, осклабясь, стоял перед пленником. Потом знаками он велел Картеру сесть на спину одной из отвратительных черногор-птиц, подсаживая его, пока в том здравомыслие боролось с отвращением. Взобраться было нелегким делом, поскольку чешуи покрывают черногор-птиц вместо перьев, и чешуи те отменно скользкие. Как только он сел, раскосый старик вскочил позади него, а брошенный им поджарый як уплеся на север к полукольцу статуарных гор, ведомый в поводу одной из невообразительных птиц-колоссов.

И тогда, ввинчиваясь тошнотворной спиралью в густой и мерзлый воздух бесконечно вверх и к востоку, они понеслись к ребристым серым склонам тех неприступных гор, за которыми, говорят, простирается Ленг. Высоко над облаками летели они, пока наконец не увидели под собою те пресловутые вершины, которых никогда не видят жители Инкуанока и которые всегда скрыты в завивающихся клубках мреющего тумана. Картер созерцал их с отменной отчетливостью, пока они проплывали под ним, и в утесах у самой вершины рассмотрел странные пещеры, напомнившие

пещеры Нгранека; но он не стал ни о чем расспрашивать своего поимщика, когда заметил, что и сам старик, и лошадиноголовые черногор-птицы проявляли признаки необычного страха и судорожно спешили поскорее их миновать, выказывая всяческое напряжение, пока не оставили их далеко позади.

Но вот черногор-птицы спустились пониже, и под навесом облаков обнаружилась серая бесплодная равнина, где на преогромном расстоянии друг от друга тлели хилые огоньки. По мере того как они снижались, появлялись хижины из гранита, стоявшие особняком, и мрачные каменные селения, чьи крошечные оконца посвечивали тусклым светом. От этих хижин и селений подымался заунывный визг дудок и тошнотворное гроыхание кроталы, дающие лучшее доказательство тому, сколь правы обитатели Инкуанок в своих географических домыслах. Ибо путешественники слыхивали подобные звуки и знали, что долетают они лишь с того холодного и пустынного плоскогорья, куда вовек не заходят добрые люди; с того наваждаемого глубоким и таинственным злом места, которое есть Ленг.

Вокруг хилых огней плясали и темные силуэты, и Картера взяло любопытство, что это за твари и какой породы; ибо добрые люди вовек не бывали на Ленге и место это знают лишь по его огням и каменным хижинам, виденным издалека. Весьма нерезво и неуклюже прыгали те силуэты и с безумными изворотами и погибами, на которые было негоже смотреть; и Картеру показалось не в диво то безобразное зло, которое к ним относит глухое предание, и тот страх, в котором держит весь дремный край их омерзительное стылое плоскогорье. Еще ниже опустились черногор-птицы, и в отвратительности плясунов появился жуткий привкус чего-то знакомого; и пленник всё напрягал зрение и память в поисках разгадки того, где мог он прежде видеть подобных тварей.

Они прыгали так, словно вместо ступней у них были копыта, и голову их покрывал как бы некий парик или головной убор с рожками. Других одежд они не имели, но большинство их было отменно космато. Сзади у них болтались недоростки-хвосты, а стоило им запрокинуть голову, он заметил их сверх меры распытые рты. Тут он понял, что они были за твари и что на них всё же не было ни париков, ни головных уборов. Ибо загадочные обитатели Ленга были одной породы с теми неладными купцами с черных галер, что промышляли рубинами в Дилат-Леене; с теми купцами-нелюдью, которые были рабами чудовищных тварей с луны! Они были впрямь теми же выходцами из тьмы, которые так давно, опоив, умыкнули Картера на своей смердящей галере и чьих сородичей на его

глазах табунами гнали по нечистым пристанищам того окаянного лунного города, где более тощих из их числа ставили на работу, а более толстых в клетях увозили прочь, дабы они могли послужить другим надобностям их бескостных, ноздреватых, как губка, хозяев. Теперь он понимал, откуда берутся такие двоякие твари, и содрогнулся при мысли, что, наверное, Ленг известен тем бесформенным лунным уродищам.

Но черногор-птицы пролетали над огнями, и каменными хижинами, и недочеловеческими плясунами и взмывали над безжизненно голыми кручами серого гранита и тусклой пустыней камня, и льда, и снега. Наступил день, и мрение нависающих облаков уступило место туманной полумгле той северной земли, и по-прежнему мерзкая птица с умыслением возмущала крыльями стужу и тишину. По временам раскосый старик заговаривал со своим гиппоцефалом на ненавистном и гортанном наречии, и черногор-птица отвечала ему верезжающими звуками, режущими скрежетом, как стеклом по стеклу. Равнина между тем повышалась, и наконец они достигли открытого всем ветрам плоскогорья, которое казалось настоящей крышей некоего проклятого и нежилого мира. Там одиноко, в тишине, во мраке и в стуже, поднимались неказистые камни приземистой постройки без окон, которую обстоял круг нетесаных монолитов. Ничего человеческого не было в том, как всё это было устроено, и по старинным сказаниям Картер догадывался, что впрямь угодил в то самое страшное и самое небывалое из всех мест место, в тот далекий доисторический монастырь, где обитает в отсутствии братьев Первосвященник, коего не описать, покрывающий лицо маской желтого шелка и приносящий молитвы Иным Богам и их ползучему хаосу Ньярлафотеу.

И вот отвратительная птица опустилась наземь, и раскосый старик спрыгнул сам и ссадил с нее своего пленника. Теперь Картер нимало не сомневался в том умысле, с каким его захватили; ибо раскосый купец несомненно являлся поборником мрачайших сил, исполненным рвения повергнуть к стопам своих повелителей смертного, в самомнении своем посягнувшего на то, чтобы найти неведомый Кадат и с молитвой преклониться перед Вящими в их ониксовых чертогах. Сдавалось, что его пленение в Дилат-Леене рабами лунных тварей было делом рук этого же купца и что теперь он вознамеривался довершить то, чему помешали свершиться спасительные кошки: доставить жертву на некое пугающее свидание с чудовищным Ньярлафотепом и рассказать о дерзости, с какой предпринимались поиски неведомого Кадата. Ленг и холодная пустыня на севере от Инкуанок должны подходить к самым пределам

Иных Богов, и подступы к Кадату здесь отменно блюдут.

Раскосый старик был мелкоросл, но на случай послушания там имелась огромная птица-гиппоцефал; стало быть, Картер пошел, куда его повели, и, войдя в круг вздымающихся камней, вступил потом через низкую арку в ту каменную обитель без окон. Внутри не было света, но злой купец зажег малый глиняный светильник с глубоко вдавленным нездоровым рисунком и заторопил своего пленника лабиринтами узких извилистых коридоров. Пугающие росписи на стенах в манере, неведомой земным археологам, изображали картины древнее, чем сама история. По прошествии бесчисленных эонов краски их ничуть не пожухли, ибо сушь и стужа мерзкого Ленга продлевают жизнь многим первобытным вещам. Картер видел их промельком в отсветах того тусклого и движущегося светильника, и его бросило в дрожь от рассказа, который они вели.

В тех первозданных фресках проходило всё векописание Ленга; и недочеловеки с рогами, копытами и распятыми ртами порочно плясали в забытых городах. Там были сцены старинных баталий, где недочеловеки Ленга сражались с жирными черно-багровыми пауками сопредельных равнин; там были и сцены появления черных галер с луны и смирения обитателей Ленга перед теми ноздреватыми и бескостными сквернами, что, кривляя всем телом, выпрастывались из галер. Этих склизлых серовато-белесых скверн они стали почитать как богов и не роптали даже на то, что их самых лучших и самых толстых мужских особей увозили в черных галерах прочь. Чудовищные лунари избрали своим пребыванием остров зубчатых скал посредине моря, и по росписям Картер определил, что это было не что иное, как тот одинокий безымянный кряж, который он видел, плывя в Инкуанок; тот серый окаянный кряж, которого мореходцы Инкуанок чураются и откуда всю ночь напролет раскатывается мерзкое завывание.

И показывался на тех фресках великий порт и престольный город недочеловеков; кичливый и колончатый меж утесами и набережными из базальта, и диковинный своими гордыми капищами и вычурными дворцами. От утесов и от каждых из шести увенчанных сфинксами ворот цветущие просади и улицы-колоннады сходились к пространной главной площади, и на той площади колоссальное парное изваяние крылатых львов стояло на страже у подземельной лестницы. Снова и снова показывались те громадные крылатые львы, лоснясь могучими боками из адулярия в серой полумгле дня и облачном мнении ночи. И когда Картер на нетвердых ногах проходил мимо их частых и повторяющихся изображений, его наконец осенило, что они были такое на самом деле и что это был за город, в

котором до прихода черных галер в древнейшей древности властвовали недочеловеки. Тут было нельзя ошибиться, ибо предания дремного края щедры и обильны. Несомненно, тот первобытный город был не иначе как сам словутый Саркоманд, чьи развалины побелели за миллион лет до того, как первый взаправдашний человек появился на свет, и чьи исполинские парные львы испокон веков стерегут ступени, низводящие из дремного края в Великую Бездну.

На других росписях показывались ребристые серые пики урочища, отделяющего Ленг от Инкуанока, и чудовищные черногор-птицы, что гнездятся на их уступах в полвысоты от подножия. Представлялись на фресках и удивительные пещеры, отверзающиеся у самых вершин, и то, как даже самые лихие среди черногор-птиц не помня себя шарахаются от этих отверстий. Картер рассмотрел те пещеры, пролетая над ними, и заметил их сходство с пещерами Нгранека. Теперь он знал, что сходство то нечто большее, чем простая случайность, ибо на фресках изображались их пугающие обитатели; и те крылья нетопырей, загнутые рога, шипастые хвосты, цапколапые и резинистые тела он видел не в первый раз. Он встречал и прежде тех безмолвных, стремительных и ухватчивых тварей, тех безмозгих охранителей Великой Бездны, которые наводят страх даже на Вящих и держат за своего господина не Ньярлафотепа, но седой древности Ноденса. Ибо то были костоглодные черничи, которые не улыбаются и не смеются за изъятием лица и нескончаемо носятся на своих перепонках во мраке между Продолгом Пнат и путями во внешний мир.

И вот раскосый купец толкнул Картера в огромное куполоверхое помещение, резные изображения по стенам которого одним своим видом навлекали смотрящему смерть; и в центре которого разевался круглый колодец, окруженный кольцом шести каменных жертвенников в тлетворных пятнах. В этой пространной, проникнутой ядовитым духом крипте не было света, и малый светильник зловещего купца едва теплился, так что подробности проступали лишь мало-помалу. В дальнем конце выдавался высокий каменный помост, и к нему вело пять ступеней; и там на золотом престоле сидела одутловатая фигура, облаченная в фигурные, желтые с красным, шелка и скрывающая лицо под желтой шелковой маской. К этому существу раскосый старик обратился с некоторыми рукодейными знаками, и в ответ прячущийся во мраке поднял в скрытых шелками лапах флейту слоновой кости с мерзкими вычурами и, дуя в нее из-под колышущейся желтой маски, произвел некоторые отвратительные звуки. Это собеседование продолжалось известное время, и для Картера было нечто дуротно знакомое в звуках той флейты и в смраде того

зловонного помещения. Оно приводило на память пугающий, в красном зареве город и гнусную процессию, однажды через тот город тянувшуюся; город и ужасный путь по лунным окрестностям за городом, пока не случился спасительный набег дружественных кошек с земли. Он знал несомненно, что существо на помосте — тот самый Первосвященник, коего не описать, о котором предание нашептывает столь бесовские домыслы и кривотолки, но ему было страшно помыслить, чем, не ровён час, тот мерзейший архемаг окажется.

И тут фигурные шелка чуть сползли с одной иссера-белесой лапы, и Картер узнал, чем, в недобрый час, тот смрадный архемаг оказался. И в ту ужасающую минуту животный страх толкнул его на то, на что рассудок бы никогда не отважился, ибо во всем его потрясенном сознании осталось место только одному неистовому желанию избежать того, что одутловато пучилось на том золотом престоле. Он знал, что камень отделяет его безнадежными лабиринтами от внешнего мира холодного плоскогорья и что и на том плоскогорье поджидает по-прежнему губительная черногор-птица; но вопреки всему этому все его мысли занимала лишь неотложная нужда избавиться от кривляющегося в шелках уродища.

Раскосый старик поставил свой странный светильник на один из высоких и неприятно замаранных жертвенников у колодца и, немного подавшись вперед, говорил с первосвященником рукодейными знаками. И тогда Картер, до сих пор косневший в безволии, толкнул старика со всей яркой силой, порождаемой страхом, и жертва его так и опрокинулась в тот разинувшийся колодец, который достгает, по слухам, под адовы своды Зина, где во мраке гаги охотятся на уморищ. Почти в ту же секунду он схватил с жертвенника светильник и ринулся прочь в расписные лабиринты, мчась то в одну сторону, то в другую, как приходилось, и стараясь не думать ни о бескостных лапах, воровато шаркающих за ним по камням, ни о кривляниях и поползновениях беззвучно творившихся в коридорах у него за спиной.

Несколько мгновений спустя он раскаялся в своей безрассудной спешке, жалея, что не попытался держаться в обратном порядке тех фресок, которые миновал на пути сюда. Правда, были они столь запутанны и столь часто повторяли друг друга, что едва ли в том был для него большой прок, и все-таки он жалел, что не сделал этой попытки. Те, которые он видел теперь, были еще ужаснее тех, которые он видел тогда, и он понимал, что угодил не в те коридоры, которые выводят наружу. Со временем он твердо уверился, что его не преследуют, и несколько сбавил шаг, но стоило ему с толикой облегчения перевести дух, как уже новая

опасность нависла над ним. Светильник его угасал, и скоро предстояло ему оказаться в мороке мрака, без помощи зрения и всякого иного водительства.

Светильник догорел, и он стал медленно пробираться на ощупь и просить Вящих о ниспослании помощи, какая им заблагорассудится. По временам он чувствовал уклоны пола то вверх, то вниз, и раз запнулся о ступеньку, для которой не было разумного объяснения. Чем дальше он шел, тем больше его пронимало сыростью, и когда он на ощупь определял развилку или отверстие бокового хода, то неизменно выбирал дорогу, наименее уводящую под уклон. Однако в целом он явно двигался по нисходящей: и запах подвала, и отложения на сальном полу и стенах равно предупреждали его, что он всё глубже забирается в нечестивые недра плато Ленг. Но то, что наконец приключилось, приключилось безо всякого предупреждения — оно грянуло сразу, со всей своей силой и ужасом, и спирающим дыхание хаосом. Только что он медленно пробирался на ощупь по скользкому и почти ровному полу — и вот уже падает камнем вниз во мраке почти отвесного хода.

Долго ли продолжалось тошное то скольжение, знать наверняка он не мог, но казалось, что прошли часы подкатывающего к горлу помрачения и неистового исступления. Потом он осознал, что лежит неподвижно и над ним мертвенно мреют мерцающие облака северной ночи. Окрест него были полуосыпавшиеся стены и разбитые колонны; и мостовая, на которой он лежал, прорастала вездесущим былем и дыбилась, развороченная частым кустарником и кореньем. Позади него поднимался базальтовый утес, отвесно уходящий в небеса; в черном его боку выпукло выступали резные изображения отталкивающих картин и под фигурными арками отверзались входы в черные недра, исторгшие его из себя. Впереди простирались двойные колоннады, и обломки и цоколи колонн говорили о широкой и канувшей в небытие улице; по вазам же и чашам, тянувшимся по бокам, он догадывался, что это был большой и пышный просад. В дальнем его конце колонны расступались, обозначая необъятную круглую площадь, и в том разомкнутом кольце под зловеще мреющим ночным наволоком громадились исполинами чудовищные парные истуканы. Это были огромные крылатые львы из адуляра, и мрак и сень залегали меж ними. На полных двадцать футов они вздымали чудные и страшные и невредимые свои головы и с насмешкой скалились на развалины окрест. И Картер хорошо знал, что они должны быть такое, ибо лишь об одной подобной чете говорит предание. То были бессменные стражи Великой Бездны, и эти сумрачные развалины были взаправду Саркомандом прамира.

Первое, что предпринял Картер, это заложил и заставил проем арки в

утесе упавшими плитами и повсюду валявшимся каменным мусором. Он отнюдь не желал погони из гадкого монастыря Ленга, когда на предстоящем пути и так подстерегало немало опасностей. О том, как из Саркоманда попасть в обитаемые места дремного края, он ничего ровным счетом не знал; не много он выиграл бы и спустившись в пещеры упырей, поскольку знал, что они осведомлены не лучше его. Троица упырей, помогавшая ему выбраться через город гагов во внешний мир, не знала, как попасть в Саркоманд на обратном пути, но намеревалась расспрашивать бывалых торговцев в Дилат-Леене. Ему не хотелось и думать о том, чтобы снова спуститься в подземельный мир гагов и опять изведать превратности той адовой башни под знаком Коф с ее циклопической лестницей, ведущей в заколдованный лес, однако у него было чувство, что, не ровён час, ему придется испробовать этот путь, если не заладится всё остальное. Без сподвижников он не отваживался пускаться через плато Ленг с лежащим по пути уединенным монастырем: лазутчиков первосвященника должно быть многое-множество, в конце же дороги наверняка предстоит иметь дело с черногор-птицами, а возможно, что и с другими монстрами. Имей он лодку, он бы мог отправиться назад в Инкуанок по морю мимо того острозубчатого и мерзкого кряжа, ибо из первобытных росписей в лабиринтах монастыря явствовало, что пугающее то место лежит невдалеке от базальтовых набережных Саркоманда. Но раздобыть лодку в городе, где царит запустенье веков, было делом невероятным, и мало походило на то, чтобы он смог соорудить лодку сам.

Рэндольф Картер отдавался подобным размышлениям, когда новое впечатление начало торить дорогу в его сознание. Перед ним всё так же лежал, словно раскидавшись во всю ширь мертвыми членами, Саркоманд предания, с его черными разбитыми колоннадами и сфинксами, венчающими обветшалые ворота, и великанскими камнями, и чудовищными крылатыми львами, резко означавшимися против мертвенного зарева тех мреющих ночных облаков. И тут далеко впереди и правее он увидел некое зарево, которое нельзя было приписать никаким облакам, и понял, что в безмолвии мертвого города он не один. Судорожными сполохами зарево то вздувалось, то опадало, играя зеленоватыми отсветами, что отнюдь не успокоило наблюдавшего. И когда по запруженной сором улице и через узкие лазы меж рухнувших стен он подобрался поближе, ему сделалось внятно, что то был разложенный у причалов походный костер со множеством смутных фигур, обступивших его всепомрачающей массой: внятен стал и носившийся надо всем тлетворный запах. Дальше маслянисто плескалась вода в гавани, где

покачивался на якоре огромный корабль, и Картер замер в ужасе, когда увидел, что тот корабль был впрямь одной из черных галер с луны.

Он уже готов был отпрянуть назад от тех мерзостных огненных сполохов, когда заметил движение среди зыбких черных фигур и услышал особенный и безошибочно узнаваемый звук. Это было испуганное чмыкание упыря, через секунду многоголосо разразившееся неподдельной мукой. Чувствуя себя в безопасности под сенью чудовищных руин, Картер позволил любопытству одержать верх над страхом и вместо отступления снова стал пробираться вперед. Раз, преодолевая открытое место, он, извиваясь червем, прополз на животе; другой раз ему пришлось встать во весь рост, чтобы не наделать шума, пробираясь меж грудями мраморных обломков. Но всякий раз ему удавалось остаться незамеченным, и скоро он нашел точку за титанической колонной, откуда мог целиком обозреть место действия, залитое зеленым светом. Вкруг безбожного огня, подкармливаемого мерзкими лунными лишайниками, расселся смердящий кружок жабьих тварей с луны и их недочеловеческих рабов. Некоторые из этих рабов, нагревая в пляшущих огненных языках замысловатые железные копыя, раз за разом прикладывали их добела раскаленные острия к трем связанным по рукам и ногам пленникам, которые, корчась в муках, лежали перед главарями отряда. По тому, как шевелились их щупальца, Картер увидел, что плоскорылые твари с луны получают от зрелища отменное удовольствие; и велик же был его ужас, когда он внезапно узнал отчаянное чмыкание и понял, что истязаемые упыри были не кто иные, как та верная троица, которая его вывела целым и невредимым из преисподней, после чего и отправилась из заколдованного леса на поиски Саркоманда и преддверия своих родных тартаров.

Число злосмradных тварей с луны вкруг того отсвечивающего зеленым огня было преизрядным, и Картер понимал, что в ту минуту он был бессилен избавить своих прежних сподвижников. О том, как угодили в плен упыри, он мог только гадать, но представлял себе дело так, что серые жабыи скверны, прослышав в Дилат-Леене об их расспросах касательно дороги в Саркоманд, не пожелали их так близко подпускать к незаконному плато Ленг и первосвященнику, коего не описать. На мгновение он задумался, как ему следует поступить, и вспомнил, что стоит у самого преддверия черного упыриногo царства. Несомненно, самым разумным было прокрасться на площадь львов-близнецов и немедля спуститься в бездну, где ему не грозят страшилища хуже тех, что останутся наверху, и где он надеялся отыскать упырей, готовых живо броситься на выручку своих братьев, а возможно, и окончательно разделаться с лунными тварями

с черной галеры. Ему подумалось, что вход, как и другие ворота в бездну, могут охранять сонмы костоглодных черничей; но теперь он не боялся тех созданий с изъятьем лица. Он узнал, что они связаны с упырями честными уговорами, и от упыря, который был Пикмэном, научился, как прошептать скороговоркой пароль, понятный их разумению.

И вот Картер снова бесшумно, шаг за шагом пустился через развалины, медленно продвигаясь к огромной площади и крылатым львам. Это было опасное предприятие, но твари с луны занимались приятным делом и не расслышали того легкого шума, который он дважды нечаянно произвел на каменных осыпях. Наконец он вышел на открытое место и стал пробираться среди чахлах деревьев и стелющихся трав, заглушавших площадь. Гигантские львы грозно нависали над ним в мертвящем свечении мреющих ночных облаков, но он мужественно следовал своему пути и скоро, обойдя их, оказался с ними лицом к лицу, зная, что именно с той стороны отверзается та великая тьма, которую они стерегут. В десяти футах друг от друга сидели на подвернутых лапах, насмешливо скалясь, звери из адуляра, бременеющие на своих циклопических пьедесталах с высеченными по бокам пугающими барельефами. Меж ними уместился выложенный изразцами дворик, середину которого некогда окружала балюстрада из оникса. В центре этого пространства открывался кладезь бездны, и Картер скоро понял, что впрямь достиг той зияющей пропасти, чьи закрывшиеся мхом и отложениями каменные ступени низводили в подземелья ночных мар.

Ужасом обуревают память о мрачном том нисхождении, когда час истекал за часом, а Картер всё кружил и кружил незряче по спирали крутых и скользких ступеней бездонного спуска. И так узки и стерты были ступени и так испотевали соками земляного нутра, что сходящий по ним поминутно мог ждать дух захватывающего падения и низвержения в глубочайшие пропасти; точно так же, как в любую секунду могли вкогтить в него свои лапы охранительные костоглодные черничи, если впрямь в том первобытном колодце были отряженные из их числа. Всё проникал собою спирающий дыхание смрад преисподних, и он чувствовал, что не смертному племени предназначено дышать воздухом удушающих тех глубин. С течением времени он впал в тяжелое оцепенение и сонливость, двигаясь больше как механически заведенный, чем по рассудочному волею; не осознал он перемены, и совсем перестав двигаться, когда нечто неслышно ухватило его сзади. Он уже стремительно мчался по воздуху, прежде чем злокозненное ущипывание подсказало ему, что резинистые костоглодные черничи выполнили свой долг.

Очнувшись в холодной и влажной хватке крыланов с изъятием лица, Картер вспомнил пароль упырей и как можно громче прошепел его скороговоркой в вихре и сумбуре полета. Хотя костоглодные черничи, как говорят, и безмозгие, действие сие возымело в ту же секунду; ибо всяческое ущипывание было мгновенно прекращено и твари поспешили перехватить пленника в более удобное положение. Приободренный этим, Картер отважился на некоторые объяснения, сказав о поимке и истязании троих упырей лунными тварями и о нужде подняться на выручку им. Хотя, казалось бы, и бессловесные, костоглодные черничи понимали то, что им говорилось, и выказывали больше поспешности и устремленности в своем полете. Неожиданно плотная чернота уступила место серому сумраку земляного нутра, и впереди открылась одна из тех плоских безжизненно голых равнин, на которых упыри любят присесть на корточки и кое-что погрызть. Разбросанные надгробия и осколки костей говорили о том, кто здесь обитает; и когда Картер издал громкое чмыканье, означающее немедленный сбор, десятки нор извергли из себя своих кожистых, псообразных жильцов. Костоглодные черничи, опустившись пониже, поставили своего пассажира на ноги, после чего поотступили поодаль и сбились в нахохленный полукруг на земле, пока упыри здоровались с новоявленным гостем.

Пришепетывающей скороговоркой Картер быстро и обстоятельно сообщил свои вести дикообразному сборищу, четверо из которого тут же отправились разными норами оповещать остальных и поднимать возможное ополчение на выручку. После долгого ожидания появился важного вида упырь и, подав костоглодным черничам некоторые говорящие знаки, отправил двоих во тьму. Нахохлившаяся на равнине стая все прибывала и прибывала, пока наконец преисполненная тины земля не почернела от этих тварей. Между тем свежие силы упырей выползали из нор и, пришепетывая возбужденной скороговоркой, собирались в нестройные боевые ряды невдалеке от сбившихся в кучу костоглодных черничей. В свое время явился осанистый и сановитый упырь, некогда бывший художником Ричардом Пикмэном из Бостона, и ему Картер пришепетывающей скороговоркой и с отменной полнотой поведал обо всем происшедшем. Довольный, что повидался со старинным приятелем, преждебывший Пикмэн вынес из рассказа, казалось, сильное впечатление и взялся держать совет с другими предводителями в стороне от растущей толчеи.

Наконец, заботливо обозрев собравшиеся ряды, ассамблея предводителей чмыкнула в один голос и, пришепетывая, начала

скороговоркой отдавать приказы полчищам упырей и костоглодных черничей. Большой отряд рогатых крыланов сразу же улетучился, остальные же, разбившись по двое, встали на колени и сцепили передние лапы, поджидая подходивших по одному упырей. Как только упырь приближался к предназначенной ему паре, его тут же подхватывали и уносили во тьму; пока не рассеялась вся толпа, за исключением Картера, Пикмэна с прочими предводителями и нескольких пар костоглодных черничей. Пикмэн объяснил, что костоглодные черничи выступают в роли передового отряда и батальной кавалерии упырей и что ополчение двинулось на Саркоманд, чтобы разделаться с лунными тварями. Потом Картер и упыриные предводители подошли к ожидавшимся ношатаям и были подхвачены влажными и скользкими лапами. Еще миг, и всё закружилось в вихре и во тьме; бесконечно всё вверх и вверх, к воротам крылатых львов и призрачным руинам первозданного Саркоманда.

Когда после долгого промежутка Картер снова увидел мертвенно мреющие ночные небеса Саркоманда, они нависали над огромной главной площадью, воинственно кипящей упырями и костоглодными черничами. Он был уверен, что наступал уже день, но такому могучему полчищу было необязательно нападать на врага врасплох. У причалов еще слабо отсвечивало зеленоватыми бликами, но чмыкающие упыриные стенания унялись в знак того, что истязания до поры прекратились. Тихой скороговоркой прошепетава указания своей кавалерии и стае костоглодных черничей без седоков, упыри густым глубоким строем с шуршанием взмыли ввысь и понеслись над мрачными развалинами к злому огню. Картер был плечо к плечу с Пикмэном в первых рядах упырей и на подлете к смердящему стану увидел, что твари с луны ни к чему подобному не готовы. Трое пленников лежали у огня связанные и неподвижные, а жабы их поимщики сонно поосели кто где придется. Спали и недочеловеческие рабы, и даже караульные отлынивали от дела, которое наверняка в этих краях им казалось пустой формальностью.

Решающий налет костоглодных черничей и оседлавших их упырей случился отменно внезапным, костоглодные черничи перехватили по одному всех иссера-белых жабьих скверн и недочеловеков-рабов раньше, чем был издан хотя бы звук. Твари с луны были, конечно, безгласые, да и рабам не представилось ни малейшего случая заголосить до того, как резинистыми лапами перехватило им горло. В жутких корчах изворачивались громадные студенистые уродища в хватках лапах злоязвительных черничей, но не было выверта против силы тех черных когтистых зацеп. Если лунарь корчился уж слишком неистово,

костоглодный чернич хватал его и дергал за розовые щупальца; это, видно, причиняло такую боль, что жертва обмякала и больше не билась. Картер ожидал увидеть большое побоище, но обнаружил, что упыри куда изощренней в своих намерениях. Пришепетывающей скороговоркой коротко распорядившись костоглодными черничами, докончить дело они препоручили инстинкту; и вскоре незадачливых тварей без звука унесли прочь в Великую Бездну для справедливого дележа между дхоями, гагами, уморищами и другими обитателями мрака, чьи повадки в еде не обходятся безболезненно для избранных ими жертв.

Тем временем троих упырей освобождали от пут и утешали их победительные сородичи, пока разбившиеся на отряды прочесывали окрестности на случай уцелевших лунарей и поднимались на борт злосмрадной черной галеры у причала, чтобы удостовериться, что никто не ушел от расправы. Картер, жаждущий заручиться средством, дающим доступ ко всему дремному краю, взывал к ним не пускать ко дну стоявшую на якоре галеру; и эту просьбу охотно выполнили из благодарности за весть о беде угодившей в плен троицы. На корабле нашлись прелюбопытные вещицы и украшения, часть из которых Картер тут же выбросил в море.

Упыри и костоглодные чернич собирались теперь по отдельности между собой, и упыри расспрашивали своих избавленных сотоварищей о прошлых их приключениях. Как видно, троица последовала наставлениям Картера и отправилась из заколдованного леса в Дилат-Леен, через Нир и за реку Скай, стянув из стоящей на отшибе усадьбы людское платье и стараясь как можно лучше приспособить свою побегку под человеческую ходьбу. В тавернах Дилат-Леена несуразные их повадки и физиономии породили множество толков, но они не отступались и разузнавали дорогу в Саркоманд, пока наконец не нашелся бывалый путник, сумевший их в этом наставить. И они узнали, что им годится лишь корабль курсом на Лелаг-Ленг, и, набравшись терпения, приготовились его дожидаться.

Но злые лазутчики, без сомнения, доносили о многом: вскоре черная галера уже стояла на якоре, и распялоротые торговцы рубинами зазвали упырей в таверну распить с ними вина. Вино проистекало из той зловещей бутылки, что страшным и чудным образом была вырезана из целого рубина, вслед за чем упыри нашли себя пленниками на черной галере, как нашел себя однажды Картер. Однако на сей раз незримые гребцы держали путь не на луну, но в древний Саркоманд, очевидно вознамериваясь предать своих пленников первосвященнику, коего не описать. Они заходили на тот острозубчатый кряж в северном море, которого мореходцы Инкуанока чураются, и там упыри впервые увидели, кто были такие настоящие

хозяева корабля; и несмотря на собственную толстошкурость, их поворотило от тлетворной бескостности и ужасающего смрада, превосходивших всякую меру. Там же стали они и свидетелями безымянных потех постоянного гарнизона жабьих тварей — потех, от которых подымается ночной вой, наводящий страх на людей. Потом они пристали к берегу в развалинах Саркоманда, и начались истязания, продолженью которых помешало подоспевшее избавление.

Когда пошел разговор о дальнейших планах, троица избавленных упырей предложила сделать набег на острозубчатый кряж и истребить тамошний гарнизон жабьих тварей. Однако на это не шли костоглодные чернички, поскольку их не прельщала перспектива лететь над водой. Большинство упырей одобряло замысел, но затруднялось в том, как ему следовать, не имея поддержки крылатых союзников. Тогда Картер, видя их неумение управляться с галерой, предложил научить их орудовать тяжелыми веслами, каковое предложение и было с горячностью принято. Наступил мгlistый день, и под свинцовым северным небом отборный отряд упырей поднялся на зловонный корабль и занял свои места на скамьях гребцов. Картер нашел их весьма понятливыми учениками и до прихода ночи отважился на несколько пробных кругов внутри гавани. Но всё же не раньше, чем минуло три дня, он счел безопасным пуститься в завоевательное плавание. И вот, с вымуштрованными гребцами и надежно упрятаканными в кубрик костоглодными черничками, они подняли наконец паруса; Пикмэн же и остальные предводители собрались на палубе и обсуждали наступление и ход операции.

С самой первой ночи начали долетать завывания с одинокого кряжа. И такие в них слышались призывки, что видимая дрожь сотрясала всю команду галеры; но более всех трепетали трое избавленных упырей, которые знали наверняка, что те завывания означают. Нападать ночью они не посчитали за лучшее, так что корабль лег в дрейф под мреющими облаками в ожидании рассвета мгlistого дня. Когда стало совсем светло и завывания стихли, гребцы снова взялись за весла, и галера поплыла к тому скалистому кряжу, чьи гранитные острые зубья причудливо впивались в тусклое небо. Кряж со всех сторон обрывался стремнинами; но тут и там на уступах виднелись выпяченные горбом стены странных жилищ без окон и низкие перила, обносившие проезжие дороги в горах. Не бывало того, чтобы корабль людей подходил так близко к этому месту; по крайней мере, не бывало того, чтобы он, подойдя так близко, снова ушел, но Картер и упыри избыли все свои страхи и неуклонно плыли вперед, огибая восточный склон кряжа в поисках пристани, которая, по описанию

избавленной троицы, находилась с южной стороны в бухте, образованной двумя гористыми отрогами.

Те гористые отроги выдавались из самого кряжа и сходились столь близко друг с другом, что двум кораблям между ними было не разминуться. Со стороны моря дозорных как будто не было, так что галера смело направилась в горловину и вошла в заросшую закисающей тиной бухту. Там, однако, вовсю кипела деловитая суতোлка — несколько кораблей стояло на якоре у неприветливой каменной пристани, и десятки недочеловеческих рабов и тварей с луны ворочали клетки и ящики или погоняли баснословных и безымянных чудищ, впряженных в громыхающие подводы. В толще отвесной скалы над причалами был вырублен городок, откуда начиналась извилистая дорога, которая, теряясь из глаз, уползала змеей к верхним скалистым уступам. Что скрывала внутри та островерхая громада гранита, того никто знать не мог, но то, что было видно снаружи, отнюдь духа не подымало.

При виде заходящей в гавань галеры толпа на пристани проявила все признаки жадного нетерпения — те, что с глазами, от напряжения их выпучив, те, что без глаз, в предвкушении суча розовыми щупальцами. Конечно, им было невдомек, что черный корабль оказался в других руках, ведь упыри изрядно смахивали на недочеловеков с рогами и копытами, а костоглодные чернички упрятались с глаз подальше под палубу. К тому времени у предводителей полностью созрел план, состоявший в том, чтобы выпустить костоглодных черничей, едва корабль коснется причала, и тут же отплывать прочь, предоставив всё дело инстинкту этих почти что безмозгих тварей. Безвыходно отрезанные на острове, рогатые крыланы сначала переловят всё, что там ни на есть живого, а потом, не зная голоса разума, кроме инстинкта, зовущего домой, они забудут про всякую водобоязнь и помчатся назад в Бездну, таща свою смрадную добычу во мрак в приуроченные места, откуда выходит живым далеко не все, что туда угодило.

Упырь, некогда бывший Пикмэном, сошел вниз и подавал костоглодным черничам несложные указания, пока корабль почти вплотную подходил к зловещим и зловонным причалам. Вскоре на берегу поднялась новая суматоха. И Картер понял, что маневрирования галеры начали возбуждать подозрения. Кормчий, видно, ставил корабль не к тому причалу, а возможно, что наблюдавшие заметили разницу между отвратительными упырями и недочеловеческими рабами, чьи места они заняли. Должно быть, был подан какой-то беззвучный сигнал тревоги, ибо чуть ли не сразу из черных дверных провалов беззаконных жилищ и вниз по

змеистой дороге повалил мефитический сонм лунарей. Едва галера ткнулась носом в причал, как на нее обрушился град причудливых дротиков, сразив двух упырей и слегка задев третьего; но в эту минуту из распахнувшихся настежь люков изверглись, шурша, черной тучей костоглодные черничи, которые зароились над городком, словно стая рогатых и великанских летучих мышей.

Студенистые твари с луны раздобыли огромный шест и пытались отпихнуть корабль вторженцев, но когда на них напустились костоглодные черничи, они забыли и думать об отпоре. Отменно ужасное зрелище являли собой те резинистые щипатели с изъятием лица, играючи делавшие свое дело; и поразительную картину представляла плотная туча их, взвившаяся клубами над городком и над змеистой дорогой к верхушкам скал. Иной раз кучка черных крыланов по нечаянности роняла жабьего пленника с высоты, и разлетающиеся от него брызги одинаково оскорбительно поражали и глаз, и нос. Когда последний из костоглодных черничей покинул галеру, упыринные предводители скороговоркой прошепетали приказ к отступлению, и гребцы тихо вышли горловиной из бухты, пока еще в городке творился хаос баталии и победы.

Упирь-Пикмэн прикинул пару часов на то, чтобы костоглодным черничам собраться со своими зачаточными мозгами и пересилить страх полета над морем, и поставил галеру примерно в миле от острозубчатого кряжа, поджидая их и перевязывая раны пострадавшей рати. Настала ночь, и серая мгла уступила место мертвенному мрению низких облаков, и всё это время предводители наблюдали за высокими остриями того окаянного кряжа, высматривая, не летят ли костоглодные черничи. Под утро они заметили черную крапину, нерешительно маячившую над самым высоким зубцом, и вскоре крапина превратилась в целый рой. Уже перед самым рассветом рой как будто рассыпался и в течение четверти часа без следа пропал на северо-востоке вдали. Раз-другой редющий рой, казалось, что-то терял, роняя в море, но Картер не стал тревожиться, поскольку по своим наблюдениям знал, что жабы лунари не умеют плавать. Наконец, когда упыри убедились, что все костоглодные черничи со своей обреченной ношей улетучились в Саркоманд и в Великую Бездну, галера опять вошла в бухту между серых гористых отрогов, и жуткая компания высадилась на берег и, любопытничая, разбрелась по всей нагой скале с башнями, вышками и крепостями, вырубленными в каменной толще.

Ужасающие тайны открывались глазам в тех злых и беззаконных криптах, ибо останки незавершенных потех виднелись во множестве и в разной степени удаления от своего первозданного вида. Картер покончил с

некоторыми вещами, на свой определенный манер живыми, и без оглядки бежал от других, насчет которых был не вполне уверен. Исполненные смрада жилища были обставлены главным образом стульями и скамьями из лунного дерева чудной и страшной резьбы и были расписаны изнутри несказанными и безумными изображениями. Тьма оружия, утвари и украшений валялась повсюду, и среди всего превеликие истуканы, сделанные из целого рубина и представляющие подобия необычайных существ, на земле небывалых. Истуканы эти, вопреки драгоценному материалу, не вызывали желания ни забрать их себе, ни долго разглядывать; и пятерых из них Картер не поленился размозжить в самые мелкие дребезги. Разбросанные копья и дротики он собрал и, с одобрения Пикмэна, роздал упырям. Подобная снасть оказалась в новинку псообразным побегунам, но при ее относительной простоте обрести к ней навык было нетрудно после нескольких кратких наставлений.

Ближе к вершинам кряж таил в себе больше капищ, нежели жилых покоев, и во множестве вырубленных в камне крипт находились преужасные резные алтари и подозрительно замаранные купели и жертвенники, где богопочитались вещи куда более чудовищные, чем капризные боги на высотах Кадата. В глубине одного громадного капища начинался низкий черный коридор, по которому, запалив факел, Картер долго шел, углубляясь в гору, пока не вышел в куполоверхую хоромину необъятных размеров, своды которой покрывала бесовская резьба, а в середине разевался злодышный и бездонный колодец, как в мерзейшем монастыре Ленга, где в одиночестве вынашивает черные думы архемаг, коего не описать.

В дальней укутанной тенями стене за смрадным колодцем Картеру померещилась дверка, весьма чудным образом сделанная из бронзы; но по некоей причине его обуял безотчетный страх, не дававший не только ее открыть, но даже к ней подступить, и он заспешил из пещеры через тесный проход к своим неказистым союзникам, повсюду колобродившим со свободой и вольготностью, каких он отнюдь не испытывал. Упыри не прошли мимо незаконченных потех лунарей и на свой манер поживились. Обнаружили они и многоведерную бочку забористого лунного вина и выкатили ее на причалы, чтобы забрать с собой и потом к ней прибегать как к средству дипломатии, но избавленная троица, запомнившая по Дилат-Леену действие того вина, предупредила всю братию. В одной из крипт у самой воды обнаружился превеликий запас рубинов из лунных копей, и природных, и обработанных; но, найдя, что в еду они не годятся, упыри потеряли к ним интерес. Не думал прихватить их с собою и Картер,

поскольку слишком много узнал об их добытчиках.

Внезапно дозорные на причалах разразились взволнованным чмыканием, и все гадкие фуражиры отвлеклись от своих занятий и сгруппировались на берегу, уставившись в море. В горловине между серых гористых отрогов быстро продвигалась новая черная галера, и было делом одной минуты, чтобы недочеловеки на палубе, догадавшись, что город захвачен, подали тревогу чудовищным тварям внизу. По счастью, упыри еще были вооружены копьями и дротиками, которые роздал им Картер; и, по его команде, поддержанной существом, которое было Пикмэном, они выстроились в боевом порядке, изготавившись не дать кораблю пристать к берегу. Вскоре вспыхнувшая на галере суматоха показала, что команда обнаружила изменившееся положение дел, и немедленная остановка галеры свидетельствовала, что численное превосходство упырей замечено и принято к сведению. После минутного замешательства новоприбывшие молчаливо развернулись и снова прошли горловиной; но упыри не подумали ни на секунду, что столкновение отвлечено. Мрачный корабль или отправится за подкреплением, или команда попытается высадиться в другом месте; на вершины кряжа, стало быть, отрядили разведчиков, чтобы следить, как будет действовать враг.

Через считанные минуты запыхавшийся упырь возвратился с известием, что лунари и недочеловеки высаживаются со стороны моря на обрывистых скалах восточного отрога и поднимаются тайными тропами и уступами, по которым без опаски не пройти и козе. Почти сразу же вслед за этим галера снова показалась против горловины пролива, но не более чем на секунду. Несколько мгновений спустя сверху, задыхаясь, сбежал другой вестник с сообщением, что второй отряд высаживается на противоположном отроге; и тот, и другой куда более многочисленные, чем размеры галеры, казалось бы, допускали. Сам корабль, медленно движимый лишь одним рядом весел с поредевшим числом гребцов, вскоре замаячил на виду между скалами и лег в дрейф в зловонной бухте, как будто чтобы следить за грядущим столкновением и дожидаться случая прийти на помощь.

К этому времени Картер и Пикмэн поделили упырей на три отряда, по одному для отпора каждой из колонн нападающих и один для защиты города. Два первых тут же взобрались на скалы каждый со своей стороны, третий же подразделился на сухопутную и морскую группы. Морское подразделение под водительством Картера погрузилось на стоявшую у причала галеру и вышло навстречу недосчитывающей команды галере новоприбывших; в ответ на что та ушла горловиной в открытое море.

Преследовать ее Картер не стал, ибо знал, что большая безотложность может случиться в городе.

Между тем устрашающие отряды лунарей и недочеловеков взгромоздились на гребни отрогов и убийственно выказались с обеих сторон против серого мглистого неба. И вот завели свое тонкое подвывание адовы флейты вторженцев, и общая картина тех разномастных полубескостных шеренг сказала тою же тошнотою, что и действительное смердение, издаваемое жабыми лунными сквернами. Тут двумя отрядами выкарабкались на вид упыри и присоединились к силуэтам кругового обзора. С обеих сторон залетали дротики, и набирающее силу чмыкание упырей и звериные взрэвы недочеловеков постепенно сливались с адовым подвыванием флейт, творя неистовый и несказанный сумбур бесовской какофонии. То и дело с узких скалистых уступов срывались тела в открытое море или внутрь бухты, и в сем последнем случае их быстро утягивали ко дну некоторые подводные скрытники, чье присутствие выдавали лишь чудовищные клокочущие пузыри.

Полчаса свирепствовала в небе эта обоюдосторонняя битва, пока на западном гребне нападавших не уничтожили полностью. На восточном гребне, однако, где присутствовал, видно, главарь лунных тварей, упырям приходилось хуже — они медленно отступали к склонам самого кряжа. Пикмэн быстро послал на подмогу силы из городского отряда, и они оказали изрядную помощь на первых этапах сражения. Тут закончилась схватка на западной стороне, и оставшиеся в живых победители поспешили на выручку попавшим в лихой переплет сотоварищам, повернув ход сражения и снова оттеснив нападающих вдоль узкого отрога. К тому времени все недочеловеки были побиты, но последние из жабьих страшилищ отчаянно бились, зажав огромные копыта в могучих и отвратительных лапах. Для дротиков время почти ушло, и сражение превратилось в рукопашные поединки тех немногих копейщиков, что могли сойтись на том узком гребне.

Ярость и безрассудство всё более обуревали сражавшихся, и всё больше их падало в море. Те, что срывались в бухту, встречали безымянный конец от невидимых булькотателей, но из тех, что падали в море, некоторые сумели доплыть до подошвы кряжа и выбраться на прибрежные камни; несколько лунарей спасла маячившая на виду вражеская галера. Скалы были не восходимы нигде, кроме тех мест, где высадились чудовища, так что упыри на камнях не могли возвращаться в свои боевые ряды. Некоторых сразили дротики с враждебной галеры или сверху со скал, но некоторые дождались спасения. Когда безопасность берегового отряда как

будто была обеспечена, галера Картера вышла горловиной из бухты и преследовала враждебный корабль далеко в открытое море, останавливаясь, чтобы подобрать упырей, спасавшихся на камнях или еще державшихся на плаву. С несколькими лунарями, которых выбросило волной на берег или на рифы, немедля покончили.

Наконец, когда галера лунных тварей отошла на безопасное расстояние и сухопутный отряд нападавших весь сосредоточился в одном месте, Картер высадил значительные силы на восточном мысу в тылу врага; после чего схватка надолго не затянулась. Напав с двух сторон на зловонных слизней, их быстро посекали на куски или посталкивали в море, и под вечер упыриные предводители согласно признали, что остров очищен. Между тем враждебная галера исчезла; и упыри посчитали за лучшее сняться с тех злых иззубренных скал, пока не собрались лунные страшилища несметной ордой и не нагрянули на победителей.

И вот, собрав ближе к ночи всех упырей и заботливо их пересчитав, Пикмэн и Картер обнаружили, что более четверти их пало в дневных баталиях. Раненых уложили на койки в кубрике, поскольку Пикмэн отнюдь не поощрял старый упыриный обычай добивать и поедать собственных раненых, а здоровых посадили на весла или определили на те места, где от них было бы больше проку. Под гнетом мреющих ночных облаков выходила галера в море, и Картер не чувствовал сожаления, покидая остров нечистых тайн, который своей сводчатой неосвещенной хороминой с ее бездонным колодцем и отвращающей бронзовой дверью мучительно бередил его воображение. Заря застала корабль в виду лежащего в развалинах базальтового пристанища Саркоманда, где всё еще дожидались дозорные костоглодных черничей, скорчившиеся, как черные рогатые химеры, на разбитых колоннах и поветшалых сфинксах того страшного города, что и жил и умер до временных лет человека.

Упыри раскинули лагерь среди каменного упадка Саркоманда, отрядив гонца за костоглодными чернилами, числом достаточным, чтобы нести ездоков. Пикмэн и другие предводители бурно изливались в благодарности за помощь, оказанную им Картером. Тут Картер почувствовал, что планы его впрямь изрядно поспели и он сможет заручиться поддержкой устрашающих этих союзников не только затем, чтобы выбраться из здешних пределов дремного края, но и своих главных поисках богов на высотах неведомого Кадата и чудного закатного города, в который они так странно препинают доступ его дремам. Он завел разговор с упыриными главарями обо всех этих вещах, рассказывая то, что знал, о холодном пустолудии, где высится Кадат, и о чудовищных чернотор-

птицах, и о горах, имеющих на себе образ двуголовых статуй, которые его стерегут. Он говорил о том, что черногор-птицы страшатся костоглодных черничей, и о том, как необхватные гиппоцефалы с истошными воплями разлетаются прочь от черных отверстий высоко в серых ребристых горах, отделяющих Инкуанок от ненавистного Ленга. Он говорил и о том, что касалось до костоглодных черничей и стало ему известно из фресок беззаконной обители того первосвященника, коего не описать; что даже Вящие боятся их и что правит ими вовсе не ползучий хаос Ньярлафотепа, а незапамятный и седой древности Ноденс, Владыка Великой Бездны.

Все эти вещи Картер пришепетывающей скороговоркой поведал собранию упырей и под конец дал набросок того, что держал на уме и не считал непомерным, имея в виду службу, которую он только что сослужил резинистым псообразным побегунам. Ему бы очень понадобилась, сказал он, помощь достаточного числа костоглодных черничей, чтобы в целости и сохранности по воздуху перенестись над черногор-птицами и статуарными горами дальше в холодное пустолудие, откуда обратными стопами не возвращался никто из смертных. Ему желалось долететь до ониксового дворца на высотах неведомого Кадата в холодном пустолудии и молить Вящих о заклатном городе, вход в который ему препинают, и не сомневался, что костоглодные чернички доставят его без труда, высоко над всеми опасностями равнины и поверх мерзких двойных голов тех статуарных гор, от века несущих дозор в сером сумраке. Для рогатых созданий с изъятием лица не представляет угрозы никакая земнородная вещь, ибо сами Вящие питают страх перед ними. А если и приключится какая-нибудь неожиданность со стороны Иных Богов, имеющих наклонность присматривать за делами более кротких богов земли, то и тогда костоглодным черничкам бояться нечего; ибо пропастные пространства запредела ничего не значат для подобных бессловесных и скользких крыланов, которые не Ньярлафотепа держат за своего господина, но поклоняются лишь всемогущему и первостихийному Ноденсу.

Стая в десять или пятнадцать костоглодных черничей, пришепетывающей скороговоркой продолжал Картер, наверняка сумеет удержать на почтительном расстоянии любое число черногор-птиц, хотя было бы, вероятно, неплохо, окажись в отряде и упыри, чтобы управляться с этими существами, чьи повадки лучше знакомы их упыриным союзникам, нежели человеку. Отряд мог бы с ним приземлиться в каком-то удобном месте в стенах, какие могут быть у той баснословной ониксовой твердыни, и под сенью их дожидаться его возвращения или сигнала, пока он отправится во внутренние покои замка, чтобы предстать с молитвой перед

богами земли. Если кто-то из упырей возымеет желание сопровождать его в тронную залу Вящих, он воспримет это с благодарностью, ибо их присутствие придаст вес и значительность его прошению. На этом, однако, он не настаивает, но желает только, чтобы его доставили туда, во дворец на высотах неведомого Кадата, а оттуда — будь то в чудный закатный город, если боги явят ему свою милость, или назад к ведущим на землю Воротам Глубокого Сна в заколдованном лесу, если его молитвы будут бесплодны.

Картер говорил, и все упыри слушали с отменным вниманием, и по прошествии времени небо потемнело от налетевших тучами костоглодных черничей, за которыми посылали гонцов. Окружив полукольцом упырины полчища, крылатые страшилища почтительно выжидали, пока псообразные предводители раздумывали над просьбой земного странственника. Упирь, бывший Пикмэном, преисполненной серьезности скороговоркой перешепetyвался со своими собратьями, и в конце концов предложенное Картеру превзошло его самые смелые чаяния: как он помог упырям одержать победу над лунными тварями, так и они помогут ему в его безрассудном путешествии туда, откуда никто не возвращался, — помогут, предоставив к его услугам не просто нескольких союзных им костоглодных черничей, но все свое ополчение, раскинувшееся здесь лагерем, и бывалых вояк упырей и новобранных костоглодных черничей, оставив лишь небольшой гарнизон для захваченной черной галеры и трофеев с иззубренного морского кряжа. Они взбороздят воздушный океан, когда ему будет угодно, на самом же Кадате его торжественно будет сопровождать подобающая свита из упырей, когда ему настанет пора припасть со своим прошением к стопам Вящих в их ониксовых чертогах.

Несказанно благодарный и довольный, Картер вместе с упыринными предводителями принялся строить планы своего дерзновенного путешествия. Ополчение их, решили они, пролетит высоко над мерзким Ленгом с его безымянным монастырем и зловредными каменными селениями, лишь с одной остановкой в необозримых серых вершинах для совещанья с пугалами черногор-птиц, костоглодными черничами, чьими норами изъязвлены все горные пики. Тогда, смотря по тому, какие советы получают они от тамошних обитателей, они и изберут свой окончательный путь, подступаясь к неведомому Кадату либо через пустыню статуарных гор на севере Инкуанока, либо через крайние северные пределы отвратительного Ленга. Такие, как они, псообразные и не имеющие души упыри и костоглодные черничи не ведали страха того, что может открыться в нехоженных тех пустынях; не внушали им пугливого трепета и мысли о Кадате, одиноко подпирающем небеса своими ониксовыми чертогами

тайны.

К полудню каждый упырь избрал себе ездовую рогатую пару, и полчища изготовились к полету. Картера поставили в самой голове колонны рядом с Пикмэном, а передовой отряд составляла двойная шеренга костоглодных черничей без ездоков. Пикмэн отрывисто чмыкнул, и всё убийственное воинство взвилось кошмарными тучами над разбитыми колоннами и обветшалыми сфинксами первозданного Саркоманда — всё выше и выше, пока даже громадный базальтовый утес позади города не остался внизу и взору не открылись холодные безжизненно пустые предгорья плато Ленг. Еще выше поднялось черное воинство, и умалилось даже это плоскогорье под ними; и пока они пролагали себе путь на север над тем продуваемым всеми ветрами плато страха, Картер с содроганием снова увидел круг нетесаных монолитов и приземистое беззаконное обиталище той страх наводящей скверны под желтой маской, чьих лап он на волосок избежал. На сей раз обошлось без спуска, и зигзагом летучей мыши полчища промахнули над безжизненно голым ландшафтом, на большой высоте пролетев над хилыми огнями безбожных каменных селений и, ни на минуту не задержавшись, проглядели погибельные извороты недочеловеков с копытами и рогами, что извечно там пляшут и дуют в дудки. Раз они видели низко летевшую над долиной черногор-птицу, но, заведя их, она испустила истошный вопль и, забив в нелепой панике крыльями, умчалась на север.

В сумерках достигли они серых зубчатых пиков горного урочища Инкуанока и замаячили над теми странными пещерами у самых вершин, наводившими такой ужас на черногор-птиц, как оно помнилось Картеру. В ответ на упорное чмыкание упыриных предводителей из каждого выпренного отверстия исторгся рой рогатых крыланов, с которыми упыри и костоглодные черничи ополчения вступили в длительное собеседование на языке уродливых жестов. Вскоре сделалось ясно, что наилучший путь пролегает над холодным пустынным севером Инкуанока, ибо северные пределы Ленга преисполнены незримых ловушек, которые даже костоглодным черничам не по нутру; где некоторые белые постройки полушарием на преудивительных курганах стяжают в себя силы бездны, полагаемые простонародной молвой в неприятную связь с Иными Богами и их ползучим хаосом Ньярлафотепом.

О Кадате крылоруки с вершин не знали ничего, кроме того, что на севере есть некое превеликое чудо, которое блюдут черногор-птицы и статуарные горы. Обиняками они передали ходячие слухи о неторенной глади по ту сторону, где нарушается вся обычная и истинная мера и

соразмерность, и глухо помянули говор о стране, на которой бременеет вечная ночь; но по части точных сведений с них оказалось нечего взять. Так что Картер со своим ополчением одарили их добрым словом и, перевалив за самые верхние гранитные острия в небеса Инкуанока, спустились ниже мреющих ночных облаков, прозревая вдали восседающих злых химер, которые были горами, пока из-под резца какого-то исполина в их девственный камень не вошел страх.

Восседали они грозным полукольцом, попирая стопами пустынный песок, а митрами прободая мерцающие облака, — зловещие, волчеобразные и двуголовые, с яростным ликом и подъятой правой дланью, пасмурно и губительно блюдя окоем мира людей и ужасом замыкая нечеловеческие пределы холодного севера. С мерзостного их лона взлетели злые черногор-птицы тушею со слона, но с истошным верещанием поразлетались прочь, едва заметив в туманном небе передовой отряд костоглодных черничей. На север над теми химерическими горами понеслось воинство и над зыбкой пустыней, где на мили и мили не было малейших задержек взору. Всё меркли и меркли облака, и наконец один только мрак увидел вокруг себя Картер; но ни на миг не сбились с крыла ездовые крыланы, исчадия, как они были, чернейшего нутроземья и зрящие не глазами, а всей влажной поверхностью своих скользких тел. Они летели всё дальше, мимо дуновений сомнительных запахов и звуков сомнительного свойства, в густейшей тьме одолевая столь чудовищные пространства, что Картер задавался загадкой, может ли быть, чтобы они еще не покинули пределов земного дремного края.

Потом облака вдруг поредели, и вверху призрачно забрезжили звезды. Внизу всё по-прежнему было черно, но бледные те маяки в небесах словно оживотворялись неким смыслом и указующим свойством, каких никогда нигде не имели. Не то чтобы стал другим рисунок созвездий, но те же самые знакомые фигуры обнаружили ныне значение, которого не могли допрежь явственно выказать. Всё тяготело к северу; каждая кривая и каждый контур звездного неба составляли часть необъятной композиции, назначенной к тому, чтобы понуждать глаз, а потом и всего наблюдателя к некоему таинственному и ужасному месту средоточия, позади стылой пустыни, бесконечно тянущейся пред ними. Картер оглянулся на восток, где вдоль всего Инкуанока высилась гряда горного урочища, и увидел на звездном фоне зубчато-ломаный силуэт, говоривший о ее длящемся присутствии. Теперь силуэт стал более рваным, с зияющими расселинами и фантастической неправильности вершинами; и Картер пристально всматривался в чреватые смыслами изгибы и заломы того страшного и

чудного горного очерка, вторившего звездам в их подспудной устремленности к северу.

Они пролетали мимо с чудовищной быстротой, так что наблюдателю приходилось силиться, чтобы не упустить деталей, когда над самыми высокими острями он вдруг увидел темный и движущийся на звездном фоне предмет, чей путь шел строго параллельно пути его собственного причудливого воинства. Заметили объект и упыри — со всех сторон он слышал их тихо пришепетывающую скороговорку и на секунду вообразил, что речь идет о гигантской черногор-птице, куда большей величины, чем средний экземпляр. Скоро он, однако, увидел, что его предположение недостаточно, ибо загадочная штукавина над горами формой своей ничуть не походила на птицу-гиппоцефала. Абрис ее против звезд, каким бы неизбежно зыбким он ни был, скорее, напоминал некую гигантскую голову в митре или пару голов, увеличенных донельзя; и ее быстрый ныряющий воздушный полет наистраннейшим образом казался бескрылым. Картер не мог сказать, по какую сторону гор она находилась, но вскоре ему сделалось внятно, что ниже той ее части, которую он заметил первой, есть и другие, поскольку там, где в горной гряде зияли глубокие расселины, она застила собою все звезды.

Потом в горном кряже открылся широкий пролом, где низкий перевал, над которым брезжили тусклые звезды, соединял мерзкие пределы лежащего за горами Ленга с холодной пустыней по эту сторону. Картер с неослабным вниманием вперился в этот пролом, зная, что на фоне неба за ним обрисуется нижняя часть того объекта, что летел, колыхаясь, как на волнах, над вершинами. Теперь он несколько обогнал их, и глаза всего воинства приковала к себе расселина, где он вскоре должен был обрисоваться во весь свой рост.

Постепенно громадный объект приближался к пролому, замедляя слегка свой лет, словно сознавая, что опередил упыриное полчище. Еще мгновение забирающей дух неизвестности, и наступил краткий миг откровения, вызвав на уста упырей потрясенное полусдавленное чмыканье вселенского ужаса, а в душе странственника холод, больше уж ее не покидавший. Ибо левиафановской ныряющей тенью над вершинами была только одна голова — увенчанный митрой двуглав, — под ней же во всей своей чудовищной необъятности рысило ужасающее тучное тело, несшее ее на плечах; гороподобное чудище, крадущееся неслышной и вороватой повадкой, гиенообразное извращение человеческой фигуры, черно маячившее против звездного неба, досягая на полдороги в зенит отвратительной парой голов, покрытых коническими уборами.

Картер не лишился сознания и даже не закричал в голос, ибо долго скитался по стезям сновидений, но в ужасе оглянулся назад и содрогнулся, когда увидел другие чудовищные головы, выказывавшиеся поверх вершин, втихомолку нырявшие в воздухе вслед за первой. И прямо позади на фоне южных звезд виднелись целиком три огромнейшие, с гору, фигуры, крадущиеся волчьей и громоздкой повадкой, и высокие митры их кивали в воздухе с высоты тысяч футов. Стало быть, статуарные горы не остались недвижимым полукольцом, подъяв правую длань, на севере Инкуанока. У них был свой долг, и они не забыли о нем. Но было ужасно то, что они так и не проронили ни слова и даже идучи не произвели ни звука.

Между тем, упырь, который был Пикмэном, пришепетывающей скороговоркой отдал приказ костоглодным черничам, и всё полчище взвилось в высь небес. Вверх к звездам понеслась страшная и нелепая кавалькада, пока больше уж ничто не застило неба — ни серые гранитные кряжи, стоявшие на одном месте, ни статуарные горы в митрах, ходившие с места на место. Внизу была одна чернота, и крыломашущий легион мчался к северу среди бурных ветров и незримого смеха в эфире, и ни черногор-птица, ни иная сила из тех, которых язык не повернется назвать, не взялась с наваждаемых пустынь в погоню за ними. Чем дальше, тем быстрее они летели, пока наконец головокружительная их скорость, казалось, не превзошла скорости ружейной пули и не приблизилась к скорости планеты на орбите. Картер задавался загадкой, как при такой скорости земля может всё еще простираться под ними, но знал, что в дремном краю измерения обладают странными свойствами. То, что они оказались в стране вечной ночи, представлялось ему несомненным, и воображалось, что созвездия над головой исподволь всё виднее означают свое северное средоточие, подбираясь словно бы для того, чтобы выбросить летящее полчище в пустоту борейского полюса, как подбирают складки мешка, чтобы выбросить последки того, что было внутри.

Потом в ужасе он заметил, что крылья костоглодных черничей больше не хлопают. Рогатые крыланы с изъятьем лица сложили свои перепончатые придатки и вполне бездеятельно отделились пляске вихря, который, кружась и похохатывая, нес их вперед. Неземная сила овладела полчищем, и упыри и костоглодные черничи равно не имели власти над воздушным потоком, который бешено и неумолимо нес их на север, откуда никто из смертных не возвращался. Долгое время спустя одинокий бледный свет показался впереди на краю неба, возносясь всё выше по мере их приближения и обнаруживая под собой плотную черноту, затмевавшую звезды. Картер понял, что это, должно быть, сигнальный огонь на какой-то горе, ибо

только гора может быть столь необъятной, видимая из воздуха со столь чудовищной высоты.

Выше и выше возносились под ним свет и мрак, пока половина северного неба не закрылась иззубренной конической громадой. Как бы ни взмывало полчище, тот бледный и зловещий маяк поднимался выше, возвышаясь чудищем надо всеми земными вершинами и суетами и причащаясь эфиру с изъятьем атомов, где идут колесом загадочная луна и обезумевшие планеты. То, что грозно нависало над ними, не было известной человеку горой. Вышние облака лишь обнимали стопы ее далеко внизу, помрачающая головокружительность верхних воздушных слоев лишь препоясывала чресла ее. Презрительно и призрачно взбирался тот мост от земли до неба, черный в вечной ночи и увенчанный пшентом неведомых звезд, чей жуткий и знаменательный абрис с каждым мигом проступал всё яснее. При виде чего упыри зачмыкали, охваченные удивлением, а Картер задрожал, обуянный страхом, не разнесло бы вдребезги о неподатливый оникс той циклопической кручи их словно выпущенное из пращи полчище.

Выше и выше возносился свет, пока не замешался среди самых выпрєнных звезд зєнита, и со зловеще холодной насмешкой подмигивал оттуда летящим. Весь север под ним стал теперь одним мраком — страшным студєным мраком от бесконечного низу до бесконечного верху, с одним лишь тем блєдным подмигивающим маяком, недосягаємо мревшим прєвыше всего видимого. Картер всмотрелся в свет пристальнее и наконец разобрал очертания его кромєшно черного заднего плана на фоне звезд. На той исполинской горной вершине зиждились башни, пагубные и неисповєдимые ярусы и купы жутких куполоверхих башєн, прєвосходящих всякое мыслимое понятие человеческого мастерства, угроза и диво террас и зубчатых стен — всё это вырисовывалось малым и черным и далєким против звездного пшєнта, злорадно рдеющего надo всем полєм зрения. Покрывая вершину той самой неизмеримой из гор, стоял замок, прєвосходящий всякое смертное помышление, и в нем рдел демонский свет. Тогда Рєндольф Картер понял, что его поиски обрєли конец и что над собой он видит цель, к которой его вело заказанными и страшными стопами и дерзостными прозрениями; баснословное и невоображаємое обиталище Вящих на высотах неведомого Кадата.

Не успев осмыслить подобное дело, Картер заметил, что курс беспомощно засасываемого ветром полчища переменился. Теперь их несло круто вверх, и было ясно, что полет их стремится к ониковому замку, где светил блєдный свет. Столь близка была черная громада горы, что склоны

ее головокружительно неслись мимо, пока они мчались ввысь, а они ничего не различали во мраке. Всё огромное и огромное выказывались мрачные башни черного как ночь замка, и Картер видел, что он почти святотатственен в своей огромности. Камни его вполне могли вытесываться безмянными каменотесцами в той жуткой бездне, раздиравшей гору на перевале к северу от Инкуанока, ибо таков был его размер, что человек на его пороге казался песчинкой у подножия выпрenneйшей горной твердыни. Пшент неведомых звезд над мириадами куполоверхих башен светился болезненно-желтым светом, так что некоторое подобие сумерек одевало хмурые стены скользкого оникса. Теперь стало видно, что бледным маяком было единственное окно, горевшее высоко на одной из самых выпрненных башен, и с приближением беспомощного полчища к вершине горы Картеру показалось, что он различает гадкие тени, мелькавшие в слабо освещенном заоконном пространстве. Это было странное арчатое окно, сведенное небывалым на земле сводом.

Толща горы теперь уступала место гигантским основаниям чудовищного замка, и лёт полчища, казалось, несколько приутих. Пространные стены взмывали ввысь, и мелькнули широкие ворота, в которые пронесло скитальцев. Ночь царила в исполинском дворе, и тут нагрянула еще более густая тьма нутряных переходов, когда полчище поглотилось великанской аркой портала. Смерчи холодного ветра, дыша сыростью, проносились по непроглядным лабиринтам оникса, и Картеру вовек бы не сказать, какие циклопические лестницы и коридоры безмолвно лежат на пути его бесконечных воздушных кружений. Всё вверх и вверх вело грозное погружение во тьму, и ни звук, ни касание, ни проблеск ни разу не нарушил плотную завесу тайны. Сколь ни огромно было полчище упырей и костоглодных черничей, оно терялось в чудовищных пустотах замка. И когда наконец всё вокруг залилось вдруг зловеще холодным светом той одинокой хоромины в башне, чье выпрненное окно служило маяком, у Картера долгое время ушло на то, чтобы различить отдаленные стены и высокий, далекий потолок и осознать, что он впрямь не оказался снова в безбрежности воздушного поднебесья.

В тронную залу Вящих Рэндольф Картер думал вступить чинно и церемонно, держа себя с достоинством и осанкой, в окружении внушительной упыриной свиты, и принести свою молитву как вольный и могущественный господин на стезях сновидений. Он знал, что сладить с самими Вящими не выше сил простого смертного, и уповал на счастливый случай, что Иных Богов с их ползучим хаосом Ньярлафотепом не окажется в решающую минуту, чтобы прийти им на помощь, как они множество раз

делали прежде, когда человек начинал домогаться земных богов в их обиталище или на горах. И со своей жуткой свитой он чуть ли не надеялся поставить на своем наперекор даже Иным Богам, если заставит нужда, зная, как знал он, что упыри не ведают над собой властителей, а костоглодные черничи держат за повелителя не Ньярлафотепа, но лишь первостихийного Ноденса. Но теперь он понял, что тот неотмирный Кадат в холодном его пустолюдии впрямь обстоит мрачные чудеса и безымянные караульные и что неусыпность радений Иных Богов о кротких и слабых богах земли дело верное и неотменное. Хотя и лишённые начала над упырями и костоглодными черничами, несмысленные и не имеющие образа скверны запредельных пространств всё же забирают над ними власть, когда им необходимо; так что в тронную залу Вящих Рэндольф Картер вступил не в сане вольного и могущественного господина на стезях сновидений. Сбитое в кучу и обуреваемое пугающими вихрями со звезд и преследуемое невиданными страшилищами пустынного севера, всё это полчище зависло полоненное и беспомощное, в зловеще холодном свете, помертвело попадав на ониксовый пол, когда по некоему безгласому повелению ветры страха развеялись.

Не было ни золотого престола, которому бы предстал Рэндольф Картер, ни августейшего круга осиянных нимбом существ с узким разрезом глаз, долгими мочками ушей, тонким носом и остро выпяченным подбородком, чье знаменующее сходство с лицеочертаньем на Нгранеке выдавало бы в них тех, перед кем скиталец на стезях сновидений мог бы творить молитву. Кроме единственной хоромины в башне ониксовые чертоги на высотах Кадата тонули во мраке, и хозяев не было дома. Картер пришел на неведомый Кадат, но не нашел богов. И всё же зловеще холодный свет рдел в единственной хоромине в башне, столь мало уступавшей своими размерами всему поднебесью и своими отдаленными стенами и потолком едва не пропадавшей из глаз в редкой курящейся дымке. Земных богов не оказалось на месте, что правда, то правда, но в более тонких и менее уримых присутствиях недостатка могло и не быть. Где отсутствуют кроткие боги, там Иные Боги не без предстателей; и конечно, подобно всем замкам, замок из оникса отнюдь не стоит без жильцов. В каком вопиющем образе или образах явит себя впредь ужас, этого Картер не мог себе и представить. Он чувствовал, что его появления ждали, и задавался загадкой, сколь пристально соглядатайствовал с самого начала за ним ползучий хаос Ньярлафотеп. Это ему, Ньярлафотепу, служили ноздреватые, как проказа, твари с луны; и Картер вспомнил о той черной галере, которая скрылась, когда сражение на иззубренном морском

кряже приняло для жабьих выродков худой оборот.

Отдавшись подобным размышлениям, он нетвердо подымался на ноги среди своей компании ночных мар, когда безо всякого предупреждения на всю ту блекло освещенную и безграничную хоромину взвыл тошнотворный зов демонской трубы. Трижды раскатился тот пугающий медный рев, и когда последние отголоски третьего зова, похохатывая, затихли, Рэндольф Картер увидел, что он в одиночестве. Куда, почему или как умело с глаз долой упырей с костоглодными черничами, о том гадать было не ему. Он знал только, что оказался вдруг в одиночестве и что какие бы незримые силы ни таились насмешливо вокруг, то не были силы дружелюбного дремного края земли. Вскоре из крайних пределов хоромины долетел новый звук — это тоже был размеренный трубный глас, но далеко не тот рыкающий троекратный рев, которым размыкало его изрядные когорты. В этой низкой фанfare отзывались дивление и напев несбыточного сна; чужедальними видениями невоображаемой прелести веяло от каждого неземного созвучия и неуловимо нездешнего перелива. Прихлынули ароматы благовоний под стать златозвучным нотам, и сверху озарило великим светом, который играл совокупностью красок, неведомой земному спектру, и вторил пению труб и неотмирных многоголосых созвучий. В отдалении заплясали сполохи, и в тугих волнах ожидания всё ближе наплывал барабанный рокот.

Из редющей дымки и клубов неземных благовоний выступила двойная колонна черных невольников огромного роста, препоясанных по чреслам радужными шелками. На головах у них были пристегнуты наподобие шлемов светильники из поблескивающего металла, откуда курящимися струйками исходило благоухание таинственных бальзамов. В правой руке держали они хрустальные булавы, резное навершие которых представляло ухмыляющуюся химеру, левой же сжимали длинные тонкие серебряные трубы и поочередно в них дули. На запястьях и щиколотках были у них золотые браслеты, и браслеты на щиколотках соединялись золотой цепью, понуждавшей носившего ее смирять свою поступь. То, что они подлинное чернокожее племя земного дремного края, это делалось сразу же очевидным, но меньше походило на то, что их наряд и обряд целиком вещи земные. В десяти футах от Картера шеренги остановились, и как только они встали на месте, трубы отрывистым жестом взлетели к толстым губам... Дикий и восторженный раздался трубный глас, и еще неистовей прозвучал сразу вслед за ним многоголосый вопль черных глоток, обретший особую пронзительность от некоторого странного снарядца.

Тогда в широкий промежуток между двумя шеренгами вступила одинокая фигура — высокая тонкая фигура с юным лицом древнего фараона, веселящая глаз многоцветьем одеяний и увенчанная золотым пшентом, рдеющим незаёмным светом. Совсем близко подошла к Картеру эта царственная фигура; в гордой осанке ее и в дерзких чертах была прельстительность темного божества или падшего архангела, и где-то в глубине глаз лениво посверкивали затаенные блески прихотливого юмора. Фигура заговорила, и дикой музыкой летейских струй зазвенел плавный голос.

«Рэндольф Картер, — говорил голос, — ты пришел, чтобы увидеть Вящих, каковых человеку не попущено видеть. Соглядатели сказали об этом, и Иные Боги ответили воркотанием, несмысленно вертясь и кувыряясь под звуки пронзительных флейт в последней черной пустоте, где вынашивает свои чернодумы демон-султан, имя которого ничьи уста не смеют вымолвить вслух.

Когда Премудрый Барзай взобрался на Хатег-Кла, чтобы увидеть, как Вящие пляшут и завывают при лунном свете над облаками, то назад он уже не вернулся. Иные Боги были при том и исполнили ожидание. Зениг из Афората поднялся на поиски неведомого Кадата в холодном пустолюдии, и теперь его череп вправлен в перстень на мизинце того, кого мне незачем называть.

Но ты, Рэндольф Картер, не сробел ни перед какой тварью в дремном краю земли и по-прежнему пылаешь взыскующим огнем. Ты пришел не как любопытствующий, но как ищущий по праву свое; и ни разу не упустил возможности оказать почести кротким земным богам. И тем не менее эти боги препинали тебе доступ в чудный закатный город твоих дрем, и всё из-за собственной мелкой корысти, ибо они не на шутку возжаждали колдовскую прелесть того, что породила твоя фантазия, и дали зарок, что впредь никакое другое место не послужит им обиталищем.

Они бросили свой замок на высотах неведомого Кадата, чтобы поселиться в твоём чудном городе. День-деньской предаются они веселью в его дворцах из мрамора с прожилками, а когда солнце садится, они выходят в сады, напоенные ароматами, и созерцают златозарное великолепие храмов и колоннад, арчатых мостов, серебряных чаш водометов и широких улиц со светлеющими рядами фиалов с ворохами цветов и статуй слоновой кости. А когда наступает ночь, они всходят на высокие террасы в росе и усаживаются на фигурные скамьи из порфира, созерцая небесный коловорот, или облакачиваются на бледные балюстрады, взирая на крутые городские склоны на севере, где в старых

островерхих фронтонах начинают одно за другим мягко светиться окошки ровным и теплым светом безыскусных домашних свечей.

Боги прониклись любовью к твоему чудному городу и больше не ходят путями богов. Они позабыли чертоги земного величия и горы, которые знала их юность. На земле нет больше богов, которые были бы боги, и лишь Те, Иные из запредельных пространств, держат власть на забвенном Кадате. Далеко отсюда, в раздолах твоего собственного детства, Рэндольф Картер, тешатся нерадивые Вящие. Слишком хороша твоя дрема, о мудрый и первый среди дремных странственников, ибо ты отвадил богов сна от всечеловеческого мира видений ради мира, который есть твой и только твой, из своих ребячливых фантазий возведя город прекраснее всех прежних фантазмов.

Это негоднее дело, что Вящие покинули престолы свои, чтобы паукам плести на них тенета, и вотчину свою, чтобы Иным властвовать в ней темной властью Иных. Неминуче бы силы потустороннего ввергли в ужас и хаос тебя, Рэндольф Картер, кто причина всей этой смуты, не будь им ведомо, что лишь ты один можешь воротить богов в их мир. В твой и только твой дремный край между сном и явью не достягают никакие силы абсолютной ночи; и лишь ты можешь тихо и мирно проводить себялюбивых Вящих вон из твоего чудного закатного города и сквозь северный тусклый туман в исконное место их на высотах неведомого Кадата в холодном пустолюдии.

Итак, Рэндольф Картер, именем Иных Богов я дарую тебе пощаду и повелеваю тебе исполнить мою волю. Я повелеваю тебе отыскать тот закатный твой, только твой, город и проводить вон оттуда забывшихся заблудших богов, которых ждут в дремном краю. Отнюдь не трудно найти ту жаркоцветную горячку богов, фанфару нездешних труб и грохот нетленных цимбал; ту тайну, суть которой, не даваясь, преследовала тебя по мног шумным залам яви и немейшим пропастям сна и терзала тебя проблесками угасших воспоминаний и болью утраты вещей, охватывающих трепетом и исполненных значения. Отнюдь не трудно отыскать тот символ и ту реликвию твоих дней, сопричастных чуду, ибо это воистину не что иное, как несокрушимый и вечный адамант, в котором, закристаллившись, играет искрами то самое чудо и освещает твой вечеряющий путь. Внемли же! Не за незнакомые моря, но вспять по хорошо знакомым годам проляжет твой путь; назад к разноцветностям и необыкновенностям детства и живым, полным солнца проблескам волшебства, которые являются в примелькавшихся картинах широко открытым детским глазам.

Ибо знай же, что твой золотой и мраморный город чуда — это только целокупность всего, что ты видел и любил в детстве. Это великолепие бостонских крыш по склонам холмов и обращенных на запад окон, разгоревшихся в предзакатном солнце, это дышащая настоем цветов Комман, и величественный купол на холме, и путаница островерхих фронтонов и печных труб в сиренево-синей долине, где под арками многих мостов дремотно клубит свои воды река Карла. Эти вещи ты, Рэндольф Картер, увидел, когда весенней порой нянька впервые вывезла тебя в коляске на улицу, и это будут последние вещи, какие бы ты ни увидел очами памяти и любви. И есть древний Сэлем, бременеющий своими годами; и призрачный Марблхэд, нисходящий своими скалистыми стремнинами в прошлые века; и роскошь вида с далеких пастбищ Марблхэда по ту сторону бухты на сэлемские башни и шпили против закатывающегося солнца.

И есть Провиденс, причудливый и величавый на своих семи холмах над голубой гаванью, зеленеющими уступами поднимающийся к островерхим башням и бастионам неумирающей старины; и Ньюпорт, невесомым призраком встающий от своих дремлющих волноломов. Тут и Аркхэм, с его замшелыми двускатными крышами и зыбью загородных луговин; и допотопный Кингспорт с его седой щетиной печных труб и заброшенными причалами, нависающими фронтонами и дивом высоких утесов в океане с гулким перезвоном бакенов в молочной дымке.

Прохладные доли Конкорда, булыжные улочки Портсмута, сумрачные извивы проселков Нью-Хэмпшира, где великанские вязы почти скрывают белые стены сельских домов и поскрипывающие колодезные журавли. Просоленные причалы Глочестера и плакучие ивы Труро. Вид далеких городов с острыми гребнями крыш и холмы гряда за грядой вдоль северного побережья, примолкшие каменистые склоны и низкие домики в плюще под сенью гигантских валунов в глубине Род-Айленда. Запах моря и аромат полей; чара темных лесов и радость цветников и садов на рассвете. Всё это, Рэндольф Картер, и есть твой город; ибо всё это — ты сам. Новая Англия **вы**носила тебя в своем лоне, и из нее истекла тебе в душу красота, которая не умирает. Красота эта, отстоявшаяся, закристаллившаяся и отполированная годами дум и дрем, и есть твое террасами нисбегающее чудо ускользящих закатов; и чтобы найти тот мраморный парапет с преудивительными фиалами и резными перильцами и сойти наконец по тем бесконечным, обнесенным поручнями ступеням в город пространных площадей и радужных водометов, тебе всего-то и нужно, что оборотиться к помыслам и видениям твоего мечтательно-задумчивого детства.

Взгляни! Сквозь это окно сияют звезды вечного света. И сейчас сияют они над узанными и взлелеянными тобою картинами, впивая от них очарование, чтобы еще прекраснее воссиять над вертоградом дрем. Вот Антарес — в этот миг он мерцает над крышами Тремонт-стрит и был бы виден тебе из твоего окна на Бикон-Хилл. Дальше тех звезд зияют бездны, откуда я послан моими несмысленными повелителями. Когда-нибудь сможешь пересечь их и ты, но если ты мудр, то не покушись на такое безумие, ибо среди смертных, что были там и вернулись, лишь один уберег рассудок не сокрушенным от бухающих, когтящих страшилищ пустоты. Ужасы и скверны грызутся, выгрызая для себя место, и в меньших больше зла, чем в больших; как ты и узнал по делам тех, кто усиливался предать тебя в мои руки, тогда как сам я не питал желания тебя сокрушить и давно бы довел сюда, не будь у меня других дел и уверенности, что ты сам отыщешь дорогу. Так что сторонись адовых заповедов и держись мирных и милых вещей из твоего детства. Отыскивай свой чудный город и выпроваживай загулявших Вящих, провожай их бережно вон, туда, где живы картины их собственного детства и где беспокойно дожидаются их возвращения.

Дорогу, даже более легкую, чем зыбкий путь памяти, я тебе уготовлю. Смотри! Вот сюда летит чудовищная черногор-птица, направляемая невольником, которому лучше оставаться невидимым, чтобы не смущать душевный покой. Садись и изготвься — так-то! Йогэш крошечный поможет тебе усесться на чешуях страшилища. Правь на ту ярчайшую звезду южнее зенита — это Вега, и через два часа она как раз взойдет над террасой твоего закатного города. Правь на нее только до той поры, пока не услышишь отдаленного пения в вышних воздушных сферах. Выше того подстерегает безумие, так что попридержи черногор-птицу, едва поманит первая нота. Тогда оглянись на землю, и ты увидишь, как сияет небренный огонь-жертвенник Иред-Наа со священной храмовой кровли. Храм тот в твоём возжеленном закатном городе, правь, стало быть, свой путь на него, пока ты не услышал пения и не пропал.

Когда окажешься на подлете к городу, держи на тот самый высокий парпет, откуда в давнишние времена ты созерцал расстилающееся великолепие, и пинай черногор-птицу, пока она не воскричит в голос. Голос этот отворит слух и разум Вящих, преклонившихся на своих благоуханных террасах, и такая найдет на них тоска по дому, что все чудеса твоего чудного города не утешат их в отсутствие угрюмого замка Кадата и пшента вечных звезд, венчающего его.

Тогда спускайся с черногор-птицей посередь них и дай им посмотреть

на нее и потрогать ту зловонную и гиппоцефальную птицу, поведя между тем с ними речь о неведомом Кадате, который ты только-только успел оставить, и рассказывая о его необъятных покоях, исполненных красоты и мрака, где в старину, бывало, они кудесили и кутили, осиянные божественным светом. И черногор-птица заговорит с ними разговором, какой водится у черногор-птиц, но сильнее ее уговоров будет память о былых днях.

Снова и снова должен ты говорить заблудившимся Вящим об их доме и юности, пока не зарыдают они и не попросят показать им дорогу назад, которую они позабыли. Тут можешь ты отпустить ожидающуюся черногор-птицу, послав ее в небо присущим ее роду криком, зовущим домой; услышав его, Вящие запляшут и затанцуют от исконной радости и немедля упляшут вслед за мерзостной птицей повадкой богов, перешагивая небесные пропасти, к знакомым башням и куполам Кадата.

Тогда чудный закатный город станет навек твоим, твоя любовь и твоя обитель, а боги земли будут снова направлять дремы людей, правя на привычном своем престоле. Ступай же — оконные створы отворены и звезды ждут за окном. Уже черногор-птица храпит в нетерпении. Правь на Вегу ночь напролет, но повороти, как раздастся пение. Не запомнят об этом предупреждении, не то непомышляемые страшилища затянут тебя в бездну вопиющего и улюлюкающего безумия. Помни Иных Богов — великие, и бессмысленные, и ужасные, они подстерегают в запредельных пустотах. Лучшее дело, которое с ними можно иметь, — это держаться от них подальше.

Хей! Аа-Черна-гора-хах! Ну пошел! Выпровожай земных богов вон в их непокойные покои неведомого Кадата и молись всему космосу, чтобы никогда не встретить меня ни в одном из тысячи других моих обликов. Прощай, Рэндольф Картер, и берегись, *ибо есмь Ньярлафотен, Ползучий Хаос!*»

И с занявшимся дыханием и закружившейся головой Рэндольф Картер взлетел с воем и свистом в небо на мерзкой черногор-птице к холодному голубому пыланию борейской Веги, лишь раз оглянувшись назад на скопление и сутолоку башен ониксового кошмара, где все еще одиноко рдел зловеще холодный свет того окна над воздушными пределами и облаками земного дремного края. Огромные чудища, ни животные, ни растения, сумеречно скользили мимо, и незримые нетопыри крылья многошумно бились вокруг, но он все жался к нечистой гриве той гнусной гиппоцефальной чешуйчатой птицы. Плясали насмешливо звезды, то и дело почти сходя со своих мест, складываясь в бледные знамена рока,

чтобы можно было только гадать, как же не провидел его и не испугался заранее; и всё были преисподние ветры о зыбкой черноте и одиночестве за пределами мироздания.

Потом через весь многозвездный свод впереди опустилось предзнаменовательное затишье, и все ветры и ужасы умелись прочь, как уметается прочь ночная нежить перед зарей. Дрожащими волнами, которым золотистые завихрения туманностей придавали преестественную зримость, робким намеком поднимался далекий напев, порождающий бормочущий рой созвучий, неведомых в нашей звездной мироколице. И как только музыка стала слышной, черногор-птица, запрядав ушами, ринулась вдаль, точно так же Картер подался вперед, ловя каждую изумительную руладу. Песнь, но ее пел не голос, — ночь и сферы пели ее, и она была древней тогда, когда пространство, и Ньярлафотепп, и Иные Боги едва народились.

Всё быстрее летела черногор-птица, и ниже клонился ездок, допьяна упоенный дивом незнаемых бездн и закружившийся в хрустальных завиваниях запредельной волшбы. Слишком поздно вспомнилось предупреждение лукавого, злоехидное остережение демонского вестonosца, велевшего искателю остерегаться безумия этой песни. Одной лишь насмешки ради указал Ньярлафотепп дорогу к безопасности и чудному закатному городу; одной лишь потехи ради открыл черный посланник тайну тех праздных богов, кого с такой легкостью воротил бы обратными стопами, когда пожелал. Ибо только безумием и буйством мстительной пустоты Ньярлафотепп одаривает самонадеянного; и как ни пытался ездок неистово поворотить своего отвратительного гиппоцефала, бурная и немилосердная черногор-птица стремилась вперед, в гибельной радости хлопая своими огромными скользкими крыльями, нацелившись в те безблагодатные бездны, куда дремы не достягают; ту последнюю, разлагающую всякую форму проказу триисподнего кишения, где клокочет и кощунит в средоточии бесконечности несмысленный демон-султан Азафот, имя которого ничьи уста не смеют вымолвить вслух.

Неуклонная и покорная велениям тлетворного вестonosца, неслась та адова птица вперед сквозь толпища не имеющих образа и подобия скрытников и гримасников во мраке, и бездумную гурьбу валом валивших шутовин, ошаривающих и ущупывающих, ущупывающих и ошаривающих, — безымянный помет Иных Богов, незрячий и лишенный понятия, как они, и одержимый особой несытостью и жаждой.

Всё дальше, неуклонно и немилосердно, глядячи в шумном веселии, как песнь ночи и сфер заходится теперь в хохоте и истерике, несло своего

беспомощного седока то жуткое чешуйчатое чудовище; громосвистя, пересекало оно краегранный окоем и закраинные бездны; оставляло позади звезды и мир материальности и, метеором пронзая безвидное безмолвие, несло оно к тем непостижимым неслетлым хоромам вне времени, где безобразный и ненагрызный, гложет себя Азафот под приглушенный умоисступляющий рокот мерзких барабанов и тонкое однозвучное завывание окаянных флейт.

Дальше... дальше... через вопиющие, гогочущие, морочащие многими мраками пропасти — и тут из какой-то смутной благословенной дали Рэндольфу Картеру, обреченному, забрезжили образ и мысль. Слишком хорошо задумал свои насмешки и лукавые посулы Ньярлафотеп, ибо навел своими речами на то, что не могут развеять никакие порывы леденящего ужаса. Домашний кров — Новая Англия... Бикон-Хилл... Мир яви...

«Ибо знай же, что твой золотой и мраморный город чуда — это только целокупность всего, что ты видел и любил в детстве. Это великолепие бостонских крыш по склонам холмов и обращенных на запад окон, разгоревшихся в предзакатном солнце, это дышащий настоем цветов бульвар Комман, и величественный купол на холме, и путаница островерхих фронтонов и печных труб в сиренево-синей долине, где под арками многих мостов дремотно клубит свои воды река Карла... Красота эта, отстоявшаяся, закристаллившаяся и отполированная годами дум и дрем, и есть твое террасами низбегающее чудо ускользящих закатов; и чтобы найти тот мраморный парапет с преудивительными фиалами и резными перильцами и сойти наконец по тем бесконечным, обнесенным поручнями ступеням в город пространных площадей и радужных водометов, тебе всего-то и нужно, что оборотиться вспять к помыслам и видениям твоего мечтательно-задумчивого детства».

Дальше... дальше... со вскружившейся головой всё дальше, к последнему роковому концу, сквозь чернотные пустоты, где незрячие щупалы ошаривают, и склизкие рыла тычутся, и безымянная нежить верезжит, и верезжит, и верезжит. Но брезжили тот образ и та мысль, и Рэндольф Картер ясно сознавал, что всё это видится ему в дремах, и только в дремах, и что где-то за всем за этим по-прежнему простирается мир дневной яви и город его детства. Снова проблеснули слова — «тебе всего-то и нужно, что оборотиться вспять к помыслам и видениям твоего мечтательно-задумчивого детства». Оборотиться вспять... оборотиться... Чернота облежала кругом, но оборотиться Рэндольф Картер сумел бы.

Как бы ни тяжело навалился кошмар на все его чувства, Рэндольф Картер сумел бы оборотиться и двинуться. Он сумел бы двинуться и, если

бы захотел, сумел бы спрыгнуть со злой черногор-птицы, которая громосвистяще несла его навстречу роковой участи по велению Ньярлафотепа. Он сумел бы спрыгнуть и рискнул бы на те провалы, что разверзаются в бездонную глубину, те провалы страха, что своими ужасами всё же не превосходят неназываемого рока, подстерегающего его в самом сердце хаоса. Он сумел бы оборотиться, и двинуться, и спрыгнуть... Он сумел бы... Он сумел...

Долой с той громадной гиппоцефальной гадины спрыгнул объятый сном и отчаянием странственник и низвергся в бесконечные пустоты небесчувственной тьмы. Эоны понеслись колесом, вселенные рождались и умирали и снова рождались, звезды становились туманностями, и туманности становились звездами, а Рэндольф Картер всё низвергался сквозь бесконечные пустоты небесчувственной тьмы.

Потом в медленном ходе едва ползущей вечности полный круг космического становления допахтался до еще одного бесполезного завершения, и все вещи снова стали, как они были за бессчетные кальпы до этого. Заново произвелись материя и свет, какими их когда-то знало пространство; и кометы, солнца и миры зажглись огнем и жизнью, хотя не уцелело ни единой пылинки, говорившей бы, что всё это было и прошло, было и прошло, ныне, присно и от безначального века.

Снова были твердь и ветер, и багровый огонь полыхнул в глаза низвергавшемуся странственнику. Снова были боги, и силы, и воления; красота, и зло, и визг тлетворной ночи, у которой отняли добычу. Ибо весь неведомый и полный круг становления пережил мыслеобраз детства странственника, и теперь заново сотворялся мир дневной яви и старый взлелеянный памятью город, чтобы воплотить его и дать ему стать. Из пустоты указывал путь С'нгак, фиолетовый газовый клуб, и первостихийный Ноденс ревел свои наставления из неисследимых пучин.

Звезды расцвели в зарева, и зарева брызнули фонтанами золота, кармина и багреца, а странственник всё низвергался. Криками сотрясался эфир, когда пучки света отражали потусторонних исчадий. И седой старины Ноденс поднял торжествующий рев, когда почти настигавший свою добычу Ньярлафотепп замер, помраченный сполохом, которым в серый прах испепелило его гончих гнуснецов. Наконец Рэндольф Картер и впрямь сошел по широким мраморным пролетам в свой чудный город, ибо снова вернулся в прекрасный мир Новой Англии, закваске того теста, из которого был вылеплен.

И вот в органных аккордах мириадом утренних погудок и в зареве

рассвета, бьющем ослепительным отблеском от величественного золотого купола Капитолия на холме в багрово пламенеющие оконные стекла, Рэндольф Картер вскинулся с криком от сна в своих бостонских стенах. Пели птицы в невидимых садах, и выющийся по шпалерам хмель струил мечтательно-задумчивый аромат из беседок, устроенных его дедом. Красотой и светом дышали камин в классическом стиле, фигурные карнизы, и изысканная обивка стен; лоснящийся черный кот, позевывая, потягиваясь впритупку к камину, приходя в себя от сна, нарушенного вскриком и порывом хозяина. А за пространными бесконечностями, через Ворота Глубокого Сна в заколдованный лес, и цветущие вертограды, и Серенарианский Понт, и бессолнечные пределы Инкуанока шествовал чернотумно ползучий хаос Ньярлафотеп и, взойдя в ониксовый замок на высотах неведомого Кадата в холодном пустолюдии, дерзко потешался над кроткими земными богами, грубо им отлученными от благоуханных веселий в чудном закатном городе.



Тень тьмы времен

I



После двадцати двух лет кошмаров по ночам и страха, спасаясь лишь отчаянной верой в мифологические истоки неких впечатлений, я не желал бы ручаться за истинность обнаруженного мною в Западной Австралии в ночь с 17 на 18 июля 1935 года. Есть небезосновательная надежда, что пережитое явилось, полностью или частично, галлюцинацией — для чего причин действительно имелось в преизбытке. И все же реалистичность этого была столь чудовищной, что порой я нахожу невозможным надеяться.

Если все так и было, то человеку должно приготовиться принять такие представления о космосе и о собственном своем месте в бурлящей круговерти времени, простое упоминание о которых уже леденит кровь. Должно его остеречь и от одной конкретной подспудной угрозы, которая хоть и не станет никогда всеобъемлющей для человечества, может повлечь за собой чудовищный, умонепостижимый кошмар для определенных людей риска.

Именно по этой последней причине я и ратую всеми силами души за окончательный отказ от любых попыток извлечения на свет тех неведомых обломков первобытных каменных построек, исследовать которые отправлялась моя экспедиция.

Допуская, что я был в полном уме и памяти, пережитое мною в ту ночь прежде не выпадало пережить никому. Оно, сверх того, явилось пугающим подтверждением всему, что я тщился отбросить как миф и сон. По милосердию судьбы, это недоказуемо, ибо, охваченный ужасом, я потерял тот вызывающий трепет предмет, который — окажись он материальным и будь извлечен из той пагубоносной бездны — составил бы неопровержимое свидетельство.

Когда я натолкнулся на этот ужас, я был один — и по сию пору никому об этом не рассказывал. Я не мог остановить раскопки, производимые другими в этой же стороне, но случай и смещение песков избавили их от

находки. Ныне я, так или иначе, должен высказаться с определенностью — не только во имя собственного умственного равновесия, но и в предостережение тем, каковые воспримут прочитанное всерьез.

Эти страницы, первоначальная часть которых окажется во многом знакомой тем, кто пристально следит за прессой вообще и научной в частности, писаны мною в каюте корабля, доставляющего меня домой. Я передам их моему сыну, профессору университета Мискатоника Уингейту Писли — единственному члену семьи, который держался меня после странной моей давней амнезии, и человеку, всего лучше знающему прикровенную сторону моей болезни. Из всех ныне здравствующих он наименее способен подвергнуть осмеянию мой рассказ о той судьбоносной ночи.

Перед отплытием я не стал раскрывать ему сути изустно, поскольку полагаю, что для него будет лучше получить письменное разъяснение. Чтение и возвращение на досуге к прочитанному создадут более убедительную картину, чем та, на которую я со своей сбивчивой речью могу уповать.

С этим отчетом он может поступать по своему разумению — показывать его, с подобающим комментарием, в любых сферах, где можно рассчитывать, что от этого будет польза. Для читателей же, незнакомых с моей историей на ее раннем этапе, само разоблачение истины я предваряю довольно пространством изложением всей подоплеки.

Меня зовут Натаниэль Уингейт Писли; для тех, кто помнит газетную писанину из времен их родителей или записки и статьи в журналах по психологии лет шесть-семь тому назад, станет ясно и кто я, и каков род моих занятий. В печати было множество подробностей моей странной амнезии 1908–1913 годов, и немалый шум поднялся вокруг преданий ужаса, безумия и ведовства, таимых ветхозаветным городком в Массачусетсе, бывшим тогда и остающимся поныне местом моего пребывания. Я бы, однако, хотел довести до сведения, что ни в наследственности у меня, ни в ранние годы жизни не было никакого безумия, ничего зловещего. Факт этот является крайне важным, имея в виду ту тень, что настигла меня столь внезапно.

Века, вынашивающие свой темный гнет, возможно, и наделили готовый пойти прахом, наваждаемый слухами Аркхэм некоей особенной уязвимостью в отношении подобных теней, но и это видится сомнительным в свете тех других случаев, каковые мне пришлось впоследствии изучить. Но суть состоит в том, что ни в предыстории моего рождения, ни в моем окружении не было никаких отклонений от нормы.

Постигшее меня нагрянуло не отсюда — откуда же, я и теперь не решусь утверждать напрямик.

Мои родители Джонатан и Хэнна (Уингейт) Писли — оба из Хэвер-Хилла, из доброго старого рода. Я родился и вырос в Хэвер-Хилле — в старинной усадьбе на Бодмэн-стрит близ Голден-Хилла — и перебрался в Аркхэм лишь в 1895 году, когда приступил к чтению курса политической экономии в университете Мискатоника.

Еще тринадцать лет жизнь моя протекала беспечно и гладко. В 1896 году я женился на Алисе Кизар из Хэвер-Хилла, и трое моих детей, Роберт, Уингейт и Хэнна, родились соответственно в 1898, 1900 и 1903 годах. В 1898 году я стал доцентом, а в 1902-м профессором. Никогда не проявлял я ни малейшего интереса ни к оккультизму, ни к паранормальной психологии.

Четверг, 14-го мая 1908 года, оказался тем днем, когда наступила эта странная амнезия. Дело вышло крайне неожиданным, однако позднее я осознал, что какие-то краткие, мельком схваченные видения за несколько предшествовавших часов — видения хаотические, необычайно меня смутившие полной своей небывалостью, — являлись предвещающим знаком. У меня была головная боль и своеобразное ощущение — совершенно новое для меня, — словно кто-то другой пытается обрести власть над моими мыслями.

Припадок произошел примерно в 10.20 утра во время семинара политической экономии — история и современные тенденции — для студентов первого курса и нескольких второкурсников. Мне начали видеться странные формы и стало представляться, словно я не в аудитории, а в каком-то совершенно ином, весьма странном помещении.

Мыслью и в речи я все больше уклонялся от своего предмета, и студенты заметили, что происходит нечто неладное. Затем я поник без сознания за кафедрой, впад в оцепенение, из которого никто не мог меня вывести. И органы моих чувств не взвидели света в нашем обычном мире еще пять лет, четыре месяца и тринадцать дней.

О том, что последовало, я, естественно, узнал от других. Признаков сознания я не подавал шестнадцать с половиной часов, хотя и находился дома на Крейн-стрит 27 под наилучшим врачебным наблюдением.

В три часа утра 15 мая я открыл глаза и заговорил, но едва ли не сразу врач и мои домашние были перепуганы оборотами моей речи и лексикой. Было очевидно, что ни себя как личность, ни своего прошлого я в памяти не сохранил, но, казалось, был по какой-то причине озабочен тем, чтобы это свое незнание скрыть. Глаза мои со странным выражением взирали на

окружающих, и мышцы лица двигались самым непривычным образом.

Даже манера говорить казалась чужой и неуклюжей. Свой речевой аппарат я использовал неловко и неуверенно и артикулировал со странной натугой, словно обладал книжным, с трудом приобретенным знанием английского языка. Выговор был с варварским акцентом; фразеология одновременно включала удивительные обрывки устаревших выражений и абсолютно непостижимые обороты речи.

Двадцать лет спустя один из этих последних со всей своей устрашающей мощью напомнил о себе самому молодому из врачей. Ибо в тот период в обиход действительно вошла такая фраза — сначала в Англии, затем в Соединенных Штатах, — которая, хоть и отличалась высокой сложностью и неоспоримой новизной, воспроизводила до мельчайших особенностей слова странного аркхэмского пациента в 1908 году.

Физические силы вернулись сразу же, однако мне пришлось почти что заново учиться управлять руками и ногами и всей телесной механикой в целом. По причине этих и других затруднений, свойственных при провалах памяти, некоторое время я находился под строгим медицинским наблюдением.

Заметив, что мои попытки скрыть пробелы не удались, я признал их в открытую и с жадностью набросился на всевозможную информацию. Врачам, в сущности, показалось, что я потерял интерес к собственной личности, лишь стоило мне обнаружить, что амнезия воспринимается мною как нечто вполне естественное.

Замечали, что главные силы полагал я на то, чтобы овладеть определенными областями истории, естествознания, искусства, лингвистики и фольклора — одни из них были невероятно темны для понимания, другие детски просты; и тем не менее мое неведение относительно них было весьма странным.

В то же время заметили, что каким-то необъяснимым образом я обладаю познаниями во многих, практически неизвестных, областях — познаниями, которые я, казалось, скорее желал бы скрыть. Я мог, позабывшись, с небрежной уверенностью сослаться на конкретные события из глубины веков, за пределами общепринятой истории — и все выдать за шутку, увидев, какое этим вызвано удивление. Да и моя манера говорить о будущем раза два или три пробуждала непритворный страх.

Эти сверхъестественные озарения вскоре прекратились, однако некоторые из наблюдавших меня отнесли их исчезновение на счет, скорее, опасливой осторожности с моей стороны, чем на счет убывания странного знания, за ними стоящего. По сути дела, я, казалось, впитывал с

ненормальной жадностью речь, обычаи и взгляды эпохи, в которой обретался, будто бы пытливый путешественник из далекой, чужой земли.

Едва лишь мне разрешили, я денно и ночно стал пропадать в университетской библиотеке и вскоре принялся устраивать для себя те странные разъезды и специальные курсы в американских и европейских университетах, которые возбудили столько разговоров в последующие годы.

Ни тогда, ни потом я не страдал от недостатка в просвещенном общении, поскольку в те годы мой случай приобрел определенную известность среди психологов. Я сделался предметом докладов как типичный пример секундарной личности — хотя временами я как будто и приводил лекторов в замешательство эксцентричными выходками или своеобразными признаками тщательно прикрытой издевки.

Истинного дружеского расположения я, однако, встречал немного. Казалось, нечто в моем облике и речах возбуждало смутный страх и отвращение всех, с кем мне приходилось общаться, словно я был существом, бесконечно далеким ото всего естественного и здорового. Странно, но это ощущение темного, сокроуенного страха, связанного с бездонной пропастью некоего отстояния, захватило все мое существо и стойко держалось.

Собственная моя семья не составляла исключения. С момента моего пробуждения жена взиpала на меня с крайним ужасом и омерзением, готовая чем угодно ручаться, что я некто чужой, завладевший телом ее мужа. В 1910 году добившись официального развода, она ни при каких обстоятельствах не соглашалась на встречу со мной, даже после моего возвращения к нормальному состоянию в 1913 году. Чувства эти разделяли мой старший сын и маленькая дочь, ни того ни другую я с тех пор никогда не видел.

Лишь средний мой сын, Уингейт, был, казалось, способен побороть страх и отвращение, вызванные переменой во мне. Он безусловно чувствовал во мне чужака, однако, хоть и всего восьми лет от роду, твердо держался веры, что мое истинное «я» возвратится. Когда это произошло, он отыскал меня, и суд отдал его под мою опеку. В последующие годы он помогал мне в тех штудиях, к которым меня тянуло, и ныне, в тридцать пять лет, он является профессором психологии в Мискатонике.

Меня не удивляет, однако, ужас, который я вызывал, ибо склад ума, голос и все существо того, кто пробудился к жизни 15 мая 1908 года, без сомнения, не принадлежали Натаниэлю Уингейту Писли.

Не стану покушаться на пространный рассказ о своей жизни между

1908 и 1913 годами, поскольку с внешней стороны все самое существенное читатель может почерпнуть — как делал большей частью и я — из подшивок старых газет и научных журналов.

Я получил в распоряжение свои средства и расходовал их экономно — в основном на путешествия и занятия во всевозможных средоточиях учености. Путешествия мои были, однако, до крайности необычными, включая длительные посещения удаленных и пустынных мест.

В 1910 году месяц я провел в Гималаях, а в 1911-м привлек к себе немалое внимание походом на верблюдах в неизведанные аравийские пустыни. Что происходило во время этих путешествий, я так и не смог узнать.

Летом 1912 года, зафрахтовав судно, я пустился в плавание по Арктике севернее Шпицбергена, явив по возвращении все признаки разочарования.

Позднее в том же году, выйдя за пределы, положенные исследованиями, будь то до или после меня, я провел в одиночестве кряду недели в необъятных известняковых пещерах Западной Вирджинии — во тьме лабиринтов такой сложности, что любая попытка проследить мой путь была попросту невыполнима.

Пребывание мое в университетах было отмечено аномально высокой усвояемостью, словно секундарная личность обладала интеллектом, многократно превосходящим мой собственный. Обнаружил я также, что интенсивность моих уединенных занятий и чтения была феноменальной. Я мог схватывать книгу во всех подробностях, просто проглядывая ее с той быстротой, с какой был способен листать страницы; талант же мой мгновенно оперировать многозначными числами был почти пугающим.

Временами возникали чуть ли не грязные слухи о моей власти влиять на мысли и поступки других, хотя я, казалось, был озабочен низвести до минимума проявления этой способности.

Другие нелестные слухи касались моей близости к принципалам оккультистских групп и книжникам, подозреваемым в сношениях с безымянными кружками омерзительных иерофантов допотопного мира. Такого рода слухи, хотя и не доказанные в то время, без сомнения, подогревала огласка некоторых направлений моего чтения — негласный же доступ к редким книгам в библиотеке осуществить невозможно.

Имеется — в форме маргинальных пометок — вещественное доказательство того, что я досконально проштудировал такие вещи, как «Cultes des Goules»^[3] графа д'Эрлетта; «De Vermis Mysteriis»^[4] Людвиг Принна; «Unaussprechlichen Kulten»^[5] фон Юнтца, сохранившиеся

фрагменты загадочной книги Эйбона и наводящий ужас Некрономикон безумного араба Абдуль Альхазреда... Не приходится также отрицать, что новый и пагубный подъем в деятельности подпольных культов возник и устоялся приблизительно во время моего странного перерождения.

Летом 1913 года я стал проявлять признаки скуки и угасающего интереса и обращаться к своим коллегам с намеками, что во мне вскорости можно ожидать перемены. Я говорил, что возвращается память о былой моей жизни, хотя слушатели в большинстве видели во мне двоедушие, поскольку воспоминания, которые я приводил, были случайными и такого рода, какие мне удавалось почерпнуть из своих старых бумаг частного свойства.

Где-то в середине августа я вернулся в Аркхэм и вновь отпер свой давно не открывавшийся дом на Крейн-стрит. Здесь я установил механизм в высшей степени диковинного вида, сооруженный по частям различными механиками в Европе и Америке и тщательно оберегаемый от глаз любого достаточно сведущего, чтобы в нем разобраться.

Те же, что видели его — рабочий, служанка и новая домоуправительница, — говорили, что то была странная мешанина стержней, колес и зеркал всего лишь в два фута вышиной, в фут длиной и фут шириной. Центральное зеркало было круглым и выпуклым. Все это подтвердили те изготовители деталей, чье местонахождение удалось установить.

В пятницу вечером, 26 сентября, я отпустил домоуправительницу и горничную до полудня следующего дня. Свет в доме еще горел, когда прибыл в автомобиле смуглый, худощавый, странно нездешний по виду посетитель.

Последний раз свет в окнах видели около часу ночи. В 2.15 полицейский заметил, что дом погружен в темноту, но авто незнакомца все еще стояло у обочины. В 4 часа авто уже не было.

А в 6 часов утра в доме доктора Уильсона раздался телефонный звонок, и неуверенный голос иностранца попросил приехать ко мне и вывести меня из необычного обморочного состояния. Этот звонок — междугородний — был прослежен: он был сделан из телефонной кабинки на Северном вокзале в Бостоне, но никаких следов худощавого иностранца так и не выплыло на свет.

Прибыв ко мне, врач обнаружил меня в гостиной — без памяти в кресле перед подвинутым к нему столом. Царапины на полированной столешнице показывали, что там прежде покоился какой-то тяжелый предмет. Станный механизм отсутствовал, также и впоследствии о нем

ничего не было слышно. Без сомнения, его забрал смуглый худощавый иностранец.

На каминной решетке в библиотеке возвышались вороха пепла, явно оставшиеся после того, как были сожжены все, до последнего клочка, бумаги с записями, которые я делал с пришествием амнезии. Доктор Уильсон нашел ни на что не похожим, как я дышу, но после инъекции дыхание стало ровнее.

В 11.15 утра 27 февраля я с трудом задвигался, и на моем мертвом, как маска, по сию пору лице появились первые признаки какого-то выражения. По замечанию доктора Уильсона, выражение это не было присущим моей секундарной личности, но очень близко напоминало мое собственное лицо. Примерно в 11.30 я пробормотал несколько удивительных слогов — звукосочетаний, как-будто никак не связанных с человеческой речью. Казалось еще, что я с чем-то боролся. Затем, как раз пополудни, когда вернулись домоправительница и горничная, я принялся бормотать по-английски.

— ...среди экономистов-традиционалистов того периода Йевонс типологичен для преобладающего движения в сторону научной корреляции. Его попытка связать хозяйственные циклы процветания и упадка с физическим циклом образования солнечных пятен представляет собой, пожалуй, вершину...

Натаниэль Уингейт Писли возвратился — бесплотный дух, на чьей временной шкале стояло все еще утро четверга 1908 года, и продолжал вести семинар по политэкономии, не отрывая глаз от обшарпанной кафедры.

II

Мое включение заново в нормальную жизнь происходило болезненно и трудно. Выпадение более чем на пять лет порождает множество сложностей, которые трудно себе представить, — в моем случае требовалось привести в порядок бессчетное количество вещей.

То, что я узнавал о своей деятельности после 1908 года, удивляло и смущало меня, но я старался взирать на дело столь философски, сколь было возможно. Получив наконец опеку над своим средним сыном Уингейтом, я поселился с ним в доме на Крейн-стрит и потщился вернуться к преподаванию — университетом мне было любезно предложено занять мое прежнее преподавательское место.

Я приступил к работе в февральский семестр 1914 года и продолжал ее ровно год. К этому времени я осознал, сколь тяжело потрясло меня пережитое. Хотя в абсолютно здоровом уме, как уповал я, и с незатронутой примарной личностью, былой душевной энергии я не имел. Смутные сновидения и небывалые мысли постоянно преследовали меня, и когда разразившаяся мировая война обратила мои думы к истории, я обнаружил, что размышляю о ее периодах и событиях самым странным образом.

Мое понятие времени — способность моя проводить различие между последовательностью и одновременностью — казалось неуловимо смещенным, так что у меня рождались фантастические представления, как, проживая в одну эпоху, отправить свой дух в странствия через всю вечность в поисках знаний о прошлом и будущем.

Война вызвала у меня странное чувство памятования о некоторых ее отдаленных последствиях — словно я знал, чем она кончится, и мог оглянуться назад в свете знания о будущем. Всем этим псевдовоспоминаниям сопутствовала тяжелая мука и ощущение, что против них установлен некий искусственный психологический заслон.

Когда я несмело намекал на свои впечатления другим, то сталкивался с различной реакцией. Некоторые посматривали на меня с тревогой, коллеги же на математическом факультете заговаривали о новых открытиях, о теории относительности — тогда обсуждавшейся только в ученых кругах, — которой впоследствии предстояло сделаться столь знаменитой. Доктор Альберт Эйнштейн, говорили они, быстро сведет время до положения простого измерения.

Но сновидения и чувства смятения постепенно забирали надо мной силу, так что в 1915 году мне пришлось уйти с постоянной работы. Впечатления определенного рода складывались в неприятную картину, подавая мне неотступную мысль, что моя амнезия представляла собой некую дьявольскую подмену, что секундарная личность была в действительности внедрившимся из неведомых сфер началом, моя же собственная личность потерпела смещение.

Тем самым я был понуждаем к смутным и пугающим раздумьям касательно местопребывания моего истинного «я» в те годы, когда другой владел моим телом. Странные познания и удивительное поведение недавнего постояльца, в нем обретавшегося, тревожили меня все больше и больше по мере того, как я узнавал дальнейшие подробности от людей, из газет и журналов.

Странности, повергавшие в замешательство других, находили, казалось, ужасающий отзвук в некоем подспудном темном знании,

растравляющем бездны моего подсознания. Я принялся за лихорадочные поиски любых обрывочных сведений о штудиях и путешествиях того, другого, в те годы тьмы.

Не все мои беды были такого полуотвлеченного свойства. Оставались сновидения, яркость и конкретность которых, казалось, возрастала. Зная, как отнеслось бы к ним большинство, я обходил их молчанием едва ли не со всеми, кроме моего сына и некоторых, пользующихся моим доверием, психологов; в конце концов я приступил к научному исследованию других историй болезни, чтобы выяснить, сколь типичны или нетипичны подобные видения могут оказаться для страдающих амнезией.

Результаты, подкрепленные психологами, историками, антропологами и опытными специалистами по душевным расстройствам, а также исчерпывающее изучение всех письменных свидетельств о раздвоении личности — от времен бытования легенд о демонической одержимости до медицински трезвого настоящего — меня поначалу скорее встревожили, чем умиротворили.

Я быстро обнаружил, что мои сонные видения действительно не встречаются подобия среди подавляющей массы случаев настоящей амнезии. Тем не менее оставалось небольшое число свидетельств, долгие годы поражавших меня и смущавших возникающими в них параллелями тому, что пережил собственно я. Это были отрывки из старинных преданий; случаи из медицинских анналов, раз-другой ими оказывались анекдоты, безымянно скрытые в хрестоматийной истории.

Таким образом, выходило, что хотя мой особый род заболевания и встречается невероятно редко, тем не менее подобные случаи зафиксированы в летописании человечества. Иной век мог содержать один, два, три подобных эпизода; другой — ни единого или, по крайней мере, ни единого оставившего по себе память.

Суть состояла всегда в одном и том же: человек быстрого ума, захваченный странной секундарной жизнью, в течение более-менее долгого времени ведет абсолютно чужеродное существование, поначалу отмеченное характерной неловкостью в телодвижениях и артикуляции; в дальнейшем — стремление ко всеобщему познанию естественных наук, истории, искусства и антропологии; познанию, осуществляемому с лихорадочным рвением и абсолютно аномальной способностью к усвоению. Затем неожиданное возвращение исконно присущего сознания, отныне с мучительно повторяющимися, смутными, непонятно, что из себя представляющими сновидениями, как бы намеками на обрывки каких-то чудовищных воспоминаний, тщательно стертых из памяти.

И близкое сходство — в малейших даже деталях — этих кошмаров с моими собственными ставило вне всякого сомнения для меня их знаменательную типичность. Два или три случая дополнительно отдавали чем-то неуловимо и скверно знакомым, как будто я прежде слышал о них через какой-то космический канал, слишком противоестественный и страшный, чтобы о нем задуматься. Трижды конкретно упоминалась неведомая машина, такая, как была в моем доме перед второй заменой.

Кроме того меня сильно беспокоило то, что случаи, когда подобные моим кошмары выпадали на долю людей, не страдающих ярко выраженной амнезией, встречались несколько чаще.

Эти люди в своем большинстве были среднего или ниже среднего в умственном отношении уровня — некоторые из них столь примитивные, что о них и помыслить было нельзя как о сосудах экстраординарной учености и носителях сверхъестественного интеллекта. На мгновение их воспаляла чужеродная энергия — потом обратное выпадение и слабое, быстро улетающее воспоминание о нечеловеческих ужасах.

За последние полстолетия было по крайней мере три подобных случая — один каких-нибудь пятнадцать лет назад. Что, если нечто вслепую нащупывает путь сквозь время из негладких бездн мироздания? Что, если эти слабо выраженные случаи были чудовищными зловещими экспериментами, по роду и истоку своему полностью за гранью здравого понимания?

Таковыми были некоторые из несвязных умствований, находивших на меня в минуты слабости — химеры, порождаемые мифами, которые в своих штудиях я извлек из-под спуда. Ибо не приходилось сомневаться, что некоторые устойчивые сюжеты незапамятной древности, явно неизвестные ни жертвам, ни врачам, фигурировавшим в самых последних историях болезни, представляют собой поразительную, в трепет повергающую разработку случаев амнезии, подобных моему.

О природе сновидений и образов, все неотступней одолевавших меня, я еще и теперь не могу говорить без страха. Казались, они отдавали безумием, и временами я думал, что и вправду схожу с ума. Не бывает ли каких-то специфических галлюцинаций, посещающих тех, кто страдает провалами памяти? Допустимо, что усилия подсознания заполнить раздражающий пробел псевдовоспоминаниями могут дать толчок самым странным причудам воображения.

Этого-то мнения — хотя альтернатива с фольклорной теорией показалась мне более приемлемой — и придерживались многие специалисты по сдвигам в сознании, помогавшие мне в поисках случаев,

параллельных моему собственному, и озадаченные наравне со мною иногда вскрывавшимися буквальными совпадениями.

Они не называли это состояние чистым безумием, скорее, ставили его в ряд с нервным расстройством. Моя установка на отслеживание болезненных симптомов и анализ, вместо тщетных попыток перестать о них думать и забыть, с жаром поддерживалась ими как верно согласующаяся с лучшими психологическими правилами. Особенно дорожил я суждением тех врачей, что занимались мною во время моей одержимости другой личностью.

Первые мои отклонения, вовсе не являясь зримыми, касались более абстрактных материй, о которых я упоминал. Присутствовало еще чувство глубокого и необъяснимого ужаса в отношении самого себя. У меня развился причудливый страх увидеть свой собственный облик, как будто моим глазам он должен предстать совершенно чужим и невысказанно гадким.

Когда же я, собственно, опускал взгляд и зрил знакомый образ человека, одетого в спокойных серых или синих тонах, то всегда испытывал странное облегчение, но чтобы это облегчение снискать, необходимо было побороть бесконечный ужас. Я избегал зеркал, как только мог, — брился всегда в парикмахерской.

Прошло немало времени, прежде чем я стал связывать что-либо из этих обманчивых чувств с мимолетными зрительными образами, начавшими обретать форму. Первая подобная взаимосвязь имела отношение к странному ощущению внешнего, искусственного подавления моей памяти.

Я чувствовал, что мои отрывочные видения имеют глубокий и страшный смысл и пугающую связь со мной, но что некая целенаправленная сила удерживает меня от того, чтобы уловить этот смысл и связь. Потом возникла та странность с феноменом времени, и вместе с ней отчаянные попытки расположить разрозненные обрывки сновидений во временных и пространственных координатах.

Сами эти видения-проблески были поначалу скорее странными, нежели пугающими. Я как бы находился в необъятном высоком чертоге, чьи величественные крестообразные своды терялись в сумраке над головой. Где бы во времени и пространстве ни разворачивалась сцена, знание принципа арки было столь же полным, а использование столь же широким, как у римлян.

Там были гигантские круглые окна, и высокие сводчатые двери, и подиумы, или столы, такой высоты, на какой обычно находится потолок комнаты. Широкие, темного дерева, полки опоясывали стены, храня

подобие огромных фолиантов со странными иероглифами на корешках.

По видимой части каменной кладки шла удивительная резьба с неизменным лонгиметрическим выпукло-вогнутым мотивом, и тянулись писания, высеченные теми же иероглифами характерами, что и в гигантских книжных томах. Мрачный гранитный мегалит был возведен из глыб, верхней горбатой поверхностью прилегающих к исподней лунчатой поверхности идущего по верху ряда.

Стульев не было, но громадные подиумы загромождались книгами, документами и чем-то напоминавшим письменные принадлежности — странной отливки кувшины из металла с фиолетовым оттенком и стержни с замаранными концами. Сколь ни высоки были подиумы, я мог, казалось, временами обозревать их сверху. На некоторых стояли огромные светлые хрустальные сферы, служащие лампами, и необъяснимые механизмы, состоящие из стеклянных трубок и металлических стержней.

Окна были застеклены и забраны решетками из толстых металлических прутьев. Хотя я не осмеливался подойти и выглянуть наружу, оттуда, где я стоял, мне были видны колеблющиеся верхушки своеобразных папоротникоподобных растений. Пол был выложен массивными каменными восьмиугольниками, ковры же и драпировки полностью отсутствовали.

Позднее меня посещали видения плавного движения по циклопическим каменным коридорам, вверх и вниз по гигантским наклонным скатам той же чудовищной постройки. Лестниц не было, проход был уже тридцати футов. Некоторые из сооружений, по которым я проносился, должно быть, вздымались в небеса на тысячи футов.

Внизу на множестве уровней находились темные крипты и извека неотмыкаемые люки, припечатанные железными лентами и внушающие смутное ощущение какой-то особой угрозы.

Мне чудилось, что я был узником, и пелена ужаса в моих глазах окутывала все. Я чувствовал, что выпукло-вогнутые иносказательные мотивы на стенах погубили бы мою душу превратностью своих смыслов, не будь я храним милосердным неведанным.

Еще позднее в мои сонные видения включились панорамные виды, открывающиеся из огромных круглых окон и с титанической круглой крыши — с ее удивительными садами, пространными пустующими местами и высоким зубчатым парапетом из камня, — на которую выходил верхний из наклонных скатов.

Вдоль мощеных дорог, полных двести футов в ширину, почти бесконечной чередой тянулись гигантские здания, каждое в окружении

сада. Они сильно различались по внешнему виду, но площадью все они были никак не менее пятисот квадратных футов и тысячи футов высотой. Многие как будто без конца и без края, имели по фасаду, наверное, не одну тысячу футов, тогда как другие, под стать горным пикам, вздымались в серые, клубящиеся пары небес.

В основном они были, казалось, из цемента или камня и в большинстве своем претворяли тот причудливый выпукло-вогнутый способ кладки — такой же, как в здании, где содержался я. На плоских крышах с садами были, как правило, зубчатые парапеты. Встречались иногда террасы, приподнятые над самой крышей участка и свободные пространственные места посреди садов. На величественных дорогах угадывался намек на движение, но в более ранних видениях я не мог разложить на подробности общее впечатление.

В некоторых местах я зрел исполинские облые черные башни, уходящие много выше всех прочих сооружений. Являющие полную исключительность своей природы, они несли на себе знаки фантастического долгоденствия и упадка. Сложенные из небывалых квадратных базальтовых глыб, они сужались слегка к своим закругленным вершинам. Нигде ни в одной из них не было и следа оконных или иных — за изъятием гигантских дверей — отверстий. Заметил я и несколько зданий пониже — все источенные ненастьем целых эонов, — в основе своей архитектуры напоминающих эти черные облые башни. Надо всем этим противным естеству нагромождением прямоугольных глыб тяготело неизъяснимое присутствие угрозы и концентрированного страха, подобно тому, что порождали запечатанные железами люки.

Сады с их причудливыми и незнакомыми растениями, склоняющимися над просторными аллеями, вдоль которых тянулись удивительные резные истуканы, наводили едва ли не страх своей невиданностью. Преобладали уродливо пышные папоротникообразные — зеленого или иссера-зеленого, как плесень, блеклого цвета.

Среди них призраками вздымались растения, напоминающие тростник, чьи бамбуковидные стволы возносились неправдоподобно высоко. Там были древесные формы с султанами жестких листьев как баснословные пальмы, причудливые темно-зеленые кусты и хвойные, во всяком случае на вид, деревья.

Цветы мелкие, неузнаваемые и невзрачные, обильно росли среди зелени на геометрической формы клумбах.

На некоторых из террас и в садах на крышах цветы крупнее и ярче, почти отталкивающих очертаний, внушали мысль об искусственном

выведении. Мхи немислимых размеров, форм и красок испещряли ландшафт узорами, выдающими неведомую, но устойчивую традицию садоустройства. В наземных, более обширных садах покушались как будто на сохранение некоторой природной неупорядоченности, но на крышах было больше избирательности и признаков садового искусства.

В небесах почти всегда клубились дожденосные тучи, и по временам я как будто присутствовал при грандиозных ливнях. Иногда проглядывало и солнце, казавшееся непомерно огромным, или луна — пятна ее хранили налет отличия, которое я никак не мог уловить. Когда очень редко ночной небосклон сколько-нибудь разволакивало, я созерцал созвездия, почти не поддающиеся узнаванию. Порой очертания их напоминали что-то знакомое, но до полного сходства было далеко; из положения же некоторых групп, которые я смог распознать интуитивно, выходило, что я нахожусь в Южном полушарии, в районе тропика Козерога.

Дальний горизонт был неразличим во влажном мареве, но я видел, что гигантские заросли неведомых древовидных папоротников и тростников простирались за городом; фантастические их кроны порочно извивались в наползающем наволоке. Раз от разу в небесах возникал как бы намек на движение, который в моих ранних видениях так ничем и не разрешился.

К осени 1914 года меня начали посещать сны о странных полетах над городом и его окрестностями. Я видел дороги, ведущие через устрашающие дебри с их крапчатыми, складчатыми, полосчатыми стволами, минующие города, столь же диковинные, как и тот, что преследовал меня неотступно, и уходящие в бесконечность.

Я видел циклопические строения из черного или радужно переливчатого камня на прогалинах и просеках, где царили вечные сумерки; по длинным насыпям пересекал хляби столь темные, что могу сказать об их набухающей влагой, высокой растительности меньше чем ничего.

Однажды я видел место, на бессчетные мили усеянное сгубленными временем базальтовыми руинами той же архитектуры, что и кругловерхие беззаконные башни из города, преследующего меня.

И однажды я видел море — бескрайняя ширь в клубах испарений за исполинскими каменными пирсами огромного города куполов и арок. Гигантские бесформенные тени теней колыхались над ним, и то там, то здесь поверхность его волновалась неестественными извержениями.

Я уже говорил, что фантастические эти видения стали меня пугать не сразу. Многих наверняка посещали сновидения, по сути своей более странные — смесь, составленная из бессвязных обрывков обыденной жизни, виденного и читанного, слагаемых в причудливые сюжеты необузданной прихотью сна.

Некоторое время я воспринимал эти видения как нечто естественное, хотя никогда чрезмерно не выделялся по части снов. Многие из неясных сдвигов, рассуждал я, могут восходить к самым заурядным причинам, слишком многочисленным, чтобы все их отслеживать; в других же снах отражались, казалось, общеизвестные сведения о флоре и прочих параметрах первобытного мира 150 миллионов лет назад — в пермский или триасовый период.

Однако в течение следующих месяцев компонент страха играл уже свою роль — и страха, все усиливавшегося. Началось это, когда сны стали с такой неуклонностью обретать вид воспоминаний и рассудок начал связывать их с расстройствами отвлеченного характера — ощущением заблокированности механизма памяти, удивительными представлениями о времени, отвратительным сознанием замещения моего «я» секундарной личностью в 1908–1913 годах и, значительно более поздно, необъяснимым отвращением к самому себе.

По мере того как в сны стали внедряться некоторые конкретные подробности, ужас возрастал тысячекратно, наконец, в октябре 1915 года, я почувствовал, что нужно что-то предпринимать. Тогда я и принялся за напряженное изучение других случаев амнезии и визионерства, полагая, что таким способом смогу придать объективный характер своему беспокойству и освободиться от его эмоциональной хватки.

Однако, как было говорено, результат оказался поначалу почти прямо противоположным. Сильнейшим образом встревожило меня то, что моим снам имелись столь близкие аналоги; особую тревогу внушало то, что некоторые из таких свидетельств относились к слишком раннему времени, чтобы допустить у их авторов какое бы то ни было познание в геологии — а стало быть, и представление о первобытном ландшафте.

Более того, многие записи восполняли ужасающими деталями и объяснениями визиции циклопических зданий, тропических садов и иных вещей. Самый их вид и смутное впечатление были плохи и без того, но то, что недоговаривалось или подразумевалось у других сновидцев, отдавало безумием и кощунством. Хуже всего, что возбуждение моей собственной псевдопамяти претворялось в еще более фантастических снах и намеках на грядущее откровение истины. Впрочем, большинство врачей расценивало

избранный мною путь как разумный.

Я систематически изучал психологию, во многом благодаря мне мой сын Уингейт тоже занялся ею — занятие, приведшее его под конец к профессорской кафедре. В 1917 и 1918 годах я прослушал специальные курсы в университете Мискатоника. Между тем я неустанно предавался изысканиям в медицинских, исторических и антропологических летописях, с неближними поездками в библиотеки и с привлечением, наконец, в круг своего чтения тех чудовищных книг прочного знания, которыми так возмутительно для рассудка интересовалась моя секундарная личность.

Среди этих последних были те же самые экземпляры, по которым я занимался, находясь в смещенном состоянии; сильнейшим образом встревожили меня в них некоторые маргиналии и очевидные исправления, сделанные в выражениях, нечеловечески странных.

Пометки в основном были на тех же языках, на которых были написаны эти книги, — всеми ими писавший, казалось, владел одинаково бегло, хотя и с явным налетом книжности. Однако одна из помет, относившаяся к *Unaussprechlichen Kulten* фон Юнтца, инаковостью своей особенно смущала. Она состояла из неких выпукло-вогнутых иероглифов, выполненных теми же чернилами, что и германоязычные поправки, но не укладывающихся ни в какое узнаваемое человеческим глазом начертание. Были эти иероглифы в близком и явном родстве с теми письменами, которые постоянно встречались в моих сновидениях и смысл которых мне как будто на минуту открывался — казалось, вот-вот и я что-то вспомню.

Довершая мой мрак смятения, многие из библиотекарей уверяли меня, что, согласно регистрации выдачи книг, все пометки должны были быть сделаны мною самим в моем двойственном состоянии. И это при том, что трех из фигурирующих там языков я не знал и не знаю. Собрав воедино разрозненные записи, древние и современные, антропологические и медицинские, я пришел к следующему выводу: речь шла о последовательном сочетании мифа и помрачения сознания, что совершенно меня ошеломило своим размахом и фантастичностью. Лишь то, что мифы были столь раннего происхождения, утешало меня. Какое утерянное знание могло привести картины палеозойских и мезозойских ландшафтов в эти первобытные сказы, мне оставалось только гадать, но картины эти в них были. Следовательно, существовала основа для образования навязчивого галлюцинаторного состояния.

При заболеваниях амнезии, без сомнения, воспроизводилась общая мифологическая модель, но впоследствии причудливое наложение мифов должно было отразиться на страдающих амнезией и окрасить их

псевдовоспоминаниями. Все эти древние сказы я самолично читал и слышал в состоянии провала памяти, что всесторонне подтверждали мои изыскания. Тогда разве не естественно, что последующие мои сновидения и чувственные впечатления были окрашены и оформлены тем, что таинственным образом отложилось в памяти от моего *alter ego*?

В некоторых из мифов возникали знаменательные связи с другими туманными преданиями о мире прачеловека, особенно с теми сказаниями индуистов, что предполагают головокружительные временные пучины и составляют основу современной теософической премудрости.

Первобытный миф и современное умопомрачение сходились на том, что человечество лишь одна — может быть, наинизшая — из высокоразвитых доминирующих рас за долгое и большей частью непознанное существование этой планеты. Твари непостижимого вида, намекало предание, возводили башни до неба и проникали все тайны природы еще до того, как земноводный пращур человека выполз из горячих морей 300 сотен миллионов лет тому назад.

Одни спустились со звезд, некоторые были древними, как само мироздание, другие стремительно развивались из земных бактерий, которые столь же далеко отстояли от первых бактерий нашего цикла существования, как эти бактерии отстоят от нас. Об отрезках в сотни миллионов лет и о связях с иными галактиками и вселенными говорило оно. Поистине, время как таковое, в доступном человеку смысле, не существует.

Но большая часть сказаний и представлений касалась молодой относительно расы странного и сложного облика, не похожей ни на какую из известных науке форм жизни, существовавшей всего лишь за 5 миллионов лет до пришествия человека. Это была, свидетельствовало предание, величайшая из рас, ибо только она овладела загадкой времени.

Она изучила все предметы, что были или будут постигнуты на Земле, при посредстве способных к ментальной самопроекции в прошлое или будущее своих самых быстрых умов, одолевающих даже пучины в миллионы лет ради познания мудрости всех времен. Эта раса породила все легенды о пророках, не исключая и тех, что бытуют в мифологии человечества.

В их необъятных библиотеках хранились тома с иллюстрациями, содержащие все земные анналы: истории и описания всех видов, бывших когда-то или будущих, с полными сведениями об их искусствах и достижениях, их языках и психологии.

Располагая этим охватывающим эоны знанием, Раса Великих в каждом

историческом периоде и у каждой формы жизни избирала те идеи, мастерство и технологии, которые бы удовлетворяли ее собственной природе и бытованию. Знание о прошлом, добываемое посредством ментальной проекции, без участия привычных органов чувств, было труднее собирать по крохам, чем знание о будущем.

В последнем случае процедура была проще и осязаемей. С помощью подходящей механики сознание самопроецировалось во времени вперед, нащупывая трудноразличимую сверхъестественную стезю, пока не достигало желаемого периода. Затем, после предварительных испытаний, оно завладело лучшим из найденных представителей наивысшей формы жизни того периода, внедрялось в мозг организма и возбуждало в нем свои собственные вибрации; запрещенное же сознание выпадало в эру заместителя, оставаясь в теле последнего, пока не начинался обратный процесс.

Ментальная проекция в телесной оболочке существа из будущего выступала теперь под видом одного из членов той расы, в чью внешность она облакалась, изучая, и как можно быстрее, все, что можно было узнать об избранном веке, накопленной им информации и технологиях.

Между тем защищенное сознание, отброшенное во времени в материальное тело заместителя, находилось под бдительным присмотром. Прежде всего следили за тем, чтобы оно не повредило телу, которое временно занимало, и выкачивали из него знания самыми изощренными методами. Выспрашивание часто велось на его родном языке, если прежде паломники в будущее приносили сведения о том языке.

Если сознание выходило из тела, чей язык Раса Великих физически не могла воспроизвести, делались хитроумные механизмы, на которых чужую речь можно было проигрывать, как на музыкальном инструменте.

Член Расы Великих представлял собой исполинский складчатый конус высотой в десять футов; голова со всеми органами крепилась к эластичным, толщиной в фут, конечностям, расходящимся от вершины. Речь их состояла из пощелкивания или поскрипывания, издаваемого гигантскими когтистыми лапами, — своего рода клешнями, которыми кончались две из их четырех конечностей; передвигались они, сокращая и растягивая клейкую подошву гигантского, в десять футов, нижнего основания конуса.

Когда разум-узник изывал свое смятение и гнев, когда проходил его ужас перед незнакомым временным обликом — если он выходил из тела, решительно отличавшегося от внешнего вида Расы Великих, — ему позволялось изучать его новое окружение и на опыте своего заместителя

приобщиться всех их творений и знаний.

Он мог, взамен своих услуг, скитаться по всем обитаемым землям на исполинских воздушных кораблях или огромных, напоминающих лодки, повозках, действующих на атомной энергии, и на свободе рыться в библиотеках, содержащих в своих векописях былое и грядущее планеты.

Многие умы-узники примирались на том со своим уделом, ибо небыстроумцев среди них не было, а для подобного разума проникновение в тайное тайных — запечатанными страницами умонепостижимого прошлого и головокружительной круговертью будущих дней, затягивающей годы наперед отпущенного им природой века, — неизменно составляет, невзирая на крошечный ужас, часто кроющийся под сорванным покровом, наивысшее жизненное переживание.

Время от времени некоторым из узников позволялись встречи с другими, забранными из будущего разумом, — чтобы обменяться мыслью с сознанием, которое существовало или будет существовать сто, тысячу или миллион лет до или после собственного их века. И всех побуждали к пространному писанию на родном языке о самих себе и своем периоде, чтобы данные эти могли занять свое место в огромных центральных архивах.

Можно добавить, что бывали еще узники особого рода, пользующиеся куда большими поблажками, чем остальные. Это были смертоносцы — вечные изгнанники, чьи тела, пребывающие в будущем, узурпировались теми быстроумцами Расы Великих, которые, оказавшись перед лицом смерти, стремились избежать пресечения сознания.

Эти печальные изгнанники попадались не столь часто, как можно было ожидать, поскольку долгоденствие Расы Великих ослабляло в ней любовь к жизни — особенно среди лучших ее умов, способных к самопроекции. Многие из случаев длительного изменения личности, отмеченных в позднейшей истории — в том числе и истории человечества, — явились результатом навечной проекции древнего сознания.

Что же касается до обычных путешествий для приращения наук, то, познав в будущем необходимое ему знание, ум-заместитель создавал аппарат вроде того, который отправил его в путь, и направлял проекцию вспять. Быстроумец снова оказывался в собственном теле и собственном времени, недавний же разум-узник возвращался в то тело в будущем, которое от рода было ему присуще.

Невозможным подобное восстановление становилось только тогда, когда во время замещения умирало то или другое тело. В таком случае уму-

путешественнику — подобно умам беглецов смерти — приходилось, конечно, доживать свой век в будущем под чужой личиной; или же разум-узник, подобно вечным изгнанникам-смертоносцам, должен был до скончания дней влачиться в прошедших веках Расы Великих.

Менее ужасной бывала такая судьба, когда и разум-узник принадлежал к Расе Великих — случай не редкий, ибо во все времена раса эта напряженно интересовалась своим грядущим. Вечных изгнанников-смертоносцев из числа Расы Великих было ничтожно мало — в основном из-за страшной кары, полагаемой за замещение ума из будущего Расы Великих умом умирающего.

Посредством ментальной проекции устраивалось свершение кары над преступившими в их новых телах из будущего, а иногда производилось обратное насильственное замещение.

Были известны и кропотливо улаживались сложные случаи замещения быстроумца-путешественника или разума-уже-узника быстрыми умами в различных периодах прошлого. Во все века с тех пор, как открыли возможность ментальной проекции, малую, но достопримечательную часть населения составляли быстроумцы Расы Великих из прошлых эпох, навещающие на более или менее долгий срок.

Когда забранный в плен ум-чужанин возвращали в его собственное тело в будущее, наводящие гипноз хитроумные механизмы очищали его от всего им усвоенного во времени Расы Великих — из-за чреватости некоторыми досадными следствиями переноса в будущее больших объемов знания.

Бывшие несколько случаев полной и беспрепятственной передачи сознания причиняли — и в будущем причинят — великие бедствия. Двум подобного рода случаям человечество и обязано, как говорит древний миф, тем знаниям о Расе Великих, какие оно обрело.

Из всего, что могло сохраниться непосредственно и физически от этого на эоны удаленного мира, остались только в крайних земных пределах и на морском дне руины неких громад из камня да отрывки внушающих ужас Пнакотских рукописей.

Итак, возвращающийся разум попадал в свой век, сохранив лишь самые смазанные и обрывочные видения того, чему он подвергался с начала своего плена. Все воспоминания, которые можно было стереть, стирались, так что в большинстве случаев лишь пустота, оттененная снами, зияла с момента первичного замещения личности. У некоторых память восстанавливалась лучше, чем у других, и случайная увязка воспоминаний изредка передавала будущим векам иносказание о заповедном прошлом.

По-видимому, во все времена некоторые из этих иносказаний становились предметами культа в тайных обществах. В «Некрономиконе» дан намек на существование такого культа и между людьми — культа, иногда пособничающего быстроумцам, путешествующим через века из эпохи Расы Великих.

Между тем сама Раса Великих, укрепившись в своем только что не всеведении, обратилась к устройению обмена умами с других планет и изучению их прошлого и будущего. Более того, они стремились к обзору, вплоть до самого рождения, прошлого той черной, на протяжении эонов безжизненной небесной сферы, откуда вела свой род их собственная ментальность — ибо разум Расы Великих был старше своей телесной оболочки.

Обитатели древней умирающей планеты, умудренные в запредельных тайнах, провидели новый мир и новый вид. Обещающие им долгожитие *en masse* перенесли в расу из будущего, лучшим образом приспособленную под их обиталище, — в те конусовидные существа, что населяли нашу Землю миллион лет назад.

Так произошла Раса Великих, мириады же умов, отправленных в прошлое, брошены были на погибель среди ужасов невиданных личин. Когда-нибудь Раса опять встанет перед угрозой смерти, однако снова продлит себе жизнь переселением в будущее лучших своих умов, в чужую плоть, которой предстоит более долгое физическое существование.

Такова была подоплека и взаимосвязь предания и бреда помраченного разума. Приведя к упорядоченности результаты своих исследований, примерно в 1920 году, я почувствовал легкое ослабление того напряжения, которое на их начальном этапе лишь усиливалось. Так не было ли, вопреки слепой игре эмоций, мое состояние легкообъяснимым? Простой случай мог навести меня на занятие оккультизмом во время амнезии, а потом я стал читать заповедные предания и общаться с членами древних и злочестивых культов. Это, очевидно, и дало фактуру сновидениям и расстройствам, начавшимся после восстановления памяти.

Что же касается маргиналий, сделанных пригрезившимися во сне иероглифами, авторство которых библиотекари приписывали мне, то я мог попросту почерпнуть поверхностные сведения об этих языках во время моего смещенного состояния; иероглифы же, без сомнения, срисовались моей фантазией с описаний в старинных легендах и со временем вошли в мои сны. Я было пытался удостоверить некоторые моменты, заводя разговоры с видными принципами тайных обществ, но так и не преуспел в завязывании нужных контактов.

Временами параллелизм столь многих случаев заболевания в столь удаленные друг от друга эпохи, как и вначале, продолжал тревожить меня, но, с другой стороны, рассуждал я, как возбудитель фантазий, народное предание в прошлом, в отличие от настоящего, имело всеобщий характер.

Вероятно, другие жертвы болезни, подобной моей, искони знали сказания, в которые я был посвящен лишь в смещенном состоянии. Когда эти другие теряли память, они отождествляли себя с обиходными персонажами своей мифологии — сказочными захватчиками, по преданию замещающими в человеке сознание, — и посему отправлялись на поиски знания, которое думали взять с собой в вымышленное прошлое нелюдей.

Затем, когда к ним возвращалась память, ассоциативный процесс шел в обратном порядке, и они считали себя недавними узниками, вместо прежних захватчиков. Отсюда и сновидения и псевдовоспоминания, воспроизводящие устойчивую мифологическую модель.

Несмотря на кажущуюся громоздкость этих объяснений, они в конце концов потеснили собой все прочие — в основном по причине слабости всех контртеорий. Да и многие выдающиеся психологи и антропологи постепенно согласились со мной.

Чем больше я размышлял, тем более убедительный вид обретали мои рассуждения; пока я не возвел наконец поистине крепкий бастион против видений и ощущений, которые все еще осаждали меня. Допустим, я и видел по ночам странные вещи. Это было всего лишь то, о чем я слышал или читал. Допустим, у меня и были необъяснимые антипатии, предчувствия и псевдовоспоминания. И это только отголоски мифов, усвоенных мною в смещенном состоянии. Что бы ни привиделось мне во сне, что бы ни примерещилось, ничто не могло иметь никакого реального значения.

Черпая силы в этой философии, я достиг немалой уравновешенности, даже несмотря на то, что видения — именно видения, а не отвлеченные общие впечатления — посещали меня все чаще и тревожили своими все большими подробностями. В 1922 году я почувствовал себя в состоянии снова справляться с постоянной работой и нашел практическое применение недавно обретенным знаниям, приняв пост преподавателя психологии в университете.

Мое прежнее место на кафедре политической экономии давно было занято достойным коллегой — да и методика преподавания экономических дисциплин, помимо того, сильнейшим образом изменилась со времен моей молодости. В этот период мой сын только еще приступал к своей диссертации, принесшей ему профессорское звание, и мы много работали

вместе.

IV

Однако я дальше продолжал вести кропотливые записи сновидений, которые так густо и осязаемо теснились вокруг меня. Подобные записи, рассуждал я, представляют неподдельную ценность как психологический документ. Обрывочные видения все еще походили, проклятым образом, на воспоминания, но я сопротивлялся сему ощущению с немалой долей успеха.

В записях я трактовал химеры как реально виденное, но во все остальные минуты отмахивался от них как от возможных тенет всеобщих иллюзий. Я никогда не затрагивал подобных предметов в обыденных разговорах, но слушок просочился, как тому и положено, и каких только пересудов не вызвал, касательно моего душевного здоровья. Забавно помыслить, что эти пересуды ходили только среди обывателей, не встретив поборников среди врачей или психологов.

Я упомяну здесь лишь о нескольких из моих визий после 1914 года, поскольку в распоряжении серьезного исследования есть более полные сообщения и отчеты. Очевидно, что со временем странное торможение несколько пошло на убыль, ибо мои видения обрели куда больший простор. Ничем иным, однако, кроме разрозненных фрагментов без видимой четкой мотивации, они так и не стали.

Казалось, в снах я раз от разу скитался все свободней. Через множество удивительных зданий из камня я прошеествовал, перебираясь из одного в другое левиафановскими коридорами. Иногда, на самом нижнем уровне, мне попадались те гигантские, запечатанные железами люки, от которых исходила сильная эманация страха и заповеданности.

Я видел огромные мозаичные пруды и целые залы удивительных и необъяснимых приспособлений мириад сортов. И колоссальные пещеры с изощренными механизмами, абсолютно чуждые моему пониманию и по своему назначению, и по внешнему виду; производимый ими звук стал мне внятен лишь после долгих лет сновидчества. К сему можно заметить, что зрение и слух — единственные дары чувств, которыми когда-либо я пользовался в мире видений.

Суший ужас начался в мае 1914 года, когда я впервые увидел живых существ. Это случилось раньше, чем в моих студиях мне открылось то, чего — беря во внимание истории болезни и мифы — следовало ожидать.

По мере того как ментальные барьеры рушились, в разных местах — в зданиях и на улицах — я стал прозревать огромные скопления разреженного пара.

Неотвратимо они обретали отчетливость и плотность, пока наконец с пугающей легкостью я не смог проследить их чудовищных очертаний. Это были, мне чудилось, громадные радужно-переливчатые конусы, около десяти футов высотой и десяти шириной у основания, из какой-то складчатой, чешуйчатой субстанции. Из вершины выдавались четыре гибкие округлые конечности, каждая в фут толщиной и такие же складчатые, как и сами конусы.

Иногда эти члены сокращались почти до полного исчезновения, иногда же растягивались на любое расстояние в пределах десяти футов. На концах двух из них имелись огромные когти, или клещи. На третьем было три красных, с раструбом, отростка. Четвертый заканчивался неправильной формы желтоватой сферой около двух футов в диаметре и с тремя огромными темными глазами, расположенными по центральной окружности.

Голову эту венчали четыре тонких серых стебля с напоминающими чашечку цветка отростками, из-под нижней же ее части свисали восемь зеленоватых антенн, или щупалец. Широкое основание самого конуса обрамлялось похожей на резину серой субстанцией, которая и перемещала весь корпус, сокращаясь и растягиваясь.

Их действия, хотя и безобидные, ужаснули меня даже более, чем их внешность, ибо дурнота разбирает от вида чудовищных штуквин, занимающихся тем, что лишь человеческому существу пристало. Штуковины эти толково двигались по громадным комнатам, доставая с полки книги, перенося их на огромные столы или *vice versa*; а иногда усердно писали, зажав особые стержни зеленоватыми щупальцами на голове. Гигантские клешни пускались в ход, когда они брались за книги или разговаривали — речь состояла в своего рода поцелкивании. Штуковины не носили платья, но имели суму, или заплечный мешок, подвешенный у вершины конического туловища. Голова с несущим ее членом держалась обычно вровень с вершиной конуса, хотя часто бывала опущена или поднята. Три остальные гигантские конечности, когда оставались без дела, падали обыкновенно вдоль конуса, ужавшись футов до пяти.

Судя по той интенсивности, с какой они читали, писали и манипулировали своей механикой — та, что была на столах, казалась связанной так или иначе с мышлением, — я заключил, что интеллектом они превосходят человека безмерно.

Позднее я их видел повсюду; они толпились в великанских залах и коридорах; обихаживали чудовищные механизмы в сводчатых криптах; неслись по просторным дорогам в гигантских, в форме лодок, моторах. Я перестал их бояться, поскольку казалось, что их присутствие в высшей мере естественно отвечает всему окружению.

Между ними стали проявляться индивидуальные различия; некоторые, по видимости, содержались под своего рода присмотром. Эти последние хотя и не выделялись по своей физике, инаковостью мины и повадки отличались не только от большинства, но и весьма сильно один от другого.

Как представлялось моим помраченным глазам, они много предавались писанию; графика письма была самой разнообразной, но только она ничем не напоминала те выпукло-вогнутые иероглифы, типичные для большинства. Некоторые, почудилось мне, пользовались привычным нам алфавитом. Большинство из них работало куда медленней, чем основная масса существ.

Все это время мое собственное участие в сновидениях сводилось к роли развоплощенного сознания с превышающим нормальное полем восприятия, парящего свободно, но придерживающегося обычных путей сообщения и скорости. Никакие намеки на телесность не тревожили меня до самого августа 1915 года. Я говорю — тревожили, потому что на первой стадии возникла бесконечно ужасная, хотя и чисто абстрактная, ассоциативная связь замеченного мною прежде отвращения к собственному телу со сценами моих видений.

На некоторое время главной моей заботой во время сновидения стало удержаться от того, чтобы не окинуть себя взглядом, и припоминаю, как я был благодарен за полное отсутствие больших зеркал в странных чертогах. Сильнейшим образом тревожило меня то, что огромные столы — никак не менее десяти футов высотой — я всегда видел с точки, расположенной выше уровня их столешниц.

А потом болезненное искушение оглядеть себя стало расти, пока однажды ночью я не смог ему противопоставить. Поначалу взгляд, брошенный вниз, не открыл ничего. Минутой позже я осознал, что это из-за того, что голова моя заканчивает собой гибкую шею невероятной длины. Втянув эту шею и посмотрев вниз под острым углом, я увидел чешуйчатую, складчатую, радужно-переливчатую махину объемистого конуса десять футов высотой и десять шириной у основания. Тогда-то я разбудил половину Аркхэма своими воплями, обезумело борясь с пучинами сна.

Прошла не одна неделя, пока наконец я смирился с моим обликом

страшилища. Теперь в своих снах я телесно присутствовал среди прочих незнакомых существ, читал устрашающие книги на полках, которым не было видно конца, и часами писал за огромным столом, захватив стилус зелеными щупальцами, которые свисали у меня с головы.

То, о чем я читал и писал, удерживалось обрывками в памяти. Это были жуткие летописания иных миров и иных вселенных; это были анналы неизвестного вида существ, населявших мир в незапамятном прошлом; пугающие хроники разума, облеченного в уродливые тела, и грядущего в мир спустя миллионы лет после смерти последнего человека.

Я узнал страницы в истории человечества, о которых в ученом мире и не подозревают. Писано было все большей частью на языке иероглифов; я изучил его диковинным способом с помощью бормочущих механизмов; явно агглютинативный язык с системой корней, совершенно не имеющих сходства ни с одним языком человечества.

Другие фолианты были на иных неведомых языках, освоенных тем же диковинным способом. Очень немногие оказались на языках, мне знакомых. Исключительно искусные рисунки, и испещряющие сами летописи, и составленные отдельными подборками, невероятно помогали мне. И все это время, чудилось мне, письменно я излагал по-английски историю своего века. По пробуждении я припоминал лишь мизерный и бессмысленный набор слов из неизвестных языков, усвоенных моим *alter ego* во сне, хотя мои записи из истории всплывали целыми фразами.

Я узнал — прежде даже, чем бодрствующее «я» изучило аналогичные истории болезни и древние мифы, несомненный источник сновидений, — что меня окружали существа, принадлежащие к величайшей расе мира, которая победила время и посылает умы-искатели во все века. Узнал я также, что был умыкнут из собственного века, пока моим телом пользовался другой, и что в некоторых из этих странных обличей ютится, подобно мне, разум-узник. Мне чудилось, с разумными существами-изгнанниками из всех закоулков Вселенной, говорил я на языке чудного пощелкивания.

Был здесь носитель разума с планеты, которую мы называем Венерой, — неисчислимы века пройдут, пока придет его время жить, — другой был с самой далекой из лун Юпитера за шесть миллионов лет до времени она. Из разумных землян было несколько крылатых животно-растений-астроцефалов Антарктики эпохи палеогена; один из змеелюдей баснословной Валузии; трое из косматых гиперборейцев, поздних предлюдей, поклонников Цатоггуа; один из омерзительных Тчо-Тчо; двое арахнид из последних земных времен; пятеро одетых броней

жесткокрылых *coleoptera*, прямо наследующих человечеству, в которых однажды Раса Великих, перед лицом жуткой угрозы, *en masse*, перенесет своих быстроумцев; и несколько представителей различных ветвей человечества.

Я говорил с Йцанг-Ли, философом из империи изуверов Тсан-Чан, грядущей 5000 лет от Р.Х.; с генералом смутных гиперцефалов, владевших Южной Африкой в 50 000 лет от Р.Х.; с монахом-флорентийцем эпохи дуэченто по имени Бартоломео Корса; с королем Ломара, царившим на этой страшной полярной земле сто тысяч лет, пока с запада не пришли коренастые желтые инуто и не полонили ее.

Я говорил с Нуг-Сотом, чародеем темных завоевателей из шестнадцатого тысячелетия от Р.Х.; с римлянином по имени Титус Семпронис Блезус, квестором во времена Суллы; с Хефнесом Египтянином эпохи царствования 14-й династии, поведавшим мне мерзостную тайну о Нирлафотеппе; с одним из жрецов Атлантиды срединного царства; с дворянином из Суффолка, современником Кромвеля, Джейсом Вудвиллем; с придворным астрономом из Перу до воцарения инков; с физиком из Австралии Невелом Кингстон-Брауном, который умрет в 2518 году от Р.Х.; с верховным магом канувшего в Тихий океан Йхе; с Теодотидесем, греко-бакрийским чиновником из 200 года до Р.Х.; с престарелым французом эпохи Людовика-Солнце по имени Пьер-Луи Монтаньи; с Кром-Йа, вождем из земель *Cimmeride tenebrae* пятнадцатого тысячелетия до Р.Х.; и с таким множеством других, что рассудок не в силах совладать с убийственными тайнами и головокружительными чудесами, к которым меня приобщили.

Пробуждаясь по утрам в лихорадке, я порой отчаянно пытался удостовериться истинность либо ложность тех сведений, что подпадали под рамки современных человеческих знаний. Общепринятые факты обретали новые и сомнительные аспекты, и я дивился прихотливости снов, столь многому научивших меня.

Меня приводили в содрогание тайны, которые могло скрывать прошлое, и повергали в трепет опасности, которыми могло быть чревато будущее. То, что было говорено и недоговорено о судьбе человечества существами, идущими человеку на смену, оказало на меня такое воздействие, что я не стану этого предавать бумаге.

После человека наступит могучая цивилизация жуков, чьи тела заберет элита Расы Великих, когда над допотопным миром свершится гибельный рок. Позднее, когда отпущенный Земле срок подойдет к концу, быстроумцы-переселенцы опять отправятся через пространство и время на новое пристанище в телах луковицеобразных вегетативных организмов

Меркурия. Но и после них, перед тем как настанет абсолютный конец, придут племена, жалко жмущиеся к холодной планете и зарывающиеся в норы, уходящие к средоточию ужаса в самом ее нутре.

Между тем в своих снах я писал и писал тот обзор своего времени, который должен был изготовить — частично по собственной воле, частично из-за того, что это сулило большую возможность путешествовать и пользоваться библиотекой, — для центральных архивов Расы Великих. Архивы находились в титанических подземных строениях вблизи центра города, которые я досконально узнал, так как часто трудился там, наводя справки. Задуманные на век, равный веку самой Расы, и способные противостоять самым бурным земным содроганиям, эти колоссальные хранилища превосходили все другие строения массивной, гороподобной крепостью конструкции.

Летописи, рукописные или отпечатанные на огромных целлюлозных листах, до странного не поддающихся на разрыв, были переплетены в тома корешком наверх и содержались в отдельных футлярах из удивительного, крайне легкого, нержавеющей металла сероватого оттенка, украшенных математическими символами и титулом, начертанным выпукло-вогнутыми иероглифами Расы Великих.

Футляры эти хранились в расположенных ярусами прямоугольных нишах, наподобие закрытых и запертых полок, сделанных из того же нержавеющей металла и замыкавшихся сложными поворотами круглой ручки. Моей летописи было предназначено определенное место в нишах самого нижнего яруса, или яруса позвоночных, — в секции, отведенной под культуры человечества и непосредственных предшественников, косматых и пресмыкающихся, его земного владычества.

Но ни в одном из снов мне так и не представало полной картины обыденной жизни. Это все были не более чем расплывчатые, несвязные обрывки, и наверняка фрагменты разворачивались не в той последовательности. К примеру, у меня самое неточное представление об устройстве моего жилья в мире сонных видений; хотя, сдается, в моем распоряжении был высокий каменный покой. Препоны, чинимые мне как узнику, постепенно исчезали, так что некоторые сны стали складываться из живых картин путешествий по великанским дорогам в джунглях, наездов в незнакомые города и разведок в громадных, мрачных, беззаконных руинах, которых Раса Великих чуралась в таком удивительном страхе. Были и долгие морские поездки на огромных многопалубных кораблях невероятной быстроходности; и путешествия над девственными дебрями в закрытых, наподобие ракет, воздушных судах, поднимающихся над землей

и движущихся силой электрического отталкивания.

За теплым океаном лежали другие города Расы Великих, и в одной далекой земле я видел уродливые постройки черно-рыластых крылатых тварей, которые разовьются в доминирующую породу, после того как ушлет в будущее первейшие свои умы Раса Великих, убегая ползучего ужаса. Неизменный тон виду задавали плоские равнины и буйные зеленые заросли. Низкие и редкие холмы являли признаки вулканической деятельности.

О зверях, которых видел, я мог бы написать тома. Все они были дикими — с домашней тварью машинная цивилизация Расы Великих давно покончила, — пища же была полностью вегетарианской или синтезированной. Нескладные рептилии великанских размеров едва поворачивались в пузырящихся топях, махали крыльями в хмарном тяжелом воздухе или извергали водяные фонтаны в моря и озера; среди них, мне казалось, я смутно угадывал более мелкие, архаичные прототипы множества видов — динозавров, птеродактилей, лабиринтодонтов, плезиозавров и тому подобных, — знакомых по палеонтологии. Ни птиц, ни млекопитающих я не обнаружил вовсе.

Суша и хляби кишели змеями, ящерицами и крокодилами, среди пышной растительности беспрестанно гудели насекомые. А на открытом водном просторе невидимые и незнакомые чудища прободали гороподобными столбами пены клубящееся небесное марево. Однажды побывал я в пучине моря на гигантском подводном корабле с прожекторами и бросил взгляд на страшилищ, вызывающих трепет своей громадностью. Видел я и невероятные руины затонувших городов; и изобилие кораллов, ракушек, раков и рыб, все заплонивших собою.

Мои визиис сохранили лишь малую толику сведений о физиологии, психологии, этнографии и истории Расы Великих, и многие из разрозненных деталей, мною здесь приводимых, черпались, скорее, крупницами из моего штудирования старинных преданий и историй болезни, чем из собственных снов.

Ибо, конечно, со временем в своем чтении и исследованиях я сравнился, а во многих аспектах и опередил свои сны, так что некоторые фрагменты бывали объяснены наперед и служили в подтверждение тому, что я узнавал. Этим упрочилось мое утешительное убеждение, что сходный круг чтения и занятий моей секундарной личности и представляет собой источник всей жуткой канвы псевдовоспоминаний.

Период, к которому относились мои сновидения, приходится где-то на 1 500 000 000 лет назад, когда палеозой сменялся эрой мезозоя. Тела, в

которых обреталась Раса Великих, представляют собой не только несохранившуюся — или хотя бы известную науке — линию земной эволюции, но и совершенно особый, однородный, в высокой степени адаптированный органический тип, склонный как к растительному, так и животному состоянию.

Клеточная деятельность уникального рода, почти исключаящая утомление, полностью уничтожала потребность во сне. Питание, ассимилируемое через красные, раструбом, придатки на одной из четырех огромных гибких конечностей, было всегда полужидким и по многим свойствам ничем не похожим на пищу, какая бывает у животных.

Существа эти были наделены лишь двумя из известных нам чувств — зрением и слухом, последнему служили напоминающие цветочную чашечку придатки на серых отростках над головой. Даром чувств иных и немислимых — одно из которых использовалось разумом-узником чужан, обитающих в их теле, — они обладали во множестве. Три их глаза были расположены таким образом, что давали поле зрения, превышающее нормальное. Кровь их представляла собой очень густую темно-зеленую сукровицу.

Они не имели пола, а воспроизводились через семена, или споры, которые собирались гроздьями у их основания и могли развиваться только под водой. Огромные неглубокие резервуары использовались для произрастания их потомства, которого возвращалось, однако, очень немного по причине долгоденствия особей — обычный жизненный срок измерялся в четыре или пять тысяч лет.

Особей, отмеченных изъянами, тут же ликвидировали. Болезнь и приближение смерти, в отсутствие способности осязать и чувствовать физическую боль, узнавались по чисто зрительным приметам.

Мертвых сжигали с пышными церемониями. Изредка, как уже говорилось, быстрый ум избегал смерти направленной самопроекцией в будущее; но подобные случаи были весьма редки. Когда же это происходило, разум-изгнанник из будущего пестовался с предельной заботой, пока не разрушалось его непривычное обиталище.

Раса Великих образовывала, казалось, единственную, весьма разобщенную нацию с общими для всех важнейшими социальными институтами; однако имелись четыре определенно выраженные группы. Для политического и экономического устройства каждого такого целого было характерно предельно рациональное распределение основных ресурсов и препоручение власти небольшому правящему совету, избранному голосованием всех прошедших определенные психологические

и образовательные тесты. Созданию семей особого значения не придавалось, хотя узы между особями, близкими по крови, признавались и детей, как правило, воспитывали родители.

Сходство с человеческими отношениями и институтами более всего было заметно, естественно, в тех областях, где, с одной стороны, дело касалось высоко отвлеченных материй или же, с другой стороны, доминировали изначальные недифференцированные побуждения, общеприсущие всей органической жизни. Некоторая дополнительная схожесть приходила через сознательное заимствование, по мере того как Раса Великих изведывала будущее и перенимала то, что считала для себя полезным.

Высоко механизированная промышленность не требовала от великих особого внимания, и в изобилии предоставляемый досуг был исполнен разнообразных художественных и интеллектуальных трудов.

Науки были вознесены на невероятный уровень развития, а искусство буквально животворило существование, хотя во времена моих снов его пик и полдень уже был прейден. Непрерывная борьба за выживание и сохранение физической структуры огромных городов, порождаемая чудовищными тектоническими сдвигами тех первостихийных времен, сильнейшим образом подстегивала технологию.

Преступность, до удивительного, не процветала, и с ней справлялись весьма эффективными мерами законоблюдения. Наказания колебались от отчуждения привилегий и тюремного заключения до лишения жизни или слова ведущей эмоциональной установки; и никогда не налагались без кропотливого изучения мотивов преступления.

Войны, последние несколько тысячелетий преимущественно гражданские, но иногда затеваемые против крылатых астрोцефалов-предначальных, сосредоточенных в Антарктике, были нечастыми, но безмерно разорительными. Гигантская армия, снабженная напоминающим проектор оружием, дающим сильнейший электрический разряд, содержалась в готовности по причинам, редко упоминаемым, но явно связанным с непроходящим страхом перед темными, древними руинами и огромными запечатанными люками на самых нижних подземных уровнях.

Этот страх подразумевался без слов или, в лучшем случае, становился делом уклончивых речей не во всеуслышанье. Все, что бы ни имело конкретного к нему касательства, вопиюще отсутствовало в книгах, открытых для общего доступа. Это был единственный предмет, подлежащий полнейшему табу и связанный, казалось, не столько с минувшими страшными бедами, сколько и с той грядущей опасностью,

которая понудила однажды племя выслатъ своих быстроумцев в грядущие времена.

Как бы неполно и фрагментарно ни представало из снов и преданий все остальное, этот предмет затемняли еще более густые завесы. Туманные древние мифы избегали его — возможно, все ссылки по какой-то причине подверглись изъятию. И в сновидениях — и в моих собственных, и в чужих — намеков было специфически мало. Представители Расы Великих никогда не заговаривали на эту тему, и то, что было собрано по крупицам, собралось лишь благодаря большей проницательности того или иного разума-узника.

По этим обрывочным сведениям, страх зиждился на существовании древней расы полипчатых, совершенно иновидных животно-растений, явившихся из безмерно далеких галактик и обладавших Землей и еще тремя планетами Солнечной системы около шестисот миллионов лет назад. Они были лишь отчасти материальны — в том смысле, как мы понимаем материю, — а тип их сознания и восприятия далеко расходился с земным типом. Например, в их способности не входил дар зрения, их умозрительный мир бытовал как мозаика удивительных невизуальных представлений.

Тем не менее они были достаточно материальными, чтобы прибегать к обычным материальным орудиям, когда попадали в те части космоса, где таковые имелись; и они нуждались в жилище — пусть даже и особого рода. Хотя для их чувств не существовало материальных преград, для их плоти они были; и электрическая энергия определенного свойства могла их целиком уничтожить. Они обладали даром летать по воздуху, вопреки отсутствию крыльев или любой видимой снасти для левитации. Склад их сознания был таков, что Раса Великих не могла проделывать с ними никакого обмена.

Твари эти, явившись на Землю, воздвигли исполинские базальтовые города безоконных башен и люто терзали все живое, что им попадалось. Так было, когда быстроумцы Расы Великих прянули через бездну из того неведомого мира по другую сторону галактики, что в спорных и смущающих покой Элтданских Воскрылиях именуется Йит.

Новоявленные пришельцы, с помощью орудий собственного изобретения, справились без труда с хищными тварями, позагнав их в те полости в самом чреве земли, которые они присовокупили к своим обиталищам и начинали уже обживать.

Тогда они запечатали входы, предавая лютых тварей их судьбе, а позднее заняли большинство их величественных городов, сохранив

некоторые важные здания больше из суеверия, чем безразличия, самомнения или рвения исторического и научного.

Но проходили зоны, и стали являться смутные, лихие знаки, что древняя нежить в земной утробе прирастала в числе и силе. В каких-нибудь маленьких удаленных городах Расы Великих и в заброшенных, древних, ими не заселенных — там, где проход к подземным безднам не был запечатан или не охранялся подобающим образом, — случались отдельные вылазки, самого мерзейшего свойства.

После этого принимались меры большей предосторожности, и многие из проходов были замкнуты навек — хотя несколько, запечатанных люками, было оставлено для пользы стратегии в борьбе против древней нежити, буде прорвется она на поверхность в непредугаданном месте.

Вылазки древних тварей были, должно быть, ужасными сверх всяких слов, ибо они неизгладимо сказались на психологии Расы Великих. Страх был таков, что самый внешний вид тварей обходился молчанием. Мне так и не дали ясно понять, как они выглядели.

Темно намекалось на противоестественную податливость их плоти, их временные исчезновения из зримого плана; по другим же обрывочным слухам, они имели силу над могучими ветрами и пользовались ими в бранных целях. Особенные свистящие звуки и колоссальные следы, состоящие из отпечатков пяти круглых пальцев, также связывались с представлением о них.

Очевидно, грядущим роком, до последней крайности устрашающим Расу Великих — обреченность рано или поздно послать миллионы своих быстроумцев в чужие тела через всю пропасть времени в более безопасное будущее, — станет успешный и окончательный прорыв на поверхность древней нежити.

Ментальные проекции, направленные из будущего в глубину веков, недвусмысленно предрекали эту погибель, и Раса Великих твердо стояла на том, что все, кто может ее избежать, должен это сделать. То, что набег будет делом, скорее, мести, чем попыткой опять завладеть верхним миром, они знали из более поздней планетарной истории — их проекции провидели приход и уход других чудовищных тварей.

Возможно, эти существа и предпочли бездонное чрево земли изменяющейся, обуреваемой стихиями поверхности, лишь потому, что свет им был не нужен. Возможно также, они медленно угасали по мере того, как уходили зоны. Действительно, было известно, что они окончательно вымрут в то время, когда место человека заступит раса жуков, в которых и вселятся спасающиеся бегством умы.

Между тем Раса Великих поддерживала неусыпное наблюдение, постоянно во всеоружии своей мощи, вопреки тому, что, движимая страхом, прогнала сей предмет с языка, из обыденной речи, и с глаз, из письменных хроник. И безымянный страх навсегда осенил предвечные черные беззаконные башни и запечатанные железами люки подземных уровней.

V

Вот мир, глухие, беспорядочные отголоски которого доносили каждую ночь мои сны. Нечего и надеяться, чтобы я смог дать сколько-нибудь истинное понятие о страхе и ужасе, заключавшееся в этих отголосках, поскольку одно их вполне неосоздаваемое свойство — пронзительное чувство псевдопамяти — было главным, от чего эти страхи зависели.

Как уже говорил, в своих штудиях я постепенно обрел защиту от этих чувств под видом рациональных психологических объяснений, и спасительное это воздействие усиливалось неумолимым налетом привычности, приходившей вместе с течением времени. И все же, ни на что не взирая, смутный знобящий ужас возвращался снова и снова. Однако он не захлестывал меня с головой, как бывало, и начиная с 1922 года я жил пренормальной жизнью, чередуя дело с бездельем.

Шли годы, и я начинал чувствовать, что опыт, изведенный мной — купно со случаями сродственного заболевания и фольклорными корреляциями, — следовало бы окончательно суммировать и опубликовать для пользы серьезных исследователей; стало быть, я подготовил цикл статей, бегло охватывающих весь материал и проиллюстрированных грубыми набросками личин, пейзажей, орнаментальной высеки на камне и иероглифов, упомянутых мною.

Статьи появлялись в разное время в течение 1928–1929 годов в «Газете американского Психологического общества», но особенного внимания не привлекали. Между тем я продолжал записывать свои сновидения до мельчайших подробностей, хотя растущая куча отчетов начинала меня смущать своими размерами.

10 июля 1934 года Психологическое общество переправило мне письмо, которое послужило прологом к ужаснейшей кульминационной стадии моего безумного странствия. На конверте стоял почтовый штамп «Пилбарра, Западная Австралия» и имя человека, который, по наведении справок, оказался горным инженером, весьма видным в своей области. К

письму были приложены престранные снимки. Я приведу текст письма полностью, и каждый, кто бы его ни прочел, поймет, какое громадное впечатление письмо и фотография на меня оказали.

Взятый оторопью, я был почти не в силах сразу поверить; ибо хоть я и часто задумывался о том, что некоторые мотивы предания, влияющего на мои сны, должны иметь под собою то или иное фактическое основание, тем не менее не был готов к чему-то вроде осязаемых на ощупь реликтов мира, канувшего в такой дали, — это не укладывалось в воображении. Убийственнее всего оказались фотографии — на них в холодной, неоспоримой достоверности выступали на фоне песков известного рода каменные глыбы, стертые временем, источенные водой, изрытые ветрами, чьи слегка горбатые верхние стороны и лунчатые исподнии вели свое собственное повествование.

Всматриваясь в них с увеличительным стеклом, я среди выбоин и ямок разглядел, и даже слишком ясно, следы того гигантского орнамента из выпукло-вогнутых линий и отдельные иероглифы, ставшие столь пугающе значимыми для меня. Но вот письмо, говорящее само за себя.

*Дампье-стрит, 49
Пилбарра, 3. Австралия
18 мая 1934
Ам. Психологическое общество
41-я стрит 30 Е
Нью-Йорк, США
для передачи профессору Н. У. Писли*

Дорогой сэр!

Недавний разговор с д-ром Е. М. Бойлом из Перта и Ваши статьи в газетах, только что им присланных, убеждают меня рассказать Вам о некоторых вещах, виденных мною в Великой Песчаной пустыне к востоку от наших золотых приисков. Имея в виду эти особые легенды о древних городах с громадными каменными постройками и странные орнаменты и иероглифы, описываемые Вами, представляется, что я натолкнулся на нечто весьма существенное.

Чернокожие с их всегдашними рассказами об «огромных меченых камнях» испытывают, кажется, жуткий страх перед ними. Они их каким-то образом связывают с общеплеменным

мифом о Буддайе, старике-исполине, который спит веками в недрах земли, положив голову на руки, и однажды, проснувшись, пожрет мир.

Есть очень старые полузабытые сказания о громадных подземных хижинах, сложенных из огромных камней, где ходы уводят все дальше и дальше вниз и где когда-то творились ужасные вещи. Чернокожие утверждают, что однажды какие-то воины, спасаясь от врага, спустились в одну такую и уже не вернулись, однако вскоре оттуда задули пугающие ветра. Правда, в том, что говорят эти туземцы, обычно смысла не много.

Но мне есть что рассказать кроме этого. Два года назад, когда я вел изыскания в пустыне примерно на 500 миль к востоку, я натолкнулся на массу странных тесаных камней, наверное, 3×2×2 футов в размере, выветрившихся и выбитых до предела.

Вначале я не мог обнаружить тех меток, о которых говорили чернокожие, но, приглядевшись более пристально, различил, несмотря на ноздреватую поверхность, несколько глубоких высеченных линий. В них была специфическая кривизна, которую именно и пытались описать аборигены. Похоже, там было 30 или 40 глыб, некоторые почти занесены песком, и все в пределах одной окружности диаметром примерно в четверть мили.

Заметив несколько штук, я стал осматриваться в поисках других и при помощи инструментов точно вычислил их местонахождение. Я также снял на пленку 10–12 наиболее характерных, прилагаю для Вас отпечатанные снимки.

Информацию и фотографии я передал властям в Перте, но они ничего не предприняли.

Потом я познакомился с доктором Бойлом. Он прочитал Ваши статьи в «Газете американского Психологического общества»; и как-то мне случилось упомянуть об этих камнях. Он страшно заинтересовался; когда я показал ему снимки, он разволновался не на шутку, сказав, что камни и знаки на них были точно такими же, какие Вы видели в своих снах и какие описывались в легендах.

Он собирался написать Вам, но получилась задержка. Между тем он прислал мне большую часть газет с Вашими статьями, и я сразу понял по Вашим рисункам и описаниям, что мои камни именно то, что Вы имеете в виду. Вы можете в этом убедиться по

фотографиям. Позднее доктор Бойл свяжется с Вами напрямую.

Я понимаю, насколько все это окажется для Вас важным. Нет сомнения, что перед нами остатки неизвестной цивилизации, такой древней, что и во сне не снилось. Это на их основе складывались те Ваши легенды.

Как горный инженер я имею некоторое представление о геологии и могу сказать, что при одной мысли о древности этих глыб делается страшно. В основном это песчаник или гранит, хотя одна почти наверняка сделана из какого-то странного бетона или цемента.

Они несут на себе следы водяного воздействия, как будто эта часть земного шара уходила под воду и снова поднялась на поверхность спустя долгие века — уже после того, как эти плиты были сделаны и отслужили свой срок. Это дело сотен тысяч лет — скольких, один Бог знает. Даже думать об этом не хочется.

Имея в виду прежний Ваш неутомимый труд по исследованию легенд и всего, что с ними связано, могу ли я сомневаться, что Вы захотите организовать экспедицию в пустыню и произвести археологические раскопки. Доктор Бойл и я, мы оба готовы участвовать в таком предприятии, если Вы — или организации, известные Вам, — сумеют выделить средства.

Я могу подобрать с дюжину горнорабочих для тяжелых землекопных работ — от чернокожих толку не будет, я обнаружил, что они прямо-таки одержимы страхом перед этим местом. Бойл и я храним все эти сведения в тайне, поскольку совершенно очевидно, что право первенства на открытие и признание следует предоставить Вам.

До этого места из Пилбарры можно добраться дня за четыре на мототягаче — он понадобится для нашего оборудования. Это несколько на юго-запад от той трассы, которой шел Уорбёртон в 1873, и в сотне миль на юго-восток от Джоанна-спринг. Мы могли бы сплавить вещи вверх по реке Де-Грей, вместо того чтобы трогаться из Пилбарры, но это все можно обговорить потом.

С грубой прикидкой, камни расположены $22^{\circ}2'14''$ южной широты, $125^{\circ}0'39''$ восточной долготы. Климат тропический, условия в пустыне тяжелые.

С радостью готов продолжать переписку по этому делу и полон поистине великого желания способствовать любому предложенному Вами плану действий. После Ваших статей я

глубоко впечатлен значимостью этой проблемы. Доктор Бойл спишется с Вами позже. Если потребуется срочно связаться, можно передать радиограмму в Перт.

С глубокой надеждой на скорый ответ и заверениями в преданности

Роберт Б. Ф. Маккензи

О ближайших последствиях этого письма можно немало узнать из прессы. Мне очень повезло заручиться поддержкой университета Мискатоника, а мистер Маккензи и доктор Бойл оказали неоценимую помощь в улаживании дел с австралийской стороны. Перед публикой мы не входили в излишние подробности относительно наших целей, поскольку менее солидные газеты придали бы всему делу неприятно сенсационный и балаганный оборот. В результате газетные сообщения были скудными, но их появлялось достаточно, чтобы освещать наши поиски означенных австралийских руин и дать хронику различных предварительных этапов.

Профессор Уильям Дайер с геологического факультета — руководитель антарктической экспедиции, снаряженной университетом Мискатоника в 1930–1931 годах; Фердинанд К. Эшли с факультета древней истории и Тайлер М. Фриборн с факультета антропологии, вместе с моим сыном Уингейтом — отправлялись со мной.

Мой австралийский корреспондент, Маккензи, приехал в Аркхэм в начале 1935 года и помог нам в последних приготовлениях. Он оказался человеком лет пятидесяти, приветливым, премного сведущим и на зависть начитанным, и во всех тонкостях знакомым с особенностями путешествия по Австралии.

В Пилбарре нас ждали его тягачи, и мы зафрахтовали небольшой грузовой пароход, достаточно маневренный для того, чтобы подняться вверх по реке. Мы приготовились производить раскопки самым тщательным образом, буквально перебирая каждую песчинку и не смещая ничего, что могло бы находиться в своем изначальном или близком к этому положении.

Отправившись из Бостона 28 марта 1935 года на борту пылящего «Лексингтона», мы неторопливо прошли Атлантику и Средиземное море, через Суэцкий канал по Красному морю и через Индийский океан добираясь до своей цели. Нет надобности говорить, сколь подавляюще подействовало на меня плоское песчаное побережье западной Австралии и

какое отвращение вызвал неухоженный городишко с мрачными золотыми приисками, где происходила окончательная погрузка на тягачи.

Встречавший нас доктор Бойл оказался в летах, умным и милым, а его познания в психологии не раз вовлекали его в долгие беседы с моим сыном и мной.

Странная смесь беспокойства и предвкушения одолела едва ли не всех нас, когда наконец компания наша из восемнадцати человек загрохотала по выжженным милям песка и скал. 31 мая, в пятницу, мы вброд перешли приток реки Де-Грей и вступили в царство полнейшего запустения. Определенный, несомненный ужас возрастал по мере того, как мы подступали к реальным становищам допотопного мира — ужас, подогреваемый, конечно, и тем, что смущающие мой покой сны и псевдовоспоминания осаждали меня по-прежнему с неослабной силой.

Был понедельник, 3 июня, когда мы увидели первую из полупогребенных глыб. Не могу описать чувства, с которым я по-настоящему, собственной рукой, прикоснулся к обломку циклопической кладки, во всех отношениях повторяющему глыбы в стенах, виденных мной во сне. Явственно проступал след высечки — и руки у меня задрожали, когда я узнал фрагмент выпукло-вогнутого орнамента, омерзевшего мне за годы мучительных, помрачающих рассудок кошмаров.

Месяц раскопок принес в общей сложности 1250 глыб на разных стадиях разрушения. Больше всего было тесаных мегалитов с криволинейным верхом и исподом. Малую долю составляли меньшие по размеру, более плоские, с ровной поверхностью квадраты или восьмиугольники — вроде тех, из которых в моих снах были сложены полы и мостовые, несколько же было особенно массивных и скругленных таким образом, что предполагал их использование при возведении сводов и куполов или для устройства арок и оконных проемов.

Чем глубже и дальше на север и восток мы копали, тем больше глыб находили, хотя система их расположения, даже приблизительно, нам все еще не давалась. Профессора Дайера ужасал не поддающийся измерению возраст этих руин; Фриборн нашел полустертые символы, таинственно укладывающиеся в некие известные папуасские и полинезийские мифы безначальной древности. Состояние этих глыб и разметанность их по поверхности вопияли без слов о головокружительных оборотах времени и космическом буйстве земной коры.

При нас был аэроплан, и мой сын Уингейт часто поднимался на различную высоту и прочесывал пустынные пески и скалы, выискивая приметы полустертых, охватывающих большую территорию контуров —

будь то разница в уровнях песка или тянущиеся цепочкой разрозненные глыбы. Результаты у него практически отсутствовали из-за бегучих, переносимых ветром песков: если он и думал, что приметил нечто знаменательное в неровностях почвы, то в следующий же вылет обнаруживал, что это впечатление сгладилось другим, столь же эфемерным.

Правда, раз-другой эти летучие намеки оказывали странное и неприятное воздействие на меня. Они на какой-то странный и страшный лад сочетались с чем-то, что я читал или видел во сне, но чего мне уже было не вспомнить. Их осеняла какая-то ужасающая привычность — и это почему-то заставляло меня, украдкой и боязливо, озирать отвратительную бесплодную местность.

Примерно к первым числам июля у меня развилась необъяснимая эмоциональная установка касательно всего северо-восточного района. Был страх и было любопытство, но, более того, была и стойкая, доводящая до иступления иллюзия воспоминания.

Я прибегал ко всевозможным психологическим уловкам, чтобы прогнать от себя эти выдумки, в чем так и не преуспел. Бессонница забирала все большую власть надо мной, но я почти готов был ее приветствовать как сокращение цикла сна, приходящегося на сновидения. Я приобрел привычку к долгим одиноким прогулкам по пустыне поздними вечерами — обычно на север или северо-восток, куда меня, казалось, неумовимо подталкивало единство моих новых, странных побуждений.

Во время этих прогулок я иногда спотыкался о полупогребенные песком обломки древней каменной кладки. Хотя на первый взгляд глыб здесь было меньше, чем там, откуда мы начали, я с уверенностью чувствовал, что под песком их должно быть великое множество. Поверхность здесь была не такой ровной, как вокруг нашего лагеря, и неутихающие сильные ветры наметали песок фантастическими, недолговечными холмами, обнажая одни низлежащие следы древних камней и одновременно скрывая другие.

До странности я был снедаем желанием захватить под раскопки и эту территорию и в то же время страшился того, что тут могло обнаружиться. Несомненно, я приходил в весьма скверное состояние — куда более скверное из-за того, что не находил ему объяснения.

Показателем моего дурного нервного самочувствия может послужить то, как я отозвался на странную находку, сделанную мной в одно из бесцельных ночных хождений. Это было вечером 11 июля, когда блёклая луна заливала таинственные дюны удивительной бледностью.

Забредя чуть дальше обычного, я наткнулся на огромный камень,

который заметно отличался от тех, что нам уже попадались. Он был почти весь занесен песком, но я наклонился и, расчистив песок руками, стал его внимательно изучать, добавив к лунному свету свет моего фонаря.

В отличие от других самых больших глыб эта была совершенно квадратной, без выпуклых или вогнутых граней. И толщя ее выглядела темным базальтом, абсолютно не схожим с гранитом, песчаником или изредка встречающимся монолитом ставших уже привычными руин.

Вдруг я выпрямился и бросился к лагерю с быстротой, которую позволяли ноги. Это был абсолютно безотчетный и бездумный порыв, и только уже у своей палатки я полностью осознал, почему побежал. Тогда меня осенило. Необычный черный камень, о котором я что-то читал или видел во сне, и это «что-то» было связано с запредельным кошмаром векового предания.

То была одна из тех базальтовых плит предначальных хоромин, наводящих страх и ужас на баснословную Расу Великих, — высящиеся беззаконные руины, оставленные той полуматериальной, чернотумной, иновидной нежитью, устроившей в преисподней земли свое гноище, против незримых, ветроподобных ратей которой были запечатаны железами люки и выставлены не знающие сна часовые.

Всю ночь я не смыкал глаз, но под утро понял, как глупо с моей стороны позволять мифической тени нарушать мое душевное равновесие. Мне бы не пугаться следовало, а радоваться радостью первооткрывателя.

Наутро я рассказал о своей находке. И Дайер, Фриборн, Бойл, мой сын и я отправились смотреть аномальный камень. Нас ожидал, однако, провал. У меня не сложилось ясного представления о местоположении камня, а ветер придавал совершенно другой вид дюнам зыбучих песков.

VI

Теперь я подступаю к критической и самой сложной части моего повествования — сложной тем более, что я не могу быть вполне уверенным в его достоверности. По временам я испытываю чувство неприятной уверенности, что это был не сон и не бред; и как раз это чувство, беря во внимание последствия колоссальной важности, которые могла бы произвести объективная истинность пережитого мною, и заставляет меня сделать мое сообщение.

Мой сын — психолог со специальным образованием, понимающий суть моего заболевания, — да будет первейшим судьей моим словам.

Сперва я позволю себе набросать внешние обстоятельства дела, как оно представлялось тем, кто находился в лагере. Вечером 17 июля, в конце ветреного дня, я спозаранку улегся, но заснуть не сумел. Поднявшись чуть раньше одиннадцати и захваченный, как обычно, тем странным ощущением, касающимся области на северо-востоке, я отправился в свою очередную ночную прогулку, при выходе за пределы лагеря повстречавшись и перекинувшись парой слов лишь с единственным человеком — австралийским горнорабочим по имени Таппер.

Уже ущербная луна светила с ясного неба, и древние пески утопали в белесом, гнилом свечении, казавшемся мне почему-то бесконечно зловещим. Ветра уже никакого не было, и не было его еще часов пять, по единодушному свидетельству и Таппера, и других, кто видел меня идущим через бледные, тайнохранительные дюны на северо-восток.

Примерно в 3.30 утра поднялся неистовый ветер, перебудивший в лагере всех до единого и поваливший три палатки. Небо было чистым, и вся пустыня светилась по-прежнему белесовато-гнилым светом луны. Приводя в порядок палатки, лагерь заметил мое отсутствие, но, имея в виду прежние мои прогулки, никто не встревожился таким обстоятельством. И однако не менее чем троим — все они австралийцы — как-будто почудилось что-то зловещее в воздухе.

Маккензи растолковал профессору Фриборну, что этим страхом они заразились от чернокожих и их фольклора — туземных хитроплетений зломудрого предания о лютых ветрах, проносящихся по пустыне при ясной погоде. Ветры эти, по слухам, дуют из огромных каменных подземных хижин, в которых творились страшные дела, а почувствовать их можно лишь около тех мест, где разметаны огромные меченые камни. Часам к четырем буря так же неожиданно утихла, как и поднялась, оставив песчаные дюны в новом и непривычном облике.

Было самое начало шестого, и вздутая ноздреватая луна закатывалась на западе, когда я приковылял в лагерь — с непокрытой головой, оборванный в клочья, с лицом в ссадинах и кровоподтеках и без электрического фонаря. Большинство наших людей разошлись уже спать, но профессор Дайер, сидя у своей палатки, покуривал трубку. Увидев меня задыхающимся и полубезумным, он позвал доктора Бойла, вдвоем они уложили меня на койку. Мой сын, разбуженный этой возней, присоединился к ним, и все втроем они пытались меня принудить лежать спокойно.

Им хотелось, чтобы я заснул, но о сне не могло быть и речи. Мое психическое состояние было абсолютно экстраординарным — отличным

ото всего того, что я испытывал прежде. Через некоторое время, настояв на своем, я стал говорить, подробно и возбужденно объясняя свое состояние.

Я рассказывал о том, как, почувствовав утомление, прилег на песок вздремнуть. Начались сновидения еще более пугающие, чем обычно, и когда меня неожиданно разбудил сильный ветер, мои нервы, натянутые до предела, не выдержали. Я ударился в паническое бегство, то и дело падая, запинаясь о полузанесенные камни, чему и обязан своим грязным и оборванным видом. Спал я, должно быть, долго — этим и объясняется мое многочасовое отсутствие.

Я и намека не дал, что видел или пережил нечто необычное, проявив в сем отношении величайшее самообладание. Но, заговорив о том, что в мыслях у меня произошла перемена касательно всех работ экспедиции, я стал убеждать прекратить всякие раскопки в северо-восточном направлении.

Мои доводы явно хромали — я ссылаясь на скудное число камней, на нежелание обидеть суеверных горнорабочих, на возможность сокращения дотаций от университета и на все, что было не так, даже если оно не имело отношения к делу. Естественно, никто не обратил ни малейшего внимания на мои новые настроения — даже мой сын, чья забота о моем здоровье была настолько очевидной.

На другой день я был на ногах, ходил по лагерю и его окрестностям, но в раскопках никакого участия не принимал. Из-за своих нервов я решил как можно скорее вернуться домой, и сын обещал доставить меня самолетом в Перт — за тысячу миль к юго-западу, — как только обследует тот самый район, который я бы желал оставить как есть.

Если то, что я видел, все еще в поле зрения, мне, может быть, и следовало бы предостеречь их особо, даже оказавшись при этом в смешном положении. Вероятно, горнорабочие, знающие местные поверья, могли бы меня поддержать. Желая мне угодить, мой сын в тот же день совершил облет территории, которую я мог захватить в своей прогулке, однако ничего необычного не обнаружил.

Снова повторялась история с аномальной базальтовой плитой — пески, перемещаясь, стирали малейший след. На миг я почти пожалел, что в паническом ужасе потерял некий внушающий трепет предмет, но теперь сознаю, что потеря была милосердной. Я и дальше могу полагать помрачением пережитое мною, если, как я искренне уповаю, эта адская бездна не будет найдена.

20 июля Уингейт привез меня в Перт, отказавшись, однако, оставить экспедицию и вернуться домой. Он пробыл со мной до 25-го, когда

отплывал пароход в Ливерпуль. Сейчас, сидя в каюте «Императрицы» и мучаясь долгими лихорадочными раздумьями, я прихожу к выводу, что, по крайней мере, мой сын должен быть осведомлен, давать ли всему делу более широкую огласку; это я возлагаю уже на него.

Чтобы предвосхитить любую случайность, я подготовил эту сжатую предысторию — иным уже известную в более разбросанном виде, а теперь расскажу, насколько возможно кратко, что, как мне кажется, произошло во время моей отлучки из лагеря в ту жуткую ночь.

С нервами, натянутыми до предела, приведенный в какое-то противное естеству нетерпеливое возбуждение тем необъяснимым, с примесью страха, мнемоническим позывом на северо-восток, я брел под зловидной горящей луной. То здесь, то там мне попадались полускрытые песчаной пеленой первобытные циклопические плиты, оставшиеся с незапамятных времен.

Неисследимый век и гнетущий ужас этой чудовищной пустыни начинали тяготеть на мне, как никогда, и я не мог не думать о своих доводящих до безумия снах, о страшных легендах, лежащих в их подоплеке, и о нынешних страхах туземцев и горнорабочих, относящихся к пустыне и ее тесаным камням.

И тем не менее я брел дальше, словно на какое-то нездешнее свидание, все более и более одолеваемый фантазиями, безотчетными побуждениями и псевдовоспоминаниями, от которых бросало в оторопь. Я представил себе возможные очертания, создаваемые рядами камней, если посмотреть на них, как мой сын, с воздуха, и поразился, почему они показались одновременно столь зловещими и столь знакомыми. Как будто нечто тербило и дергало засов моей памяти, тогда как иная неведомая сила пыталась удержать врата на запоре.

Была безветренная ночь, и волны бледного песка казались застывшей морской зыбью. Я не знал своей цели, но прокладывал путь с какой-то роковой предопределенностью. Мои сны пробили себе русло в мир яви, так что каждый утонувший в песке мегалит выступал частью бесконечных залов и коридоров, возведенных прежде человека, покрытых резьбой и эмблематическими пиктограммами, слишком мне знакомыми по моим годам пребывания разумом-узником Расы Великих. Поминутно мне представлялось, что я вижу этих всеведущих конических чудовищ за их обыденными занятиями, и я боялся потупить взгляд, дабы не найти в себе их подобия. Все это время я видел укрытые песком плиты так же, как и залы с коридорами, зловидную горящую луну так же, как и лампы светлого хрусталя, бесконечную пустыню так же, как и трепещущие папоротники за

окнами. Это был и сон, и явь одновременно.

Не знаю, как долго и в каком направлении я шел, когда заметил в первый раз груды плит, обнаженных ветром за день. Это было самое большое их скопище, и это с такой пронзительностью меня поразило, что видения баснословных эонов вдруг растаяли.

Снова была лишь пустыня, и зловидная луна, и черепья незнамого и негаданного прошлого. Подступив ближе, я пролил свет своего фонаря на нагромождение плит. Ветром смело песчаную горку, и взору предстала приземистая, неправильной круглой формы группа мегалитов и более мелких обломков около сорока футов диаметром и от двух до восьми футов высотой.

С самого начала я понял, что у этих камней было некое абсолютно беспримерное свойство. Уже одно только число их не находило никакого сравнения, а тут еще заглаженные песком остатки какого-то орнамента, который буквально приковал мой взгляд, когда я рассматривал плиты при смешанном свете луны и фонаря.

Не то чтобы какая-нибудь из них существенно отличалась от наших прежних находок — нет, тут было нечто более тонкое. Никакого ощущения не возникало, если я смотрел на одну только плиту, а вот когда я пробегал глазами по нескольким рядам, меня охватывало странное чувство.

Наконец меня осенило. Мотивы выпукло-вогнутых линий на многих плитах почти совпадали — это были фрагменты единого обширного орнаментального замысла. В первый раз наткнулся я в этой вековой пустыне на часть кладки в ее изначальном положении — обрушившуюся, правда местами, но тем не менее весьма значимую в очень конкретном смысле.

С трудом продвигался я среди нагромождения камней, то здесь, то там очищая песок и непрерывно силясь истолковывать вариации в композиции, форме и стиле рисунка.

Спустя какое-то время я догадывался уже смутно о сути этого канувшего в лету сооружения, так же как и орнамента, когда-то покрывавшего обширные каменные поверхности первобытных построек. Полная тождественность того и другого с некоторыми моими отрывочными видениями ужасала меня, лишая присутствия духа.

Когда-то это был циклопический коридор 30 футов шириной и 30 высотой, мощный восьмиугольными плитами и с массивными сводами над головой. По правую сторону должны были отходить залы, в дальнем же от меня конце один из тех странных наклонных скатов должен был уводить все дальше и дальше вниз в еще более глубокие недра.

Меня сотрясла сильнейшая дрожь, когда эти представления дошли до меня, ведь они заключали в себе больше того, что можно было извлечь из самих плит. Как мог я знать, что этот этаж должен быть глубоко под землей? Как мог я знать, что позади меня должен быть скат, уходящий вверх? Как мог я знать, что длинный подземный коридор к площади Колоннады должен лежать слева этажом выше? Как мог я знать, что зал механизмов и ведущий направо к центральным архивам туннель должен находиться двумя этажами ниже? Как мог я знать, что в самом низу, четырьмя этажами долу, будет один из тех страшных люков, схваченный железными полосами? Смятенный этим прорывом из мира снов, я дрожал, обливаясь холодным потом.

И тут, как последний, нестерпимый штрих, я почувствовал это слабое, исподволь, течение холодного воздуха, просачивающегося из провала почти в самом центре гигантского нагромождения. Мгновенно, как уже было, померкли мои видения, и снова я видел лишь злой лунный свет, гнетущую пустыню и расползающийся курган оставленных палеогеном камней. Нечто реальное и осязаемое, преисполненное в то же время бесчисленных намеков на мрачные тайны, ныне вставало у меня на пути. Ибо это течение воздуха могло знаменовать лишь одно — огромную скрытую пустоту под каменными завалами на поверхности.

Первыми в голову мне пришли зловещие сказания чернокожих о громадных подземных хижинах, где творятся ужасные дела и где свили себе гнездо лютые ветры. Потом мысль вернулась к моим собственным сновидениям, и я ощутил, как неясное псевдовоспоминание стучится в сознание. Что это было за место, лежащее подо мной? На пороге открытия какого предначального, умонепостижимого источника вековых мифов и неотвязных кошмаров мог я стоять?

Если и колебался я, то лишь миг, ибо нечто большее, чем любопытство и исследовательский раж, понукало меня и не поддавалось растущему во мне страху.

Казалось, я двигался, как заведенный, словно в когтях неодолимого рока. Убрав фонарик в карман и приложив силы, о существовании которых в себе не мог и помыслить, я отворотил сначала один гигантский обломок, потом другой, пока оттуда не хлынул сильный воздушный поток, влажностью странно и резко отличающийся от сухого воздуха пустыни. Открылось черное зияние расселины, а когда я раскидал все обломки, которые мог стронуть с места, белесоватый свет луны озарил отверстие достаточно широкое, чтобы меня пропустить.

Я вытащил фонарь и направил яркий сноп света в открывшееся зевло.

Подо мной был хаос каменных развалин, явно образовавшихся в результате какого-то давнишнего обвала сверху и уходящих примерно к северу и вниз под углом где-то в 45 градусов.

Между их поверхностью и уровнем земли был слой непроницаемой тьмы, по верхней границе которого угадывались гигантские, напрягаемые бременем своды. В этом месте, по-видимому, пески пустыни возлежали на каком-то гигантском сооружении времен земного младенчества — каким образом уцелевшем на протяжении целых эпох геологических потрясений, я ни тогда ни теперь не возьмусь и гадать.

Оглядываясь назад, самая мысль об одиноком спуске в такие ненадежные бездны, когда ни единая живая душа не знала о месте моего пребывания, представляется верхом безумия. Возможно, так оно и было, однако в ту ночь я без колебаний предпринял подобный спуск.

Роковая неизбежность, с самого начала, казалось, предопределявшая мой путь, гнала меня вперед. Попеременно включая и выключая фонарь, чтобы побережь батареи, я начал безрассудно спускаться вниз, карабкаясь по зловещей циклопической осыпи за расселиной — иногда спиной к ней, отыскав надежные упоры для рук и ног, иногда оборачиваясь лицом к нагромождению мегалитов, если мое продвижение на ощупь становилось особо рискованным.

По обе стороны от меня далекие стены из тесаных крошащихся плит смутно нависали, высвеченные моим фонарем. Впереди, однако, стояла тьма.

Карабкаясь вниз, я потерял всякое понятие времени. Столь пугающими образами и предощущениями бурлил мой мозг, что вся объективная реальность отошла, казалось, на неизмеримое расстояние. Физические чувства были мертвы, и даже страх оставался бесплотной, вялой химерой, бессильно скалящейся на меня.

В конце концов я достиг ровного пола, усеянного вывалившимися плитами, бесформенными каменными обломками, песком и каменным мусором. По обе стороны — наверное, в 30 футах одна от другой — поднимались массивные стены, сходящиеся в гигантские своды. То, что они были покрыты резьбой, я еще различал, но суть резов была за пределами моего восприятия.

Что поразило меня больше всего, это своды над головой. Луч моего фонаря не достигал до самого верха, но нижние части чудовищных арок отчетливо выступали. И столь безошибочным было их сходство с теми, которые видел я в бессчетных снах о предначальном мире, что я впервые содрогнулся.

Позади и высоко наверху смутное пятно света говорило о далеком подлунном мире. Какая-то слабая искра самосохранения остерегала меня терять этот лунный косяк из виду, дабы не лишиться вехи на обратном пути.

Я направился к стене по левую руку, где следы высечки на камне были отчетливее. Преодолевать завалы на полу было почти так же трудно, как и спускаться по каменным нагромождениям, но мне удалось проложить свой нелегкий путь.

В одном месте я отпихнул какие-то глыбы поменьше и раскидал обломки, чтобы взглянуть, как выглядит пол, и пришел в трепет от полнейшей, роковой узнаваемости огромных каменных восьмиугольников, которые, перекосившись, держались еще кое-как вместе.

Добравшись на подходящее расстояние от стены, медленно и внимательно навел я фонарь на истертые до последнего следы. Поверхность песчаника испытала, казалось, воздействие давно канувшего водяного потока; странные же наносы на ней я не смог объяснить.

Местами кладка совсем расшаталась и деформировалась, и я спрашивал себя, сколько же еще веков это первобытное, скрытое от глаз сооружение сможет удерживать то, что еще оставалось от его облика.

Но что сильнее всего меня поразило, это сама резьба. Несмотря на причиненное временем разрушение, с близкого расстояния ее очертания было относительно легко проследить; и полнейшая, глубинная узнаваемость каждой детали едва не лишала меня сознания. То, что эти седые от древности стены узнавались в своих основных чертах, еще не выходило за грань вероятия, но эти орнаментальные символы!..

Мощно запечатлевшись в умах мифотворцев, от которых пошло известное предание, они нашли свое воплощение в традиции тайноведения, которое попав в сферу моего внимания во время амнезии, вызвало яркие образы в моем подсознании.

Но какое объяснение мог я найти той точности, с которой каждая линия и завиток этих странных рисунков совпадала до мельчайших деталей с тем, что я видел во сне в течение более двух десятков лет? В какой неизвестной, забытой иконографии могли быть воспроизведены все эти неуловимые оттенки и штрихи, столь последовательно, навязчиво и неизменно осаждавшие меня в сонных видениях из ночи в ночь?

Ибо это не было ни случайным, ни приблизительным сходством. Окончательно и определенно, сокрытый веками, уходящий в глубь тысячелетий коридор, где я стоял, был прообразом того, который я узнал во сне столь же близко, как знал собственный дом в Аркхэме на Крейн-стрит.

В снах, правда, мне это место являлось в своем лучшем, не тронутым упадком виде, но подлинность его тем не умалялась. Теперь, хоть и охваченный ужасом, я мог сориентироваться...

Здание, в котором я находился, мне было известно. Известно было и то, где оно расположено в страшном древнем городе снов. Я мог бы безошибочно навестись в любую точку не только этого здания, но и этого города, избежавшего перемены и разорения бесчисленных веков, — это я осознал с истинной и жуткой уверенностью. Что, во имя Господа Бога, могло это значить? Как мне случилось познать то, что я знал? И какая ужасающая реальность могла крыться в подоплеке древних сказаний о существах, обитавших в этом лабиринте первобытных камней?

Слова лишь отчасти передают тот сумбурный хаос недоумения и ужаса, которые снедали мой дух. Я знал это место, знал, что находится подо мной и надо мной до того, как мириады высящихся этажей пали пылью, и прахом, и пустыней. Теперь нет нужды, подумал я с содроганием, держаться в виду того смутного лунного косяка.

С роковой неизбежностью я разрывался между желанием ринуться прочь и лихорадящей смесью жгучего любопытства. Что претерпел чудовищный мегаполис древности за миллионы лет, прошедших со времени моих снов? Те запутанные подземные переходы, связующие под городом все исполинские башни, — сколько из них пережило судороги земной коры?

Не наткнулся ли я на целый мир, погребенный в дьявольской архаичной тьме? Смогу ли я все еще отыскать дом учителя по письму и башню, где С'гг'ха, разум-узник из плотьядных растений-астоцефалов Антарктики, начертал на стене некоторые изображения?

Не забит ли и проходим ли коридор, ведущий со второго этажа вниз, в зал разумных чужан? В этом зале разум-узник, принадлежащий невероятному желеобразному обитателю пустотных недр неведомой, грядущей через 18 миллионов лет планеты за Плутоном, хранил некий предмет, вылепленный им из глины.

Я зажмурился и закрыл руками глаза в жалкой, тщетной потуге изгнать эти обрывки безумных снов за порог сознания. Тогда, в первый раз, меня остро проняло сыростью и холодом потустороннего сквозняка. Содрогаясь, я осознал, что огромная череда черных провалов, веками не знавших жизни, действительно должна зиять где-то впереди и ниже меня.

Я мысленно представил себе пугающие покои, коридоры и скаты, какими я помнил их по сновидениям. Доступен ли еще путь к центральным архивам? Опять эта движущая мной предопределенность заняла в моем

мозгу, стоило мне лишь припомнить те внушающие трепет летописания, что покоились когда-то в футлярах по прямоугольным своим гнездам нержавеющей металла.

Там, вещали сны и легенды, хранилась вся, бывшая и грядущая, история всего пространственно-временного континуума, записанная разумом-узником с любой и каждой небесной сферы, из каждой и любой эпохи мироздания. Безумство, конечно, но разве ныне я не наткнулся на мир помрачения, такой же безумный, как и я сам?

Я представил себе запертые металлические полки и хитроумное кручение ручек, нужное, чтобы открыть любую из них. Собственная моя полка отчетливо встала перед моим умственным взором. Сколько раз я совершал замысловатую процедуру многочисленных поворотов и нажатий в секции «земных позвоночных» самого нижнего этажа! Каждая деталь была памятна и свежа.

Если ниша, подобная той, какую я видел во сне, существовала, я мог бы в минуту ее отомкнуть. Тогда-то и забрало меня окончательное безумие. Лишь миг миновал, и я уже мчался, спотыкаясь о каменные завалы, в сторону знакомого по памяти ската, уводящего в самые недра...

VII

С сего момента и впредь едва ли можно полагаться на мои впечатления — я, право, не оставляю еще последней отчаянной надежды, что все это составляет лишь какой-то бесовский сон или помрачение, вызванное горячкой. Лихорадка сжигала мой мозг, и я воспринимал все как бы сквозь пелену — порой с некоторыми пробелами.

Луч фонаря бессильно падал во всепоглощающий мрак, выхватывая химерические видения знакомых до дурноты стен и резьбы, погубленной вековым упадком. В одном месте обрушился громадный кусок сводчатого потолка, так что мне пришлось перебираться через высокую гору камней, достигающую почти до самых иззубрин уродливых сталактитов на исковерканном своде.

Все это был кошмар, доведенный до своего абсолюта, который еще усугублялся кощунственным зудом воспаленной псевдопамяти. Привычно знакомым не было только одно — мой собственный рост в отношении к великанским стенам. Меня угнетало непривычное чувство собственной малости, словно видеть эти дыблящиеся стены с высоты человеческого роста было совершенно внове и противу естества. Снова и снова я нервно

окидывал себя взглядом, смутно расстроенный своим обликом человека.

Все дальше сквозь черноту бездны, спотыкаясь и снова кидаясь вперед, стремился я; часто падал и ранил себя, а однажды едва не разбил фонарь. Я знал каждый камень и закоулок этой дьявольской бездны и во многих местах останавливался, чтобы направить луч света в проемы обваливающихся, запруженных мусором, но тем не менее знакомых арок.

Некоторые залы постигло окончательное разрушение; другие стояли голыми или полными исковерканных обломков. В нескольких я видел скопища металлических остовов, то почти нетронутых, то изломанных, раздавленных или расплюснутых, которые я признавал за колоссальные постаменты или столы из своих сновидений. Чем они могли быть в действительности, я не рискнул гадать.

Я нашел ведущий вниз скат и начал спускаться; спуск, однако, вскоре был прерван разверзнutoй пропастью с неровными краями, в самом узком месте никак не меньше четырех футов. Здесь кладка провалилась насквозь, обнаружив немереные, черные, как сажа, бездны.

Я знал, что в этом гигантском здании есть еще два подвальных уровня, и содрогнулся в приступе панического страха, вспомнив забранный железными скрепами люк на самом нижнем из них. Теперь его можно было не охранять, ибо то, что гнездилось под ним, давно сделало свое страшное дело. Ко времени постантропоморфной расы жуков смерть возьмет его окончательно. И все же при мысли о туземных легендах меня заново пронизала дрожь.

Мне стоило страшного усилия преодолеть зев этой пропасти, поскольку усеянный обломками пол не позволял сделать разбега, но безумие гнало меня вперед. Я выбрал место у стены по левую руку, где расселина была уже и пяточок, на который я должен был приземлиться, относительно чист от угрожающих осколков, и, пережив катастрофический миг, в целости и сохранности достиг противоположного края.

Добравшись наконец до низшего уровня, я миновал, спотыкаясь, арочный вход в залу с механизмами, в которой был фантастический металлический лом, полупогребенный под рухнувшими сводами. Это место было мне знакомо, и я уверенно одолел завал, преграждающий вход в огромный поперечный коридор. Он-то и проведет меня подо всем городом к центральным архивам.

Казалось, развернулась бесконечная вереница веков, пока я полз, продираясь и спотыкаясь по этому запруженному каменным сором коридору. Раз за разом я различал очерки резьбы на изъеденных временем стенах — отчасти знакомые, отчасти добавленные как будто уже с того

периода, который охватывали мои сны. Поскольку это была подземная дорога, связывающая дома, здесь не встречалось арок; коридор вел через нижние уровни многообразных зданий.

На некоторых из этих перекрестков я сворачивал в сторону ровно настолько, чтобы заглянуть в хорошо памятные мне залы. Лишь дважды я обнаружил какие-то перемены — и все равно в одной из зал я мог проследить очертания замурованной арки, сохраненной моей памятью.

Сильнейшая дрожь сотрясала меня, когда я, едва волоча ноги, прокладывал вынужденный путь через крипту в одной из тех разрушенных беззаконных башен, чей чужевидный базальт нашептывал об их страшном происхождении.

Этот пресущный склеп, круглый, на полных двести футов в поперечнике, был выложен исчерна-темным камнем без всякой резьбы. Сквозь песок и пыль, укрывающие пол, я увидел отверстия, уходящие вверх и вниз. Не было ни лестниц, ни скатов — действительно, мои сны рисовали эти башни оставленными в полной неприкосновенности баснословной Расой Великих. Те же, кто строил их, не нуждались ни в лестницах, ни в скатах.

В сновидениях уходящее вниз отверстие было крепко-накрепко запечатанным, ныне оно было отворено — черное зевло, исторгающее холодный поток воздуха. Я старался не думать о тех бескрайних подземных вертепах вечной ночи, которые вынашивали свой гнет внизу.

Продираясь полузаваленным участком коридора, я достиг места, где своды полностью провалились. Каменный сор вздымался горою, и, перелезая через нее, я миновал обширное пустое пространство, где луч моего фонаря не обнаружил ни сводов, ни стен. Это должно быть, соображал я, подвал дома поставщиков металла, который выходил на третью площадь недалеко от архивов. Что тут стряслось, я мог лишь строить догадки.

Я снова обнаружил коридор позади гор каменного сора, но, чуть отойдя, попал в тупик: упавшие своды почти соприкасались с угрожающе просевшим потолком. Как я сумел отворотить и оттащить прочь достаточно глыб, чтобы открыть проход, и как рискнул потревожить плотно слежавшиеся обломки, когда малейшее нарушение равновесия могло низвергнуть тонны налегавшего сверху камня и раздавить меня в прах — этого я не знаю.

Чистое безумие, ничто иное, помыкало и правило мной — если только приключение мое под землей не дьявольское помрачение и не дальнейший сон. Но я проделал-таки проход, в который сумел протиснуться. Извиваясь

ужом по каменной насыпи, сжав в зубах постоянно горевший теперь фонарь, я чувствовал, как обдираюсь о фантастические сталактиты.

Я был уже неподалеку от гигантских подземных архивов. Сползая и оскальзываясь с дальней стороны завала, пробираясь по оставшемуся отрезку коридора, то включая, то выключая зажатый в руке фонарь, я подошел наконец к низкой круглой крипте, чудом сохранившейся в целости по сию пору, с арками, открывающимися на все стороны.

Стены или ту их часть, куда досягал свет моего фонаря, густо испещряли иероглифы и резные символы характерных выпукло-вогнутых очертаний, отчасти добавленные с того периода, который охватывали мои сны.

Это и было, осознал я, роковой целью моего путешествия; я тотчас свернул в знакомую арку налево. То, что я сумел отыскать беспрепятственный ход на все уцелевшие верхние и нижние уровни, как ни странно, не вызвало у меня особого удивления. Эта необъятная, хранимая земной твердью громада, укрывшая в себе анналы всей Солнечной системы, была выстроена с таким неземным мастерством и крепостью, чтобы держаться до тех пор, пока существует сама Солнечная система.

Глыбы, ошеломляющие размером, с математической гениальностью уравнивающие друг друга и связанные скрепами невероятной прочности, сочетались в тело такое же твердое, как сердцевинный камень земли. По прошествии эонов, постичь которые, сохраняя здравый рассудок, невозможно, его погребенная машина стояла, почти полностью сохранив свой абрис. Запорошенные пылью полы лишь кое-где были завалены обломками, создающими тот хаос, который царил во всех прочих местах.

Относительная легкость дальнейшего продвижения поразила меня. Все мое отчаянное нетерпение, по сию пору не утоленное из-за препятствий, теперь прорвалось такой лихорадочной спешкой, что я буквально ринулся под низкие своды до боли знакомого прохода за аркой.

Впрочем, меня уже даже не удивляла узнаваемость того, что видел. По обе стороны громоздились огромные, в иероглифах, дверцы металлических полок; одни еще на своих местах, другие стояли настежь, погнутые и покореженные, — никакие геологические возмущения не могли разрушить титаническую кладку.

То здесь, то там покрытые пылью груды под зияющей пустотой полок как будто указывали, где футляры были сброшены на пол земными корчами. На некоторых стойках сохранились крупные индексы, разбиравшие тома по группам и подгруппам.

Раз я остановился перед открытой нишей, заведя привычные

металлические футляры; дотянувшись, я не без труда снял один из более тонких и устроил его на полу, чтобы рассмотреть. Название было выписано иероглифами преобладающего выпукло-вогнутого очертания, но нечто в их расположении казалось неуловимо другим.

Причудливая механика крюкообразных застежек была мне в совершенстве знакома, я отщелкнул все еще не тронутую коррозией крышку и извлек книгу. В тонкой металлической обложке с корешком наверху она, как и следовало ожидать, была где-то дюймов двадцать на пятнадцать площадью и дюйма два толщиной.

На плотных целлюлозных страницах пережитое коловращение мириадом веков не оставило, казалось, изъяна, и я с неотступным ощущением полупробудившихся воспоминаний вглядывался в знаки, выведенные кистью и странного цвета пигментом, не похожие ни на привычные выпукло-вогнутые иероглифы, ни на любой из известных ученым алфавит.

До меня доходило, что это язык разума-узника, с которым я знался во сне, — разума с гигантского астероида, где еще уцелела архаическая жизнь и премудрость той первосушней планеты, которой он приходился частью. Одновременно я вспоминал, что этот уровень архивов был отведен под фолианты, трактовавшие о планетах за пределами Солнечной системы.

Оторвавшись от этих невероятных свидетельств, я заметил, что луч моего фонаря начинает слабеть, и, стало быть, поспешно вставил запасную батарейку. Потом, во всеоружии более яркого света, возобновил свое лихорадочное метание в бесконечных извилах проходов и переходов, то здесь, то там узнавая какую-нибудь знакомую полку и смутно досадуя на акустические свойства пространства, разносившего мои шаги эхом, несообразным этим катакомбам.

Самый отпечаток моих башмаков в непотревоженной за тысячелетия пыли, повергал меня в содрогание. Дотоле никогда, если в моих сумасшедших снах была хотя бы толика правды, на эти вековые плиты не ступала нога человека.

В чем именно состояла цель моей дикой гонки, я не имел ни малейшего понятия. Некая зломочная сила, однако, влияла на мою угнетенную волю и подавленные воспоминания, так что я смутно чувствовал, что мечусь не наобум.

Добравшись до ската, уводящего вниз, я последовал им в самые глубинные недра. Стремительно спускаясь, я миновал один этаж за другим, но нигде не останавливался, чтобы произвести разведку. В моем смятенном мозгу начал выстраиваться некий известный ритм, заставлявший дергаться

в унисон мою правую руку. Я хотел отомкнуть нечто и чувствовал, что знаю все хитроумные обороты, для этого необходимые. Что-то вроде современного сейфа с цифровым замком.

Сон или явь, когда-то я знал их, знаю и поныне. Каким образом сон или подсознательно впитанные крохи предания могли преподать мне детали столь мелкие, столь изощренные и столь сложные, этому я даже не искал объяснения. Я зашел слишком далеко для любой связной мысли. Разве переживаемое мной чудовищно точное совпадение всего того, что было передо мной, с тем, на что могли надумать лишь сны да крохи предания, не кошмар, зашедший слишком далеко для любого рассудка?

Возможно, глубинной моей верой тогда — как и поныне, в наиболее мои здравые минуты, — было то, что это не наяву и что весь погребенный город есть порождение горячечного бреда.

Наконец я достиг самого нижнего уровня и повернул направо от ската. По какой-то туманной причине я старался смягчать свою поступь, даже теряя из-за этого в скорости. На этом последнем, погребенном в недрах этаже было пространство, которое я страшился пересекать.

Уже приближаясь к нему, я вспомнил, чего именно я там боялся. Это был один из тех забранных железами и бдительно охраняемых люков. Теперь стражи не будет, и из-за этого я трепетал и шел на цыпочках, как уже проделывал в той черной базальтовой крипте, где зияло отверстие такого же люка.

Ощувтив движение сырого холодного воздуха, какое ощущал и там, я пожалел, что мой путь не лежал в другом направлении. Почему я должен идти именно этим путем, я не знал.

Подойдя к самому месту, я увидел фантастически отверстый зев люка. За ним снова шли полки, и на полу перед одной из них я заметил груды недавно обрушившихся футляров. В то же мгновение паника по какой-то неведомой мне причине захлестнула меня новой волной.

Груды беспорядочно опрокинутых футляров попадались нередко, ибо этот погребенный лабиринт, в кромешной тьме, веками терзали земные передраги. Лишь когда уже почти пересек все пространство, осознал я, почему столь мучительно содрогнулся.

Не самая груда, но что-то в покрытой пылью ровном полу пугало меня. При свете моего фонаря казалось, что слой пыли был не таким равномерным, как следовало, — местами он выглядел более тонким, словно его потревожили месяц-другой назад. Я не был уж так уверен, и все же некий намек на упорядоченность в примерещившейся неравномерности слоя вызывал сильнейшее смятение.

Когда я навел луч фонаря на одно из тех чудных мест, видимость упорядоченности усугубилась. Сложносоставные следы как будто шли правильной чередой по три, каждый площадью чуть больше фута и состоящий из пяти почти круглых отпечатков в три дюйма, один несколько выступал вперед.

Эти следы вели, казалось, в двух направлениях, как будто они уходили и возвращались. Очень бледные, они, конечно, могли быть одной видимостью, но весь ужас состоял в том, как они шли. Ибо в одном их конце лежала груда футляров, рухнувших, должно быть, не так давно, в другом же — невозбранно зиял безднами, недоступными воображению, зловещий люк, дышащий холодным сырým ветром.

VIII

То, что странное чувство одержимости было во мне глубинным и всепоглощающим, явствует из того, как оно поборолó мой страх. Никакой осмысленный повод не смог бы подвигнуть меня на дальнейшие действия после того жуткого подобия следов и подирующих по коже воспоминаний о привидевшемся во сне, которые те возбуждали. И тем не менее правая моя рука, хоть и дрожавшая от страха, продолжала ритмично подергиваться в своем нетерпении отомкнуть замок, который чаяла найти. Не успев опомниться, я миновал недавнюю груду рухнувших футляров и на цыпочках двинулся по переходам изначально нетронутой пыли к месту, которое, казалось, знал до болезненного расстройства ужасающе хорошо.

Мой рассудок задавался вопросами, чьи истоки и приложения я только еще начинал угадывать. Возможно ли дотянуться до той полки с высоты человеческого роста? Управятся ли мои человеческие пальцы со всеми, от века памятными, оборотами замка? Не поврежден ли замок? Сработает ли он? И что стану я делать — что посмею делать? — с тем, что одновременно чаял и страшился найти? Будет ли этим доказана приводящая в трепет, умопомрачительная истинность того, что превосходило здоровое понимание, или же станет очевидно, что я сплую?

Опомнился я, лишь когда замер, уставясь на вереницу до помешательства знакомых полок с иероглифами. Были они в полной сохранности, и лишь три дверцы из близлежащих распахнулись настежь.

Чувства мои при виде этих полок не поддаются описанию — столь абсолютным и неотложным было ощущение давнишнего знакомства. Я смотрел, запрокинув голову, на один из верхних, целиком вне моей

достигаемости рядов, раздумывая, как всего лучше взбираться. Могла бы помочь открытая дверца в четвертом снизу ряду, а замки запертых дверей предоставят упоры ногам и рукам. Фонарь надо зажать в зубах — это я уже проделывал в тех местах, где требовались обе руки. Прежде всего, я не должен производить шума.

Спустить вниз необходимый футляр будет трудно, но я, возможно, сумею зацепить подвижную застежку за воротник куртки и нести свою добычу, как рюкзак. Снова я задавался вопросом, не будет ли замок поврежден. В том, что мои пальцы сумеют с ним совладать, я не ведал ни малейшего сомнения. Только бы замок не заскрипел и не щелкнул...

Еще занятый этими мыслями, я зажал фонарь в зубах и начал взбираться. Выступающие замки давали неважный упор, но открытая дверца, как я и думал, помогла изрядно. Я использовал и болтающуюся дверцу, и край самой ниши и сумел избежать громкого скрипа.

Балансируя на верхней кромке дверцы и сильно подаваясь вправо, я как раз дотягивался до нужного замка. Пальцы, затекшие от карабканья, поначалу не слушались, но я сразу понял, что по своей анатомии они подходят. Но память о доведенных до автоматизма движениях засела в них крепко.

Хитроумный шифр из глубин незнамого времени всплыл в моей памяти до малейшей детали: не минуло и пяти минут, как в ответ на мои попытки раздался щелчок, звуком тем более пугающе знакомым, что на сознательном уровне я не предвосхищал его. В следующий момент металлическая дверца медленно распахивалась, издавая едва слышное скрежетание.

Оторопело я оглядел ряд сероватых корешков, испытывая сильнейший прилив какого-то абсолютно необъяснимого чувства. Справа от меня был футляр, выпукло-вогнутые иероглифы которого заставили меня передернуться в муках куда более изощренных, чем муки простого страха. Все еще содрогаясь, я сумел извлечь его и подтянуть к себе, осыпав тучу крупчатой пыли, но без малейшего резкого звука.

Подобно другому футляру, побывавшему у меня в руках, этот был размером чуть больше двадцати на пятнадцать дюймов, с вырезанным лонгиметрическим орнаментом выпукло-вогнутого свойства. В толщину он едва превосходил три дюйма.

Заклинив его кое-как между собой и вертикальной плоскостью, по которой лез, и повозившись с застежкой, я наконец освободил защелку. Откинув крышку, я переместил тяжелую поклажу за спину и зацепил за воротник. Освободив руки, я неуклюже спустился на пыльный пол и

приготовился рассмотреть свой трофей.

Встав на колени и развернув футляр наоборот, я положил его перед собой. У меня тряслись руки, и я страшился извлечь книгу почти так же, как и желал — и ощущал понуждение — это сделать. Исподволь мне стало ясно, что я там должен найти, и понимание этого едва ли не парализовало мои чувства.

Если она там и это мне не приснилось, то последствия этого далеко превосходят все, что человеческое разумение в силах вынести. Чем я терзался все более, это моей сиюминутной неспособностью почувствовать, что все окружающее мне снится. Ощущение реальности было ужасным до дурноты — стоит только вызвать в памяти эту сцену, возвращается и оно.

В конце концов я с трепетом извлек из футляра книгу и уставил замороженный взгляд на хорошо знакомые иероглифы на обложке. Она казалась в наилучшем состоянии, и выпукло-вогнутые символы погрузили меня в гипнотическое состояние едва ли не так, как если бы я мог их прочесть. Право, не поручусь, что действительно не прочел их, когда мимолетно и жутко подступала паранормальная память.

Не знаю, много ли прошло времени, прежде чем я рискнул открыть эту тонкую металлическую обложку. Я мешкал, выискивая для себя оправдания. Вынув фонарь изо рта, я выключил его, чтобы поберечь батарейку. Потом, во мраке, собравшись с мужеством, открыл наконец обложку и посветил на открывшуюся страницу, наперед скрепясь, чтобы подавить любой звук, что бы ни увидел.

Один миг я смотрел, прежде чем рухнуть наземь. Однако, сцепив зубы, я не издал ни звука. Повалясь на пол, прижал руку ко лбу среди всепоглощающей черноты. Вот оно — то, чего я ждал и боялся. Или я спал и видел сон, или пространство и время лишь пустая насмешка.

Наверняка я сплю и вижу сон, но попробую проверить кошмар, забрав этот футляр с собой и показав его моему сыну, если он действительно существует. Перед глазами у меня все плыло, хотя что могло плыть в непроглядном мраке?.. Неприкрыто ужасные представления и картины, возбужденные теми видами, которые открыл воображению мимолетный взгляд, роем теснились вокруг, дурманя чувства.

Я подумал о тех вероятных следах в пыли, и при этой мысли звук собственного дыхания заставил меня задрожать. Еще раз зажег я фонарь и посмотрел на страницу, как смотрела бы жертва в глаза и на жало змеи.

Потом в темноте, непослушными пальцами, закрыл книгу, спрятал ее в футляр, захлопнул крышку и хитрый замок с защелкой. Это я должен был взять с собою во внешний мир... если она истинно существовала... если

вся эта бездна истинно существовала... если я сам да и внешний мир истинно существовали...

Когда именно я поднялся на неверных ногах и начал исход, точно не знаю. Сейчас до меня доходит странность того — как степень ощущения моей полной отрезанности от нормального мира, — что за все жуткое пребывание под землей я ни разу не посмотрел на часы.

В конце концов, с фонарем в руке и зловещим футляром под мышкой, я нашел себя в тихой панике пробирающимся на цыпочках мимо дышащего холодным сквозняком люка и того неявного, что напоминало следы. Взираясь по бесконечным скатам, я уменьшил предосторожности, но не мог отделаться от дурного предчувствия, которого не испытывал по пути вниз.

Я страшился снова проходить через ту черную базальтовую крипту, что была старше самого города и где из самых недр вырывались холодные сквозняки. Я думал о том, чего убоялась Раса Великих и что может еще таиться — будь оно сколь угодно бессильным и умирающим — там, внизу. Я думал о тех пятипалых следах и о том, что повествовали о подобных следах мои сны, думал о странных ветрах и свистящих звуках, сопутствующих им, и о сказаниях современных черных туземцев, в которых толковалось об ужасе лютых ветров и безымянных развалин.

По выбитому на стене знаку я определил нужный этаж и наконец попал, пройдя мимо той другой книги, оглянутой мной, в огромное круглое помещение с разветвляющимися из-под арок коридорами. По правую руку была арка, через которую я вошел. Я вступил под нее, сознавая, что остаток пути дастся труднее из-за разрушающейся кладки за пределом архивов. Меня обременял металлический футляр, и мне становилось все труднее сохранять тишину, когда я запинаясь о всевозможнейшие обломки и мусор.

Тут я подошел к громоздящемуся горою в потолок каменному завалу, сквозь который проложил тесный, едва достаточный проход. Мне было бесконечно страшно опять им продираться, поскольку протиснуться им бесшумно было невозможно, а теперь, увидев те вероятные следы, шума я боялся превыше всего. А тут еще массивный футляр...

Но я вскарабкался, как сумел, на гору и протолкнул футляр в отверстие впереди себя. Потом, с фонарем во рту, протиснулся сам — спина моя, как и в первый раз, обдиралась о сталактиты.

Когда я попытался ухватить футляр снова, он загремел где-то впереди меня под уклон, возмущив тишину и вызвав раскаты эха, от которых меня прошибло холодным потом. Я бросился за ним и подобрал его без малейшего шума, но минуту спустя выскользнувшие у меня из-под ноги

плитки произвели неожиданный и небывалый грохот.

Этот грохот и повлек мою погибель. Облыжно ли, нет, но в ответ на него мне почудился ужасающий отзыв из оставшегося далеко позади пространства. Мне почудился свистящий пронзительный звук, которому на Земле не сыщешь подобия и не опишешь никакими словами. В том, что последовало, не обошлось без мрачной иронии — если бы не паника...

В неистовство я впал абсолютное и не отпускающее ни на минуту. Перехватив фонарь в руку и бессильно вцепясь в футляр, я обезумело рванулся вперед, без мыслей, обуянный единым диким желанием вырваться из этих руин ночного кошмара в мир яви — пустыни, лежащей при лунном свете далеко наверху.

Не отдавая себе в этом отчета, я достиг каменного нагромождения, горою вздымающегося в непомерную черную пустоту за пределами провалившихся сводов, и, не раз поранившись, ушибившись, взобрался по крутой осыпи иззубренных плит и обломков.

Тут и стряслось великое бедствие. Как раз когда я вслепую перебирался через вершину, не ожидая впереди никакой впадины, ноги мои потеряли опору и меня захватило в дробилку лавиной поехавшей вниз кладки; с силой пушечного залпа ее гул разорвал черный воздух подземных каверн оглушительной чередой сотрясающих твердь раскатов.

Не помню, как выбрался из этого хаоса, но в мимолетном просветлении вижу, как под эту канонаду я несусь, спотыкаясь и падая, по коридору — фонарь и футляр все еще со мною.

И только успел я приблизиться к первосушной базальтовой крипте, которой так боялся, началось настоящее безумие. Ибо, по мере того как угасало вызванное лавиной эхо, мой слух отворил ужасный нездешний свист, что мне почудился раньше. На сей раз сомневаться не приходилось — хуже того, он раздавался не сзади, а впереди.

Возможно, тогда я завопил... Смутно помню, как мчался через дьявольскую базальтовую крипту древней нежити, слыша окаянные нездешние звуки, невозбранно поднимающиеся из разверстой двери в бездонный крошечный мрак. Поднялся и ветер — не просто холодный сырой сквозняк, но яростный, с умыслом, порыв, изрыгаемый дико и леденяще той омерзительной преисподней, откуда доносился мерзопакостный свист.

В памяти удержалось, как я прыгал и переваливался через разного сорта препятствия под нарастающее с каждой минутой беснование ветра и визжащего свиста, которые, казалось, умышленно свивались и свертывались вокруг меня, злобно прорываясь откуда-то сзади и снизу.

Дующий в спину ветер странным образом замедлял, вместо того чтобы ускорить мое продвижение, словно петлей или арканом он захлестнул меня. Невзирая на производимый мной шум, я с грохотом перелез через огромный завал из плит и оказался в сооружении, откуда лежал путь на поверхность.

Помнится, я мельком увидел арку в зал механизмов и почти закричал, видя скат, уводящий вниз, туда, где, должно быть, на два уровня ниже зиял один из тех окаянных люков. Я не кричал, снова и снова бормотал про себя, что все это сон и я скоро проснусь — может быть, в лагере, а может быть, у себя дома в Аркхэме. Укрепляя рассудок такими надеждами, я начал взбираться по скату на верхний уровень.

Конечно, я знал, что должен снова преодолеть четыре фута расселины, но был слишком истерзан другими страхами, чтобы во всей полноте осознать этот ужас, пока не оказался на краю провала. Идучи под гору, прыгнуть было нетрудно, но разве с той же легкостью одолеть мне, изнемогающему от усталости, проклятый провал на подъеме в гору, с грузом металлического футляра и противоестественным дьявольским ветром, тянущим назад? Эти мысли пришли мне в голову в последний миг, как и мысль о тех безымянных тварях, которые могут таиться в черных безднах пропасти.

Дрожащий свет моего фонаря слабел, но по каким-то смутным приметам памяти я подступил к самому краю расселины. Порывы холодного ветра и тошнотный визжащий свист позади на мгновение оказались благодатным дурманом, притупившим зиявший впереди ужас. Потом сознание заполонили ветер и свист прямо передо мной — скверна, волнами бьющая из бездн невиданных и непостижимых.

То, что разразилось теперь, воистину был кошмар. Меня покинуло здоровое разумение, и, глухой ко всему, кроме звериного инстинкта к бегству, я просто ринулся вверх по скату, не разбирая дороги, как если бы никакой расселины не существовало. Увидев край пропасти, я прыгнул, не помня себя и собрав все свои силы, и был мгновенно захвачен злобесовским водоворотом пакостных звуков и вещественно осязаемой черноты.

Это последнее из пережитого, что я помню. Все последующие впечатления целиком относятся к области фантазмов помраченного разума. Сны, воспоминание и безумие смешались в дикую вереницу фантастических, бессвязных галлюцинаций, не имеющих ничего общего с реальностью.

Было ощущение тошнотворного провала в неизмеримость вязкой

одушевленной темноты и вавилона голосов, абсолютно чужеродных всему, известному нам на Земле и в ее органической жизни. Дремлющие полуразвитые органы чувств, казалось, очнулись во мне, вещая о пропастях и пустотах, населенных летучими чудищами, и уводя к бессолнечным утесам, океанам и бурлящим движением городам беззаконных базальтовых башен, куда никогда не падал ни один лучик света.

Тайное ведение о первосушущей планете и незапамятных зонах молнией пронеслось в мозгу без посредства зрения или слуха, и мне стали ведомы вещи, которых не подсказывал мне ни один из прежних, самых буйно фантастических снов. И все это время холодные пальцы сырого тумана хватали и теребили меня, и тот окаянный свист бесовски верещал, перекрывая все — и гам голосов, и затишье в завихрениях окружающей тьмы.

Потом подступили видения титанического города — не руины, но точно такого, каким я видел его во сне. Я был опять в своем коническом облике нелюдя и мешался с толпой Расы Великих и разума-узников, шествовавших с книгами по величественным коридорам и пространным скатам.

Затем, наложившись на эти картины, замелькали пугающие вспышки сознания — корчи в попытках освободиться из цепких щупалец свистящего ветра, безумный полет в исхлестанной ураганом тьме и, наконец, неистовое ковыляние и барахтание в каменных развалинах.

Откуда-то сверху вкрался слабый, рассеянный призрак голубоватого свечения. Потом стало сниться, будто я карабкаюсь, преследуемый ветром, ползком выбираясь на язвительный лунный свет из каменных дебрей, которые, стронувшись с места, закружились вдруг в вихре противоестественного урагана. Именно это злое однообразно мерцание доводящего до безумия лунного света оповестило меня наконец о возвращении в мир, который был мне когда-то известен как мир объективной яви.

Царапая песок пальцами, я влачился по австралийской пустыне, а вокруг меня визжал бесноватый ветер. Одежда в клочьях, тело — одна сплошная масса ссадин и ушибов.

Сознание во всей полноте возвращалось очень медленно, и я так и не сумею сказать, когда отступал сонный бред и начинались подлинные воспоминания. Были, казалось, нагромождения циклопических плит, и бездна под ними, и чудовищное откровение из прошлого, и кошмарные видения под конец — но что из этого отвечало действительности?

Фонарь мой исчез, как и, возможно, найденный мной металлический

футляр. Существовал ли такой футляр, да и бездна, да и нагромождение плит? Приподнявшись, я оглянулся и увидел лишь бесплодное волнообразие пустынных песков.

Бесовский ветер утих, и вздутая ноздреватая луна, багровея, клонилась к закату. Я с трудом встал и, пошатываясь, побрел на юго-запад в сторону лагеря.

Что со мной приключилось на самом деле? Свалила ли меня в дюнах усталость, или протащился я долгие мили всем своим истерзанным снами телом по пескам и погребенным ими каменным плитам? Если это не так, тогда разве мне все это пережить?

Ибо в свете нового сомнения вся уверенность в иллюзорности моих порожденных мифами визиях, снова тает в дьявольском изначальном сомнении. Если та бездна была реальностью, то и Раса Великих реальность, и ее кощунственные поползновения и татьба в круговерти времени, захватывающей собою весь космос, — не мифы и не ночные кошмары, а ужасная душепагубная действительность.

Неужели в те смутные загадочные дни амнезии я был в полном смысле слова умыкнут за 150 миллионов лет назад в первобытный мир пращеловека? Неужели нынешнее мое тело было храминой ужасного чужевидного сознания из тьмы палеогенных времен?

Неужели я, разум-узник этих чудищ, действительно знал тот проклятый каменный город в зените его пресущного расцвета и пресмыкался теми знакомыми коридорами в отвратительной личине захватчика? Неужели сны, мучающие меня вот уже двадцать лет, произросли из неприкрашенных чудовищных воспоминаний?

Неужели верно, что я общался когда-то с разумом из недостижимых закоулков времени и пространства, познавал тайны Вселенной в былом и грядущем и составлял летопись собственного мира для пополнения металлических гнезд в тех гигантских архивах? Неужели и те, другие — та убийственная древняя нежить со своим отнимающим понятие ветром и бесовским свистом, — в самом деле таятся, бесконечно и грозно, обессиливаемые ожиданием, в черных безднах, пока на искореженной веками земной коре жизнь мириады тысячелетий влачит свое существование во многообразии форм.

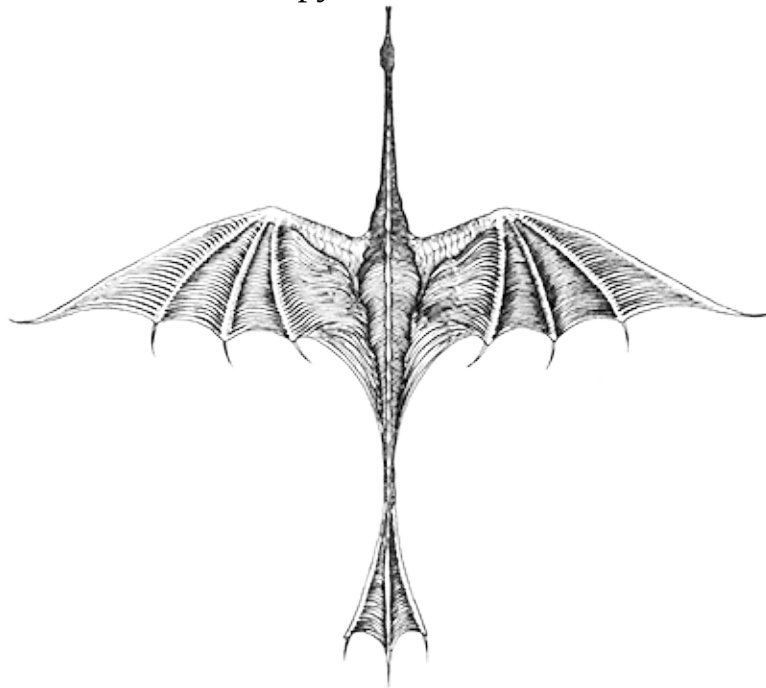
Не знаю. Если та бездна и то, чему она служит вместилищем, суть реальны — надежды нет. Тогда — и истинно так! — на этом мире людей лежит неимоверным глумлением тень тьмы времен. Но доказательств, что это нечто другое, чем просто новая фаза моих порожденных мифами снов, благословение судьбе, нет. Я не принес обратно с собою металлического

футляра, который бы послужил таким доказательством, а те подземные коридоры не обнаружили до сих пор.

Если законы мироздания не чужды благодати, их не найдут никогда. Но я должен рассказать своему сыну о том, что я видел или что мне привиделось, и предоставить ему как психологу оценить реальность пережитого мною и довести сообщение до сведения других.

Я уже говорил, что страшная достоверность, лежащая в подоплеке моих мученических годов сновидца, целиком держится на реальности того, что мне привиделось в тех циклопических, погребенных песком руинах. Мне было тяжело, в буквальном смысле слова, предать бумаге то последнее откровение, пусть даже любой читатель не мог не догадаться о нем. Конечно, оно содержалось в той книге — книге, чей металлический футляр я извлек из-под савана пыли миллионов столетий.

Ничей глаз не видел, ничья рука не касалась той книги с приходом человека на эту планету. И вот я увидел, что буквы, окрашенные странным пигментом, на ломких пожелтелых за вечность страницах, отнюдь не были безымянными иероглифами тех времен, когда мир был иным. Вместо этого знакомые буквы нашего алфавита складывались в слова английского языка, выведенные собственною моею рукой.



Ж. Менегальдо

Эзотерический метаязык на службе фантастического начала в творчестве Х. Ф. Лавкрафта



Личность и творчество Лавкрафта долго сохраняли ореол тайны и в Европе, и в Соединенных Штатах, и многие интерпретаторы, даже из числа самых серьезных, могли предаваться истолкованиям, оказавшимся поставленными под сомнение с выходом в издательстве «Аркхэм Хауз» пятитомного собрания писем. В университетских журналах — но также, и прежде всего, в любительских журнальчиках, или фэнзинах (комиксы НФ, издаваемые любителями; от англ. «*fan*» — любитель, поклонник и «*magazine*» — журнал. — *Перев.*) появлялось множество статей. Статьи эти были схожи по своей общей направленности и касались взаимосвязи творчества Лавкрафта и предполагаемого эзотерического или оккультного знания. Так, *специалисты*, подобные Сержу Ютену, печатали статьи под зазывными заглавиями, с прицелом причислить Лавкрафта к иррационалистской тезе^[6]. Критики вроде Жака Бержье, в манере более серьезной, но не менее тенденциозной, внесли свой вклад в распространение определенного представления об этом человеке и его творчестве — представления, которое уже культивировалось в предыдущие времена, особенно в сюрреалистской среде в связи с Робертом Бенайуном и журналом «Медиум». В Соединенных Штатах, при возможности доступа к письмам Лавкрафта, критики не могли предаваться подобным излишествам, но некоторые читатели, из поколения в поколение, всерьез принимали литературу, которая сама себя полагала чистым вымыслом и, более того, по словам самого автора, иллюстрировала строго материалистические убеждения.

Нашей задачей не является сейчас детальное исследование различных этапов, пройденных критикой в восприятии Лавкрафта, ввиду того что работа эта была проделана в США С. Т. Джоши, а во Франции — в

пространной статье^[7], относительно недавно появившейся в новом, посвященном Лавкрафту журнале «Лавкрафтианские штудии». Не во всем соглашаясь с тем, что пишет автор, а именно с доводами, к которым он прибегает, чтобы окончательно причислить Лавкрафта к писателям научной фантастики, нельзя не видеть, что его статья с полным основанием подчеркивает мистификаторство, маскирующее истинный смысл творчества Лавкрафта и весьма содействующее упрочению стереотипного образа «затворника из Провиденса», некоего пророка или первосвященника, посредника между миром обыденности и заповедным и опасным знанием. Следовательно, тем самым ставится вопрос об отношениях между фантастической фикцией и возможным эзотерическим или оккультистским референтом.

Здесь следует тщательно подчеркнуть это различие, если даже порой и трудно, в случае с Лавкрафтом, правильно определить, что относится к первому, что ко второму. Эзотеризм, согласно «Encyclopedia Universalis», связан с понятием тайны, таимного знания: хранимые с незапамятных времен тайные доктрины, которые передаются из века в век по цепочке учителей и учеников, целостное и стройное единство, образующее внушительный ансамбль основополагающих истин. Для эзотерика речь идет о том, чтобы обрести интуитивное, сверхрациональное и трансцендентное, познание.

Эзотеризм выступает как традиционное знание, не зависимое ни от какого желания его теоретиков излагать их собственные философские идеи. Это то, чем отличается эзотеризм от оккультизма, теософии и прочих спиритических учений. Эзотеризм следует по пути не синкретизма, а унифицирующего синтеза. Так, энергично критикует самозванные новые системы спиритуалистской мысли Рене Генон, цитируемый в статье из «Encyclopedia».

Оккультизм — это как будто бы созданный Элифасом Леви неологизм: оккультизм полагает себя как полная секуляризация, обмирщение, оккультного (*occulte* — сокровенное), как раскрытие (откровение) великих тайн, независимо от всякой преемственности серьезной традиции. Генон особенно оспаривает спиритизм и теософизм, которые он отличает от подлинной мусульманской или христианской теософии.

Что же у Лавкрафта? Эта борьба мнений почти не обнаруживает себя ни в его творчестве, ни в письмах. Лавкрафт в самом деле называл себя, и не раз, убежденным материалистом, отрицающим какую бы то ни было интеллектуальную, познавательную ценность за эзотеризмом и оккультизмом:

«I am indeed a true materialist so far as actual belief goes; with not a shred of credence in any form of super-naturalism-religion, spiritualism, transcendentalism, metempsychosis, or immortality» («Я, право, настоящий материалист, если говорить о действительных убеждениях; во мне ни капли веры в религию сверхъестественного — ни в спиритуализм, ни в трансцендентализм, метемпсихоз или бессмертие»)^[8].

Что же могло подвигнуть некоторых критиков рассматривать творчество Лавкрафта под спиритуалистским, если не прямо оккультистским углом зрения?

Укоренению этой иллюзии, которую усиливал действительно ореол странности, окружавший этого автора, способствовало некоторое число составляющих. В своем творчестве Лавкрафт делает частые отсылы на некие тайные общества: Тайный орден Дагона в рассказе «Тень над Иннсмутом» (The Shadow over Innsmouth), курдская секта йезидов, поклоняющихся Сатане, в рассказе «Ужас в поселке Ред-Хук» (Horror at Red Hook), секта «Звездоносная мудрость» в рассказе «Наваждающий тьму» (The Haunter of the Dark), и множество других.

Лавкрафт также ссылается на предполагаемое существование верований и оккультных практик, которые действуют во множестве стран: так, описание обрядов типа вуду в рассказе «Зов Ктулху» (The Call of Cthulhu) подразумевает существование подобных культов того же самого происхождения в других странах, откуда и представление о разветвленности и универсальности оккультного знания. Лавкрафт затрагивает также источники этого знания, содержащиеся якобы в магических книгах, некоторые из которых действительно существуют. Более того, точно приводя магические формулы, фрагменты обряда, заклинания, писатель позволяет предположить за ним подлинные знания в этой области. Кроме того, настойчиво возвращается тема инициатических поисков: человек, часто молодой, сталкивается с серией испытаний и обретает новую личность... В цикле о Кадате эти поиски иллюстрируются целой символической системой чисел и мест. Герой, Рэндолф Картер, должен низойти на семьдесят, потом на семьсот ступеней, чтобы достичь дремного края. Его поиски требуют преодоления пути-дороги (взойти на священную гору, спуститься в бездны, пересечь море-океан), встреч с таинственными существами, чудесными помощниками или чудесными противниками (см. В. Пропп. Морфология сказки. — Перев.): кумиротроителями в масках, животными, чудовищами ползучими или крылатыми, божествами наконец. В конце этой дороги, затрудняемой препятствиями и, конечно, схожей с инициатическим путешествием,

Картер достигает города закатного солнца, предмета своих желаний, но тот на самом деле оказывается всего лишь городом его детства, идеализированным памятью и ностальгией... Новелла «Серебряный ключ отмыкает пути» (Through the Gates of the Silver Key) недвусмысленным образом вводит тему реинкарнации через фигуры отчуждения и трансфигурации. Картер — отдельная личность становится Картер-сущностью, которая объединяет всех прошлых, настоящих и будущих Картеров, в том числе в нечеловечьем обличье. Здесь определенно чувствуется влияние Э. Хоффманна Прайса, соавтора Лавкрафта в этой части триптиха.

Наконец — и, может быть, прежде всего — в основу вымышленного мира Лавкрафт полагает строго иерархически установленную систему теогонии: это та знаменитая, многократно анализируемая критикой «мифология» Ктулху, которая своей самобытной концепцией божества и чуть ли не социологическим анализом механизмов распространения мифа закладывает основы того, что можно назвать новейшим мифом^[9]. Между тем отметим, что Лавкрафт разом отдает дань религиям и мифам как древним — он часто ссылается на Древний Египет, Грецию, доколумбову Америку, — так и новейшим или переделанным во вкусе его времени, таким, как Атлантида, Лемурия, континент Му. Вдохновляется он также и литературными произведениями предшественников, особенно своего учителя, англо-ирландского писателя лорда Дансейни, также создавшего фантастическую теогонию.

Некоторые критики пытались установить связи между мифологией Лавкрафта и Алистера Кроули, одного из магов Золотой Зари. Действительно, находишь определенное сходство на уровне ономастики: так, Книга Закона, «Аль Вель Легис» у Кроули, немного созвучно арабскому названию знаменитого «Некрономикона» «Аль Азиф». Кроме того, периодически повторяющееся ритуальное выражение Золотой Зари «Великие из тьмы времен» (The Great Ones of the Night of Time) не лишено переключки с существами, которых Лавкрафт окрестил Великие Старшие (Great Old Ones). Наконец, Лавкрафт и Кроули используют один и тот же образ, первый — применительно к городу Кадат, который располагается в «холодном пустолюдь» (cold waste), второй — применительно к званию, присвоенному им себе: «Странник пустолюдь» («The Wanderer of the Waste» [Hadith]). Эти отдельные детали кажутся, однако, слишком незначительными, чтобы свидетельствовать о каком-либо сходстве образности у этих двух писателей, тем более что Лавкрафт, который без заминки называет свои первоисточники, крайне редко ссылается в

переписке на Кроули.

Больше смущают на первый взгляд неоднократные аллюзии к теософии Елены Блаватской. В самих его произведениях это имя относительно часто возникает в качестве первоосновы оккультного знания, опасного и окаянного, что уже само по себе является литературно-вымышленным и драматически преувеличенным истолкованием теософии. Это имя к тому же приводится еще и вместе с другими именами эзотериков или оккультистов, реальных или вымышленных, но Лавкрафт так и не приводит фактически самих работ мадам Блаватской («Тайная доктрина» или «Покрывало Изиды»). Имена других авторов и названия произведений, относящихся к теософскому направлению, наоборот, цитируются — особенно Скотт Эллиот, автор исследования об Атлантиде, «История Атлантиды и потерянной Лемурии» (*The Story of Atlantis and the Lost Lemuria*) — между тем что никакого определенного представления о содержании этих произведений не дается.

В сущности, самая постоянная и недвусмысленная ссылка относится к «Стансам Дзиан» (*The Book of Dzyan*, «Книга Дзиан»), в действительности представляющим основы теософской доктрины, и сочинения г-жи Блаватской являются не более чем длинным и нередко пустословным комментарием на них. Эта мифическая книга могла прельщать Лавкрафта многочисленностью и спорностью своих источников. Некоторые авторы, такие, как Рене Генон, относят ее к одним из священных текстов Тибета. Другие, как Гершом Г. Шодем, возводят ее первоначально к каббалистическому тексту «Сифра ди-Цениута» (*Sifra Di-Tseniuta*)^[10], переведенному г-жой Блаватской под названием «Сифра Дзенюта» (*Sifra Dzeniuta*), довольно близкому к «Дзиан» (*Dzyan*). Итак, книга эта многократно приводится Лавкрафтом, особенно в «Наваждающем тьму» (*The Haunter of the Dark*) и в «Нашептывающем во мраке» (*The Whisperer in Darkness*), так же как и в некоторых переработках («Дневник Алонсо Тайпера», «*The Diary of Alonzo Typer*»). Всё дело обстоит так, как если бы Лавкрафт называл ее возможной первоосновой своего вымысла, внушая тем самым доверие к своему собственному мифотворению. Это впечатление подлинности усиливается другими аллюзиями, рассеянными по всему его творчеству, в частности, скрытой отсылкой к тайным учителям Шамбалы, потерянного города лемурийцев. Само название не упоминается, но «Зов Ктулху» (*Call of Cthulhu*) заговаривает о «непричастных смерти вожаках культа Ктулху в горах Китая» (*the undying leaders of the Cthulhu cult in the mountains of China*), как раз перед тем, как идет комментарий к теософским умозрениям. К тому же из рассказа в

рассказ еще и множатся намеки на тибетское плато Ленг. С другой стороны, Лавкрафтом подхватываются некоторые теософские мотивы и включаются им в его творчество: так, переселение сознания, например. Первыми вдохновителями человечества будто бы были, согласно Скотту Эллиоту, венерианцы, психически вселявшиеся в человеческие тела. Лавкрафт развивает эту идею психической проекции в двух важных повествованиях, «Нашептывающий во мраке» (The Whisperer in Darkness) и «Тень тьмы времен» (The Shadow out of Time), но даже еще до знакомства с теософией он уже предвосхищает эту тему в рассказе «По ту сторону стены сна» (Beyond the Wall of Sleep).

Взаимосвязь с теософией наконец недвусмысленно устанавливается в повествовании «Тень тьмы времен»: «В некоторых из мифов возникали знаменательные сцепления с другими туманными преданиями о мире прачеловечества, особенно с теми сказаниями индусов, предполагающими головокружительные пучины времени, которые составляют часть современной теософской премудрости»^[11].

Можно указать и другие мотивы или представления, обусловленные теософским подходом: например, постоянные у Лавкрафта ссылки на циклопическую архитектуру, напоминающие теософскую тезу о том, что Землю населяли расы гигантов, так же некоторые тексты косвенно намекают на ауру и астрального двойника...

Можно ли считать Лавкрафта в результате ревнителем и поборником теософии? Маловероятно — поскольку, с одной стороны, эти референции узко локализованы и зачастую тонут в других референциях; с другой стороны, поскольку весь этот повышенный интерес к затерянным континентам и расам, это представление о цикличности истории человечества были в духе времени и не являлись достоянием собственно теософии. Кроме того, передаваемая в произведениях Лавкрафта картина мира оказывается диаметрально противоположной оптимистическому в целом мировоззрению теософов. У них, по сути дела, человек движется к духовному прогрессу с помощью «учителей-мистагогов». В произведениях Лавкрафта человек изначально есть создание неверного случая, подневольное расам неземнородных, и его участь — уступить свое место другим племенам нелюдей, а именно насекомым или даже полурастительным особям. Человек не более чем случайность, побочное явление, пренебрежимое в космическом масштабе. Это ироническое, индифферентистское понимание человеческой судьбы куда как далеко от теорий г-жи Блаватской. Лавкрафт, более того, преследуемый идеей вырождения, биологического и психического регресса, он не верит в

способность к духовному усовершенствованию и, еще того меньше, в нетленность души в каком бы то ни было виде.

К тому же и переписка писателя устанавливает весьма четкую дистанцию с теософами и их кредо. Так, письмо к Кларку Эштону Смиту, где Лавкрафт впервые заговаривает о теософии, хорошо показывает этот скепсис: «Я приводил в систему нечто, представляющее огромный интерес в качестве подмалевка или исходных материалов <...> т. е. предания об Атлантиде и Лемурии, в изложении новейших оккультистов и теософских шарлатанов»^[12].

Еще более резок Лавкрафт, в плане идей, на сей раз в дальнейшем письме к Уиллису Коноверу: «Теософическая дребедень, попадающая в разряд умышленного надувательства, местами интересна»^[13].

При любом состоянии дела познания Лавкрафта в этом предмете остаются очень ограниченными и зияют пробелами, как свидетельствуют о том другие письма, особенно к Э. Хоффманну Прайсу по поводу мифа о Шамбале: «Я испытываю искушение засыпать вас вопросами касательно источника, места происхождения, общих черт и библиографии всех этих неизвестных преданий. Где вы их отыскиали? Как их можно заполучить? Каким народом или в каком краю они создавались?..»^[14]

Эти различные выдержки из переписки ясно устанавливают, что Лавкрафт рассматривает теософию как материал для литературы и не более того. Ни одно письмо или документ не касается возможности приятия целиком или частично постулатов г-жи Блаватской и ее учеников. Во всяком случае, некий образ Лавкрафта-спиритуалиста и даже мистика ничем не будет подкреплён. Всё заставляет думать, что так же дело обстоит и с другими референциями к эзотеризму и оккультизму, которые для Лавкрафта не более чем псевдонауки, громоздкое наследие ветхого прошлого. Тут опять переписка полна безоговорочными высказываниями. Невзирая на некоторые регулярно встречающиеся представления, некоторые параллелизмы, на уровне образной системы в особенности, невзирая даже на всеобъемлющую теогоническую концепцию, представляется трудным оправдать какое-либо эзотерическое прочтение в том смысле, как этот термин определяется выше^[15]. Функционирование и значение этих референций, стало быть, надо исследовать как метаязык, инструмент, служащий производству литературного вымысла.

Язык эзотеризма или оккультизма, каким он предстает в творчестве Лавкрафта, является гетерогенным, составным. Помимо нескольких указанных регулярно повторяющихся мотивов, в сущности, трудно

установить отношения между источниками ученого знания и различными проявлениями иррационального подхода к Вселенной. Лавкрафт постоянно и сознательно смешивает различные типы книжных референций: подлинные произведения действительных авторов, выдуманные произведения существующих или существовавших авторов^[16], и вымышленные произведения вымышленных авторов. Все эти произведения, сверх того, вкуче считаются пагубными и опасными, даже если в случае действительных произведений это не обязательно так: и вот Лавкрафт говорит о «заповедных страницах» Элифаса Леви, позволяя предполагать *скрытый аспект* произведения.

Что же касается различных проявлений иррационального подхода, Лавкрафт сплавляет элементы фольклора, обрывки ученого знания, магические формулы, принадлежащие разным культурам и разным эпохам: так, соединяет он обряды вуду, вампиризм и колдовство. Ведьму в «Кромешных снах» (Dream in the Witch-house) отпугивает распятие, что вызывает, скорее, ассоциации с фольклором о вампирах. В рассказе «Ужас в поселке Ред-Хук» (Horror at Red Hook) магическое заклинание содержит ссылку на несовместимые элементы, а именно сефироты (*sephiroth*), которые представляют десять ветвей Каббалы и *a priori* не имеют ничего общего с какой-то сектой сатанистов. Чародей Кёрвен, в «Случае Чарльза Декстера Уорда» (The Case of Charles Dexter Ward), действуя приемами черной магии, и как раз контакта с духами знаменитых людей, вызывает Метратона (тогда как нужно «Метатрон»). На самом деле Метатрон — это, точнее, трансфигурированный и трансцендентный образ патриарха Эноха, тот, кто повелевает небесным воинством. Согласно Рене Генону^[17], это как будто бы слово, производное от Митры, обозначающего дождь (в связи со светом). Тогда это слово как будто бы предполагает все значения хранителя, небесного владыки, посланника и посредника. Плохо понимаешь связь с демонологом Джозефом Кёрвеном...

Эзотерический язык фрагментарен, прерывен, узко локализован. Помимо нескольких выдержек из самой знаменитой из выдуманных книг у этого автора — «Некрономикона», для которой Лавкрафт даже написал поддельную биографию ее мнимого сочинителя Абдуля Альхазреда, — и нескольких коротких цитат, чаще всего заимствованных из популяризаторских произведений^[18], читатель почти не имеет возможности обрести эзотерическое знание. Описания обрядов также зияют пробелами и имеют всего лишь эстетическую функцию.

В самих недрах мифического создания Лавкрафта царит

нестабильность. Что касается места действия, Лавкрафт заведомо смешивает план реальности, план вымысла и план сновидения: Аркхэм, место, где происходят все нарушения порядка вещей, так же правдоподобен, как и настоящий Провиденс, поскольку заимствует у того свои основные признаки. Неизвестно, в реальности, или в мифе, или просто в мире снов расположено плато Ленг, исходная точка различных океанных культов и место происхождения прачеловеческих существ. Столь же зыбким оказывается и смысл книг. Так, «Некрономикон», характеризующийся как заповедная, святотатственная книга, но в то же время необходимый инструмент для каждого изучающего оккультное, становится в повести «На горах безумия» (*At the Mountains of Madness*) книгой предостережения, и ее автор теряет свой зловещий ореол, но также и свое мнимое знание, которое оказывается ошибочным. Магические формулы больше не являются действенными.

Согласованность (*cohérence*) внутри всей теогонической системы также весьма проблематична. Помимо той уже указанной смеси реального, вымышленного и сновиденческого (Дагон, Гидра и Ноденс, действительные боги, соседствуют с Ктулху и Ньярлафотепом), боги меняют и собственное лицо и статус. От рассказа к рассказу они переходят из области иррационального, не поддающегося человеческим методам исследования, в область рационального, где становится возможным чуть ли не научный подход к их природе. Теология и магия как раз уступают место антропологии в повести «На горах безумия». Так, именем «Те старшие» (*Old Ones*) окрестил Лавкрафт как богов из цикла о Кадате, так и прачеловеческих тварей из более поздних повествований (существа в форме звезды в «На горах безумия»), а еще и первобытных богов («Те великие старшие», *Great Old Ones*), какими являются Ктулху и Азаф(т)от (*Azathoth*). Этот последний, этимология которого уже указывает на амбивалентность (*Thoth*, египетский бог мертвых; *Azazel*, отсылка к христианской демонологии; и, возможно, также *Azoth*, отсылка к универсальному растворителю алхимиков), служит хорошим примером зыбкости «лика» богов. Это претворяется в многообразии парафраз, которыми описывается божество. В «Наваждающем тьму» Азафот появляется как «слепой несмысленный бог Азафот, Повелитель всех тварей, взятый в круг шаркающим роем своих бездумных и бесформенных плясунов». В одном из текстов этого же времени («Нашептывающий во мраке») используемые обороты вскрывают изменение угла зрения и даже наводят на мысль о рационалистическом истолковании: «чудовищный ядерный хаос за пределами пространственных измерений, кого

“Некрономикон” милосердно укрывает под именем Азафот»^[19].

Наконец, и это отчасти следствие из предыдущего момента, эзотерический (окультистский) метаязык чаще всего связан с другими метаязыками, особенно с научным или псевдонаучным языком, что придает ему еще одно значение. Это может показаться спорным. В самом деле, приверженцы *фантастического реализма*, такие, как Бержье, например, могли бы, без сомнения, счесть, что сосуществование этих двух метаязыков представляет дополнительное доказательство верности их теории или интерпретации, заручающейся поддержкой (*caution*) объективной науки. В действительности, если Лавкрафт дает доказательство удовлетворительных познаний языка науки с определенной стороны (а именно биологии, в «На горах безумия»), связь, которую он предлагает с языком эзотеризма, чаще всего оказывается характера эстетического, *поэтического*, а не дидактического. Так, в «Кромешных снах» отсылка к высшей математике и к четвертому измерению позволяют Лавкрафту обновить, до некоторой степени, мотив колдовства и дает повод к весьма лиричным описаниям гиперпространства галлюцинативного по природе (*onirisé*), но это очевидно, что различные идеи, выдвигаемые автором, являются чистым вымыслом и не имеют научной основы.

Можно было бы сделать сравнительный анализ других рассказов, особенно же это «Нашептывающий во мраке», где научный язык является изобретением чистой фантазии, без малейшего рационального элемента (космическое перемещение существ в описанных условиях, в высшей степени, невозможно, даже если, в плане техническом, вся механика детализирована). С другой стороны, в этой новелле изобилуют элементы эзотеризма, но они не находят другого оправдания, кроме суеверия людей, не способных иначе, как через ритуал, уяснить себе феномен, который их превосходит. Заметим, что Лавкрафт прилагает старание увязать легенды *действительные* с легендами индейцев, правдоподобными, если не подлинными, таким образом укореняя свой миф в толще истории американского континента. На этом уровне лавкрафтианское место действия выступает как палимпсест, где герой-искатель, как сыщик, должен находить знаки присутствия (пережитки или реликвии) древних культов. Все эти особенности показывают, что Лавкрафт никоим образом не принимает всерьез эзотерические референции: что он не дает себе труда предлагать, даже на уровне вымысла, внутренне согласованную систему мысли. Его цель в другом, и, по-моему, она напрямую связана с *фантастическим характером* его творчества. Это стратегия, типичная для фантастического описания мира, где имеется, с одной стороны, смешение

обозначающих, с другой стороны — разрастание, разлив обозначающего, чтобы компенсировать отсутствующее обозначаемое. Избыточность репрезентации скрывает здесь отсутствие референта.

Постоянные аллюзии к местам, персонажам, книгам, внутритекстуальные цитаты и т. д. составляют подразумеваемую сеть автореференций, которая занимает место внетекстуального референта. Для читателя тот факт, что из текста в текст он снова и снова встречается тех же самых богов или существ, те же самые или подобные им обряды в разных точках земного шара, способствует сокрытию вымысла под покровом достоверности. Умножение внетекстовых обоснований (*cautions extra-diégétiques*), частая ссылка на действительные события (открытие Плутона, экспедиции на полюс, дрейфование континентов и т. д.), использование аналогии и нарочного смешения, подразумеваемые или явные сноски на предполагаемые читательские знания (Атлантида, Му, Каббала...) вызывают у читателя *suspension of disbelief* (повисание между верить — не верить), необходимое, чтобы возник эффект фантастического.

В то же время эта сеть автореференций достаточно размыта и подвижна, чтобы вся приводка (*repérage*) оставалась проблематичной. На этом уровне можно рассмотреть более детально тот способ, каким Лавкрафт маскирует пустотность обозначаемого и отсутствие референта, в связи с выдуманной библиотекой, хранилищем оккультных знаний, накопленных от начала мира.

Лавкрафт использует систему ширм, зеркал, которые отсылают одно к другому и которые ставят вопрос об отношениях между книгой и знанием. В большинстве случаев ссылка на *окаянные* тексты не содержит ничего, кроме заглавия. Для читателя они, похоже, имеют функцию знака, сигнализатора, шифтера (*embrayeur*) фантастического. Используются различные процедуры: чистое название, ничего не говорящее о книге, — это наиболее частый прием, еще более усиленный эффектом перечня (*liste*), когда в тексте идет ссылка на целую серию произведений, мешая, как мы это видели, выдуманные с подлинными. Вторая процедура смешения состоит в упрятывании смысла, в отказе от огласки содержания, путем придачи заглавия, несущего негативные коннотации. Автор к тому же упоминает книгу, но еще и отрицает за ней реальность, рассматривая ее как чистую легенду. Особую роль в возбуждении читательского интереса играет нагнетание прилагательных. «Некрономикон» — это забытая книга, написанная «безумным арабом Абдулем Альхазредом». Ее обрамляют негативные прилагательные: «чудовищная», «мерзейшая», «пугающая», «заповедная», «отвратительная»... Эта избыточность прилагательных

занимает место содержания. Сам текст создает ширму, знак умолчания по отношению к оккультным знаниям, которые он, как предполагается, содержит: откуда и обилие «недомолвок», «слухов», указывающих на этот отказ, это умолчание. Поведение мнимого автора, как оно описывается, тоже выражает и усиливает эмоциональный заряд, связанный с произведением: «безумный автор “Некрономикона” взбудораженно, было, поклялся» или «даже безумный автор обсуждал с неохотой...».

Еще одна процедура — это цитирование до бесконечности, которое не содержит никакого элемента информации, а лишь отсылает к книге, которая сама отсылает к другому первоисточнику и т. д. Автор, таким образом, возвращает нас ко времени всё более и более отдаленному, к первоначальному, где смешиваются миф и реальность: «...речения Тех старших, как они излагаются в *Свитках*, более древних, нежели *Пнакотские рукописи*». Даже после того, как преодолены все препятствия, всё, что можно получить, это не более чем доступ к переводу текста, стало быть, искаженной версии, неточной по отношению к оригиналу. Этот последний почти всегда отсутствует. Автор устанавливает систему ширм, которая вуалирует истину, но усиливает концентрацию мифического в тексте, благодаря этой недостижимости, но многообещаемости знания... Текст-код, криптограмма маркируют дополнительный уровень сокрытия. В таком случае дешифровка — это необходимый этап на пути к раскрытию (*révélation*). Но Лавкрафт не страдает замороженностью какого-нибудь Э. По перед тайнописью как таковой. Она для него не более чем инструмент. Важность имеет лишь ее функция ширмы по отношению к первичному знанию... Загадка иногда акцентируется отсылкой к тексту внутри текста. Так обстоит дело с пометками странными и написанными на неведомом языке, которые находит герой «Тени тьмы времен» на полях *священных* текстов: «...сильнейшим образом растревожили меня некие маргиналии и очевидные исправления в мерзопакостном тексте, по начертанию своему и стилю как-то странно выглядевшие нелюдски».

Наконец, последней процедурой является процедура сведения произведения до одного фрагмента. Текст порван, обгорел: от него остается не более нескольких почеркелых, не поддающихся расшифровке страниц, и он, таким образом, постоянно ускользает от изучения. Так, *Пнакотские рукописи* оказываются фрагментами другого произведения, *Книги Эйбона*, которая также восходит к архаичному знанию. Сама книга отождествляется, стало быть, с утраченным первоисточником. Она не существует более, кроме как через свое отсутствие, она отброшена в мир легенд, но в то же время она функционирует как отсыл и запрос к

возможному внетекстуальному референту.

Еще одна дистанция, сохраняемая с эзотерическим или оккультистским знанием и, шире, со спиритуалистским подходом к миру, это пародия, а иногда даже юмор. Эта сторона становится очевидной из переписки, особенно в связи со взаимообразными заимствованиями *божеств* членами лавкрафтианского кружка: Лавкрафт одалживает свои выдумки К. Э. Смиты (Clark Ashton Smith), Р. Говарду (Robert Howard), Ф. Б. Лонгу (F. B. Long) и т. д. Сам он зимствует создания других и инкорпорирует их в свой собственный миф. Но это еще не всё: приводя первоисточники в своих литературных выдумках, Лавкрафт вводит других писателей, и особенно своих собственных друзей, под едва замаскированными именами (Чемберз, Chambers, граф д'Эрлетт, Le Comte d'Erlette — А. Derlet. *Перев.*). В некоторых текстах пародийный элемент гораздо более очевиден. Так, Роберт Блейк, злополучный герой в «Наваждающем тьму», жертва крылатого существа Ньярлафотепа, имеет много общего с Робертом Блохом (Robert Bloch): оба они романисты с уклоном в странное. Названия произведений значащи и... юмористичны: «The Burrower Beneath» (Подземельный ройщик)... «The Vale of Pnoth» (Долина Пноф)... Лавкрафт при том признавался в письмах, что он расплатился таким образом с Блохом, который выставил его персонажем в ироническом тексте, «The Shambler from the Stars» (Ковыляльщик со звезд), где некий писатель, очень похожий на Лавкрафта, оказывается съеден существом, явившимся из гиперпространства... Трудно после этого принимать абсолютно всерьез творчество Лавкрафта, мистификаторский аспект которого с очевидностью проявляется.

Другой вид пародии проиллюстрирован в «Ужасе в Данвиче» (The Dunwich Horror). В этом рассказе язычество и христианство, религия и суеверие, магические формулы и бутафория научной фантастики одновременно присутствуют в полном наборе. Герой этой истории, как нередко, человек науки, но открытый иррациональному. Однако столь же важен и другой персонаж, и, по существу, его трагический путь является перепевом истории о Христе. Уилбур Уэйтли, более человеческий из близнецов, рожденных богом Йог-Софотом от смертной (кивок на греческую мифологию), подвергается набору инициатических испытаний. Его брат, который ближе, чем он, к космическому существу, умирает на взлобье холма, воззвав к Отцу, в атмосфере апокалипсиса по причине некоего заклинания, отправившего его в небытие. Зато, похоже, ничто, ни в этом рассказе и ни в каком другом, не сообщает морального урока. Эти существа не зловредны, а лишь безразличны к человеку и его судьбе.

Лавкрафт разделяет это кредо индифферентизма с другими американскими писателями, принадлежавшими к натуралистическому направлению, такими, как Стивен Крейн, с его «Открытой лодкой», например.

Все эти модальности (*modalités*) дистанцирования выражают одну и ту же установку по отношению к языку эзотеризма: речь идет не более чем об инструменте — *raw material* (сырье), *back cloth* (театральный задник) — на службе специфической эстетической задачи (*projet*). Сверх того, Лавкрафт множество раз выражает, в письмах и в эссе, свое презрение ко всему тому, что касается спиритуализма (оккультизм, эзотеризм), и даже считает, более глубоко, религию источником обскурантизма и регресса.

Ясно в то же время, что его собственное мировоззрение — сциентическое, по своему типу соответствующее самым прогрессивным теориям его времени (теория относительности, квантовая теория) в области точных и естественных наук. Его убеждения недвусмысленно выражены в письмах и также переданы на литературном плане через использование специфической тематики, где наука играет важную роль. Лавкрафт, стало быть, писатель, весьма укорененный в своем времени, и он пристально следит за развитием знаний, вопреки взятой им позе эстета или английского джентльмена XVIII века, которая тоже, впрочем, выражается в его манере себя вести и в архаическом стиле некоторых его произведений.

Всё же дело продолжает обстоит таким образом, что Лавкрафт производит определенную выборку тем; что он не занимается тем литературным жанром, который, кажется, отвечал бы лучше его теоретическим и идеологическим посылкам и который развивался между тем в его время — научной фантастикой (*science-fiction*). Лавкрафт движется в этом направлении, но не без недоверия к тому, что называет с оттенком презрения: «*Tales of interplanetary fiction*» (рассказы межпланетно-художественной небылицы). Хотя некоторые и пытаются причислить Лавкрафта к научной фантастике, трудноато согласиться огульно со всеми их доводами. Лавкрафт остается, по крайней мере на уровне стиля, в русле фантастического. Однако нужно подчеркнуть, что Лавкрафт, на протяжении почти всего своего писательского пути, относится с предпочтением к темам, образам речи, символам, которые, с одной стороны, связывают его с англосаксонской традицией, где показательные для нее писатели проявляют большой интерес к иррациональному^[20]; и с другой стороны, свидетельствуют о завроженности, по крайней мере эстетической, перед этой областью.

В «Кромешных снах» ведьма Кизайя Мейсон владеет математической наукой, но она сохраняет принадлежности, гораздо более традиционные,

даже шаблонные: ее физический облик дряхлой старухи, антураж, в котором она действует, и применяемые аксессуары, даже если математические формулы и занимают место формул магических. Некоторые специальные элементы усиливают архаическую доминанту и тоже соответствуют традиции, как ее описывает Маргарет Мюррей, которую Лавкрафт прежде читал:

присутствие «фамулуса», здесь некоей помеси, крысы с человеческим лицом;

присутствие «черного человека», атрибуты которого напоминают дьявола из легенд (даже если в конце концов он и отождествляется с Ньярлафотепом, одним из божеств лавкрафтианского пантеона);

присутствие типового обряда: жертвоприношение младенца, описанное с определенной точностью. Можно было бы добавить также представление о «дьявольской» сделке, которую студент Джилман должен скрепить собственной кровью... На самом деле, архаическая часть в развитии характера и интриги кажется по меньшей мере такой же важной, как и современные элементы трактовки.

Другой текст Лавкрафта, «Краски из космоса» (The Colour out of Space), иллюстрирует эту двойственную трактовку. Речь идет, по-видимому, о новелле в жанре научной фантастики: с неба падает *метеорит* и вызывает в растениях, животных, как и в людях, чудовищные мутации. Но тематические и стилистические двусмысленности новеллы изменяют этот подход. С самого начала способ подачи пейзажа сигнализирует об этом изменении: «привкус нереальности и жутковатой нелепости», «слишком было похоже на пейзаж Сальватора Розы», «слишком похоже на какую-то заповедную *гравюру по дереву* в *страшном рассказе*». Даже сама природа *метеорита* не определяется ясно, и использованные парафразы двусмысленны: «причудливый гость из неведомых звездных далей», «каменный звездный посланник».

Опыты, произведенные над метеоритом, порождают ощущение не только полной чуждости, но и своего рода воли, чуть ли не человеческой: «упрямо отказывался остывать». Вывод, что «оно никак не с этой земли, а кусок великого запредела; и как таковое наделено запредельными свойствами и послушное запредельным законам»^[21].

Действительно, метеорит оказывается материей живой, а не косной, своего рода вампиром-посредником между минералом и животным, который всасывает физическую жизненную энергию, но действует и на психику человека, как об этом свидетельствует одна из жертв: «оно жило в колодце... сосало жизнь из всего и вся... оно отшибает у ты разумение, и

тут ты попался, оно тя пережигает»^[22]. Отметим, что эта двойственная природа и даст пищу мифам и легендам, которые сложатся вокруг этого феномена. Рассказчик занимает рационалистическую позицию, позицию также и Лавкрафта, по поводу происхождения мифов: «быстро складывалось целое основание для цикла изустных легенд». Лавкрафт, некоторым образом, деконструирует фантастическое начало, конкретно разъясняя объективные причины явления, но, параллельно, высокометафорический стиль, отягощенный антропоморфными коннотациями, порождает чувство реальности, которую едва можно помыслить и которая превосходит, при всех случаях дела, человеческое знание и понимание.

В силу того что он замечает следы, множит истинные и подложные референции на *внетекстуальное* знание, Лавкрафт в конце концов дает двусмысленный и парадоксальный образ себя самого и своего творчества. Эволюция его художественно-литературных идей идет параллельно эволюции его мыслей в идеологической области, как это было продемонстрировано многими критиками. По своему складу мысли в целом Лавкрафт рационалист, релятивист и детерминист. С другой стороны, если Лавкрафт и отходит постепенно от определенных стереотипов эзотеризма, его собственная мифология параллельно утверждается как основание всего творчества, излюбленная форма выражения творческого процесса, как если бы писатель пытался осуществить синтез материалистической и сциентической мысли и видения Вселенной, которое отчасти восстанавливает основы великих мифов творения. Это так, как если бы Фантастическое с большой буквы с необходимостью проходило через постановку вопроса знания и, чаще всего, через погружение в археологические пучины, соответствующее также восхождению во времени.

Творчество Лавкрафта причастно, таким образом, двойственному ходу мысли: это предприятие по объяснению и даже по демистификации, хорошо проиллюстрированное в таких рассказах, как «Нашептывающий во мраке», где идет речь о происхождении, условиях возникновения и развития легенд и мифов. На этом уровне писатель перенимает отношение Маргарет Мюррей, для которой средневековое ведовство как будто бы оказывается не более чем пережитком архаических аграрных культов (обряд плодородия).

Параллельно его произведения создают и закрепляют, с эстетической целью, новые легенды и новые мифы, причастные, вопреки своим признанным мистификаторским аспектам, такому подходу, который

стремится учитывать одновременно известное (научные открытия, технические достижения) и неизвестное (тревога и страх перед лицом Вселенной, подверженной изменению и энтропии, навязчивые идеи и фобии, неясность происхождения и предназначения человеческой расы) в данное время. К этому, конечно, прибавляется как будто бы и личная составляющая автора, особенно его яркий расовый и культурный этноцентризм и его фобия механистического мира, порождающего обезличенность и отчужденность. В этом смысле тема «Возвращение архаических богов» (типичная, как мы видим, для эпохи) может также прочитываться как метафора энтропийного импульса, свойственного американской цивилизации во времена Лавкрафта.

В заключение этого анализа эзотерического метаязыка и его функции в творчестве Лавкрафта представляется возможным набросать определенную гипотезу. Лавкрафт обладает знанием исключительно книжным и, стало быть, знанием экзотерическим эзотеризма. Это знание, с неизбежностью фрагментарное, он использует в строго эстетических целях, без какого бы то ни было глубинного приятия со своей стороны того видения мира, которое он сообщает. Таким образом, различные процедуры, к которым он прибегает, имеют отношение к нарративной результативности и способствуют созданию специфического фантастического эффекта.

Однако Лавкрафт, казалось, имел более далеко идущую цель. Не довольствуясь воспроизведением определенных эзотерических, или, скорее, оккультистских, мотивов, он включает их в целостную концепцию, материалистическую и сциентическую, отвечающую его собственным представлениям, и особенно представлению о космосе, управляемом законами механистическими и безразличными к человеческому уделу. Если он постепенно съезжает к опирающейся на *рационалистическое* чтение (дарвинизм и эйнштейновский релятивизм, пересмотренные и доработанные Степлдоном в литературе гипотез) своей собственной мифологии, то спиритуалистской тематики он полностью никогда не отбрасывает. Тому свидетелями, с одной стороны, его последний рассказ «Злочестный священник» (*The Evil Clergyman*, 1937), который снова подхватывает неотступно преследующие нарративные схемы: преступление героем границы запретного знания, сомнительность личности, образы отчуждения и остранения; с другой стороны, его последнее, незаконченное, письмо Дж. Ф. Мортону, где на пространстве в несколько страниц обнаруживаешь весь круг основных забот писателя: текущая суeta в области науки (здесь астрономии), забавный, иронический пересказ встречи с почитателем, который думает, что видел настоящий

«Некрономикон». На этом примере видно, что Лавкрафт хорошо отдавал себе отчет в мистифицирующей стороне своего творчества. Наконец, письмо включает самая последняя из ссылок на одного художника, весьма восхищавшего Лавкрафта, Николая Рериха^[23]: «Лучше сюрреалистов, правда, добрый старый Ник Рерих, чья забегаловка на углу Риверсайд-Драйв и 103-й улицы — это одно из моих святилищ в зачумленной зоне. Есть что-то в том, как он управляет с перспективой и атмосферой, что наводит меня на мысль о других измерениях и иных порядках бытия — или, по крайней мере, о воротах, ведущих туда. Эти фантастические изваяния из камня в одиночестве высокогорных пустынь — эти зловещие, почти одушевленные линии горных зубцов — и прежде всего эти удивительные кубические строения, лепящиеся к обрывистым кручам и подбирающиеся к заповедным игловатым пикам!»^[24]

Пусть даже, без сомнения, Лавкрафт не знал о пути эзотерика, а именно розенкрейцера, пройденном Рерихом, удивительно, что он оказался особенно восприимчив к той части творчества этого последнего — пейзажи Тибета и Индии, — навеянной как раз его духовным поиском и путешествиями по Дальнему Востоку. Дело происходит так, как если бы Лавкрафт, убежденный материалист, обнаруживал на плане *поэтическом* духовную общность с тем подходом к реальности, который он, с другой стороны, непрестанно клеймит, но молчаливо признавая его завораживающую силу, необходимую для воплощения «чувства удивительности» (*sense of wonder*), которое остается основной, постоянно подчеркиваемой целенаправленностью его художественной задачи.

Полемика о *правде* эзотерического языка Лавкрафта, возможно, еще жива; она, в любом случае, выжила под видом некоторых литературных мистификаций^[25]. Между тем неясность по поводу эстетического выбора у писателя продолжает существовать.

Если существует связь между эзотеризмом и фантастикой, вокруг идеи знания о ней и следует размышлять. Там, где эзотеризм выдвигает себя как источник познания, фантастическое всего лишь последовательно устанавливает ширмы между читателем и предполагаемым знанием (откуда его свойство загадочности и *открытости*). Фантастическое — это, возможно, то, что ускользает от всякого значения (*signification*). Единственный ключ, какой оно нам вручает, как манера письма, внутритекстуален по природе: это опознавание читателем, *инициированным* в жанр, сети обозначающих, кодирования (*encodage*), которое этот последний призван расшифровать. Но суть фантастического еще и вне

кода, когда нарушается подразумеваемый договор между автором и читателем, когда этот последний, захваченный врасплох, теряется в поворотах смысла. В эту-то диалектику успокоительного узнавания и томительной «тревожащей странности» и вписываются наиболее совершенные из текстов Лавкрафта.

Перевод с франц. Н. Бавиной



Примечания

Здесь можно вспомнить распространенное в древности представление, что слепота и темнота или невидимость, как зрение и свет, в некотором смысле тождественны. И «незрящий» (*blind*) можно перевести старым русским словом «невишной», семантически почти смыкающимся с «невидимый»; да и ряд синонимов к слову «слепой» — омраченный, темный, как и другое значение «*blind*» — «бессмысленный», поддерживает представление о свертывании света и упорядоченности как наступлении тьмы и хаоса.

Riemann Bernhard — знаменитый немецкий математик, заложивший основы тонологии.

Культы вампиров (*франц.*).

О черве мистерий (*лат.*).

Несказанные культы (нем.).

«Лавкрафт слишком много знал о великих магических тайнах».
Lunatique. № 41.

Michel Meurger. «Предвидение, обращенное вспять: примитивизм и оккультизм у Лавкрафта как он воспринимался во Франции с 1953 по 1957». *Etudes Lovecraftiennes*, 3, 4.

Письмо Кларку Эштону Смиту от 9 октября 1925. «Selected Letters», vol. 2, Arkham House, 1968, p. 27.

Следует, однако, внести оттенки в это высказывание: см. мою статью «Х. Ф. Лавкрафт: архаизм и современность, вселенная напряжения». «Europe», «Le Fantastique Americain», № 707, mars 1988.

Этими источниками я обязан статье Роберта Прайса (Robert Price): «Использование теософии у Лавкрафта», опубликованной в посвященном Лавкрафту фэнзине «Crypt of Cthulhu», vol. 1, № 5, 1982.

«Тень тьмы времен». «The Dunwich Horror and Others», Arkham House, 1963, pp. 385–386.

Письмо Кларку Эштону Смиту. «Selected Letters», vol. 2, p. 58.

Письмо Уиллису Коноверу (Willis Conover). «Lovecraft at Last», Carrollton Clark, 1957, p. 33.

Письмо Э. Хоффманну Прайсу. «Selected Letters», vol. 4, p. 153.

Что касается алхимии, было опубликовано много относящихся к ней исследований в связи с Эдгаром А. По, особенно Бартоном Леви Сен-Арманом (Barton Levi Saint-Armand), который также является специалистом по Лавкрафту, но ничего не обнаружилось насчет этого последнего. Укажем между тем на доклад М. Сансоннетти (M. Sansonnetti), сделанный на коллоквиуме в Серизи в августе 1989 г. и мне неизвестный.

Таким образом, произведение, приписываемое Бореллюсу (Borellus), действительно жившему магу, существует на самом деле, но его автором является Коттон Мэтерс (Cotton Mathers) и речь идет о «*Magnalia Christi Americana*», опубликованном в 1702 г. Лавкрафт заимствует целый пассаж, который он отрывает от действительности, приписывая его автору, чье имя несет архаические, средневековые, коннотации и, без сомнения, менее знакомо американской публике.

Guenon René. Le Roi du Monde, Gallimard, 1958, pp. 27–28.

В частности, статья «Магия» из «Британики»; произведения А. Э. Уэйта (A. E. Waite) и отчасти Элифаса Леви.

«Нашептывающий во мраке». «The Dunwich Horror and Others»,
Arkham House, 1963, p. 262.

Не только Артур Мейчен, член Золотой Зари, но также и Эджернон Блэквуд, Брэм Стокер, Эдуард Булвер-Литтон.

«Краски из космоса». «The Dunwich Horror and Others», op. cit., p. 66.

Ibid., p. 78.

Николай Рерих (1874–1947) — знаменитый русский художник, писатель и мистик. Любитель археологии и великий путешественник, он объехал Тибет и Индию, где и обосновывается начиная с 1922 г. Основная часть его творчества выставлена в музее Николая Рериха в Нью-Йорке, который Лавкрафт любит посещать.

Самое последнее, предсмертное письмо, адресованное Дж. Ф. Мортону и датированное 15 марта 1937 г. «Selected Letters», Arkham House, vol. 5, p. 436.

Например, «The Necronomicon» Нервила Спиамена (Nerville Spearman, Jersey) переведенный и изданный по-французски в издательстве «Бельфон» (Editions Belfond) в серии «Посвящение и знание» (Initiation et Connaissance), с подзаголовком «Книга Безумного араба Абдуль Альхазреда».